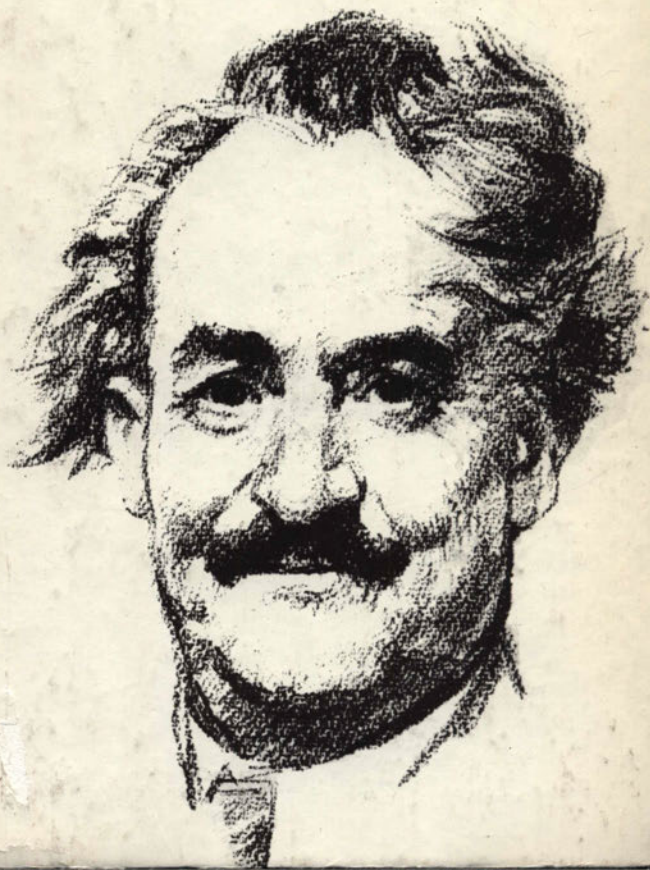


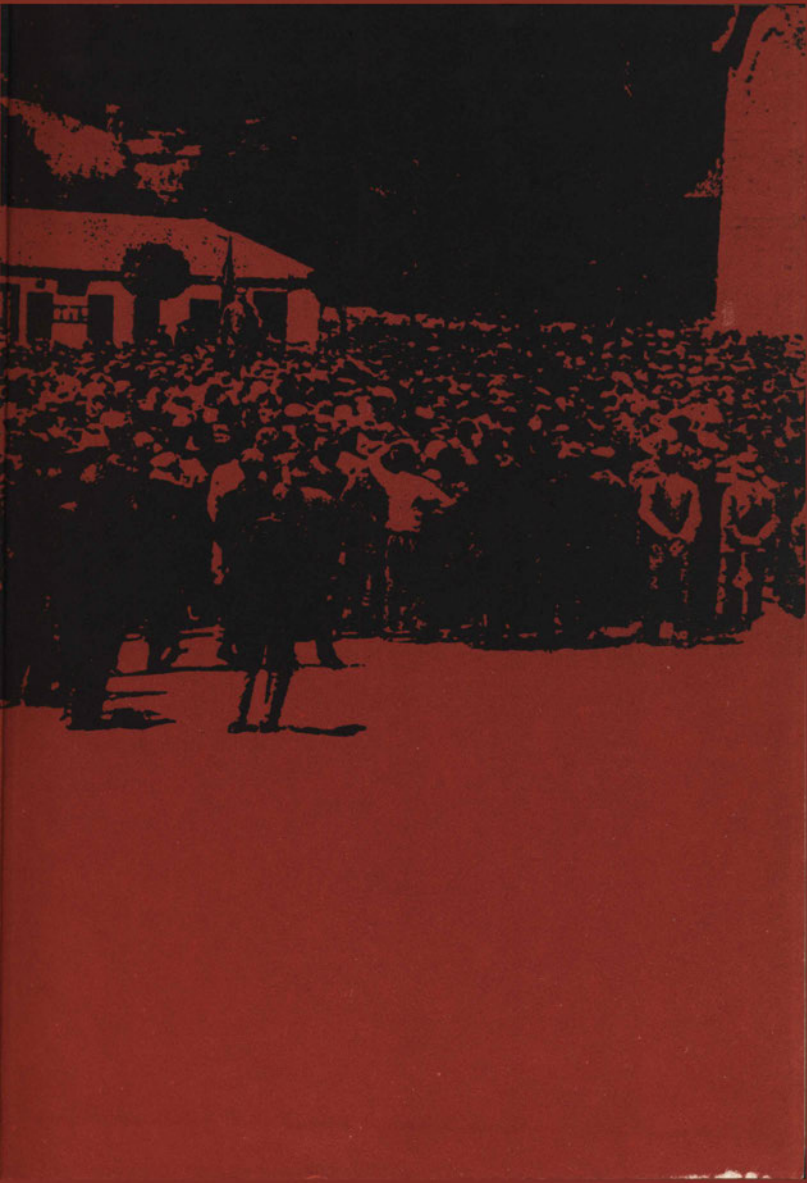
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

о Георгии
Димитрове



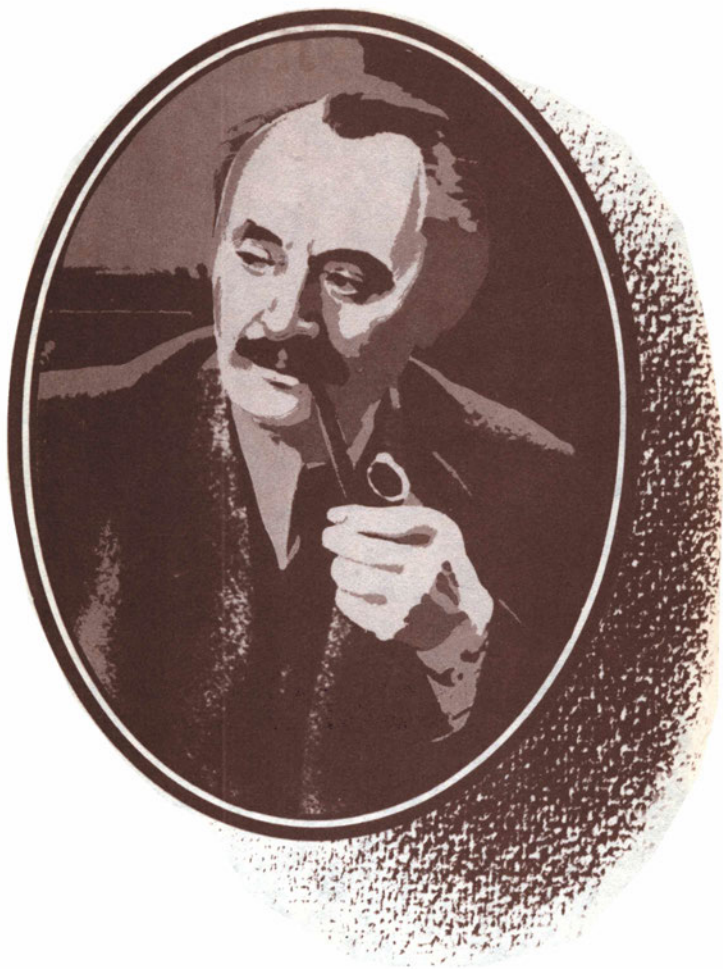
Издательство
• Детская литература •





ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

о Георгии
Димитрове



ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

о Георгии Димитрове

Перевод
с болгарского

Москва
«Детская литература»
1983

Составитель Е. И. Андреева

Эта книга повестей, рассказов, воспоминаний о выдающемся деятеле болгарского и международного рабочего движения Георгии Димитрове, одном из самых замечательных людей нашей эпохи. Жизнь Г. Димитрова, коммуниста-ленинца, может служить ярким примером поколения молодых борцов-революционеров.

В 1982 году широко отмечалось 100-летие со дня рождения Г. Димитрова. В 1983 году исполнится 60 лет со времени сентябрьского восстания 1923 года — первого в истории антифашистского восстания, — одним из руководителей которого был Георгий Димитров.

Художник В. Тогобицкий

**На обложке использован портрет
Георгия Димитрова
работы художника Н. Жукова**

**П 42 Повести и рассказы о Георгии Димитрове/Пер.
с болг.; Сост. Е. И. Андреевой; Худ. В. Тогобицкий.— М.: Дет. лит., 1983.— 368 с., фотонл.**

В пер.: 1 р. 40 к.

В сборник входят повести: Д. Габе «Матушка Парашкева», В. Филиповой «Вечный огонь», П. Цонева «Замкнутый круг», главы из книг К. Калчева «Сын рабочего класса», А. Каралийчева «Молод или нековальня» и рассказы Н. Ганчовского, П. Юркуова, М. Бежански. Книге предпосланы воспоминания сестры Г. Димитрова Магдалины Баримовой. Фотоиллюстрации.

**П 4803020000—378 440—82
М101(03)83**

И (Болг)

© Составление. Перевод на русский язык произведений, отмеченных в содержании звездочкой. Оформление.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1983 г.

Магдалина Барымова¹

ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ НАРОДУ

Каждый ребенок, каждый человек несет в себе частицу своего отца, своей матери, которые вырастили его, помогли стать личностью.

Нашей матери было тринадцать лет, когда дед с семьей, спасаясь от турок, бежал из Македонии и, миновав Джумаю (Благоевград), обосновался в селе Ковачевцы. Трудные были тогда времена, такие трудные, что никто из нас и представить себе не может.

Покидая дома, беженцы брали с собой, что могли унести. В семье было пятеро ребятишек. Когда перебирались через горы, младший из детей, мальчик, громко заплакал. Беспокоясь за судьбу остальных членов семьи, дед сказал:

— Бросьте ребенка! Услышат турки, перережут нас, как цыплят.

И ребенка бросили... В одной народной песне поется: «И будет дождик купать младенца, и будет ветер его баюкать, и будет серна кормить и холить». Но в горах не было серны, не было и доброй волшебницы. Другая заступница нашлась у малыша — его старшая сестра Парашкева, наша мать. Не выдержало ее сердце, вернулась, взяла мальчика, завернула его в передник и понесла, стараясь держаться подальше от всех. Шла и думала: если турки услышат, пострадает только она с мальчиком, одна она.

Вот какое сердце было у нашей матери с малых лет. Такой она осталась до самой смерти — доброй, готовой пожертвовать всем на свете ради других.

В Ковачевцах семье пришлось туго. Дети тоже должны были трудиться. Стала зарабатывать себе на хлеб и мама. Она поступила в прислуги к одному полицейскому. По вечерам хозяин собирал своих приятелей, и они кутили до утра. Мама все бегала за вином.

— Раз, — рассказывала она, — я, вымыв голову, уже собиралась лечь — час был поздний, как он позвал меня и велел идти за вином. А на улице стужа. Теплового платка у меня не было, хорошо, что хозяйка свою шаль дала. Пришлось ночью будить трактирщика, чтоб нацедил вина.

Характер у матери был веселый. Как трудно ей ни приходилось, она все пела, смеялась. Ни одно воскресное гулянье не обходилось без нее.

¹ Барымова Магдалина (1884—1971) — сестра Георгия Димитрова. Член БКП.

И вот как-то на сельской площади, где молодежь водила хороводы, увидел маму наш отец, тоже беженец. Понравилась она ему, и он за нее посватался...

Такие были родители Георгия Димитрова — простые, скромные, трудолюбивые люди, пережившие на своем веку много невзгод и лишений.

Мама была неграмотная, в школу не ходила, не умела читать и писать. Это ее угнетало. Она тянулась к знаниям, как травинка к солнцу.

Вечерами отец, бывало, читает газету, а она хлопочет по дому — мало ли дел у матери. Возится себе, бывало, и нет-нет да и скажет отцу:

— Научи меня читать!

— Ну вот еще, — смеялся отец. — В свое время надо было, а теперь куда уж тут. Ты лучше за домом да за детьми смотри.

Но мама не унималась:

— Хочу учиться, и все!

Ничего не поделаешь, пришлось отцу купить ей букварь.

Мама весь день была занята хлопотами по хозяйству, но, когда садилась кормить ребенка, брала в руки букварь, готовила урок к приходу отца — отец по вечерам спрашивал ее.

Сначала он нехоту согласился учить ее читать, но потом загорелся и даже привез ей с первой Пловдивской ярмарки в подарок книгу, напечатанную крупным шрифтом.

Позднее, когда мама стала помогать нам в революционной работе, она благословляла те дни, когда научилась читать. Ей приходилось искать в Софии людей, чтобы передать им те или иные материалы, и она сама читала адреса и попадала туда, куда ей было нужно.

Она была любознательная. Георгий был похож на нее.

Упомянув о маме, не могу не сказать, как она заботилась о нас. Мы всегда были одеты, обуты и накормлены. Она очень следила за тем, чтобы мы ходили чистые и умытые.

Соседки часто спрашивали ее:

— Чем это ты, Пара, своих детей кормишь? Вон они какие у тебя, как куколки!

Мама ласково улыбалась и отвечала:

— Да ничем особенным — тюрей, картошкой, яблоками...

Из Ковачевцев мы перебрались в Радомир. Но нужда прогнала нас и оттуда.

Оставив нас — маму, Георгия и меня — одних, отец уехал в Софию искать работу. В Софии жил муж его сестры, он был скорняком, шил меховые шапки. Отец начал учиться у него ремеслу и под его влиянием стал евангелистом.

Через два года мы переехали в Софию и поселились на углу улиц Царя Бориса и Солунской (ныне Васи́ла Коларова).

В семье появились новые дети, в квартире стало тесно. Отец пошел искать другую, но всюду его встречали вопросом:

— Сколько у тебя детей?

Он раздраженно отвечал:

— Чего спрашиваете? Не вам же их кормить!

Новую квартиру найти не удалось, и отец вдвоем с дядей решили строить дом на Ополченской улице. Тогда там был пустырь. Построили

они дом, а отец еще и хлев соорудил. Мы купили себе корову, чтобы в доме было молоко. Но зимой корова попала в яму с известью и сдохла. Тогда отец перестроил хлев, сделал из него комнату с кухней, которые мы сдавали жильцам. Сейчас в этом небольшом строении во дворе дома на Ополченной улице хранятся материалы о Георгии Димитрове.

Отец был человеком предприимчивым, не любил сидеть сложа руки. Заботы о семье отнимали у него много сил. Есть такая пословица: «иглой колодца не выраешь». А отец иглой кормил и одевал свою большую семью. Трудолюбием он отличался необыкновенным. Пока он был жив, мы, хоть и жили небогато, не знали лишений.

Нас, детей, было много. Старшим был Георгий, но он никогда не относился к нам, как к младшим. Не заставлял делать то, чего ему самому не хотелось делать, не помыкал нами, как некоторые старшие братья.

Георгий был очень живой, подвижный, любил играть, бегать наперегонки, бороться. Он с азартом играл в чижика и бабки. Каждый год на юрьев день, когда резали барашков, он запасался бабками, чтобы хватило на целый год.

Еще любил запускать змеев. Разматывая бечеву, к которой был привязан змей, он словно посылал с ним в небо частицу самого себя. Запустив змея, он следил за его полетом, счастливый, окрыленный.

Иногда он озорничал, как все дети. Но я не помню, чтобы он скрыл какой-нибудь свой проступок, стараясь избежать наказания. Он сам признавался во всем и всегда переживал, если случалось нечаянно кого-нибудь обидеть.

Как-то мама решила испечь слоеный пирог с брынзой, баницу, и послала Георгия отнести противень с баницей в пекарню. Он шел, осторожно неся противень в руках. И тут, как на грех, встретил булочника, который нес большой противень с булочками на голове. В те годы на улицах Софии нередко можно было встретить булочника с большим квадратным противнем на голове. Они ходили быстро, а иной раз и бежали со своей поклажей. Как фокусники.

И вот Георгий встретил булочника и позавидовал его ловкости. «А почему бы не попробовать и мне?» — решил он и, недолго думая, поставил противень на голову.

Все шло благополучно, противень держался, брат был доволен. Но улицы в те времена были неровными, не то что теперь. Георгий споткнулся о какой-то камень, противень упал, баница шлепнулась в пыль.

Стоит Георгий, смотрит и не знает, что ему делать.

Тут к нему подошла какая-то женщина.

— Ничего, мальчик, не горюй, — успокоила она его. — Мы эту баницу положим опять на противень, и никто ничего не заметит.

Так они и сделали.

За обедом мама сказала:

— Это не наша баница, сынок. Пекарь, видно, перепутал, дал тебе чужой противень. Какая-то она черная. А наша была белая.

Тут Георгий, сидевший в стороне и мучившийся угрызениями совести, рассказал, что случилось, и со слезами попросил прощения.

Семья наша была дружной. Мы никогда не ссорились, жили в полном согласии. Каждый старался помогать другому.

В доме был заведен такой порядок, что у каждого были свои обязанности. Георгий, например, каждую неделю мыл полы.

И однажды случилось вот что.

Подвернув рукава, Георгий мыл пол, мыльная вода пенилась под его руками. Работа доставляла ему удовольствие, он изо всех сил тер щеткой доски, подпевая в такт движениям.

Но тут его позвали с улицы:

— Эй, Георгий, иди играть!

Сначала Георгий и не думал бросать свое занятие. Потом все чаще стал поглядывать на окно и, наконец, не выдержав, выпрыгнул в окно и оказался на улице.

А на улице шла веселая игра. Мальчишки с азартом швыряли камни в реку. Камушки, запущенные мальчишечьими руками, со свистом проносились в воздухе и плюхались в воду.

Каждому из ребят хотелось быть первым, и каждый, перебивая друг друга, доказывал, что его камень упал дальше всех.

На берегу реки рабочие просеивали песок.

Вдруг один из них вскрикнул, бросил лопату и кинулся к мальчишкам. В него угодил камень, брошенный Георгием.

Георгий смекнул, в чем дело, и что было сил пустился домой.

Когда рабочий подошел к нашему дому, Георгий, тяжело дыша, как ни в чем не бывало тер щеткой пол.

Рабочий сказал маме:

— Ваш сын ударил меня камнем. Пробежите его как следует!

Мама улыбнулась:

— Здесь что-то не так. Мой сын занят... Георгий! — позвала она его, чтобы доказать рабочему, что ее сына обвинили зря.

Георгий мог спокойно встать в дверях и сказать, что он ничего не знает. Но он вышел подавленный, смущенный.

— Дядя прав, мама, — сказал он. — Это я бросил камень...

А ведь глаз у камней нет, и они, случалось, попадали в какое-нибудь соседское окно. Тогда Георгий приходил домой и понуриив голову говорил:

— Я разбил окно. Неудобно перед людьми. Мама, дай денег, я заплачу!

И мама давала деньги.

Но слепые камни опять летели в чужие окна. И за каждое разбитое стекло нужно было платить.

Как-то раз мама сказала:

— Послушай-ка, Георгий. Я каждый день даю тебе денег на булочки. Вот ты их складывай в коробку и сам расплачивайся за свои художества.

Шутила ли мама или хотела показать сыну цену его шалостей, не знаю. Но Георгий ее послушался.

И если ему случалось разбить окно, он отказывался от булочек и отдавал пострадавшим свои деньги.

Но так продолжалось недолго. В один прекрасный день он подошел ко мне, протянул свою рогатку и сказал:

— Возьми, Лина, эту гадость!

— Зачем? — удивилась я.

— А вот так! Стоит разбить окно — прощай, булочки! Да и мама

расстраивается. Она меня не ругает, но лучше бы уж выругала как следует.

Мне стало грустно, когда старший брат пошел в школу. Я схватила его за руку и попросила:

— Не ходи, сиди дома! Что я буду делать без тебя?

Как-то на Новый год, взяв разукрашенные бумажными цветами кизильные веточки, мы, по старинному обычаю, пошли по домам поздравлять людей с праздником. Скоро наша торбочка и карманы до отказа были набиты всякой всячиной.

Когда мы пришли домой, Георгий высыпал на стол пряники, сушеные фрукты, калачи.

Деньги он положил отдельно, сказав:

— Не бойся, я их зря не потрачу. Я уже знаю азбуку. Куплю сказки, буду тебе читать.

И он сдержал свое обещание.

Потом он сколотил из досок этажерку — маленькую, правда, но красивую.

Он любил книги, относился к ним с уважением и не хотел, чтобы они валялись где попало.

Однажды Георгий принес домой какую-то новую книгу. Наверное, она была очень интересной, потому что, начав читать, он уже не мог от нее оторваться.

— Иди сюда, Лина, — позвал он меня спустя некоторое время. — Я тебе об одном герое почитаю, о Левском...¹

Брат читал о подвигах бесстрашного героя, а мы с мамой слушали.

Когда он дошел до того места, где описывалась казнь, мне до слез стало жаль Левского.

— Если бы я мог стать таким, как он! — воскликнул брат, и в глазах его появилось какое-то совсем не детское выражение. Потом добавил: — Даже если меня повесят — пусть, все равно!

Мама вздрогнула.

— Не говори так, сынок!

Но в сердце Георгия уже зародилась жажда совершения подвига во имя народа.

Родители регулярно водили нас в церковь. А после церковной службы мы шли в воскресную школу. Учитель нудным голосом читал и толковал тексты из Евангелия.

Все дети, посещавшие воскресную школу, были разбиты на группы по возрасту. Мы с братом числились в младшей группе. Но ему все казалось, что в старшей группе интереснее. И как-то раз, никого не спросив, он присоединился к ней.

¹ Левский Васил (1837—1873) — национальный герой Болгарии, один из идеологов болгарского национально-освободительного движения. Отличался легендарной смелостью, в борьбе против турецкого ига проявил чудеса героизма. Он первым из болгарских революционеров пришел к выводу, что турецкую феодальную тиранию можно свергнуть только путем народной революции. С этой целью создал революционную организацию с разветвленной сетью нелегальных комитетов на местах. Схвачен и повешен турецкими властями в Софии в 1873 г.

Заведующий воскресной школой строго прикрикнул на него:

— Георгий, сейчас же иди в свою группу.

Но он не пошел, даже с места не двинулся.

В следующее воскресенье произошло то же самое.

Тогда заведующий взял Георгия за ухо и вывел. Я не выдержала и кинулась вслед за ним.

Я ожидала, что найду брата подавленным и огорченным. Но не тут-то было. Он весь дрожал от гнева. Схватив меня за руку, он сказал:

— Ноги моей больше не будет в церкви!

И в самом деле перестал ходить в церковь.

Георгий рано простился со школой.

Он заболел и слег. Врачи сказали, что ему надо годик передохнуть. Но в школу ему уже так и не было суждено вернуться.

Наступили трудные годы. Георгию пришлось поступить на работу. Ему было тринадцать лет, но детство его уже кончилось.

Сперва он пошел в столярную мастерскую.

Постоял там, понаблюдав и вернулся недовольный:

— Не нравится мне там. Пыльно. Клеем воняет.

Потом отправился в кузницу.

— И в кузницу не пойду. Не по мне это ремесло.

Тогда наш сосед, рабочий-печатник, сказал ему:

— Пойдем, Георгий, со мной, посмотришь, как мы работаем. Может, у нас тебе понравится.

Сосед угадал — работа в типографии пришлась Георгию по душе. Домой он пришел возбужденный и объявил:

— Все решено: пойду работать туда, где буквы. Стану печатником!

— Что так, сынок? — спросил его отец. — Так ли уж хороша эта работа?

— Да. Я глядел и не мог наглядеться. Это просто какое-то чудо! Из букв получаются слова, из слов — строчки, и выходит газета или книга... А когда набираешь текст, то все время читаешь. Все равно что учишься.

Он говорил, а глаза его сияли. И мы радовались вместе с ним.

Вскоре мой брат вступил в общество печатников, начал посещать рабочий клуб.

— Ну, Лина, — говорил он мне, — я нашел церковь получше отцовской. И школу получше воскресной!

Он был счастлив.

Раз Георгий все-таки пошел в церковь.

Когда служба кончилась, он вместе с товарищем тихонько выскользнул на улицу. Тут и там на полу лежали листовки с крупным заголовком «Кукареку». В них говорилось о неблагоприятных поступках божьих слуг, назывались их имена, разоблачалось их надувательство.

Вскоре стало ясно, что это дело рук юного печатника.

Церковный попечитель вызвал отца и отчитал его за поведение сына.

А Георгий все смелее шел по избранному пути.

Он много времени проводил в клубе. Вступил в физкультурное общество. Товарищи полюбили его.

Он много, очень много читал. Откладывал часть заработка и в конце каждой недели покупал себе новую книгу.

— Сынок,— говорила мать,— ты как будто похудел. Отдыхать надо побольше.

— Некогда, мама. Мне ведь надо догонять тех, кто ходит в школу,— отвечал он.

Так прошло детство Георгия. Так рос он в родном гнезде и, как птица, готовился к большому полету.

Брат все больше срастался с жизнью рабочих. Вскоре он стал членом их партии рабочего класса. Я помню тот день. Никогда еще Георгий не приходил домой таким радостным.

— Лина! — взволнованно воскликнул он, увидев меня. — Сегодня меня приняли в партию. Ты понимаешь, что это значит? Будет работа, интересная работа!..

Работа предстояла трудная и опасная, но брат радовался, как ребенок.

Сбывалась его детская мечта — стать таким, как Левский, посвятить жизнь народу, трудовому люду...

Допоздна горел свет в его комнате. Он читал, догоняя и опережая сверстников, которые учились в школе.

Ходил на собрания, подолгу беседовал с рабочими, восторженно слушал своих новых учителей.

Георгий учился в лучшей школе — школе жизни. Он смотрел на мир широко открытыми глазами. Любил правду и повсюду искал ее — вокруг себя, в книгах. И всегда ее находил...

Помню, много лет спустя, в дни Лейпцигского процесса, в перерыве между заседаниями суда один английский журналист спросил маму:

— Как это вы воспитали такого героя?

Мама скромно ответила:

— Не я его воспитала, а партия. Я только научила его ненавидеть зло, быть честным.

Мама сыграла немалую роль в том, что брат стал крупным революционером. И все же, говоря так, она была права...

В рабочем клубе Георгий познакомился с Любицей Ивошевич, швеей, которая бежала из Сербии, спасаясь от тюрьмы.

Любица была милая, душевная женщина, умная и начитанная. Она занималась революционной деятельностью, писала статьи и стихотворения. Ее худенькое миловидное лицо располагало к откровенному разговору. Говорить с ней было приятно и интересно.

Вечерами мы с братом нередко провожали Любицу домой. По дороге много говорили, спорили. Я догадывалась, что они нравятся друг другу.

Хорошие воспоминания сохранила я об этих вечерах.

На Софию спускается вечер. Мимо нас, поскрипывая рессорами, проносятся экипажи, цокот лошадиных копыт, вначале громкий и отчетливый, становится все глуше, один за другим загораются уличные фонари. Мы идем. Брат увлеченно говорит о рабочем движении,

о Марксе, о том, что социалист, если нужно, готов умереть за свои идеи...

Любича жила в темной сырой комнате, хозяева ей попались плохие. И однажды, проводив ее, мы с братом решили предложить ей поселиться у нас, в одной комнате со мной.

Так и сделали. Вскоре после того, как Люба переехала к нам, они с братом решили пожениться. Но евангелистский пастор и церковное попечительство отказались их обвенчать, так как они были социалистами. Тот же номер выкинули и православные попы под предлогом, что наша семья исповедует евангелическую веру. А без церкви тогда жениться было нельзя.

В это время из Плевена приехал Тодор Луканов¹.

— Все уладим,— сказал он, улыбнувшись.— В нашем городе есть священник, который венчал многих наших товарищей. Интересный человек!.. Что поделаешь, придется вам приехать в Плевен к нам в гости...

Георгий, Люба и мама, собравшись на скорую руку, поехали в Плевен. А когда они вернулись, мы постарались сделать все, чтобы молодым было хорошо у нас. Жену Георгия приняли в нашем доме, как своего, близкого человека, как дочь и родную сестру.

Молодые супруги жили дружно. Их объединяли общие интересы. До ночи горел свет в их комнате, шелестела бумага. Георгий и Люба читали и писали. Проходя мимо их двери, я всегда старалась ступать на цыпочках.

Георгий был нежным и внимательным мужем. Свою жену он очень любил и уважал. Ценил ее талант и старался дать ей возможность работать, заниматься творчеством.

Но такая тихая, безмятежная жизнь длилась недолго. Георгий и Любича были солдатами партии, а тихая жизнь не для солдат. Георгию надо было успевать всюду — на забастовки, митинги, собрания. Ему не хватало ни дня ни ночи, чтобы повернуть ту гору дел, которая лежала на нем.

А потом наступил незабываемый 1923 год.

Назревали важные исторические события. И одним из организаторов этих событий был Георгий. Шла подготовка к восстанию². Брат постоянно находился в каком-то радостном возбуждении.

В середине сентября он уехал в Фердинанд (ныне Михайловград).

Восстание разразилось. Волна народного гнева захлестнула страну.

Мы засыпали и просыпались с одной мыслью: что с Георгием? Что-то важное ушло из нашей жизни, без него в доме стало пусто. А когда ему пришлось покинуть Болгарию, каждая весточка от него была для нас настоящим праздником. Из каждого города, куда его забрасывала судь-

¹ Луканов Тодор (1874—1946) — деятель болгарского революционного движения, член ЦК БКП (тесных социалистов) с 1919 года. В 1922 году был избран секретарем партии по организационным вопросам. После Сентябрьского антифашистского восстания 1923 года эмигрировал в СССР, где и жил до самой смерти.

² Речь идет о Сентябрьском восстании 1923 года, первом в мире антифашистском восстании болгарского народа, подготовленном и руководимом БКП. Восстание имело целью свержение правительства монархо-фашистской диктатуры и установление власти рабоче-крестьянского правительства.

ба эмигранта, брат посылал нам письма и открытки и все старался подбодрить нас.

А годы шли. Мама старела, густела сеть морщинок на ее лице. Минуло пять лет, десять. Наступил 1933 год.

Неожиданно по свету разнеслась весть о поджоге рейхстага и что будто сделал это болгарин Георгий Димитров.

Фашистский зверь занес над ним свою лапу. Его арестовали. Готовился большой процесс.

Мы знали, что Георгию предстоит тяжелый поединок с наглым и страшным противником, и опять за него боялись.

Нагрянула и другая беда — умерла Любича. Весть об этом могла сломить узника Моабита. Она была слишком горькой, а сейчас он как никогда нуждался в спокойствии. Он тяжело пережил утрату, но сумел взять себя в руки. Как всегда, воля помогла ему справиться с горем.

Наш Георгий томился в фашистском застенке.

Поймет ли мир, что он невиновен? Поднимутся ли на его защиту честные люди? И выйдет ли он когда-нибудь снова на свободу?

Мне казалось, что письма, которые мы от него получали, приходят с того света, откуда нет возврата. Но они были бодрыми, полными веры, и это было даже как-то странно: находиться в руках врага и верить в свое спасение, в свою победу!

Слова его были твердыми, как железо, и отдавались в нашем сердце ударами молота о наковальню. Но когда он начинал говорить о матери, он весь преобразался — слова его становились ласковыми, мягкими, полными любви и преклонения, нежности и сыновней теплоты.

И мать подавляла в себе тоску, писала сыну бодрые письма. Она понимала, что он нуждается в помощи, в поддержке. Старалась вдохнуть в него силы, говорила, что он всегда должен быть таким смелым.

Мы не могли себе представить, в какой обстановке жил тогда Георгий, где он писал свои письма, за каким столом, каким карандашом. Но эти письма успокаивали нас. Мы ждали их и стали верить в невозможное — что Георгий победит фашизм и вернется к нам.

Особенно обрадовало меня письмо нашей любимой мамы, — писал он. — Несмотря на все, она держится молодцом, полна мужества и надежды, и это утешает меня, дает мне большое моральное облегчение...

...Я всегда гордился нашей матерью, ее благородством, стойкостью и самоотверженной любовью, а сейчас еще больше горжусь ею. Желаю ей долгих лет жизни, крепкого здоровья, жизнерадостности, мужества и веры в будущее. Я уверен, что мы еще встретимся и будем счастливы...

Брат был человеком большого сердца. Помню, мой сын Любчо попал в тюрьму. А разве есть большее горе для матери, чем горе ее ребенка?

Находясь вдали от нас, в фашистском пекле, поглощенный борьбой с врагом, брат нашел время, чтобы подумать обо мне, успокоить меня.

Что касается Любчо,— писал он,— самое главное, чтобы он был здоров, а в тюрьме он должен по возможности использовать время для учебы. Это несчастье временное.

Удивительный человек был Георгий!

И хотя в одном из писем он писал: «Я как лев в клетке, как птица, у которой есть крылья, но которая лишена возможности летать», я знала — птица скоро полетит высоко-высоко!

Георгий писал, что ему нужны деньги на еду и на защитника, что хорошо было бы, если б приехала мама.

Мы начали собираться в дорогу. С большим трудом получили паспорт. Мама была уже старенькой, и мы беспокоились, как она перенесет дальнюю поездку.

Мы не знали, что нас ожидает в далекой чужой стране, где томился в тюрьме Георгий...

Ехали в вагоне третьего класса. С собой мы захватили разной провизии — брынзы, яиц, несколько головок чеснока,— которой должно было хватить до самого Парижа.

Мама предложила взять с собой и полосатое домотканое одеяльце. Позднее оно нам очень пригодилось.

Все места в вагоне были заняты, и нам с мамой пришлось стоять. Воздух был такой спертый, что я забеспокоилась, как бы маме не стало плохо. Так оно и случилось.

— Прилечь бы,— сказала мама.— Что-то мне нехорошо...

Она пошатнулась. Я поддержала.

— Дай-ка мне хлеба с брынзой и чеснока,— попросила она.— Может, чеснок поможет мне.

— Но здесь неудобно есть чеснок,— возразила я, беспокойно оглядываясь.

Но маме становилось все хуже и хуже.

— Лина, прошу тебя, дай мне хоть одну дольку...

Я подумала, что от острого чесночного запаха ей в самом деле, может, полегчает. Знала, что европейцы не выносят чесночного запаха, но что делать, ведь чеснок нужен маме как лекарство.

Почувствовав резкий запах, пассажиры стали озираться, заговорили что-то на своем языке и один за другим стали выходить из купе. Я сгорала со стыда. Зато маме стало лучше, и мы дальше путешествовали спокойно и с комфортом.

И вот мы в Париже.

Большой незнакомый город встретил нас многоголосым шумом и суетой. Перрон кишел людьми. Все куда-то спешили. Вокруг звучала незнакомая речь. Мы чувствовали себя в этой толпе заброшенными и чужими.

Чтобы добраться до отеля, адрес которого у нас был, нужно было взять такси. Но где его искать? И как объясняться с шофером?

Мы проверили вещи — не забыли ли чего? — и пошли к выходу.

Вдруг слышим, кто-то окликает нас по-болгарски. Мы обрадовались и в то же время очень удивились. Конечно, в том, что в Париже оказался болгарин, не было ничего удивительного. Но как он признал в нас соотечественников?

Мы спросили его об этом. Он улыбнулся и показал на мою руку. Я оглянулась и тоже засмеялась. У меня через руку было перекинута полосатое домотканое одеяльце, которое мы взяли по настоянию мамы. Здесь, в Париже, оно казалось чужим, неуместным, но для меня оно стало вдвойне дороже. Оно послужило нам паспортом...

Наш соотечественник взял такси и отвез нас в отель...

Там мы встретились со своими — болгарскими и французскими коммунистами.

Морис Торез ласково улыбнулся маме и сказал:

— Сегодня вечером состоится митинг. Вы должны выступить перед парижанами.

Мама изумленно посмотрела на него и рассмеялась:

— Ты, никак, шутишь, сынок. Я и в Болгарии не выступала перед столькими людьми...

С нами был и товарищ Милко Тарабанов.

— Ничего страшного, — сказал он. — Ты будешь говорить по-болгарски, а я буду переводить твои слова на французский язык. Если что и не так скажешь, я выручу.

Вечером мы вышли на балкон, под которым шумело людское море. Когда шум утих, мама перевела дух и заговорила. Ее речь неожиданно вышла удачной, волнующей.

Мы радостно переглядывались и без слов понимали друг друга. Каждый думал:

«Молодец, бабушка Парашкева! Достойная мать благородного сына!»

Она говорила о тяжелом положении болгарского народа, о недовольстве, стачках, борьбе рабочих...

А под конец по-матерински попросила французов заступиться за Димитрова, помочь ему, потому что он невиновен. Она, мать, знает это лучше всех, она убеждена в этом! Ее сын хороший и честный человек!...

В Париже нам дали переводчика — товарища Бояна Дановского, ныне известного болгарского режиссера. С ним мы выехали в Германию.

Мы не видели Георгия десять лет. Как волновались накануне первого свидания с ним в Моабитской тюрьме!

Как он там? Как выглядит? Изменился ли?.. Мы не находили себе места.

Когда нас ввели в комнату для свиданий, у нас сжались сердца. Перед нами стоял Георгий — похудевший, в обтрепанном пиджаке.

В такие минуты в голову нередко приходят самые неожиданные мысли.

«Почему у него пиджак обтрепан на груди?» — подумала я.

Позднее он объяснил в разговоре:

— Это наручники изорвали мне одежду. И на руках раны тоже от них... Но духом я не пал. А для меня это самое главное... Сначала было трудно в кандалах. Опустить руки — кандалы оттягивают их. Поднимешь — железо вливается в тело... С трудом свыкся с этими чертовыми кандалами!.. Однажды, сидя за столом и глядя на израненные руки, я вдруг вспомнил мудрые слова великого немецкого поэта Гёте: «Потеряв богатство, почти ничего не теряешь; потеряв честь, теряешь много; потеряв смелость, теряешь все». Это было целое открытие. Мне стали не страшны никакие кандалы!.. А то еще вот что случилось. Сажу я и пишу с закованными в кандалы руками. В тюрьме мне приходится много работать — нужно многое прочесть, многое изучить... Под окнами моей камеры растет дерево. И вот среди его ветвей я увидел, как вы думаете, кого? Птичку! Эта веселая птичка пела, сидя на дереве, которое растет во дворе тюрьмы. Ее голосок долетал в камеру — радостный, такой непривычный здесь, в тюрьме, в обстановке бесчеловечности и холода. Если бы вы только знали, чем была для меня эта птичка! Я слушал ее щебетание и отдыхал душой, слушал и мечтал... И был бесконечно благодарен ей за песню, за покой, которым веяло от нее, за мечты, которые она мне навевала, за смелость, которую вселяла в мое сердце...

Мы решили не уезжать из Германии, пока не кончится процесс. С нетерпением ждали часов свиданий. Брат всегда встречал нас с улыбкой, рассеивал наши тревоги. Как ни странно это звучит, но мы уходили со свидания ободренные, полные надежды.

Георгий ничего не боялся. Он превратил свою камеру, это ужасное место, в кузницу знаний и отваги. Глядя на него, слушая его, мы все больше убеждались в том, что он победит, что его правда восторжествует. И хотя сердца наши были не на месте, мы им гордились...

Даже в камере, может быть, на шаг от виселицы, он думал о нас, беспокоился о маме.

— Лина, — обратился он как-то ко мне, — вы уже столько времени здесь, а мне все не приходило в голову спросить вас, что вы делаете, как проводите время между свиданиями... Знаешь, я боюсь за маму. Ей, наверно, страшно тяжело, но передо мной она старается не подавать виду, что она тревожится... Может, она находит утешение в своей вере. Ты водишь ее по воскресеньям в церковь?

— Нет, — ответила я. — Несколько раз собиралась повести, но Боян Дановский сказал, что с политической точки зрения не к лицу матери коммуниста ходить в церковь!

Георгий нахмурился.

— Напрасно, — сказал он. — Прошу тебя, Лина, позаботься об этом. Церкви здесь на каждом шагу. Маме это нужно, понимаешь? Это придаст ей сил.

Георгий замолчал, потом как-то особенно посмотрел на меня и улыбнулся.

— Если хочешь знать, я тоже, хоть и коммунист, ходил в тюремную церковь. Знаешь почему? Я чувствую, как бежен мой немецкий словарь. Ведь я нахожусь здесь в полной изоляции! А мне нужно очень хорошо владеть немецким языком, чтобы спорить, чтобы бороться с противником... Разговаривать можно только с самим собой. Это очень страшно,

когда тебя держат одного в четырех стенах, а тебе нужна человеческая речь... И тогда я попросил директора тюрьмы, чтобы меня повели в церковь. В конце концов, это единственное место, куда мне могут разрешить пойти. Разумеется, когда я ступил под своды католической церкви, в моем сердце не было ни капли веры или упований на выдуманного бога. Там, однако, были люди, пусть взгляды у них совсем другие и они даже мои противники. Может показаться странным, но мне в тот момент именно нужны были противники, люди, не разделяющие моих убеждений... Я познакомился со священником. А потом он добился разрешения посетить меня. Беседовать с ним было очень интересно. Я спорил с ним. Выбрал тему, близкую священнику: какая религия прогрессивней — православная или католическая? Он был далеко не слабым противником. Чтобы одержать над ним верх, нужны были культура, острая мысль, гибкий язык... Священник стал навещать меня. И каждый раз мы затевали новый спор. Говорили о быте немецкого народа, об истории, искусстве, литературе... В беседах с ним я испытывал и закалял оружие, которым мне предстояло бороться.

И вот мы с похолодевшими сердцами сидим в зале лейпцигского суда. Нам было больно смотреть на Георгия, окруженного полицейскими.

Он один. Один среди стаи волков. Сумеет ли он спастись? Что для волков один человек?

Жизнь Георгия точно пламя свечи. Стоит дунуть, и... Нужна большая сильная рука, которая заслонила бы его. А волки сделали все для того, чтобы до него не дотянулась ни одна человеческая рука. Чтобы он был одинок! Но он не одинок! С ним его правда, его смелость. Они подобны солнцу, на которое фашисты пытаются бросить горсть сажки.

Слова Георгия падают в гулкий зал, как мощные удары, как яркие звезды. Когда он говорит, кажется, будто под сводами зала светлеет...

В один из перерывов адвокат сказал нам:

— Вам разрешили свидание. Идите. И посоветуйте ему вести себя осмотрительнее, не быть таким дерзким. Его жизнь висит на волоске!

Когда мы подошли к Георгию, он улыбнулся, словно читал в наших сердцах и хотел рассеять наши тревоги.

— Георгий, сынок, — попросила мама, — не будь таким резким. Отвечай осторожнее, мягче. Они тебя в порошок сотрут.

Улыбка исчезла с лица брата. Его глаза гневно блеснули:

— Как! Чтобы я молчал? А почему они держат меня здесь? По какому праву они лишили свободы невинного человека?.. Нет, мама, весь земной шар должен узнать, что они готовят человечеству кровавую бойню. Я не могу молчать, понимаешь? Я должен говорить!

Теперь улыбнулась мама.

— Говори, сынок, говори, — сказала она. — Не слушай старуху. Ты не должен молчать. Твои слова точно набатный звон. Ты родился с даром апостола...

Георгий понимал, что в нем кроется сила, которая в состоянии пере-

силить силу и полиции, и армии, и всего оружия фашистов. Поэтому он так смело поднялся против них.

— А что, если сходить в советское посольство,— предложили мы однажды,— товарищи заступятся за тебя, вызволят.

— Не надо,— ответил он.— Сходить можно, но не сейчас, а когда в этом будет необходимость.

Процесс закончился. Георгий был оправдан, но его продолжали держать в тюрьме. Тогда он сказал:

— Вот теперь можете идти в советское посольство.

Через двадцать четыре часа Георгий получил советское гражданство и был вырван из лап фашистов.

1963 г.

(Из книги «Воспоминания о Георгии Димитрове». София-Пресс, 1972.)

Дорн Таде

**МАТУШКА
ПЯРАШКЕВА**

Повестъ



Дора Габее. МАЙКА ПАРАШКЕВА. «Народна младеж», София, 1972



страшное это было время... Гонимые турками, бежали вместе со всеми из старого македонского села и родители тринадцатилетней Парашкевы. Мать держала на руках завернутого в пеленки младшего сына, сама Парашкева несла за спиной узел с кое-какими пожитками и одеждой, а отец вел коня, тащившего мешок с мукой, сундук, узел с посудой и другие необходимые в домашнем хозяйстве вещи. Точно так же были нагружены и остальные беженцы из их села, к которым то и дело присоединялись тоже спасавшиеся от турок неизвестные люди из соседних селений.

— Быстрей, быстрей,— подгоняли они проводника,— не то турки догонят!

И люди бежали сломя голову, спотыкаясь. Падали, поднимались и вновь бежали. Некоторые бросали часть своей тяжелой поклажи, но никто ничего не подбирал — не до чужого, когда со своим добром не знаешь, как управиться...

Парашкева ни на шаг не отставала от своей матери, которая еще совсем недавно тяжело болела и теперь с трудом поспевала за толпой.

— Мама, дай я понесу маленького!

— У тебя у самой узел.

— Но мне не тяжело, мама, правда, не тяжело. Он же за спиной... Давай понесу!

Мать остановилась и передала ей ребенка. Парашкева крепко прижала брата к себе. Теперь она ступала осторожно, боясь выронить малыша.

Весь день и всю ночь беженцы шли, не отдыхая. Клубившаяся повсюду пыль оседала на их узлах и прилипала к потным лицам — дети терли глаза и размазывали грязь по щекам. Когда же стало смеркаться, дети, не видя под собой дороги, начали оступаться, плакать, а взрослые кричали им:

— Замолчите вы, турки услышат!

На рассвете беженцы оказались в большом лесу. Здесь решили они наконец-то расположиться на короткий отдых. Но не успели люди хоть немного прийти в себя и на скорую руку перекусить, как проводник вновь принялся подгонять их. Превозмогая тяжкую усталость, снялись беженцы с места.

— Эй, вы, вставайте! — орал проводник на двух старух, но те все никак не могли подняться.

Ждать их никто не стал. Старух бросили. Каждый спасал самого себя и своих детей, не оглядываясь на то, что оставляет он за спиной...

Неожиданно малыш расплакался.

— Мама,— прошептала Парашкева,— он есть хочет.

Мать взяла у нее ребенка и приложила к груди. Но молока — то ли от испуга, то ли от усталости — не было. Малыш, почувствовав, что грудь пуста, совсем раскричался.

— Дай же ему поесть,— советовали ей со всех сторон.

— Молоко пропало,— шептала мать Парашкевы в отчаянии.

Ребенок заходился от плача.

— Из-за твоего крикуна и наши теперь погибнут,— прошипела какая-то женщина.

— Заткни ему чем-нибудь рот,— набросилась другая.

Мать накрыла рот младенца платком.

Что было делать? Ребенок начинал задыхаться, и мать убрала платок. Плач усиливался и усиливался. Тогда проводник приказал оставить ребенка в лесу и попытался вырвать его у матери из рук. Но тут к проводнику кинулась Парашкева:

— Не смей, дяденька, не смей! Его же волки съедят!

Но проводник оттолкнул Парашкеву и, схватив младенца, положил его под высоким деревом и вновь начал торопить людей.

Парашкева видела, как мать то и дело оборачивалась, глаза ее потонули в слезах, а высокое дерево все удалялось и удалялось. Вот оно и совсем скрылось из виду. Парашкева начала мало-помалу отставать, прячась за толстыми стволами. Когда последних беженцев уже не стало видно, Парашкева бросилась бежать, домчалась до высокого дерева, подхватила малыша и понеслась обратно. На счастье, бессиленый плачем ребенок заснул. Парашкева бежала, задыхалась и шептала, стиснув брата в объятиях, только одно:

— Боженька, помоги мне!

И вот среди деревьев поредевшего леса она увидела пестрые узлы беженцев. Как дикая кошка, едва слышно, устремилась Парашкева вперед, прячась за ветками и стволами, и, когда, наконец, оказалась возле матери, тихонько притрунулась к ее локтю. Отсутствия Парашкевы никто не заметил: каждый был занят собой и никто ни на кого не смотрел и не оборачивался.

— Тише, мама,— проговорила Парашкева и подала ей ребенка.

Мать подхватила сына и спрятала у себя на груди, под шалью. Глаза ее снова наполнились слезами, но это были уже слезы счастья.

* * *

Свой приют беженцы нашли в только что освобожденной от турецкого ига Болгарии. Они расселились по разным деревням и городам.

Родители Парашкевы осели в селе Ковачевцы, неподалеку от городка Радомира. Зажили они там как все не имеющие крыши над головой бедняки, которым все нужно начинать заново.

Нелегко было найти работу, потому что жители Ковачевцев были людьми бедными, сами трудились на своих полях, батраков не нанимали.

Трудно было и матери Парашкевы одной управляться со всей семьей, пока отец мотался по улицам Радомира в поисках работы. И не будь

Парашкевы, мать не сумела бы справиться со всеми делами. Откуда только брались силы у этой хрупкой девочки-подростка, почти ребенка, чтобы быть не только помощницей своей матери, но и доброй, светлой душой всего этого дома...

Парашкева пела, не умолкая: она не переставала петь ни над корытом со стиркой, ни тогда, когда печной дым разъедал ей глаза. Она пела и с коромыслом на плечах с двумя ведрами воды, и когда выливала воду, и когда возвращалась к колодцу с журавлем за новой. Воды требовалось много, особенно для палисадника, в котором Парашкева разбила клумбы.

— Мама, мама, смотри, гиацинт расцвел! Синий гиацинт! Мама, смотри, смотри, на сливе почки набухли — завтра распустятся! Ой, мама, Костадинчо вырвал из горшка цветок!..

— Не плачь, дочка, а убери горшки в такое место, чтобы он не дотянулся до них.

Но Парашкева не может долго плакать, не может долго сердиться. Она лишь легонько хлопает малыша по рукам, а потом притягивает к себе и целует в лохматую головенку...

А возле ворот уже остановились две девочки, с которыми она подружилась.

— Заходите! — кричит развеселившаяся Парашкева, со всех ног бросаясь им навстречу, и затаскивает подружек во двор.

— Все почки уже набухли, теперь у меня все-все скоро зацветет, — повторяет она, и глаза ее лучатся синим светом, таким же синим, как весеннее небо.

Смех трех девочек-подружек развеселил уставшую мать. Она выглядывает в окно и кричит:

— От вас умереть можно!

Добродушие скрашивает в этом доме бедность, усталость, неудачи. Но всему на свете бывает свой конец, не вечна и радость...

Парашкеве еще не исполнилось пятнадцати, когда отец послал ее на заработки в соседнее село. Она должна была помогать жене старосты — кмета — по хозяйству и нянчить ее грудного младенца.

Жена кмета была женщиной больной и запуганной. Она боялась своего мужа, особенно тогда, когда после обхода села он возвращался домой пьяным.

Вот он вваливается в комнаты прямо в грязных сапогах и говорит так громко, что спящий в люльке ребенок немедленно просыпается:

— Парашкева!

Парашкева тут же прибегает.

— Стаскивай сапоги!

Парашкева приседает на корточки и начинает стаскивать с хозяина сапоги. Грязь прилипает к ее рукам, попадает на лицо, а кмет нетерпеливо ворчит:

— Неси воду мыться!

Парашкева поливает, а он отдувается, отплеивается, забрызгивая все вокруг. Затем берет полотенце.

— Ты что это на меня уставилась, а? Накрывайте на стол, есть хочу!

Парашкева убегает. Жена кмета медленно поднимается с лавки. Сегодня она встревожена: двое ее старших детей выбили окно в школе.



*Мать Георгия Димитрова —
Парашкева Досева-Димитрова
(1862—1944).*

*Отец Георгия Димитрова —
Димитр Михайлов-Тренчов (1851—1913).*

*В этом доме в селе Ковачевцы
18 июня 1882 года родился
Георгий Димитров.*



Георгий Димитров. 1905 г.

А что, если учитель сообщил об этом отцу? Всегда, когда кто-нибудь из детей провинится, староста кричит:

— У тебя не дети, а черт знает что! Бандюги какие-то!

Как будто это не его дети, а только ее!

Парашкева слушает несправедливые упреки, и сердце ее сжимается от жалости.

Однако похоже было, что учитель еще ничего не сказал. Староста сел за стол, и жена проворно подала ему есть. Парашкева, услышав, что младенец проснулся, бросилась к люльке...

Однажды кмет прислал человека, сообщившего, что необходимо приготовить хороший ужин: кмет хочет угостить двух приятелей из города. Поздно вечером хозяин привел гостей. Хозяйка уже накормила детей и уложила их спать. Затем, подав жареную курицу, вино и баницу — слоеный пирог с брынзой, — она вышла. Мужчины остались одни.

— А ты не ложись пока, — сказала хозяйка Парашкеве, — может, еще что-нибудь им понадобится.

Парашкева подседа к печке, а так как вода в ведре уже закипела, она расплела свои длинные толстые косы и начала мыть голову. Но едва она успела отжать волосы и доплести вторую косу, как староста кликнул ее:

— Сходи-ка еще за вином!

На пороге появилась жена:

— Темно уж, как же она дойдет, да и далеко...

— Ничего ей не сделается, — отозвался староста.

Парашкева взяла большую оплетенную бутылку, повязала голову платком и вышла. Снег, белея, хрустел под ее башмаками, лаяли в соседних дворах собаки. Холод пробирался под платок, стягивал мокрые волосы. Парашкева пошла быстрее. Замерзшие косы ударяли по спине.

— Что это ты по ночам в такой мороз ходишь? — спросил ее трактирщик, наполнив бутылку.

— У хозяина гости, — тихо ответила Парашкева.

Трактирщик покачал головой...

Всю ночь Парашкева оттаивала задевшие волосы. Она подбрасывала в печку дрова и склонялась над пламенем. Заснула она уже под самое утро. Ее разбудили гости, надумавшие уходить спозаранку. Парашкева попыталась встать, но почувствовала, что никаких сил у нее нет. Она горела в лихорадке.

Когда через две недели Парашкева в первый раз поднялась с постели, она была бледна, как снег на дворе. Лишь глаза ее стали еще синее.

Дети старосты окружили девушку:

— Ну как, ты уже выздоровела?

— Расчеши волосы, две недели нечесаная лежала, — сказала Парашкеве хозяйка, протягивая ей большой гребень с длинными зубцами.

Когда Парашкева начала причесываться, половина волос осталась на гребне. Она расплакалась. Ее утешали дети, утешала хозяйка:

— Вот увидишь, они скоро опять вырастут.

Но косы у Парашкевы больше не выросли, волосы стали редкими и слабыми.

А староста сказал:

— Так даже лучше — возни меньше. Да и тяжело небось с длинными-то косами ходить...

Прошло два года. Парашкеве нужно было возвращаться в Ковачевцы. Отец решил отдать ее в услужение к своей сестре, одинокой вдове, женищине больной и угрюмой.

Тяжело было расставаться с Парашкевой детям сельского старосты. Добрая хозяйка обняла ее, все всплакнули. Даже кмет и тот смягчился и сказал отцу Парашкевы:

— Хорошая у тебя дочка, работающая. На мой взгляд, такую лучше дома держать. Скоро невестой станет.

— Вот пускай нам и поможет, пока своей семьей не обзавелась!..

Новая хозяйка встретила Парашкеву неприветливо и сразу же запрягла в работу.

— Забудь, что я тебе тетка, знай, что теперь я для тебя хозяйка!

Парашкева не возражала. Она не боялась работы, но не по себе становилось ей, когда она слышала:

— Хватит тебе петь-то, голова раскалывается.

Парашкева умолкала.

Или:

— Что это ты растопалась, не на свадьбе небось!

Тетка не пускала Парашкеву по воскресеньям танцевать с подружками хоро¹. Однажды, увидев, как засветились большие глаза Парашкевы, которая услышала доносившиеся с площади звуки волынки и пение молодых парней, она заперла ее в чулане и ушла. Вернулась уже к вечеру. Глаза Парашкевы были красны.

— Только посмей пожаловаться на меня отцу, я тебе покажу! — пригрозила тетка.

Но Парашкева не испугалась. В тот же час увязала она в платок свои вещи и, уходя со двора, крикнула:

— Прощайте, тетушка! Больше вы мне не хозяйка!

* * *

В доме снова как будто посветлело. Легче стало матери, которой Парашкева помогала стирать чужое белье и развешивать его на дворе. Теперь можно было брать работы уже вдвое больше. Сладок был хлеб, добывавшийся под смех и песни!

— Какая невеста выросла! — хвалилась мать своей дочкою перед соседями.

— Скоро у тебя ее уведут...

— Вот уж повезет тому, кто ее возьмет!

— Что говорить! Ни за что, ни про что счастье выпадет!

А Парашкева уже сама выбрала свое счастье, когда Димитр крепко взял ее за руку, чтобы танцевать с нею хоро. Лишь поглядела на него и все поняла. Долго не раздумывала...

— Ты что, дочка, действительно хочешь за Димитра Михайлова замуж пойти? — спросил как-то Парашкеву отец.

— Хочу, — ответила Парашкева и покраснела.

— И бедности его не боишься?

¹ Хоро — народный болгарский танец.

— Мы и сами бедные...

— Может, тебе другого поискать? Какое у Димитра хозяйство? Телега, конь да две пустых руки. Возчик! Какие у него доходы? Чуть ли не голодает. Того гляди, по миру пойдет.

— Не хочу другого! — крикнула Парашкева и выбежала во двор.

Когда Димитр явился свататься, у него с собой в сумке было несколько яблок. Он отдал их с поклоном матери Парашкевы, снял шапку и выпрямился. Мать увела детей, вбежавших в комнату вслед за гостем, а потом и сама вышла и закрыла за собой дверь, оставив Димитра наедине с отцом.

— Садись, садись! Не стесняйся. Говори, что у тебя на уме, что на сердце.

Димитр опустился на лавку у стены и принялся теревить шапку.

— Пришел к вам просить дочку вашу в жены... Мы с ней уже сговорились и хотим пожениться...

Быстро выговорив эти слова, он опустил голову и стал ждать ответа. Отец раскурил трубку, затаился и выпустил дым, закашлялся и исподлобья взглянул на парня. «Красивый, дьявол его побери,— подумал он.— Хвалят его люди, и Парашкева хочет за него пойти».

— Теперь, значит, все дело за мной, так, что ли?

Димитр поднял глаза и застенчиво улыбнулся.

— Ну, скажем, я соглашусь. Только чем ты докажешь, что моя дочь не будет за тобой голодать. Она у меня девушка что надо, руки у нее золотые, а сердце и того дороже.

Старик поднялся, подошел к двери, открыл ее и позвал жену.

Смушаясь, та вошла в комнату, поглядела на мужа, перевела взгляд на молодого человека, который стоял выпрямившись и чуть не доставая головой до низкого беленного известью потолка.

— Ну что, отдашь дочку за этого молодца?

Мать улыбнулась:

— Как ты скажешь.

— Ты ее родила, ты ее выкормила, теперь решай, нужно ль ее из огня да в полымя бросать, из бедности в бедность...

Димитр вздрогнул.

— Тот не бедняк, кто молод и трудится.

Отец Парашкевы взглянул на него и сказал жене:

— Позови-ка дочь.

Парашкева, задыхаясь, вошла в комнату, прислонилась к двери. Испуганными глазами смотрела она то на отца, то на Димитра.

— Ну, ладно, будьте счастливы!

Парашкева кинулась к отцу, схватила его руку и поцеловала, затем бросилась в объятия матери.

— Ну, будет, будет, дочка. Поласкались — и хватит, готовьте ужин. А я пока за вином схожу.

— Нет, нет, я схожу, — крикнул Димитр и как вихрь выскочил из комнаты, пересек двор и в спешке сильно хлопнул калиткой.

Отец поглядел в окно и, повернувшись к Парашкеве, сказал:

— Теперь, дочка, твоя жизнь в твоих руках. Смотри, как ее устроить. Дело это нелегкое, сама знаешь...

— Я молода, Димитр молод, мы жизни не боимся!

— Аминь! — И старик вновь задымил трубкой.

* * *

В 1882 году, восемнадцати лет, Парашкева родила своего первого ребенка.

— Сына принесла мне жена моя! — хвастал Димитр, угощая своих приятелей в кабачке.

— Пусть будет твой сын жив и здоров, юнаком станет, — благословляли первенца Парашкевы соседки.

Слово «юнак» запало в память Парашкевы. Она ли не певала песен о храбрецах-богатырях? До трех лет кормили их своим молоком русалки, поэтому и вырастали они героями. Почему бы и ей не кормить своего подольше? «Выращу его юнаком», — сказала себе Парашкева и дала обет, поклявшись во что бы то ни стало исполнить его.

Ребенка отнесли в Радомир, окрестили Георгием и записали в церковную книгу.

Быстро проходили дни и месяцы, быстро рос под песни своей матери сын, впитывая вместе с ее молоком и веру в то, что станет юнаком.

Однажды Димитр увидел среди развешанных на плетне пеленок чужое белье. Как ужаленный, вбежал он в дом.

— Ты стираешь на других, да?

— Беру иной раз, не могу я без работы, Димитр.

— Чтобы я больше не видел этого никогда! Я поклялся твоему отцу, что не заставлю терпеть нужду ни тебя, ни ребенка.

— Хорошо, хорошо, не волнуйся.

Вечером Димитр, как бы смущаясь, заговорил:

— Послушай, я надумал продать коня и телегу и открыть лавочку...

— Не надо, Димитр, мы останемся с пустыми руками...

— Может, кабачок тогда заведем?

— Да ты что? Пьяные шуметь станут, никакого покоя не будет.

Димитр задумался.

— Не спеши, — продолжала Парашкева. — Пусть Георгий подрастет, а голодными мы пока еще не бывали.

Димитр благодарно поглядел на жену и поднялся.

— В Радомир хочу съездить. Говорили, что там можно найти работу.

Парашкева проводила мужа до ворот и стояла, пока он не скрылся из глаз.

Через месяц Димитр погрузил на телегу нехитрый домашний скраб, Парашкева взяла мальчика на руки, и семья отправилась в Радомир.

* * *

Георгий был совсем еще малышом, когда в доме появилась сестричка. Вместе с радостью на плечи Парашкевы легло и тяжелое бремя. Димитр с одним из родственников приспособился шить шапки, а Парашкева делала к ним подкладки. Ей было нелегко: живой, непоседливый мальчик не давал работать спокойно. Он не мог сидеть дома, на месте. Все время тянуло его на улицу — поглядеть. Он вставал у расположившегося возле ворот какого-нибудь лоточника и начинал расспросы:

— А это что такое? А зачем это? И это все твое, да? А что ты мне дашь?

Парашкева тянула сына за руку, но лоточник заступался:

— Оставь его, молодка. Ребенок ведь, ему все знать хочется.

Иногда Парашкева жаловалась Димитру:

— Не могу я с Георгием справиться, прямо никак.

— Кто ж виноват, если ты кормишь его, как юнака!

Парашкева смеялась:

— И дальше так кормить буду, пока смогу...

С рождением Магдалины прибавились новые заботы. Двое маленьких детей и домашние дела целиком поглотили Парашкеву. И все же, когда дом засыпал, она брала иглу и садилась шить подкладки, которые не смогла приготовить для мужа днем.

— Почему ты не ложишься? — шептал Димитр.

— Детишек вот убаюкаю и сейчас же лягу, — отвечала Парашкева и принималась раскачивать люльку или шла укрывать Георгия, который часто сбрасывал с себя во сне одеяло.

Иногда, переделав все домашние дела, накормив всех досыта и уложив детей, Парашкева садилась поговорить с соседками с каким-либо вязаньем в руках. Это было для нее отдыхом.

Но и этот отдых был кратким, потому что приходил Георгий и начинал теребить ее за руку.

— Ты почему встал?

— Пойдем, Линка раскрылась...

Однако Парашкева знала, что причина в другом: Георгий хотел молока — материнского молока...

После двух лет жизни в Радомире Димитр решил переселиться в Софию, надеясь найти в столице работу поприбыльней.

— А еще кто собирается в Софию? — спросила мужа Парашкева.

— Сговорились со свояком, и еще двое собираются.

Не прошло и двух месяцев, как телега Димитра, нагруженная нехитрыми пожитками, с женой и детьми, затараштела по разбитой дороге, ведущей из Радомира в Софию. Над ними было чистое синее небо только что наступившей ранней весны.

* * *

По приезде в Софию семья остановилась на одном из постоянных дворов, построенных еще во времена турецкого ига. Димитр оставил жену и детей в маленькой комнатке и отправился на поиски квартиры. Целый день скитался он по городу и только к вечеру возвратился, довольный и радостный:

— Парашкева, собирай ребятишек, я дом нашел!

Заторопилась Парашкева. Подняла маленькую Лину, заплакавшую спросонья. Георгий скакал от восторга, и мать едва сумела одеть его и кое-как собраться сама. И вот они покинули старый, насквозь прокоптившийся постоянный двор с кривыми ступенями крыльца, с непросыхающими вокруг лужами. Весело стучали колеса по булыжникам мостовой. Георгий время от времени вскакивал и кричал восторженно:

— Смотри, мама! Какой большой дом!

— Да погоди ты, — отвечала Парашкева и пыталась усадить сына.

— Мама, мама, гляди — церковь! — вскакивал мальчик снова.

Димитр обернулся.

— Это евангелическая церковь. Тут близко и наш дом.
Он остановил коня возле приземистого дома с маленьким двориком. Их встретили женщины и дети. Одни открыли ворота, другие смотрели на них из окон.

— Это вы новые жильцы будете, да?

— Мы,— улыбнулась Парашкева.

— Где же вы тут все поместитесь?

— А разве этот дом не для нас?

Все рассмеялись. Парашкева удивленно оглядывалась.

— Наш дом, наш дом! — закричал маленький Георгий и протиснулся вперед.

— Нет, не ваш! Тут мы живем,— ответили ему несколько ребятишек сразу,— а для вас места нет, уезжайте!

Парашкева стояла окаменевшая, не обращая внимания на Георгия, дергавшего ее за локоть.

— Замолчите, сорванцы! — крикнула какая-то пожилая женщина.— Для всех место найдется. У них есть своя комната. Набросилась! Ребенка до слез довели. Срамota!

— Я не плачу,— сказал Георгий, вытирая глаза...

Вслед за женщиной они вошли в дом, прошли через кухню и оказались в маленькой комнатке. Когда внесли лавку, люльку, сундук и большой узел с вещами, в ней едва можно было повернуться.

— И все же у нас есть свой угол и крыша над головой,— вздохнула Парашкева.

— Не отчаивайся,— ответила ей женщина.— Все мы беженцы, все мы искали крышу над головой, все мы мечтали в каком-нибудь закутке пристроиться. Слава богу и за то, что имеем. Свыкнитесь и вы.

Парашкева взглянула в ее глаза и поняла, что перед нею добрый человек.

— Мы что ж, должны ходить через вашу кухню? — спросила Парашкева.

— Да...

— Мешать вам только будем. А ребятишки что-нибудь и натворить могут.

— Дети есть дети. За ними, конечно, присмотр нужен. Теперь твой муж может пойти с мальчиком погулять,— сказала женщина Парашкеве,— а мы приберемся в комнате. Пока ты покормишь малышку, я пойду принесу воды...

Комнату прибрали, стали в ней жить.

* * *

Но жизнь в этой комнате оказалась нелегкой. Слишком она была мала. Георгию уже исполнилось четыре года, а Магдалинка вовсю скакала по лавке, потому что другого места для игр не было. Сколько Парашкева ни прибирала, как ни приводила комнату в порядок, ничто на своих местах долго не задерживалось. Дети растаскивали и разбрасывали вещи, разбивали чашки, обрывали занавески, обливались молоком, пачкали руки.

— Мамочка родная, что ж это за разор такой! — восклицала Парашкева, возвращаясь с базара.— Тебе, Георгий, поручили за Магдалин-

кой смотреть, а за тобой за самим присмотр нужен. Что ж вы за дети такие, что за неслухи! Вот уйду из дому совсем — без матери останетесь! Георгий, испуганно глядя на мать, бежал к ней.

— Мама, я больше не буду...

Как-то Парашкева услышала поднявшийся на дворе большой шум. Через некоторое время — шаги по коридору и в кухне. И вот в комнату врывается хозяйка дома, держа Георгия за ухо.

— Ударил моего мальчика, да так, что у него кровь из носа пошла. Забирайте своего хулигана!

Парашкева вскочила:

— Что ж ты наделал! Как можешь ты бить другого! Кто тебя учил драться? Отец до сегодняшнего дня пальцем тебя не тронул!

Она выхватила сына из рук женщины и потащила его по тесному проходу между лавками в глубину комнаты.

— Сиди здесь и не смей никуда выходить отсюда!

— Мама!

— Сейчас же замолчи!

— Мама, мама, — закричал Георгий, протиснувшись между Парашкевой и хозяйкой дома. — Он сказал, что мы бродяги. Но ведь мы не бродяги, нет? Я никому не позволю говорить, что мы бродяги! Мама, я за это и ударил его!

— Хорошо же вы воспитываете своих детей, — с презрением сказала хозяйка. — Это что ж получается? Мы приютили вас в столице, а вы будете бить наших детей, так, что ли? Ничего, мы найдем на вас управу!

Громко хлопнув дверью, женщина выскочила из комнаты.

Меньше чем через полчаса в дверь постучали и вошел полицейский. За ним — хозяйка и мальчик с забинтованным носом.

— Что здесь происходит? — заорал полицейский. — Кто здесь дерется?

— Я!

Парашкева бросилась к Георгию и загородила его собой.

— А ну иди сюда, — приказал полицейский Георгию, — нечего прятаться.

— Обидели его, не стерпел ребенок, — сказала Парашкева.

— Если даже и обидели, все равно не имел права бить, — ответил полицейский.

— Он обещает, что больше не будет...

— Понаехало вас, беженцев, на нашу голову! Вас приняли по-человечески, а вы себя в руках держать не желаете, — вмешалась в разговор хозяйка.

— И мы тоже ведь люди, — возразила Парашкева.

— Люди, а ведете себя не по-людски. Ты, молокосос, — полицейский повернулся к Георгию, — не забывай, что ты беженец. И не смей драться, слышишь! Я ведь тоже стукнуть могу!

Полицейский повернулся и вышел. Георгий тут же кинулся к матери, обнял ее и разрыдался.

— Тише, тише, мой мальчик, успокойся, не плачь. Ты же сам говорил, что никого не боишься: ни волка, ни медведя. А полицейского испугался, да?

— Я не испугался, мама. Скажи, если ни ты, ни я, ни папка не бродяги, за что же нас обижают?

— За то, что мы беженцы, сынок.

— И мы будем ими всегда, мама?

— Нет, мальчик мой, нет.

Вечером, когда дети уснули, Парашкева и Димитр, лежа на узкой деревянной кровати, тихо переговаривались. Неожиданно Георгий вздрогнул во сне и скинул одеяло. Парашкева укрыла сына и, чтобы успокоить его, положила ему руку на лоб.

— Весь день сегодня ребенок сам не свой...

— Разбойник какой-то, а не ребенок,— сердито проговорил Димитр и добавил:— Будем искать другое жилье.

— И на новом месте все будет чужое, Димитр, и там неизвестно, на каких людей нападешь.

— Где же выход, что ж делать тогда?

— Свое жилье строить. А земляки помогут. Кирпич сами сделаем, сами и дом сложим. Какой-никакой дом, пусть маленький, зато свой.

Димитр задумался.

— Ну, что ты на это скажешь? — закончила Парашкева.

— Завтра пойду порасспрашиваю, как можно получить место для застройки. Мне и свояк однажды намекал: построим, мол, дом на двоих... Только не верится мне, что из этого может что-нибудь получиться.

— Может, Димитр, получиться, должно получиться, нужно, чтоб получилось. Сам видишь, здесь мы жить больше не можем. Завтра Георгий еще с кем-нибудь подерется, и кто знает, чем все это кончится...

— Ладно, Парашкева, попробуем.

Приняв решение, они успокоились и заснули. Лишь маленькая Лина спала плохо, плакала, и Парашкева дважды вставала и убаюкивала ее.

— Я тревожусь, и малышке мое беспокойство с молоком передается. По доброте своей приютили нас, говорят... Ох уж доброта эта! Тяжело нам от нее, Димитр, как же тяжело!

* * *

В то время Македония и Фракия томились еще под властью турок. Целыми селами оставляли люди свои дома и бежали куда глаза глядят. София была переполнена беженцами. Нелегко было сразу разместить их. Мужья ходили из одного учреждения в другое, а матери и бабушки с детьми и внуками на коленях сидели на холодных камнях тротуаров и грустно переговаривались. Тут же на улицах стирали свое белье — прямо под водоразборными колонками.

Находились добрые люди, которые приносили беженцам еду и одеяла. Некоторые пускали к себе в дом. Но среди горожан были и такие, кто набрасывался на беженцев с укорами и бранью.

— Мало нам своих забот,— кричали они,— теперь вот еще и об этих думай!

Мужчины побойчее нашли место для поселения за городом, возле квартала Ючбунар. Другие последовали их примеру. Прошло совсем немного времени, и среди чистого поля стали возникать маленькие домики, низенькие временки, а то и просто шалаши.

С этими-то людьми и познакомился Димитр. Вместе со свояком он начал лепить кирпичи и разыскивать другие строительные материалы. Парашкева готовила на костре еду для мужа и детей. Георгий носил

воду: из ближайшей реки — для побелки, а из колонки — для питья. Собирал для костра ветки и щепки.

— Гляди, мама, как быстро растет наш дом! Вот покроют крышу черепицей, и мы сразу в него въедем, да, мама?

— Сначала ему просохнуть надо, — отвечала Парашкева.

— Да он уже просох, — нетерпеливо возражал Георгий.

Приступили к строительству и другие беженцы. Пустое поле превратилось в маленький квартал с низкими домиками и небольшими дворами. Но зарядил дождь, и все вокруг превратилось в болото. Прилипающая к обуви грязь заносилась в дом, и утрамбованный земляной пол — без досок — стал походить на распаханное поле.

Дети все время должны были сидеть на лавке, но как можно удерживать ребенка, когда сама жизнь не позволяет ему быть неподвижным, бурлит в нем!

Едва мать отворачивалась или выходила на минуту из дома, как Георгий уже оказывался внизу и, прыгая с камня на камень, выскакивал во двор. Следом за ним слезала с лавки и маленькая Лина, падала в грязь и начинала пищать. Но беда была не только в этом. После дождя поднимался ветер, гнал с поля сухие колючки, свистел под окнами, выл в печной трубе, хлопал калиткой. Георгий, не в силах устоять перед искушением побороться с ветром, выскакивал наружу, так чтобы мать не заметила, и бежал с мальчишками в поле. Возвращался он домой вспотевший, запыхавшийся, ночью у него начинался жар, его душил кашель. А Парашкева тревожась, переживай!

— Слишком уж он озорной, — говорил Димитр.

— От других ребят научился. И дурные слова у них перенял. Шлепну его по губам, а он каждый раз новые приносит... Надо бы нам огородить двор.

Дощатый забор немного успокоил Парашкеву...

Подошла зима с метелями и ветрами. Поле покрылось сугробами, дома оделись в белые тулупы. От заваленных снегом ворот нужно было пробивать проходы. Они были похожи на туннели и вели к реке и дальней колонке. Мужчины, женщины и даже дети расчищали недавно возникшие улицы, но едва пригрело солнце — и растаявший снег превратил бедный беженский квартал в сплошное озеро. Дома затопило, люди, подобрав ноги, сидели на лавках, дети без конца простужались.

Несчастные беженцы боролись со стихией и терпеливо ждали прихода весны и тепла. Мужчинам было легче: они уходили в город, каждый по своим делам, а жены и матери оставались все с теми же тяготами и заботами. И огонь не хотел гореть из-за сырости, и молоко из-за плохой погоды совсем перестали приносить. А дети не знают, что значит «нет»...

Давным-давно забыла Парашкева и про рученицу¹, и про хоро. Лишь иногда убаюкает засыпающую дочку какой-нибудь песенкой и сидит напеваает сама себе что-нибудь, пока вяжет чулок, но Георгий прерывает ее своими постоянными вопросами:

— Мама, а все дети ходят в школу?

— Все.

— Почему же Данчо не ходит?

¹ Рученица — народный танец.

— Потому что он должен помогать своей матери.
— Зачем?
— А затем, что у нее пятеро детей и много работы.
Георгий умолкает, но не надолго.
— А я стану школьником?
— Станешь.
— Кто же тебе помогать тогда будет?
— Там увидим.
Георгий вновь на мгновение умолкает.
— Я буду помогать тебе после школы.
— Вот и хорошо,— отвечает Парашкева, а думает при этом совсем о другом: вот и третий ребенок скоро родится, как их всех прокормить?
— Мама, ты меня не слушаешь!
— Слушаю, сынок, слушаю.
— Не слушаешь, потому что ничего мне не отвечаешь.
— На что, сынок?
— Как я буду тебе помогать.
— Конечно, будешь.
— А сама не веришь!
— Верю, сынок, верю.
— Ох, мамочка, не веришь!
Георгий огорчен, на глазах у него появляются слезы.
— Почему же я тебе не верю, мальчик?
— Потому что я непослушный,— тихо отвечает Георгий.
— Станешь послушным.
— Стану, мама. Правда, стану. Ты веришь?
— Конечно.
Георгий успокаивается и принимается играть с Линой. Обычная их игра — скакать по лавкам. С одной на другую. Парашкева терпеливо переносит эту возню. «Если уж я не выпускаю их из дома, могут ли они сидеть в нем смирно? Пусть скачут».

* * *

Зацвели два сливовых дерева, которые Димитр посадил, еще когда дом только-только начинали строить. Георгий и Лина насобирали камешков и выложили ими дорожки, а Парашкева огородила клумбы и посадила цветы. Не прошло и месяца, как распустился первый гиацинт. Парашкева открыла окошко и выглянула в палисадник. Георгий кричал Лине, чтобы она не ходила по клумбе.

— Мама, погляди-ка!
— Что там такое, что случилось?
— Гиацинт, синий гиацинт...
Парашкева выскочила из дома и всплеснула руками:
— Мамочки, пахнет-то как хорошо!
— Я хочу его полить,— сказал Георгий.
— И я, и я,— закричала маленькая Лина.
— Цветы нельзя поливать когда вздумается. Смотрите, чтобы их не затоптали чужие ребята и куры не поклевали.

Но соседские ребята все же нахлынули во двор, потому что Георгий уже успел похвастаться. Родители этих ребят пока еще не привели в порядок свои дворы — хватало других забот, поважнее этой. Димитр и Парашкева тоже, конечно, все время были заняты, но могла ли Парашкева жить без цветов! И в самые тяжкие времена, и в тесной комнатенке, в которой они прожили в Софии свои первые два года, у нее на окошке всегда красовались горшки с цветами. Парашкева никогда не выбрасывала ни прохудившейся кастрюли, ни проржавевшей кружки — все шло под цветы. Подберет где-нибудь косточку или орех и обязательно посадит: пусть, мол, растет...

— Тебе хорошо, — говорила Парашкеве соседка, — у тебя время свободное остается, а мы не можем и минуты выкроить, чтобы цветы посадить.

Злая и завистливая была соседка. Разве у Парашкевы не было забот? С утра до глубокой ночи. И чужую работу брала — пряла, вязала чулки или плела кружева. Вся комната ее была украшена расшитыми покрывалами и подушками из ее приданого. Все узоры на них были придуманы самой Парашкевой. Приходившие к ней женщины всегда удивлялись тому, откуда она брала такие рисунки.

— Сама придумала, — тихо отвечала Парашкева, будто стыдясь признаться в этом.

— А подушку вон на том покрывале кто вышивал?

— Кто ж ее мог вышить — сама и вышила, когда еще невестой была.

Пожилые женщины с плохим зрением заказывали Парашкеве выткать дорожки на лавки в свои новые дома (Димитр сделал ей ткацкий станок еще в Радомире). Молодые женщины приходили снять рисунки с ее работ. Парашкева никому не отказывала. Скоро к ней стали ходить учиться рукоделию. Особенно когда узор оказывался сложным. Так обрела себе Парашкева добрую славу среди женщин нового квартала, а вскоре и их любовь.

— Тетенька Парашкева, я в город иду, хотите, вам что-нибудь куплю? — спрашивает какая-то девочка.

Парашкева не может отлучиться в город — не на кого оставить детей, поэтому она охотно соглашается, чтобы ей купили что-либо из того, чего в новом квартале не найти, хотя тут кое-кто и открыл уже бакалейные и зеленые лавчонки.

— Тетушка Парашкева, я за водой иду, вам принести?

— Спасибо, — отвечает Парашкева, — я Георгия пошлю.

Георгий носит в маленьком кувшине воду для питья из колонки, а из реки — в ведре — воду для стирки. Но однажды он вернулся домой почти с пустым ведром, а следом за ним шли какие-то ребята.

— Тетя Парашкева, скажите ему, чтобы он не разливал нашу воду.

— Георгий, — возмутилась Парашкева, — ты зачем это делаешь?

— Он сам разлил мое ведро. Он первый начал!

— Это правда? — спросила Парашкева.

— Нет, тетя Парашкева, Георгий врёт!

— Мама, я не вру. Они первые толкнули меня, а я им не уступил.

Спор не прекращался. Парашкева увела Георгия в кухню.

— Идите, идите себе, ребята, но в другой раз так не делайте и не ссорьтесь, — сказала Парашкева и закрыла дверь...

Соседские ребята часто залезали на забор и звали Георгия и Маг-

далинку на улицу. Парашкева не пускала их. Тогда ребята начинали ругаться — этому они научились от своих родителей, которые часто напивались, ссорились и дрались между собой.

Как-то Парашкева заметила, как Георгий и Лина проскользнули через щель в заборе в соседний двор. Вскоре оттуда понеслись крики и вопли.

— Чего смотрите, убирайтесь-ка отсюда! Живо, живо!

Парашкева бросилась на крики, подхватила Лину. Георгий быстро отскочил в сторону.

— Мама,— всхлипывает Лина,— Георгий не виноват...

— Вам же запретили подглядывать, а вы — опять!.. Георгий, когда же, наконец, ты поумнеешь?

— Мама,— спросил Георгий,— а почему они дерутся?

— Потому что пьяные.

— А почему они пьют, мама?

— От бедности, сынок, от горя, от темноты своей...

— Мама,— продолжает допытываться Георгий,— а почему люди такие бедные?

— Потому что много богатых. Вот бедным ничего и не остается.

— А почему?

— Вырастешь — поймешь.

— Разве я не могу понять сейчас?

— Я же сказала тебе, когда вырастешь — поймешь.

Георгий не доволен ответом матери, но у нее нет времени на долгие разговоры.

— Новый пол совсем грязный, а воды, чтобы его помыть, нету. Пойдем-ка со мной на речку,— говорит Парашкева.

Георгий берет пустое ведро, Парашкева — другое, и они идут за водою. Лина бежит следом.

— В наказание ты будешь мыть пол,— выговаривает Парашкева сыну.— Вместо того чтобы помогать мне, ты только и знаешь, что отравлять меня от дела.

— Ладно, я вымою, мама.

— Разве ты не хочешь стать школьником? А школьники слушаются...

— А когда я пойду в школу, мама?

— Когда пройдет лето и когда станешь послушным.

* * *

Еще с вечера Парашкева принялась собирать Георгия в школу. Новые брюки, чистая рубашка с вышитым воротничком, новая фуражка, новая сумка с ремешком через плечо.

Она достала из сундука тяжелую, в складках юбку, синюю блузу, синий головной платок и чистый носовой.

— Мама, а ты ходила в школу? — спросил с кровати Георгий.

— Я не ходила, сынок.

— Почему?

— Потому что мы были бедные, и я помогала отцу зарабатывать на хлеб.

— Поэтому ты и не умеешь читать?

— Поэтому, сынок. А ты что это не спишь?

— Не спится.
— Накройся с головой. Завтра нам рано вставать.
Георгий укрылся, но через некоторое время опять заговорил:
— Мама, а Магдалинка пойдет с нами?
— Пойдет.
— А другие ребята, соседские, пойдут?
— Не знаю... А ты спать, наконец, будешь или нет? — прикрикнула Парашкева на сына. — Спи, тебе говорят, а то Лину разбудишь!
Когда Димитр вернулся с работы, было уже около полуночи.
— Где ты пропадал? — встревоженно спросила его Парашкева.
— С приятелями засиделся, решали, как дальше жить будем. Торговля совсем не идет. Моя лавочка в пассаже святого Николая нас не прокормит, еле концы с концами свожу. И ссуду из банка получить трудно, а дом наш мы еще как следует не отделали.
— Что же вы решили?
— Решили закрыть лавочки и устроиваться на фабрику.
— Думаете, там больше заработаете?
— Нет, больше не заработаем, а вот времени свободного будет больше: можно заняться каким-нибудь ремеслом на дому.
— Господи, днем на фабрике, вечером над сапожной колодкой! Железный ты, что ли? Как же ты это вынесешь, Димитр? — озабоченно проговорила Парашкева и под села к мужу за стол.
— Когда расплатимся, буду работать только на дому. Не хочу я больше этой лавочкой заниматься. Нужно что-то другое придумывать.
— Ребенок в школу идет, на это тоже деньги требуются.
— Само собою, — задумчиво проговорил Димитр.
Утром Георгий встал самым первым.
— Идем, мама, а то опоздаем.
— Да еще темно, сынок, куда ты спешишь?
Отец едва успокоил Георгия. Но сон у всех уже пропал. Расплакалась Лина. Парашкева подошла к ней, протерла ей мокрым платком глаза. Георгий был уже готов идти в школу. Отец подогнал ему ремень по росту, пока Парашкева кипятила молоко и вынимала из печки лепешки, которые она замесила еще с ночи.
Сели за стол и начали пить горячее молоко.
— Не спеши, обожжешься! — сказала Парашкева Георгию.
— Не могу, мама, мы же опоздаем!
— Есть еще время, не торопись! — приказал сыну Димитр.
Парашкева одевала Лину. Заплела ей в косички красные шелковые лоскутки, оставшиеся от ее девичьей блузы, нарядила в чистое платьице, и все приготовились выйти из дома.

Георгий выскочил во двор первым. По дороге Димитр попрощался с семьей и, пожелав сыну успеха, пошел на работу. Парашкева, улыбаясь, кивнула мужу...

— Не лети так, Георгий! Лина не поспевает!

Но Георгию не терпелось поскорее попасть в школу, и он убежал вперед, а когда мать с сестрой нагоняли его, начинал спешить снова.

Никогда Парашкева не была так счастлива, как в этот день. Никогда гордость и радость не наполняли ее сердце, как сейчас. Ее детство было лишено всего этого. Она лишь глядела, как шли в школу с книжками и тетрадками за спиной другие дети, веселые, оживленные, а школьный

звонок звал их. Как он манил ее! Как манил! Но у нее не было времени даже на то, чтобы остановиться и как следует рассмотреть школьников. Звенел школьный звонок, но вместо радости наполнял сердце Парашкевы горечью. Так и осталась Парашкева неграмотной.

А теперь! Теперь ее сын получит все то, чего была лишена она. Ее материнское сердце едва не разрывалось от счастья. Никогда, казалось Парашкеве, так хорошо не светило солнце, никогда люди не выглядели такими добрыми...

Парашкева шла со своими детьми мимо новых домов, построенных беженцами. Из ворот выходили женщины:

— В добрый час, Парашкева! В добрый час, Георгий!

Войдя в школу, Георгий смутился. Он схватил мать за руку, заглянул ей в глаза, а Парашкева улыбнулась ему. Георгий был самым маленьким из тех ребят, которые вместе с ним записывались в первый класс. Скоро подошла и его очередь. Учитель жестом пригласил Георгия подойти. Георгий встал перед учителем и сказал: «Добрый день!» Так его научила мать. А когда учитель спросил его: «Как тебя зовут?» — Георгий смело ответил: «Георгий Димитров».

* * *

В тот же год родился Никола. Заботы Парашкевы утроились. Правда, приходя из школы, Георгий старался помогать ей, но был он слишком непоседлив и часто проказничал. Однажды, моя на кухне пол, он бросил в дверь ком земли и попал в спину одному из работавших на улице мужчин. Несколько человек зашли в дом к Парашкеве и стали ругаться. Так, мол, и так, ваш сын Георгий кидается грязью.

— Но мальчик никуда не выходил, вы же видите, он моет пол! — удивленно возразила Парашкева.

При людях Георгий смолчал, а когда они ушли, признался матери: дверь была открыта, он хотел спугнуть собаку, но попал в человека.

— Ох, сынок, слишком ты озорной, не знаю прямо, что из тебя получится!

Чтобы Георгий не выскакивал то и дело на улицу, Парашкева научила его вязать чулки. Георгий брал спицы, клубок пряжи и вязал, сидя на пороге. Отсюда он приказывал сестре:

— Лина, возьми лейку, полей левкои. А теперь полей цветы в горшках.

А горшки с цветами стояли повсюду — во дворе, на окнах. Дом утопал в цветах.

Лина была тихим и послушным ребенком, она выполняла все, о чем ее просили.

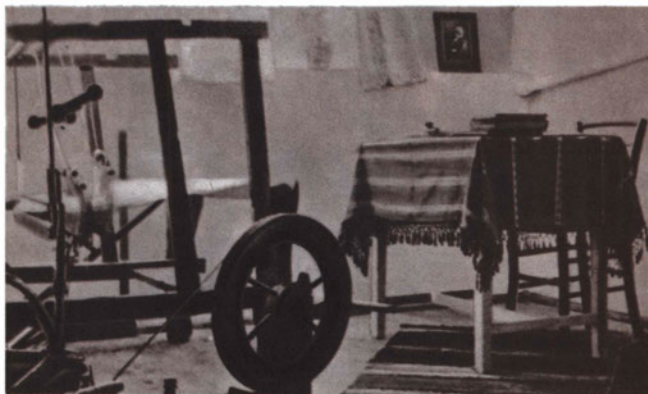
— Лина, иди покачай Николку. Ты слышишь, он плачет?

Парашкева отрывалась от корыта, вытирала руки и шла кормить Николку. Когда же младенец засыпал, она садилась ткать. Сновал с одного конца кросна¹ на другой челнок, а Парашкева что-нибудь напевала, время от времени окликавая сына:

— Георгий!

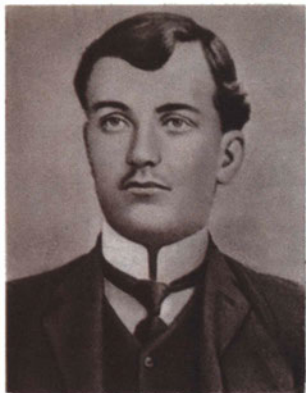
С вязаньем в руках появлялся Георгий.

¹ Кросно — часть ткацкого станка, ткацкий стан.



*Дом № 66 на Ополченской улице в Софии,
в котором Георгий Димитров жил
с 1888 по 1923 год.
Ныне — Дом-музей Георгия Димитрова.*

*Комната в подвале дома № 66 на ул. Ополченской,
где Георгий Димитров занимался самообразованием,
а матушки Парашкева работала за ткацким станком.*



Никола Димитров (1886—1916).



Тодор Димитров (1896—1925).



Костадин Димитров (1892—1912).

— Гляди, чтобы Лина не ушла на улицу.

— Она играет возле меня.

Парашкева спокойна: дети слушаются ее, а малыш спит.

Вечером, когда возвращается Димитр, а накормленные сыновья и дочь уже спят, Парашкева, накрыв ужин, как всегда, рассказывает мужу о том, как прошел день.

— Озорной у нас Георгий, но честный! Во всем признается, если виноват.

— И все-таки я боюсь, как бы он чего не натворил,— отвечает Димитр.— Разве можем мы проследить, как он ведет себя в школе? Ты не знаешь, что о нем учитель думает?

— Сказал мне, что учится Георгий хорошо, с охотой.

— Ну что ж, пусть учится. Только вот как мы его дальше поддерживать будем? Может, и бросить придется ему школу.

— Даже слышать об этом не хочу,— рассердилась Парашкева.— Сами спать не будем, все вытерпим, но ребенок должен учиться! Ты знаешь, как я страдаю от того, что не умею читать. Когда я слушаю, как ты читаешь Евангелие, стыдно мне становится перед детьми, что я так не умею. Даже в церковь ходить не хочется. Все читают молитвы, а я только слушаю...

— Хочешь, я научу тебя читать?

— Хочу!

Несмотря на уйму дел, Парашкева начала учиться азбуке. Нелегко ей пришлось. Все время нужно было о чем-то помнить. То Георгия, то Лину одеялом получше прикрыть — до сих пор во сне разбрасываются,— Николку покачать, заслушав, как он беспокойно ворочается, снять пеленки с веревок во дворе, чтобы кто-нибудь мимоходом не украл их...

И все же к концу третьего месяца Парашкева уже читала некоторые слова по складам.

* * *

Семья Парашкевы и Димитра постепенно увеличивалась. За Николой родились Любомир и Костадин. Вместе с матерью и отцом в семье стало семь душ. Жил в доме и подмастерье Теофил.

А Георгий рос. Каждый год с отличием завершал он занятия в школе. Но то ли от плохого питания, то ли от того, что уроки слишком утомляли его, начал Георгий слабеть. Каждый день его лихорадило.

— Может, отдохнуть ему годик от учебы? — предложил Димитр.

Парашкева задумалась: как отнесется к этому мальчик? Не расстроится ли он? Вдруг только хуже выйдет?..

— Скажи, Георгий, а не лучше ли тебе в этом году не записываться в следующий класс, а немножко отдохнуть? Погляди, как ты ослаб. И желёзки на шее распухли.

— Нет, нет, я не хочу!

— А если совсем разболеешься и сляжешь, все равно ведь не сможешь ходить в школу. И аппетит у тебя пропал!

— Я не разболеюсь, мама. Я буду есть больше!

«Больше!» — подумала про себя Парашкева. Есть Георгию можно далеко не все, а где она возьмет ему специальное питание? Если бы он

был один, это бы куда ни шло, а покупать для всех масло, мед, мясо возможности не было.

На другой день разговор возобновился.

— Послушай мать, сынок,— сказал Димитр,— она тебе добра желает.

Георгий опустил голову и ничего не ответил.

Так прошло лето. Настало время записываться в следующий класс. Парашкева и Димитр молчали. Георгий все последние дни лежал с температурой. Глаза у него стали огромными, лицо осунулось и побледнело. Кроме того, рос он очень быстро, и это тоже, вместе с болезнью, отнимало у него силы.

— Как ты себя чувствуешь? — спросила его Парашкева однажды, услышав, как он вздыхает.

— Ничего, мама...

— Неправда, разве я не вижу, какой ты грустный. Молчишь все время...

— Это я из-за школы.

— Потерпи немножко. Как окрепнешь чуть, так и пойдешь.

— Но ведь другие перегонят меня, не будут же они ждать!

— А ты будешь дома заниматься и нагонишь их.

Эта мысль приободрила Георгия. Действительно, он ведь может заниматься дома! К нему будут приходить ребята и рассказывать про уроки, и он не отстанет.

Прошел уже месяц с тех пор, как начались занятия в школе, и вот как-то ребята зашли к нему.

— А почему Георгий не ходит в школу? — спросили они.

Парашкева объяснила.

Зашел и учитель. Парашкева пригласила его в дом. Позвала Георгия, который был во дворе — спрятался за деревом. Увидев учителя, Георгий так разволновался, что на глазах у него показались слезы.

— Значит, он болен,— сказал учитель и, повернувшись к Димитру и Парашкеве, добавил: — Сильно ослаб мальчик, ему и впрямь было бы плохо остаться на этот год дома... Конечно, мне лично жаль лишаться такого хорошего ученика, но здоровье — прежде всего. А заниматься он и дома может. Пусть только сначала поправится.

Учитель задумался, потом поглядел на Димитра и продолжал:

— Не нужно его переутомлять. Главное, повторю, здоровье. Георгий все схватывает быстро, он легко догонит своих товарищей. Так что в конце года он сможет держать экзамен по сокращенной программе. Лучше, конечно, было бы отправить его куда-нибудь на свежий воздух, переменить климат. Но главное — хорошее питание.

Парашкева поглядела на мужа. Страдание читалось в ее чистых глазах. Она словно спрашивала себя и сама же себе отвечала: «Откуда же нам взять средства?» Но вслух ничего не сказала. Промолчал и Димитр.

— Ну, Георгий, до свидания! На будущий год увидимся в школе!

Учитель за руку попрощался с Димитром и Парашкевой, поглядел Георгия по голове и вышел. Мать, отец и все дети проводили его до калитки. Самый маленький, Борис, сидел на руках Парашкевы.

— До свидания, до будущего года! — повторил учитель.

Но и на следующий год Георгию, хотя он был уже вполне здоров, не пришлось идти в школу: отец уже не мог один содержать всю семью, которая увеличилась еще на одного ребенка — седьмого, Тодора...

Парашкева сбивалась с ног, у нее едва оставалось время на то, чтобы соткать полотно и хоть как-то одеть детей, а нужно было еще и штопать, и вязать, и стирать, и готовить. Кто же должен был помочь отцу заработать побольше? Конечно, старший сын — Георгий.

— Нужно, сынок, освоить тебе какое-нибудь ремесло. Можешь, конечно, как я, стать скорняком, но я тебе не советую. Ты же видишь, какая от этого прибыль. Надо придумать что-нибудь другое.

Сильно страдал Георгий от того, что ему пришлось отказаться от учебы. Вдвое сильней, глядя на сына, страдала Парашкева. «Три года кормила я его грудью, чтобы юнаком стал, добру учила, чтобы человеком вырос, последний кусок хлеба от себя отрывала, чтобы крепким был и взрослел быстрее, — и все насмарку!» — так, укоряя себя, думала Парашкева. Перегорело и стало горьким молоко, которым она кормила своего седьмого ребенка.

Перестала Парашкева петь, даже за работой. Не улыбалась, заведя бабушку Домну, свою добровольную помощницу, не ворчала на Георгия, когда задумчиво, засунув руки в карманы грубошерстных брюк, он расхаживал взад-вперед по двору, предоставляя Лине одной полоть и поливать палисадник. А Лина едва управлялась с уроками: ведь ей нужно было еще и Тодора нянчить, и картошку чистить.

«Изматается ребенок», — думала Парашкева про Лину, но не могла ничего изменить. Георгий возвращался домой только после обеда, ближе к вечеру, а иногда и совсем поздно.

— Где ты бродишь? — рассердился как-то на него отец.

— Работу ищу.

— Где же ты ее ищешь?

— Был у бая¹ Йордана. Обещал устроить...

Йордан Караиванов работал в типографии. Георгий наведывался к нему каждый день. Его привлекали книги, которые там печатались.

— Что же вы с Йорданом надумали?

— Я хочу с ним работать. Печатником стану.

Димитр удивленно посмотрел на сына:

— А не слишком ли ты мал для этой работы? Она ума требует, знаний.

Парашкева, стоявшая в дверях кухни и слушавшая этот разговор, неожиданно вмешалась:

— А разве он у нас глупый? А что до знаний — наберется. Йордан подучит. Лучшей работы, чем эта, нельзя и придумать. Как раз для него. У мальчика такое сильное желание читать, учиться! Типография будет для него вроде школы, новой школы. По новой дороге пойдет Георгий. Бога благодарить надо!

Георгий слушал мать и удивлялся тому, как хорошо она понимает его, как чувствует то, что у него на душе, как умеет успокоить его. И Георгий повеселел. К нему вернулась прежняя живость, и вновь за-

¹ Бай — уважительное обращение к старшему.

светились его большие глаза, такие в последнее время задумчивые и грустные.

Уже на следующий день Георгий отправился в типографию. Все поручения мальчик выполнял с радостью, ведь одновременно он учился набирать буквы. Он любил прислушиваться к разговорам наборщиков, когда после окончания работы они собирались в маленьком кабачке, прежде чем разойтись по домам.

Однажды, вернувшись с работы, Георгий застал мать за стиркой. Он взял чистое белье и отнес его во двор, где десятилетняя Лина уже развешивала кое-какие детские вещи.

— Мама,— крикнул Георгий,— у нас в типографии говорят, что наступит день, когда не будет богатых и бедных и всем будет хватать хлеба.

— Дай-то бог,— вздохнула Парашкева.— Долгих лет жизни и здоровья тем, кто говорит это.

— Но они не только говорят, они борются за это!

Парашкева взглянула на сына, улыбнулась и сказала:

— С хорошими людьми довелось тебе работать, Георгий. Ты к ним прислушайся. Они тебя худому не научат.

Но как-то вечером, когда Георгий опять завел разговор про типографских рабочих, Димитр оборвал его:

— Это проповедуют социалисты. Держись от них подальше, полиция не любит их. Они в бога не верят и...

Парашкева перебила мужа:

— Как они могут не верить в бога, если борются за справедливость, за правду!

— У полиции своя справедливость, своя правда.

* * *

Йордан Караиванов уехал в село и больше в Софию уже не вернулся. Парашкева беспокоилась за Георгия: с кем он теперь подружится и найдет ли он себе такого же хорошего товарища? За время работы в типографии Георгий сильно изменился, он стал сдержанным, уже не выбегал на улицу, чтобы поиграть со сверстниками. Возвращался домой и садился читать. Парашкева наблюдала за ним со стороны, но не мешала.

Уже улеглась тревога, вспыхнувшая было, когда священник запугивал Димитра тем, что отведет Георгия к церковному настоятелю за насмешки над религией в газете «Кукуригу» («Кукареку»). Всего один номер этой газеты выпустили Йордан и Георгий и лишь в ста экземплярах, а неприятности имели большие. Более всего неприятны были Димитру упреки священника, которого Георгий высмеял в газете.

— Зачем ты это сделал, сынок, ведь мы каждую неделю ходим в церковь, а служит в ней этот самый священник.

— Я не хожу в церковь,— ответил Георгий.

— Ты не ходишь, но я, и твоя мать, и твои братья, и сестры ходят. Что он тебе сделал, этот священник, за что ты надсмехался над ним?

— Я увидел его пьяным, отец.

— А ну помолчи! — прикрикнула на Георгия Парашкева.

— Это правда, мама! Он еле-еле шел по Салоникской улице. Я видел

его, когда возвращался от Йордана. Говорю тебе, мама, что я видел его пьяным своими собственными глазами!..

— А все-таки здорово он его прохватил! Молодец! — сказал Димитр, когда во второй раз прочитал вслух номер «Кукуригу». А в третий раз Димитр уже давился от смеха.

Развеселилась и Парашкева, но видно было, что она недовольна. Дети начали передразнивать попа, ходили по комнате, шатаясь, как пьяные. Парашкева прогнала их во двор и отозвала Георгия в сторону.

— Не учи детей дурному, безбожник! Неужели в вашей типографии все такие же, как ты, неверующие?

— Все такие, мама. Они не верят в выдуманного господ бога, а верят в правду. Ты веришь так, как тебя учили с детства, а мы, молодые, верим по-своему.

— Но ты еще очень мал, сынок.

— Мал? Мне уже четырнадцать, почти пятнадцать! И я зарабатываю. И по дому помогаю. Как же это я мал?

К Парашкеве и Георгию подошел Димитр.

— Я вижу, что у вас все там за социалистов. И ты небось с ними заодно, а?

— Заодно, папа.

Парашкева посмотрела на сына. Его глаза горели каким-то особенным огнем, какой-то особенной гордостью, которая делала их еще красивее. На душе у Парашкевы потеплело, недовольство сыном исчезло, и она, улыбнувшись ему, сказала:

— Поступай, как считаешь нужным, только береги себя.

Однажды все печатники объявили забастовку. Они хотели, чтобы им увеличили жалованье и сократили рабочий день. Четырнадцатилетний Георгий был избран председателем молодежного комитета. Он организовал школьников, убедив их в справедливости требований, выдвинутых типографскими рабочими. Второй номер газеты «Кукуригу» в свет не вышел. Его задержал владелец типографии. Это возмутило рабочих. Георгий не находил себе места от негодования. Но ничего сделать было нельзя.

— Потерпи, сынок, потерпи, не огорчайся только. Видно, время для издания газеты впереди, — говорила Парашкева. — Кто знает, что бы тебе устроила полиция!

Как бы то ни было, а Парашкева была по-настоящему горда тем, что ее сын не отстает от взрослых.

* * *

После отъезда Йордана Караиванова Георгий стал приходить домой рано. Не с кем стало засиживаться за книгами до полуночи. Парашкева поставила сыну письменный стол в нижней комнате, в той, где ткала. На этом столе лежали книги, которые Георгий приносил из библиотеки. Ткала Парашкева днем, а вечерами Георгий мог спокойно заниматься.

Как-то на рассвете Парашкева застала его спящим прямо за столом. Он сидел, положив голову на руки. Книга была раскрыта. Керосиновая лампа догорала.

Георгий проснулся внезапно, поднял голову, раскрыл глаза и, увидев мать, вскочил из-за стола.

— Ты же опять разболеешься, Георгий. Весь день по десять — двенадцать часов работаешь, а потом еще и не спишь всю ночь. И чего ты не хочешь, как все люди, жить!

— Не волнуйся, мама, я здоров! А какую хорошую книгу я читал!

— Какую же?

— Об одном отважном человеке, который хотел открыть людям глаза, чтобы они увидели, в чем зло, и поднялись на борьбу за правду!

— А он жив? Кто это?

— Нет, мама, он умер. А может, его и вообще не было. Ведь он придуман писателем, этот человек, но он пример того, каким должен быть борец за правду. Я хочу стать таким же твердым, как он, таким же выносливым, чтобы ничего не бояться, таким сильным и крепким, чтобы никакие трудности не сломили меня.

— И он что, тоже социалист?

— Да, мама, самый настоящий социалист.

— Как же его зовут?

— Рахметов.

— А кто написал эту книгу?

— Русский. Его фамилия — Чернышевский, а называется эта книга «Что делать?». Я хочу, мама, идти по его пути. Он научит меня, что делать.

Парашкева в недоумении глядела на сына, как будто хотела сказать: «По какому пути ты собираешься идти, сынок? Не сносить тебе тогда головы, ведь нет бога, который сберег бы тебя!» Но, взглянув на Георгия еще раз, невыспавшегося, взъерошенного, сказала лишь:

— Пойдем, Георгий, позавтракаем. Только сходи сперва к колодцу, ополосни лицо.

В этот же день вечером, когда все легли, Парашкева снова зашла в нижнюю комнату. Керосиновая лампа не была зажжена. Георгий еще не возвращался. Парашкева долго читала свою молитву, потом стала за стол Георгия, склонилась над его книгой, положила руку на переплет.

— Боже, — шептала она, — защити моего сына!

Долго шептала она молитву, которую сама сочинила перед образом невидимого бога, потому что в доме не было ни одной иконы.

Когда Георгий вернулся, Парашкева уже спала вместе с детьми на верху.

* * *

Время шло быстро. Мужал на глазах Парашкевы Георгий, рос высоким и стройным. Он шел по тому пути, который сам избрал для себя, и не сворачивал с него. Он записался в товарищество (профсоюз) типографских рабочих. Они внимательно слушали выступления этого пятнадцатилетнего юноши, потому что говорил Георгий хорошо, у него был настоящий ораторский дар.

Однажды Георгий вернулся домой в приподнятом настроении.

— Что это тебя так обрадовало, Георгий, летишь как на крыльях?

— Меня избрали членом правления товарищества!

Парашкева оставила стирку, вытерла о передник руки и села рядом с Георгием.

— Я хочу уйти из типографии и стать секретарем товарищества.

— Ты уже решил это?
— Я решил дать согласие. Это дело мне по сердцу, мама, ведь я буду постоянно общаться со всеми типографскими рабочими города.

— Поговори все-таки с отцом.

Димитр одобрил решение сына, но его смущало одно: Магдалинка в школе, кто же поможет Парашкеве? Ведь до сегодняшнего дня именно Георгий ходил за водой, покупал хлеб и мясо, когда отец выполнял срочный заказ клиента, а теперь? Теперь он будет прямо с работы уходить на собрания и возвращаться домой поздно.

— Не беспокойся, отец, мы возьмем маме помощницу.

Но помощница оставалась в доме недолго. Детей было много, и все шаловливые, непоседливые. Не пожелала остаться — все по той же причине — и вторая помощница. Парашкева изнемогала от усталости. Лина училась, и у нее тоже было совсем немного времени на то, чтобы помогать матери. Правда, старшие ребята заботились о малышах, но ведь все они были еще детьми, к тому же не очень послушными. Но больше всего пугало Парашкеву влияние соседей, которые не переставали пьянствовать, постоянно ссорились между собой, дрались и сквернословили. Однажды Парашкева услышала, как маленький Борис ругается. Она выскочила из дома с куском кислой брынзы в руке и намазала ему рот. Мальчик начал отплевываться, а потом бросился к колючу.

Обиженный, он кричал Парашкеве:

— Все равно буду ругаться, все равно буду говорить дурные слова... И Костадин ругается, и Любчо ругается, все, все ругаются!

— Ах, так! — воскликнула Парашкева разгневанно. — Тогда я вас всех сейчас проучу!

Она бросилась в дом, выстроила детей вдоль стены и намазала им всем губы брынзой, запретив сходить с места. Это было для них самым страшным наказанием, потому что никто из детей, кроме Георгия, не ел брынзы. Они не любили брынзу до такой степени, что готовы были вынести что угодно, лишь бы не прикасаться к ней.

— Мама, я не говорю плохих слов, — обиженно, со слезами на глазах прошептал Тодорчо.

Но Парашкева была так рассержена, что не обратила внимания на его жалобу. Другие дети не могли даже оправдаться, потому что боялись открыть рты, чтобы в них не попала брынза.

Спустя час, когда Парашкева разрешила всем пойти умыться, Тодорчо уткнулся головой в колени матери и горько расплакался:

— Ты меня... меня... наказала за них, а я ничего... ничего не делал...

Ребенок плакал так сильно, что Парашкева едва понимала, что он говорит. Наконец она прижала его к себе и поцеловала.

— Не плачь, маленький мой, не плачь. Мама наказала тебя, чтобы ты не учился плохому у своих братьев, — сказала малышу Парашкева, снимая его с колен и давая яблоко, а на сердце ее легла тяжесть. «Что делать, когда голова прямо раскалывается от забот?» — подумала она.

В эту ночь Парашкева родила восьмого ребенка, девочку. Родила одна, в полуподвале дома, прежде чем пришла бабушка Домна. Дети спали и ничего не слышали. Парашкева приказала Лине и наказала Георгию, когда он вернется домой, вниз не спускаться, а сразу идти ложиться спать. На рассвете, когда все встали, бабушка Домна, всю ночь

проведшая около Парашкевы, позвала всю семью посмотреть на младенца:

— Сестричка у вас родилась, ангелочек в дом вошел!

Радость детей была неописуемой. Они выскочили во двор, распахнули калитку и с криками бросились к соседям по обе стороны дома:

— У нас девочка родилась! У нас девочка родилась!

Соседи пришли с поздравлениями к Парашкеве, которая уже с помощью бабушки Домны перешла в верхнюю комнату и лежала теперь на чистой постели, на белых подушках. Ее синие глаза были полны слезами счастья. Она не думала о новых заботах, которые принесет ей этот ангелочек. Словно ей было мало семерых детей и она нуждалась в появлении восьмого! Тем более девочки. Димитр склонился над новорожденной.

— Как мы ее назовем? — спросил он.

— А так, как мы с тобой и решили, Димитр. Помнишь? Если родится девочка — будет Еленой.

Они сообщили детям, что девочку зовут Ленче — Леночка. Дети приняли это имя сразу же.

— Ленче, конечно же, Ленче, никакое другое имя ей и не подходит, — закричал Костадин.

Остальные согласились с ним.

Так начала Елена первый день своей жизни...

* * *

— Что это тебе, Георгий, на одном месте никак не сидится, а? — спросила Парашкева у сына, с усмешкой взглянув на него.

— Радость у меня, мама, большая радость.

— Ну, рассказывай!

— Меня приняли в партию!

— Тебя? Да что ты! Тебя, двадцатилетнего парня, приняли в партию, как взрослого?

— Да, мама. Меня. Твоего сына.

Парашкева в изумлении покачала головой:

— В какую партию?

— В социал-демократическую. Другой партии для меня не существует.

— Говорят, что у вас там споров много, распри какие-то. Ты-то на чьей стороне?

— Мы на стороне революции, мама.

— А другие чего хотят?

— Они не хотят равенства для всех, они хотят лишь свергнуть царя и правительство, а все остальное оставить как есть.

— А это плохо, сынок?

— Конечно, мама. Да и то они все выжидают подходящего момента. Не хотят спешить.

— И хорошо делают, сынок. Так и надо.

— Нет, мама. Подходящий момент не упадет с неба, цари и кровопийцы без революции не исчезнут. Так думаем мы, а они говорят, что наше понимание — понимание узкое, а они, дескать, думают широко.

— Поэтому есть социалисты узкие — тесняки, и есть широкие, так, сынок? — вмешался в разговор Димитр.

Димитр работал в прихожей. Там Магдалина в свободное время помогала ему кроить шапки и шить подкладки. Димитр сидел прямо на полу, на подушке, и с рассвета до позднего вечера не выпускал из рук иглу. Воскресенье было днем отдыха. В воскресенье, рано утром, Димитр уходил в баню, стригся и брился, а перед завтраком, за столом, за которым вся семья пила из больших глиняных мисок молоко, он читал вслух молитву. После завтрака отец говорил:

— Мойте руки и одевайтесь, мы идем в церковь.

Парашкева, занятая хозяйством, чаще всего оставалась дома. Георгий помогал ей, но она старалась не отнимать у него времени, нужно ему для чтения и занятий, и почти все делала сама.

В этот радостный день Георгий вернулся домой рано. Димитр, слышавший его разговор с Парашкевой, спросил:

— Ну, так с кем же ты?

— Угадай, отец!

— Конечно, с Благоевым¹ и Кирковым². Они же любят тебя.

— Конечно, с ними! Но не потому, что они меня любят, а потому, что правда на их стороне!

— Каждый думает, что правда на его стороне. Лучше всего жить самому по себе и ни во что не вмешиваться.

— Что это ты ему советуешь? — возмутилась Парашкева. — Если он сам избрал свой путь, значит, так велело ему его сердце. А если все будет стоять в стороне, кто же будет бороться за нас, бедняков? Не сбивай его с толку, Димитр!

— Не беспокойся, мама, ничто не заставит меня сойти с моего пути.

— Дай-то бог, — тихо проговорила Парашкева.

— Пусть только твой путь не будет слишком тернистым, сынок, — добавил Димитр и пошел к себе, работать.

А путь, избранный Георгием, действительно не был легким, Благоев и Кирков оценили одаренность Георгия и его работоспособность и загрузили его разными ответственными делами. Не было собрания, в котором Георгий не принимал бы участия. Постоянно находясь среди рабочих, он зажигал их своей искренностью, вдохновлял их своей верой в успех борьбы за интересы трудящихся.

Как-то Георгий спросил Магдалину:

— Хочешь пойти со мной на собрание?

— А как же мои уроки?

— Когда вернемся, я тебе помогу.

Вернулись они поздно. Димитр еще не ложился. Он встретил их упреком:

— Мать очень беспокоится. Принесла стирку из городской бани, устала. А развесить белье без Лины не может.

¹ Благоев Димитр (1856—1924) — выдающийся деятель революционного движения в России и Болгарии. В 1883 г. основал в Петербурге социал-демократическую группу. Организатор (1891) Болгарской социал-демократической партии, в 1903 — Болгарской рабочей социал-демократической партии БРСДП (т.с.) тесняков, в 1919 — компартии. Был первым пропагандистом марксизма в Болгарии. Автор трудов по марксистской философии, политэкономии, истории, эстетике.

² Кирков Георги (1867—1919) — один из организаторов Болгарской рабочей социал-демократической партии тесняков БРСДП (т.с.). Принадлежит к основоположникам пролетарской литературы в Болгарии.

— Утром встанем пораньше и развесим,— сказал Георгий.— Так что, мама, будь спокойна.

Парашкева улыбнулась. Она кормила малыша и не могла встать.

Лина сама позаботилась об ужине. Она была очень довольна и даже немножко горда тем, что вместе с братом участвовала в собрании. Лина долго ворочалась, никак не могла заснуть и задремала уже на рассвете. Для нее все было вновь. Она еще слышала слова выступавших, вспомнила споры и свое волнение, охватившее ее, когда начал говорить Георгий, и то внимание, с которым рабочие слушали его.

Георгий встал затемно.

— Если хочешь,— сказал он Лине,— чтобы тебя и в другой раз отпустили со мной на собрание, нам нужно немного поработать. Пойдем развесим белые и поглядим твои уроки.

Парашкева услышала этот разговор. Она встала с постели, склонилась над люлькой: ребенок крепко спал. На белом лобике выступили капельки пота, губки то сжимались, то расплывались в едва уловимой улыбке.

* * *

На десятом съезде социал-демократической партии тесняки и широкие окончательно размежевались. За несколько дней до открытия съезда Георгий выступил со статьей «Оппортунизм в профсоюзах». Этой статьей он обратил на себя еще большее внимание Благоева и Киркова.

Однако напряженная работа в профсоюзном движении до такой степени подорвала его здоровье, что вмешательство врачей стало необходимым.

— Георгий, сынок, не надрывайся, не изнурай себя, погляди, на кого ты похож,— советовала ему Парашкева и огорчалась, видя, что у сына нет времени присесть и по-человечески поесть со всеми вместе. Он первым выскакивал из-за стола, постоянно куда-то исчезал и возвращался лишь глубокой ночью — голодный, уставший. А Парашкева ждала, не ложилась. А если и ложилась, то все равно по несколько раз вставала с постели, чтобы узнать, не зажглась ли лампа внизу...

— Почему ты не спишь, мама? У тебя столько забот с другими детьми, а ты еще и обо мне убиваешься!

— Едва выхолила тебя, когда ты в школе учился, а теперь и того хуже. На чахоточного стал похож, упаси господи!..

Георгий смеялся, успокаивал мать, но уже и сам чувствовал, что силы оставляют его. Врачи посоветовали ему переменить климат. Легко сказать! А как это сделать?

Вопрос был решен партией: она назначила Георгия на работу в типографию Американского колледжа в Самокове.

«Слава богу,— подумала Парашкева,— там он окрепнет».

Она слышала о благодатном горном климате этого города. Георгий уехал. Но и в Самокове он не мог жить спокойно и лишь заботиться о своем здоровье. Узнав, что пастор колледжа собирает учеников для занятий в часовне и читает им отрывки из Евангелия, чтобы опровергать ими научные открытия в области естествознания, Георгий начал посещать эти занятия. Часто он просил слова и оспаривал пастора перед его слушателями. «Человек создан не богом,— говорил Георгий,— че-

ловек — сын природы, результат ее развития на протяжении многих миллионов лет».

Правление колледжа было недовольно новым работником. А когда правлению донесли, что Георгий является еще и руководителем тайного ученического кружка, то его уволили.

Георгий вернулся в Софию. У ворот дома его встретила удивленная Парашкева.

— Что стряслось, Георгий, почему ты вернулся?

— Соскучился по тебе, мама,— пошутил он и, наклонившись, поцеловал у матери руку.

Парашкева, улыбаясь, смотрела на сына, довольная тем, что видит его окрепшим и посвежевшим.

— Меня выгнали! Шила в мешке не утаишь.

— Что же ты там натворил?

— Не молчал, когда слышал, как говорят глупости и морочат ученикам головы.

— Знаю дело, разве ты можешь молчать,— сказала Парашкева, как всегда уверенная в правоте своего сына.— Пойдем, порадуешь отца да перекусишь с дороги.

Димитр тоже удивился, когда увидел Георгия.

— Добро пожаловать! В отпуск или как?

— Уволили меня.

— Да что ты говоришь! За что?

— За спор с пастором.

— Вот что... Целился в него, а попал в себя. Вижу, пока тебе голову не снесут, ты не успокоишься!

— Голова у меня, отец, на плечах крепко сидит. Важно, что со здоровьем стало получше. Так что кое-какая польза от пребывания в Самокове все-таки есть. Ну, а ты как?

— С тех пор как Лина стала учительницей, некому мне помогать. Она не может, некогда, ну, да я не сержусь за это... Ты-то теперь где будешь работать?

— Опять в типографии. Без работы не останусь, да и вас без помощи не оставляю.

Георгий быстро поел и ушел.

— Даже не отдохнул с дороги! Неугомонная душа! — вздохнула Парашкева.— Опять он тут надорвется...

— Такой уж характер,— отозвался Димитр.

* * *

В 1905 году вспыхнула революция в России. Притесняемый жестокой царской властью, русский народ поднялся на борьбу за свои права и свободу. Революционные идеи, охватившие большую часть русской интеллигенции и рабочих, перенесли и в Болгарию.

Студенты объявили стачку: они требовали права участвовать в политической жизни страны, требовали гражданских свобод...

На путь революции встали почти все дети Парашкевы и Димитра.

По стопам Георгия первым пошел Никола, работавший в переплетной мастерской. Он посещал все собрания, на которые ходил Георгий. А когда в России разразилась первая революция, он решил вместе с другими

молодыми людьми отправиться в Одессу — помогать русским революционерам. Когда подошел день отъезда, Никола понял, что он уже больше не может скрывать решение от матери, и попросил Георгия помочь ему.

— Мама,— обратился Георгий к Парашкеве,— Николе нужно поговорить с тобой.

— Он хочет жениться?

— Нет, мама, речь не об этом...

Парашкева, волнуясь, ждала разговора, потому что предчувствовала что-то недоброе. Она замечала, что в последнее время Никола слишком часто встречается со своими товарищами, что беседы у них какие-то особенно секретные — при ее появлении они сразу же умолкают. «Скрывают что-то,— догадывалась Парашкева.— Только бы какой-нибудь беды на себя не навлекли». Студенческая стачка так воспламенила Николу и его друзей, что они лишь о ней и говорили. Восторженное отношение к революции в России преобразило их. Парашкева понимала, что мысли друзей Николы, их намерения и планы отдалили его от семьи, и боялась за него. Слова Георгия встревожили ее еще больше.

— В чем же дело? Что случилось?

— Ты видишь, конечно, что в последнее время, особенно с тех пор, как началась революция в России, Никола очень возбужден.

— Вижу. Ну и что?

— Он хочет быть полезным...

— Кому?

— Русским революционерам.

— Чем же он может быть им полезен? Они же вон где...

— Понимаешь, мама, тут такое дело...

— Говори, говори скорее, не томи меня!

Но Георгий, увидев, как сжались у матери губы и побледнело лицо, медлил.

— Как бы тебе это сказать...

— Говори, как есть! — вскрикнула Парашкева, уже обо всем догадываясь.

Пока Георгий колебался, подыскивая слова, Парашкева пришла в себя и, подняв голову, твердым и почти сухим голосом сказала:

— Он уедет. Пусть едет! Такая уж у моих сыновей судьба.

Георгий молча обнял мать. Парашкева поняла это молчание.

Перед отъездом сына Парашкева не спала всю ночь. Она знала о судьбе русских революционеров, о сибирской каторге, о виселицах, о полицейском терроре в царской России. Не раз велись об этом разговоры в их доме...

Теперь вот и ее сын рвется в это полымя, и кто знает, увидит ли она его когда-нибудь еще. Ни одна слеза не выкатилась из глаз Парашкевы — так сильно была овладевшая ею мука.

На рассвете Парашкева переборола себя, одела малышей во все новое, дала им цветы, которые они должны были преподнести своему брату Николе, нарядилась и сама: надела длинную юбку, синюю кофту, повязала голову платком,— и все семейство отправилось на вокзал...

Лишь вернувшись домой, Парашкева почувствовала, что сын навсегда оторвался от нее. Слезы сами хлынули из глаз. Парашкева заперлась внизу, в той комнате, где находился ее ткацкий станок, и закрыла лицо руками.

В эту же пору, сразу после очередного съезда партии, Георгий был избран секретарем партийной организации. Одновременно он являлся и членом комитета Объединенного рабочего профессионального союза. Он оставил работу в типографии и весь отдался своей новой деятельности. Целыми днями сидел он в крошечной комнатке на улице Кирилла и Мефодия, и все-таки ему не хватало времени на то, чтобы справиться со всеми делами. Поэтому ему приходилось работать и дома. Часто Георгию помогала и Магдалина. Парашкева, услышав, что внизу разговаривают, вставала с постели:

- Все еще работаете, дети?
- Какие же мы дети, мама! Посмотри, какая у меня борода растет, — отшучивался Георгий.
- Все равно заканчивайте, — ворчала на них Парашкева.
- Сейчас, еще немножко осталось.

Парашкева была очень довольна тем, что Магдалина стала учительницей рукоделия в колледже. Сама она шить не умела. Некому было учить ее, а когда Магдалина была маленькой, и рубашки, и платья кроили и шили соседки. Соседки и научили девочку этому делу. Скоро Магдалина шила уже все на своих братьев, на Еленку и даже на родителей.

Парашкева хвасталась в гостях у соседей:

— Лина — моя правая рука. И отцу своему помогает. А время остается, и Георгию тоже.

— А в чем же она Георгию помогает?

— Пишут по вечерам вместе. Отец недоволен, что Георгий ее по собраниям водит, плела бы себе кружева, говорит, а Георгий смеется над ним: «Когда Лина замуж выходить будет, дадим ей двадцать грошей, она себе кружева и купит!»

— Ученые у тебя дети, Парашкева, умная ты женщина, поперек дороги им не становишься!

— Лишь бы здоровы были, остальное — их дело. Большие уже, взрослые. Только Тодор да Еленка еще маленькие. И с Борисом, правда, забот хватает: слабенький он у меня, легко простужается, легко заболевает...

— А мои чуть ли не по мне ходят, Парашкева. Ничем не могу их унять. И порка не помогает.

— Поркой не остановишь. Я ни на одного своего руки не подняла. Самое лучшее — каждому занятие дать. Я своих всех заставляла что-нибудь делать. Либо траву в палисаднике полоть, либо цветы поливать, воду мне подносить, в лавку за покупками бегать. Наказывать я их, конечно, наказывала, но бить — не била. Никогда!

— Повезло тебе! А я вот своих из рук выпустила...

Парашкева не может сказать соседке, что та сама во всем виновата, что нельзя напиваться заодно с мужем и затевать ссоры на глазах у детей. Только и намекнула ей:

- Не нужно, соседка, ссориться с мужем при детях.
- А вы с Димитром не ссорились?
- Как сказать... До большой ссоры у нас никогда не доходило.
- Да что там! Поздно уже исправлять детей. Не маленькие...

Но Парашкева, прощаясь с соседкой, сказала ей:

— Это никогда не поздно, сестрица.

Вернувшись домой, она подошла к Димитру, который неутомимо шил, и сказала ему:

— Благодарю бога, отец! Хорошие у нас дети. А наша соседка от своих плачет.

— У наших тоже головы шальные. Не свернули бы они их только! — ответил Димитр.

— Разве это плохое дело — бороться за правду?

— Не знаю, что это, а вот весь дом наш, всю семью нашу под монастырь подвести они вполне могут!

— Не говори так, Димитр.

— Как ни говори, все одно получается. Сама видишь. Один лишь Любомир у нас разумным и растет, не идет на поводу у Георгия.

Парашкева не стала спорить. Лишь сердце ее сжалось от какого-то дурного предчувствия. Она спустилась вниз и села к станку, запустила челнок и, толкнув кросну, тихонько запела своим мягким, задушевым голосом. Она пела, чтобы заглушить предчувствие, чтобы ушла усталость. Узор, появившийся на шерстяном одеяле, радовал ее, и ей не терпелось закончить его. Откуда знать, может, скоро выйдет замуж Магдалина, а может, и Георгий захочет жениться. Что она даст им? Новое ей купить не под силу, а вот соткать что-нибудь и вышить она может.

* * *

1906 год заявил о себе крупной стачкой в Пернике. Ни один шахтер не спустился в забой, никто не ударил киркой, никто не рубил угля. Шахта была мертва. Хозяева не уступали, не уступали и рабочие. Они уже не могли трудиться по десять часов без воздуха и света в этих галереях, где каждую минуту мог взорваться газ или обрушиться угольный пласт и завалить их. Наверху, при выходе из шахты, было написано: «За возможную аварию администрация ответственности не несет». Получалось, что, если в шахте погибнет чей-нибудь отец, никто не станет заботиться о его семействе, которое и так живет впроголодь.

В доме Парашкевы все были обеспокоены: партия направила Георгия в Перник для руководства стачкой. Это значило, что он вступит в борьбу с властями, с полицией.

Как-то Парашкева собралась и пошла в партийный клуб спросить, что с Георгием. Как знать, может быть, чужие люди и скажут ей всю правду.

— Радуйся, тетушка Парашкева, твоего сына рабочие на руках носят, — сказали ей в канцелярии. — Бесстрашный у тебя сын. Равняйся на него, и другие смелыми становятся.

— Очень уж долго продолжается эта стачка. От Георгия никакой весточки нет.

— Хозяева шахты хотели нанять крестьян, чтобы заменить ими шахтеров, но им не повезло: крестьяне-то на жатве!

— Как же они оставят уборку! Да и не станут они отнимать у шахтеров хлеб.

— Верно, тетушка Парашкева! За хлеб, за лучшую жизнь шахтеры и борются. А поскольку руководит ими ваш сын, они обязательно победят.

Вечером, когда сели за стол, Димитр сказал:

— Я считаю, что наши ничего не добьются. Власти всегда заодно с богачами.

— А мне в партийном клубе сказали, что там, где наш Георгий, там и удача будет,— возразила Парашкева.

Но и она не была спокойна.

Поздно вечером зашел Любомир. Он жил отдельно, уже был женат, работал слесарем, свою профессию уважал и в опасные дела не вмешивался.

— Добрый вечер! — поздоровался он с родителями.

— Присаживайся! Какие новости?

— Зашел вот к вам... Навестить. Знаете, наверно, что наш Георгий арестован.

Парашкева побледнела, схватилась за сердце:

— Кто тебе это сказал?

— Приехал один человек из Перника...

— Значит, провалилась стачка,— прошептала Парашкева.

— Да нет. Он говорил, что еще держатся.

— Так я и знал! — вспыхнул Димитр.— Нарвется наш Георгий на неприятность, но поди вразуми его!

— Димитр, нужно чем-нибудь помочь рабочим. Если из Перника прислали сюда человека, значит, необходимо увидеться с ним!

На следующий день Парашкева снова отправилась в партийный клуб. Она хотела поговорить с Благоевым и Кирковым.

— Нет ли их здесь? — смущаясь, спросила она сидевшего за столом юношу.

— Ушли в министерство. Требовать освобождения Димитрова.

— А смогут ли они этого добиться?

— Не знаю. Думаю, смогут...

— А стачка еще продолжается. Дети могут умереть с голода,— вздохнула Парашкева.

— Горожане носят шахтерам продукты, да и крестьяне помогают.

— Не знаешь, скоро ли вернутся Благоев и Кирков?

— Трудно сказать. Но вы не волнуйтесь. Как только будет известен результат, мы вам сообщим.

Парашкева встала. Словно камни привязали к ее ногам — так тяжело было ей идти. Хотя была она женщиной не слабой и здоровья далеко не хрупкого, но непомерен был гнет страданий ее. Откуда ей знать, что они сделают с ее сыном в тюрьме? Она могла думать о самом скверном. Ведь ее сын отвечал за все и за всех, ведь именно он был послан руководить стачкой. А Георгий не из тех, кто отступает...

С этими мыслями Парашкева возвратилась домой. Димитр ждал ее. Он тоже был обеспокоен и нервничал.

— Где это ты так задержалась, разве ты не знаешь, что я волнуюсь!

— Подожди, Димитр, дай дух перевести...

Парашкева села.

— Они стараются, чтобы его освободили.

Димитр вновь взял за иглу и, склонившись над работой, не поднимал больше головы.

Парашкева переделалась и принялась готовить ужин. Но тревога за Георгия не выходила из головы. Она вспоминала, как он был плох, когда его посылали в Самоков. Врачи опасались: дело может обернуться туберкулезом! Слава богу, его спасли от этой страшной болезни, но здоровье его по-прежнему оставалось слабым. Что же будет теперь? А если его будут мучить? Вдруг его будут бить? От полиции всего ожидать можно. Для нее арестованный — враг... Враг? Он, Георгий, ее Георгий, который никогда не отходил от человека без того, чтобы не сказать ему доброго слова... Как это страшно! А он даже не может защитить себя, потому что ему, конечно, связали руки...

С этими тяжелыми мыслями Парашкева встретила соседку, которая пришла ей Еленку. Она оставила ей девочку, уходя в город. Парашкева пригласила соседку присесть и на ее вопросительный взгляд ответила:

— Еще ничего не известно...

* * *

Георгий вернулся из Перника оживленным, поцеловал мать, поздоровался с отцом, взял на руки Еленку, которая глядела на него, не веря глазам своим.

— Чтой-то ты, сынок, веселый такой, будто со свадьбы!

— Верно, мама, со свадьбы! Мы победили! Ты понимаешь, что это значит, мы — победили! Это поважнее свадьбы. Да, эта стачка научила нас бороться. Теперь мы покажем им, кто мы!

— Кто же вы? — спросил Димитр.

— Рабочие, отец! Народ!

— Слава богу, что все это хорошо кончилось, — отозвалась Парашкева, убирая пыльные ботинки Георгия, которые он только что снял, и подавая ему домашние туфли.

— Что кончилось, мама? Ничего не кончилось! Мы еще только начинаем...

— Что начинаете? — спросил Димитр.

— Разве в одном только Пернике есть рабочие? Они по всей Болгарии! Стачка в Пернике даст им пример того, как нужно бороться, как важно стоять до конца. Теперь мы будем стремиться к тому, чтобы объединить всех рабочих, по всей стране. Тогда, если поднимутся на борьбу где-нибудь в одном месте, им будут помогать все.

— Как же они станут помогать, Георгий, если одни будут на севере, а другие на востоке? — удивился Димитр.

— Посылать бастующим деньги, помогать продовольствием и тоже бастовать!

— А может, не всем нужна стачка, — возразил Димитр. — Может, некоторым и без стачки неплохо живется.

— Да разве есть рабочие, которым неплохо живется? Надрываются по двенадцать часов в сутки, заработок ничтожный, помощи ни больным, ни детям никакой! Если же люди молчат и терпят, то лишь потому, что боятся и не знают, как бороться! Мы их научим, отец!

Открылась дверь, и вошел Костадин. Красивый, черноглазый парень бросился к своему брату и восторженно воскликнул:

— Георгий, а ты знаешь, все только о тебе и говорят! Студенты от радости подбрасывали в воздух фуражки и кричали: «Да здравствует Димитров!» А когда узнали, что я твой брат, стали поздравлять и меня... Мне даже неудобно стало...

— Что ж тут неудобного,— отозвалась из кухни Парашкева и, встав с ложкой в руках, добавила: — И мне соседка говорит: «Повезло тебе, Парашкева, с сыном! Вон он у тебя какой!» — и мне не было неудобно: разве не я родила его и вырастила юнаком? Скажи, Димитр, так это или не так! — И Парашкева, чтобы скрыть свою неудержимую радость, громко рассмеялась.

— Еще немного, и мне станет неудобно,— рассмеялся вслед за матерью Георгий.— А ты, мама, если уж так довольна мною, приготовь чумлек, что-то мне есть захотелось.

— Я словно чувствовала, как раз луку начистила. А Еленка помогала.

— Мама, и я тоже буду есть чумлек! — крикнул Костадин.

— Что ты будешь есть? — спросила Лина, только что вернувшаяся из города. Она не заметила Георгия, который прилег на лавке в углу комнаты.

— Чумлек, чумлек,— кричала Еленка и прыгала от радости.

— И ты, Костадин, тоже будешь есть с нами? — спросил Димитр.

— А почему бы ему и не поесть с нами? — удивилась Парашкева.

— Может, лучше дать ему денег, чтобы он пообедал в каком-нибудь другом месте? — резко сказал Димитр.

Костадин выскочил, хлопнул дверью и выбежал из комнаты. Магдалина бросилась за ним, но вскоре вернулась. Одна.

— За что ты его обижаешь, отец? — проговорила она огорченно.

— За то, что он берет у меня деньги, а ходит голодным.

— Что тут у вас происходит, я ничего не понимаю,— сказал Георгий.

— Отец дает Костадину на обед деньги, а он покупает на них книги,— объяснила Магдалина.— А ты, Георгий, когда вернулся?

На пороге комнаты появилась Парашкева.

— Почему ты не сдержался, Димитр, зачем ты омрачил мне радость?

— Я разве не понимаю? Я очень хорошо понимаю, что это он у Георгия перенял, и книги любит так же, как Георгий. Но зачем еще нужны в доме книги, если их Георгий приносит. Вон их сколько у него на столе, для чего ж еще и другие?

— Отец,— сказал Георгий,— позволь ему идти своей дорогой.

— Незачем сразу трем сыновьям идти по опасной дороге. Мне за тебя тревоги хватает. И Никола ничего не пишет. Не думай, что мне легко.

Димитр склонился над работой, но иглу в руки не взял. Магдалина ушла на кухню помогать матери. Еленка забралась к Георгию на колени и попросила рассказать ей о Пернике.

— Когда подрастешь — поймешь, а сейчас запомни одно: стачка делает людей юнаками, такими, как в сказках.

— И ты тоже такой же юнак, как в сказках?

Георгий расхохотался и обнял сестренку.

Как-то вечером Георгий и Магдалина вернулись с собрания социалистической молодежи вместе с одной девушкой, сербиянкой по имени Люба. Парашкева ласково встретила ее, провела в дом и сказала, что сейчас приготовит ужин. Магдалина вышла помочь матери, а Георгий остался с гостями. Вскоре Парашкева принесла нарезанное кусочками сало, разные домашние соленья, и все сели ужинать. Димитр разлил вино. Пили за здоровье новой революционерки Любы. Георгий рассказал, что она некоторое время жила в Вене, но на свою родину — Сербию — решила не возвращаться: хочет работать здесь в Софии, вместе с болгарскими революционерами.

Парашкева смотрела на Любу и не могла наглядеться. Глядел на Любу своими большими лучистыми глазами и Георгий, рассматривая ее гладкий выпуклый лоб, белое выразительное лицо.

Люба говорила спокойно, умно, а когда улыбалась, по лицу ее как бы разливался свет. Все называли ее просто по имени — Люба.

— Ну-ка, Люба, прочитай нам свое стихотворение. Я хочу, чтобы все его услышали, — сказал Георгий.

— Какое?

— То самое, которое ты читала на собрании.

И Люба начала читать:

Братья, пусть сегодня мало нас,
Но мы верим, что пробьет желанный час:
Будет счастлив угнетенный наш народ!
Выше голову, товарищи! Вперед!
Выше голову, да будет твердым шаг,
Наша цель — свобода, правда — наш вожак!

Все внимательно слушали. Стихотворение совпадало с общим настроением, угадывало мысли слушателей и, главное, говорило о том, что волновало их больше всего, — о борьбе.

Когда Люба кончила читать стихи, Георгий горячо поблагодарил ее. Магдалина стиснула ей руку, а Парашкева, не сдержавшись, взяла в ладони красивое лицо сербиянки и расцеловала ее в обе щеки.

Димитр, до этого все время молчавший, глянул на Георгия и тихо проговорил:

— Умная девушка.

Когда Георгий и Магдалина, проводив Любу, вернулись, Парашкева спросил их:

— Вы проводили ее до дома?

— Конечно.

— Завтра, если ты вновь увидишь ее, Георгий, пригласи к нам в воскресенье на обед. Я баницу приготовлю.

Георгий, как-то загадочно улыбнувшись, спросил мать:

— Понравилась она тебе?

— А тебе она нравится? — в свою очередь спросила Парашкева.

— Если бы она мне не нравилась, разве бы привел я ее к нам?

С этого вечера Георгий часто приводил Любу то на обед, то на ужин. Однажды, когда Георгий пришел без Любы, Парашкева спросила его:

— А где же Любича?

Парашкева любила называть ее так.

— Ты, мама, уже привязалась к ней, да?— засмеялся Георгий.

— И привязалась, и привыкла. А ты?

Парашкева заглянула сыну в глаза. Они светились у него от скрытой радости.

— И я.

— Слушай, Георгий, а если мы пригласим Любу переехать к нам жить насовсем, что ты на это скажешь?

— Не знаю, мама,— растерянно ответил застигнутый врасплох Георгий.— Не будет ли тебе трудно? Все-таки еще один человек в доме прибавится...

— Любича не из тех, с кем трудно. Разве я не вижу, как она сейчас же вскакивает из-за стола, чтобы помочь мне, когда я несу что-нибудь. Не сядет, пока я не сяду. Я поняла, что она за человек, да и ты понял... и не притворяйся!

Люба стала жить в доме Парашкевы. Скоро всем стало ясно, что Георгий и Люба любят друг друга.

В доме отпраздновали свадьбу. Парашкева и Димитр отдали молодым две комнаты наверху, а сами перешли в пристройку позади дома, которую Димитр сделал с помощью свояка для своего многолюдного семейства. Теперь, когда при Парашкеве и Димитре из детей остались только Георгий, Магдалина, Тодор и Еленка, места в доме с пристройкой хватало для всех.

* * *

С тех пор как Костадин хлопнул дверью и, рассерженный, выскочил из дома, Димитр не разговаривал с ним. Парашкева переживала, а Костадин на все ее расспросы отмалчивался. Его товарищи рассказали ей, что он непрестанно учится и читает, ночуя у того, у кого засидится. Значит, Костадин не связался с дурной компанией, не тратит времени на гулянки. Ясно было, что он обижен. Как хотелось несчастной матери убедить Димитра не обижать Костадина.

— Мне дармоеды в доме не нужны,— ответил Димитр Парашкеве после очередного их разговора о Костадине.

— В чем ты его упрекаешь? В том, что он читает? Что учится? Любой отец на твоём месте радовался бы, что его сын не тратит времени попусту,— убеждала Парашкева мужа.

— А почему он не учится ремеслу, чтобы стать человеком?..

Нелегко было убедить и Костадина не сердиться на своего отца и вернуться в дом.

— Сделай это ради меня,— упрашивала Парашкева сына.

Наконец Костадин согласился. Он снова стал жить дома, но отношения между сыном и отцом не наладились.

— Меня зло берет, когда я вижу, что он подражает Георгию,— говорил Димитр.— Не может понять, что Георгий — один такой и что стать таким же он все равно не сможет.

Однажды Люба, которая была согласна в этом с Димитром, сказала Костадину:

— Зачем ты покупаешь книги, которые уже есть в доме? Библиотека твоего брата к твоим услугам, не серди отца.

Сильнее всех от всего этого страдала Парашкева. Она постоянно была настороже, постоянно опасалась, как бы кто-нибудь из мужчин вдруг не взорвался, как бы не вспыхнула ссора. День ото дня Димитр становился все раздражительнее. А нервным он стал еще с того года, когда строили дом и взяли деньги взаймы. Нужно было работать с утра до поздней ночи, зарабатывать вдвое больше, чтобы содержать семью и выплачивать долг. Он вставал затемно. Парашкева заодно с ним.

— Разбуди Лину, пусть поможет мне.

— Дай ребенку поспать.

— Не маленькая уже!

От этих слов мужа, от его нервозности, нетерпимости Парашкева таяла как свечка, но молчала и не сердилась на мужа, потому что понимала, как ему тяжело. Не показывала она и другим, что и ей что-то не по себе. Скрывала она теперь и от соседок и от приятельниц, как ей тяжело, как мучает ее разрыв между сыном и отцом.

А здоровье ее становилось все хуже. Иногда она корчилась от боли и не в силах была хоть что-нибудь съесть.

— Мама, не принимай все так близко к сердцу, береги себя,— успокаивала ее Лина.

— Да я здорова, ничего у меня нет!

Люба старалась порадовать ее чем-нибудь, приносила или шила какое-нибудь платьице Еленке, а иногда и самой Парашкеве. В эти спокойные дни Георгия дома не было. Он объезжал села и города, в которых имелись профсоюзные центры, встречался с активистами, с рабочими, разъяснял им, что необходимо объединить усилия в борьбе за свои интересы. По возвращении Георгий и Люба долго разговаривали у себя наверху. Парашкева лишилась самой большой радости — бесед с Георгием, когда он садился рядом с ней и рассказывал, где был, что делал, делился с ней своими планами, но понимала сына и не сердилась на него.

Когда Люба поняла, что полиция следит за Георгием и повсюду неотступно следует за ним, она сообщила о своих подозрениях Парашкеве, а та не удержалась и с кажущимся спокойствием намекнула сыну:

— Тебе нужно бы немножко побережься, Георгий!

— Как же бережься, мама! Это значит — прекратить работу!

— И все же ты можешь быть поосторожней, не возвращайся слишком поздно, не ходи один...

Но Георгий только рассмеялся:

— Что ты на это скажешь, Любича?

— Будь хотя бы чуть более осмотрительным,— ответила Люба и улыбнулась, чтобы не выдать своего страха за судьбу Георгия.

* * *

Сильная тревога охватила Парашкеву, когда Магдалина и Костадин рассказали, что случилось на собрании в читальне села Надежда. Пока Георгий говорил, жандармы окружили читальню, так как не могли проникнуть внутрь — столько в ней было народа. Они кричали Димитрову через окно, чтобы он прекратил свое выступление, но тот продолжал говорить. В конце концов жандармы протиснулись в читальню и попыта-

лись его арестовать, но на трибуне вместо Димитрова стоял уже совсем другой человек.

Парашкева поняла, что полиция будет теперь продолжать разыскивать Георгия.

— Значит, иногда мне придется ночевать в другом месте,— проговорил Георгий.

Но жандармы пришли среди бела дня. Георгий был дома. Увидев жандармов через окно, Парашкева быстро помогла ему подняться на чердак, потом взяла в руки клубок шерсти и вязальные спицы и лишь после этого открыла дверь.

— Кого ищете?

— Твоего сына.

— Нет его, он сегодня рано ушел, на рассвете еще.

— Спрятала небось.

— Ищите, коль не верите.

Жандармы обыскали весь дом. Нету. Наконец они заметили крышку чердачного люка.

— Что на чердаке?

— Старые сундуки. Можете посмотреть.

Один из жандармов поднялся по лестнице, которую принесла Парашкева, другой полез следом за ним. Парашкева продолжала вязать, а сердце ее сжималось от страха.

— Чего ж ты встал, лезь, там не страшно,— подзуживала она жандарма.

Но когда жандарм просунул голову в люк, его лицо опутала паутина. Он обернулся и плюнул:

— Ни черта не вижу!

Жандарм спустился. Парашкева предложила им обыскать подвальныйю комнату, ту, где у нее стоял ткацкий станок.

— Но мы же видели твоего сына, когда он входил во двор!

— Обознались, значит,— ответила Парашкева.

Когда жандармы ушли, она долго еще сидела на лавке не в состоянии даже шевельнуть спицами, сердце отпустило, но теперь ее пронила страшная боль в желудке.

— Браво, мама,— сказал Парашкеве Георгий, который через полчаса после ухода жандармов спустился с чердака.— Я слышал твой спокойный голос. Это было твое первое испытание. Теперь я буду знать, что ты умеешь встречать жандармов.

Парашкева не ответила Георгию, потому что в этот момент вошла Люба. Какое-то предчувствие заставило ее оставить работу прежде времени и поспешить домой. После случая в селе Надежда она боялась за Георгия. Войдя в комнату, Люба бросилась к мужу:

— Ох, ты здесь!

— Конечно! А ты что так дрожишь? Вот уж не думал, что ты такая трусиха! Ты же революционерка. Вон мама даже глазом не моргнула перед жандармами. Даже вязанья из рук не выпустила!

— Я боюсь не за себя, а за тебя,— прошептала Люба.

— А мама разве не боится? Надо привыкать к этому. Такие уж у меня дела... Вот отцу о том, что сегодня случилось, не говорите. Пусть он ничего не знает. Хорошо, что его нет дома... Где он, кстати?

— Пошел за кожей для шапок. Скоро должен вернуться.

Когда хлопнула калитка, Парашкева ушла в пристройку. Димитр вошел, швырнул сверток на лавку и сразу же сел.

— Ох, замучила меня эта нога!

Парашкева отложила вязанье и поднялась.

— Пойду сварю кофе, это немножко взбодрит тебя,— сказала она мужу, глядя через окно на калитку. Разве не могут жандармы вернуться, чтобы обыскать дом еще раз? Если она заметит их, нужно будет немедленно предупредить Георгия. Конечно, Люба тоже наблюдает, но Парашкева, как всякая мать, острее чувствует, когда ее детям угрожает опасность.

Когда Георгий зашел попрощаться, Парашкева сказала ему:

— Тебе нужно скрыться!

— Нужно, мама. С сегодняшнего дня я перехожу на нелегальное положение.

— Куда же ты пойдешь сейчас! Подожди, пока стемнеет!

— Надо спешить!

В эту ночь Парашкева не сомкнула глаз. На другой день Георгий домой не приходил. Только под вечер Люба сообщила ей, что он устроился у одного своего друга, где-то под Софией.

— А нельзя ли мне увидеть его? — спросила Парашкева.

— Нет, мама, это опасно для Георгия. Я ведь его тоже не видела. Подождем пока,— ответила Люба.

Прошел целый месяц. Как-то ночью в ворота постучали. Когда Магдалина открыла, она разглядела в темноте фазтон, остановившийся напротив их дома. Опираясь на извозчика, из фазтона спустился Георгий. Он едва держался на ногах. Парашкева бросилась к нему и подхватила под руки. Прежде чем войти в дом, Георгий крикнул извозчику, уже забравшемуся на козлы:

— Подожди, тебе заплатят!

— Я с Димитрова денег не возьму! — отозвался извозчик.

Георгий посмотрел ему вслед, покачал головой:

— Как он узнал меня? Темно же, и лежал я на мостовой. Он ведь меня за пьяного принял.

Магдалина и Парашкева подхватили Георгия и повели в дом. Все вышли из своих комнат, сразу проснувшиеся и встревоженные.

— На кого ты похож, почему ты весь в грязи? Что с тобой случилось?! — воскликнула Люба, заметив растерзанный вид своего мужа. Она победнела и едва не упала в обморок.

Все тело Георгия было в синяках и кровоподтеках.

— Кто ж это так тебя избил? — вся в слезах, спросила Парашкева.

— Я не знаю, кто меня бил.

— Жандармы?

— Нет. Какие-то люди на улице... Называли меня изменником.— Георгий с трудом говорил.— Люба, подойди ко мне поближе. Нагнись! Георгий что-то прошептал ей. Люба встала, оделась и вышла.

Спустя час она вернулась, с нею вместе пришел какой-то незнакомый человек. Он оказался врачом.

В эту ночь никто уже спать не ложился. Врач не уходил. Он дождался прихода двух других мужчин, которые и увели Георгия.

— Не беспокойтесь за меня. Я буду у друзей. На днях они дадут вам знать обо мне.

— Я пойду с тобой,— сказала Люба.

— Сейчас нельзя,— ответил ей Георгий.

Фазтон уехал. Люба прибиралась в своей комнате. Парашкева вернулась в пристройку. Димитр не спал, но что случилось — не понял. У него болели ноги, и он не мог подняться.

Парашкева опустила на колени и начала молиться:

— Ты знаешь, господи, какой у меня сын! Береги его!

Это был скорее приказ, чем молитва.

* * *

Парашкева с тревогой наблюдала за состоянием мужа. Поручившись за одного своего приятеля, Димитр вынужден был выплачивать большую сумму, и он решил заложить половину дома. Он лишился сна, ночи напролет ворочался в постели, иногда помимо воли тяжело вздыхал.

— Что с тобою, Димитр?

— Ничего.

— О чем ты думаешь?

— Сама знаешь.

— О доме, что ли? Не думай. Как-нибудь выплатим мы этот долг. Вот и Магдалина из Самокова присылает. И Борис с ней. Уже на едока меньше. Да и ребята растут, скоро и они помогать станут.

— Столько дел! Весь год отдыха не знаешь, а теперь вот и заработка лишишься!

— Было б здоровье, остальное уладится.

— Так и здоровья уже нет.

— Зато дети здоровы!

— А почему же Николчо о себе ничего не пишет...

— Мы же получили письмо от Лизы. Все хорошо.

— Одно дело — жена, другое — когда он сам пишет.

Парашкева не знает, что отвечать. Та же мука грызет и ее. Она умолкла, но через некоторое время снова заговорила:

— Костадин подал весточку из казармы. Пойду на днях, отнесу ему теплые носки, фуфайку.

Парашкева надеялась, что Димитр ответит ей что-нибудь, но он всегда, когда заходила речь о Костадине, отмалчивался. Она не могла понять, почему так долго носит Димитр в своем сердце неприязнь к собственному сыну. И чем только его так задел Костадин? Каждый таков, каков есть, а он, Костадин, был просто замечательным, самым красивым из ее детей! И учился он лучше всех. Конечно, он мечтал стать ученым, а отец хотел, чтобы он овладел каким-нибудь ремеслом. Георгий не мог учиться, а стал человеком, потому что учился сам. Работал и учился одновременно. У каждого есть какой-нибудь талант, но ни у кого нет такого, как у Георгия: уметь убедительно и красиво говорить и ничего не бояться. Да, Георгий не страшит ничто. Это его опасаются, потому и преследуют. Но его и любят за бесстрашие. Георгий скромн, не тщеславен, поэтому никогда не обижается и редко сердится. Но если обижают рабочих, о, тогда ярость его безмерна, страшно вставать тогда на его пути! Но почему же Костадин такой обидчивый?

Так рассуждала Парашкева, сравнивая Костадина с Георгием и ища причины того, почему Димитр все прощает Георгию, но никак не хочет простить Костадина. И почему Костадин не прощает своему отцу? Ее сердцу все дети были одинаково дороги, и за каждого из них она тревожилась...

За этими раздумьями застали Парашкеву ее соседки. Они пришли к ней со своими заботами и хотели посоветоваться с ней. Парашкева же о своих заботах молчала.

— И добра, и зла всюду много. Надо видеть не только то, что касается вас, но и то, что делается вокруг. Может, другим еще хуже, чем нам...

— А легче ли от этого? — спросили соседки.

— Легче, потому что перестаешь думать только о себе.

— Кто ж научил тебя этим мудрым словам, Парашкева? Не такая уж ты и старая, чтобы самой их выстрадать!

— Сама выстрадала, сама... С детства еще. С малых лет страдала. Жизнь научила меня терпеть. А терпение учит разуму.

Соседки сидели вместе с Парашкевой на пороге дома и разговаривали, когда Лена вернулась из школы. Двор вновь ожил, на лице Парашкевы опять появилась улыбка, доволен и Димитр: дочь будет вдевать ему нитки, и работа пойдет быстрее. Глаза у Димитра ослабли не столько от возраста, сколько от напряжения, от того, что с утра до ночи ему приходилось пользоваться очками. Еленка помогала отцу охотно, но иногда ей не хватало терпения, и она начинала хитрить — вдевать нитки подлиннее. Но и для этой скромной помощи отцу приходилось отрывать ее от уроков или от игры.

Однажды, когда он позвал ее, Еленка вдела в иглу такую длинную нитку, что она обмоталась вокруг отцовской руки и завязалась в узел.

— Эти проделки так тебе не пройдут! — крикнул Димитр дочке, сделав вид, что рассердился, но, когда Еленка начала смеяться, рассмеялся и сам...

Однажды Люба пришла с работы необычайно расстроенная. Арестован Георгий. Известие уложило Парашкеву в постель. В тот же день они узнали о том, что он заключен в Черную мечеть — самую страшную софийскую тюрьму. В камерах не было ни нар, ни подушек, ни одеял. Узники сидели и лежали прямо на полу месяцами, а иногда и годами, во дворе тюрьмы торчала высокая виселица — единственное его украшение.

В первом письме, которое они получили из Черной мечети, Георгий просил передать ему одеяло и какой-нибудь лежак.

Парашкева увязала одеяло. Люба собрала нижнее белье, подушку... Охранник взял кое-что из принесенного и обещал передать. Люба позаботилась о лежаке, Еленка и Тодор взялись отнести его, но и их к Георгию не пустили.

Через несколько дней Люба получила записку: «Только что мне передали одеяло и кое-какие вещи. Надеюсь, что завтра утром принесут лежак. Будь спокойна, крепись. Твой Георгий выйдет из Черной мечети еще более закаленным, еще более твердым и, надеюсь, поумневшим бойцом».

Письмо всех успокоило. Люба привела Парашкеву на митинг, на котором собравшиеся протестовали против ареста Димитрова. Люди скандировали: «Освободите Димитрова. Мы требуем свободу Димитро-

ву!» Парашкева слушала эти возгласы, и ее сердце наполнялось благодарностью к этим рабочим людям, которые были так озабочены судьбой ее сына.

* * *

Георгия освободили, но жить в доме родителей и дальше он не захотел и вместе с Любой переехал на улицу Козлодуй. По какой причине он сделал это, Парашкева объяснить не могла. То ли потому, что в доме было слишком много людей и мать утомляли заботы, то ли потому, что Димитра мучили разболевшиеся ноги и ему требовалась отдельная комната, а вторая комната в пристройке для остальных детей была мала, — но Парашкева страдала от этой разлуки.

Теперь она лишь изредка будет видеть своего Георгия. Правда, он находится под надзором полиции, и лучше, чтобы он был подальше от родительского дома. Но и на улице Козлодуй было не намного безопасней, поэтому Георгий часто уходил в партийный клуб, куда полицейским ищейкам было не так-то легко проникнуть.

Ни одну ночь не спала Парашкева спокойно. Усилились и боли в желудке. К тому же умножились и переживания за Костадина, после того как он отслужил военную службу. Снова он был бездомный, потому что вернуться к родителям не захотел. Парашкева поняла, что упрашивать его бесполезно. Двое сыновей, двое дорогих сыновей — и оба не с нею! Может ли быть что-нибудь хуже этого! Одного преследует полиция, другой обижен своим отцом...

Вся София пришла в движение. Война! По улицам с песнями шли войска. На штыках цветы. Люди вышли из домов и смотрели на солдат. Солдаты шли бодро, были веселы, как будто они отправлялись на свадьбу!

— Куда ж это их гонят? — воскликнула Парашкева. — Куда, господи!

— На войну.

— На какую войну?

— На священную.

— Мы освободим всех христиан, которые еще находятся в турецком рабстве.

— Батюшки мои, опять война! — прошептала Парашкева и расплакалась. Она вспомнила, как они бежали из Македонии во время турецкого господства, как тяжело приходилось беженцам. Не то же ли самое будет? Снова те же мученья, снова те же несчастья!

Но люди будто бы и не думали о тяготах войны. Они были пьяны от радости! Они шли освобождать своих братьев. Страдания оставлялись матерям, которые посылали своих сыновей на смерть.

В тот же вечер Георгий тайком пробрался в родительский дом.

— Мама, — сказал он, — мобилизовали пехоту. Костадина отправят на фронт.

Парашкева молча стиснула на груди руки.

Георгий прошел к отцу. Он застал его за шитьем.

— Я ненадолго к вам, сказать, что Костадина мобилизовали, ско-

ро отправят на фронт. Прошу тебя, отец, не оставляй его без благословения. Попрощайся с ним по-доброму.

Димитр опустил голову и ничего не ответил.

— Вот так-то, отец, а теперь мне пора идти. Не провожайте меня. Я пройду через соседский двор и выйду из их ворот.

Парашкева оделась и пошла разыскивать Костадина. И не нашла его. Потом, уже поздно вечером, на поиски отправилась Магдалина, и ей не повезло. Лишь на третий день Костадин прислал записку и назначил время встречи. Необходимо было приготовить ему белье. Димитр по-прежнему молчал. Лишь когда Парашкева разрыдалась, он произнес:

— Как все уходят, так и он уйдет.

Костадин, отбыл на фронт, отец так и не попрощался с сыном. Костадина провожали все, кроме Димитра. Он уже еле передвигался, его ноги болели все сильнее...

Известие о том, что Никола арестован и сослан в Сибирь, было как гром среди ясного неба. И Парашкева и Димитр были спокойны за Николу, особенно после того, как он женился. И вот теперь его жена пишет, что он осужден на вечное поселение.

Всю ночь Парашкева сидела на кровати и молилась, а на рассвете, придя в себя, сказала Магдалине:

— Хорошо, что он не один, что его жена вместе с ним, там, в Сибири.

Слова «там, в Сибири» были непонятны Парашкеве. Она хотела и не могла себе представить, где же он, ее Никола. Она хотела увидеть, где он живет, какие люди его окружают, что за тяжелая работа досталась ему в наказание. Мысль, что Лиза с ним, немного успокаивала, хотя сердце все равно сжималось от боли, а боль иногда была так сильна, что вынуждала Парашкеву хвататься за грудь. Но надо жить дальше, потому что, кроме Николчо, у нее было еще семеро детей. И все же Николчо не выходил у нее из головы, пока она не получила второе, еще более тяжкое известие: Костадин убит.

Магдалина протянула извещение о смерти брата отцу. Димитр прочитал его, положил на лавку и быстро встал. Он едва держался на ногах. Ничего не сказав, он снова лег, закрыл глаза и так пролежал весь день.

Парашкева не плакала. Удар был слишком тяжелым, и слезы не могли облегчить его. Впервые теряла она своего ребенка.

«Господи, затем ли ты дал мне восьмерых детей, чтобы потом отнять их у меня? Затем требуешь растить сына, чтобы однажды, когда он станет стройным, красивым, сильным, вдруг взять и погубить его!.. Убит!.. За что ты наказал меня самым страшным материнским горем? Или ты хочешь, чтобы я исполнилась ненавистью к врагам? Я и без того ненавижу их сердцем каждой матери, получившей известие: «Твой сын убит!» Я видела этих матерей сегодня, одетых во все черное. Я была в церкви. Я проклинала войну. Я видела на тротуаре беженцев... Какая-то старая женщина держала на своих коленях младенца — его мать умерла в пути. Кровь пошла у нее горлом... Эта женщина была такой старой и такой изможденной. А малыш смотрел на все вокруг своими большими черными глазенками и не знал, среди какого зла он родился. Такой же прелестный ребенок, как мой Костадин. Зачем же расти ему,

скажи, господи, затем ли, чтобы в какой-нибудь день пуля сразила его?»

До зари, стоя на коленях возле кровати, читала Парашкева свою молитву, похожую скорее на протест.

Когда в окне побледнело и занявшийся день высветил росшее на дворе большое ореховое дерево, Парашкева поднялась, заново повязала на голове платок, вышла из дома, умылась водой из колодца и отправилась на кухню готовить завтрак для Тодорчо и Еленки. Она еще ничего им не говорила. Может же извещение быть ошибочным! А в школу нужно ходить.

Солнце светило так же, как светит оно всякий день.

* * *

С тех пор как пришло известие о смерти Костадина, Димитр сильно переменился, стал еще медлительнее и молчаливей, почти ничего не ел. Он часто вздыхал и даже стонал во сне. Парашкева просыпалась от малейшего движения мужа, а когда слышала его стоны, подходила, наклонялась над ним, но, как только замечала, что он вновь дышит глубоко, потихоньку отстранялась, чтобы он не увидел ее. Как-то она слегка дотронулась до его локтя. Димитр вздрогнул и проснулся. Вид у него был испуганный.

— Что с тобой, Димитр, почему ты так беспокойно спишь, какая мука грызет тебя, скажи!

Димитр не ответил на вопросы Парашкевы, сказав лишь:

— Пусть Еленка сразу же, как вернется из школы, зайдет ко мне. Шапка нужно срочно сдавать, пусть поможет.

После отъезда Магдалины в Самоков, где она стала работать в Американском колледже, большая часть домашних дел легла на плечи Парашкевы, а Димитр лишился своей главной помощницы. Лена была еще мала и не могла заменить Магдалину полностью.

Меж тем работать Димитру становилось все трудней и трудней. День ото дня силы оставляли его, он быстро утомлялся, дело не спорилось. Парашкева замечала, что он никогда не упоминает имени Костадина, а если разговор о нём все-таки заходил, он обрывал его каким-нибудь вопросом. Она поделилась своей тревогой с Любой. Люба призналась, что она тоже заметила это.

— Переживает он за сына, а может, его мучает мысль, что расстаются они друг с другом не помирившись.

— Георгий просил его не отпускать Костадина без благословения, но Костадин уехал, не попрощавшись с отцом.

— И ни тот ни другой не подумали, что на войне убивают!

Парашкева разрыдалась так горько, что Люба растерялась:

— Не плачь, мама, слезами его не вернуть.— Но сразу же поняла, что эти слова не утешат мать и что будет, наверное, лучше, если Парашкева выплечется: может, ей станет легче.

Они разговаривали тихо, чтоб Димитр не услышал их.

— Мама! — донесся вдруг со двора голос Еленки.— Письмо! Я принесла письмо!

Письмо было от Магдалины. Она просила отца не стесняться и сообщить, когда нужно будет вносить деньги в банк в счет уплаты долга за дом.

Люба прочитала письмо вслух, Димитр опустил голову. Парашкева всплакнула, а Еленка глядела на всех и удивлялась, почему никто не радуется письму. Так прошел день: то в заботах, то в радости, от которой тоже наворачивались слезы.

Димитр ослаб до такой степени, что совсем перестал шить.

— Отдохни, Димитр,— говорила ему Парашкева, подкладывая под спину большую подушку.

Магдалина прислала новое письмо:

Я познакомилась с директором типографии Американского колледжа Стефаном Барымовым, очень приятным, симпатичным человеком. Он содержит частный сиротский дом. Как-то он позвал меня посмотреть на детей. Они все сироты! С тех пор я часто бываю там. Дети радуются, когда я прихожу к ним, и я тоже радуюсь.

Парашкева слушала письмо, и ее глаза наполнялись слезами сочувствия к несчастным детям и от гордости, что Магдалина, ее дочь, заботится о сиротах.

Когда Димитр почувствовал, что конец его близок, он попросил Тодорчо купить ему баницу. Вернувшись, мальчик застал отца уже мертвым. После гибели Костадина прошло восемь месяцев...

Послали за Георгием. Он пришел быстро.

— Не успел он с тобой попрощаться,— сказала Парашкева,— а вспоминал все время...

* * *

Под новый 1914 год Магдалина и Барымов обвенчались. Свадьбу справляли дома, в Софии. За свадебным столом не было Димитра, Николы и Костадина. Со дня смерти Димитра прошло шесть месяцев, год и два месяца — со дня гибели Костадина, а Никола был в ссылке в Сибири. А это означало, что Парашкева уже никогда не увидит его, потому что приговор гласил: навечно.

Но сегодня ей нужно быть веселой. Потому что свадьба, потому что дочь замуж выходит, не отдавать же ее со слезами...

После венчания Магдалина и Стефан снова уехали в Самоков. Некоторое время спустя Георгий и Люба с улицы Козлодуй переехали обратно в дом Парашкевы. Парашкева была счастлива принять их, и они снова поселились в двух верхних комнатах. В пристройке вместе с нею остались Борис, Тодор и Лена. Средства на жизнь давали сыновья, уже устроившиеся на работу, кроме Тодора, который еще ходил в школу и водил с собой восьмилетнюю Лену.

Жизнь после Балканской войны была тяжелой. Вся страна была полна беженцами из Македонии, Тракии и Добруджи. Крестьяне разорились. У них отбирали зерно и муку для фронта, угоняли скот. На базаре трудно было найти мясо, не хватало хлеба. Люди обносились, обнищали. Парашкева перестала ткать, потому что негде было достать пряжу.

Большим несчастьем для Парашкевы был ее брат Коста, малограмотный бездельник и пьянчужка. Ничто не могло помешать ему пить. Парашкева взяла его к себе в дом, когда Димитр был еще жив.

— Я не хочу этого,— говорил Димитр,— плохой пример детям.

— Прощу тебя, потерпим немного, может, он исправится.

Димитр уступил Парашкеве, но Коста не менялся. Он таскал у Парашкевы деньги, грозился поджечь дом, ругал, когда она не давала ему на ракию. Он упрекал сестру в том, что она живет лишь для себя и своих детей, а о нем и думать не думает.

— Все вы такие, евангелисты...

— Не надо, Коста, не надо, братец, образумься, брось пить!

— Отстань ты со своими проповедями, они мне уже осточертели! Хватит с меня!

Однажды Коста ушел и не вернулся. Где он, что с ним стало, Парашкева не знала. Она корила себя за то, что мало о нем заботилась. На самом же деле Парашкева ни о ком не заботилась так, как о брате. Ведь это он был тем самым грудным младенцем, которого она спасла, когда они бежали от турок. Он рос сиротой, без всякого присмотра, он пришел к Парашкеве со всеми пороками, которые приобрел, за тем, чтобы мучить ее, чтобы срамить ее перед людьми и всеми ее детьми. И вот! Теперь она не знает даже, что с ним. Если бы хоть Лина была рядом, она бы разделила с ней ее страдания. Но Магдалина уже имела свой дом, свою семью...

* * *

Через полгода после смерти отца Георгий Димитров был избран депутатом в Народное собрание, представителем от Врачанской околии. Он входил в группу депутатов-тесняков — «узких социалистов».

— Теперь, мама, беспокоиться за меня не надо! Никто не имеет права арестовывать народных представителей.

Парашкева поглядела на сына: Георгий возмужал, окреп.

Как-то он рассказал ей о сербских пленных.

— Загнали за колючую проволоку и не разрешают вернуться на родину. Ты бы видела их, мама: оборванные, голодные. Когда я навещил пленных, они бросились ко мне, как будто я шел их освобождать. «Братья! — говорю я им. — Вы видите, как стараются поссорить нас, болгар, и вас, сербов. А нам делить нечего. И ваши, и наши руки пусты. Поэтому мы — братья. Знайте это, помните это и, когда вернетесь в свои дома, так всем и говорите».

— И что же они тебе ответили?

— Что они могли мне ответить, несчастные! Они поверили моим словам, в их глазах светилась надежда.

— Боритесь, сынок! Освободите их! — прибавила Парашкева.

Но правительство не спешило освобождать сербов, потому что готовилось к новой войне.

20 сентября 1915 года была объявлена мобилизация. Георгий и другие народные представители парламентской группы тесняков выступили в Народном собрании против войны, против политики грабежа, особенно против германского империализма, поработившего Болгарию. Это послужило для правительства поводом ввести строгую цензуру, начать аресты, преследования противников войны.

— Посмотри, Люба, нужно узнать, не следят ли за домом. Но маме не говори.

Однако Парашкева, входившая в этот момент в комнату, услышала эти слова.

— Ты же говорил мне, Георгий, что народные представители находятся под защитой закона? Что же могут вам сделать?

— Придумают! Болгария — страна беззакония. Могут обвинить в чем-нибудь, чтобы только отдать нас под суд.

Власти действительно обвинили социал-демократов в государственной измене, и чуть позже Георгий был отдан под суд за то, что он якобы оскорбил одного полковника.

* * *

Тодорчо и Елена жили в Самокове. Лина и Барымов устроили их в Американский колледж. При Парашкеве остался лишь один Борис. Но и тот ходил на работу. Чтобы забыться, Парашкева распускала старые шерстяные покрывала и перевязывала их. Иногда к ней приходили соседки. Она встречала их радушно, довольная тем, что это отвлекает ее от тяжких раздумий. Парашкева проворно работала спицами и рассказывала, как бежали люди от турок в недавние времена, а соседки качали головами:

— Да разве теперь легче! На базаре — шаром покати! Соли и той нет!

— А я газа для лампы никак найти не могу.

— Скажи-ка, Парашкева, как ты думаешь — война скоро кончится?

— Откуда ж ей знать, — оборвала соседку бабушка Фотя, которая всегда была на стороне Парашкевы и защищала ее, даже когда нужды в защите и не было.

— Если ее сын депутат, значит, это от него зависит. Вот он и прекратит войну!

— И зло и добро — все от людей, все людям, — отвечала Парашкева. — Кругом страдания, где-то и чума, а еще где-то и того хуже.

— Правильно она говорит, — снова вмешалась Фотя. — Но пока наши дети живы, нам горевать не о чем.

Женщины все разом замолчали. Парашкева плакала. Она не забыла о своем горе — об убитом три года назад Костадине. Это горе пробуждалось в ней вместе с болью за каждую мать, получавшую с этой бесконечной войны известие о смерти своего сына.

* * *

Не задержалась, пришла тяжкая весть и о смерти Николы. Здоровье его было подорвано тяжелыми условиями, в которых жили в Сибири политические ссыльные. Письмо прислала его жена. Последним желанием Николы было вернуться в Болгарию, увидеться с родителями и братьями, привезти на родину двух своих детей.

В первые минуты Парашкева словно окаменела... Последнее письмо, полученное в прошлом году, успокоило Парашкеву: она поняла из него, что Никола жив и здоров. И вот теперь неожиданное: он умер! А ведь его жена писала тогда: «Он верит, что наступит такой день, когда он увидится со всеми вами». Ведь это он перед отъездом в Россию сказал ей: «Революция победит сначала в России, а потом и у нас! Вот тогда я и вернусь!»



*Люба Ивошевич-Димитрова
и Георгий Димитров. 1906 г.*



Георгий Димитров на учредительной конференции Союза рабочей социал-демократической молодежи в г. Русе 17--18 августа 1912 года.



Люба Иванович-Димитрова и Георгий Димитров, 1912 г.

Люба Иванович-Димитрова (1882—1933).

Не дождался победы Никола. Он умер от болезни в том самом 1917 году, когда революция в России действительно победила. Великая революция рабочих и крестьян, передавшая власть в руки трудящегося народа. Сбылись мечты Николы и его товарищей, а он умер...

Умер! Нет, это неправда, этого не может быть. Парашкева не могла представить себе своего сына лежащим в гробу. Она видела его и во сне и наяву все тем же Николчо, девятнадцатилетним, ловким, буйным сорвиголовой! Она не верила даже в то, что он может измениться с годами и стать мужчиной, мужем, отцом.

«Боже,— молилась Парашкева, но ни одна слеза не хотела выкатиться из ее глаз, чтобы облегчить ее страдания.— Боже, я уже отдала тебе одного сына, ты уже взял у меня Костадина, но тебе потребовался и второй!»

— Революция не обходится без жертв,— сказала Люба, услышав последние слова молитвы. Она заметила на лавке письмо, быстро прочла его и положила на место. Парашкева поднялась, поправила платок. Люба посмотрела на нее. Парашкева не плакала, она лишь повторяла слово «жертва», которое Люба только что произнесла.

— Да,— отозвалась невестка.— Это — жертва. У нас каждая третья мать носит траур. Ты же видишь, что делается вокруг: вдовы, сироты, голод, болезни...

— А конца войне все не видно,— прошептала Парашкева.

— Будет конец, будет,— убежденно ответила Люба.— Солдаты бунтуют, да и партия не спит: она зовет их выступать против войны, против тех, кто затеял эту бойню ради своих интересов. Ты знаешь, есть уже и офицеры на нашей стороне. А солдаты, оборванные и завшивевшие, только и ждут, чтобы им сказали: «Поверните оружие против тех, кто посылает вас на смерть!» И мы скажем им это, как сказали русским солдатам большевики!

Однажды Парашкева проснулась обеспокоенная:

— Где Георгий?

— Уехал в Ксанти. Повез обращение к солдатам, чтобы они, наконец, прозрели, чтобы не шли, как овцы, на заклание.

«Революция не обходится без жертв»,— повторила про себя Парашкева.

Во дворе слышались голоса детей, возвращавшихся из школы.

* * *

Димитрова отдали под суд за подстрекательство солдат к бунту. 29 августа 1918 года Димитров был заключен в Центральную софийскую тюрьму.

Люба подробно рассказала Парашкеве, что произошло в вагоне поезда. Парашкева внимательно слушала невестку, и ее глаза то светились от радости, что ее сын вступился за раненого солдата, то темнели от гнева, и она сжимала губы, представляя себе, как полковник выгонял солдата, осмелившегося войти в офицерское купе.

— Выкиньте его сейчас же из купе! — раскричался разъяренный полковник.

— Вы что, не видите: солдат ранен, льет дождь... Куда вы его гоните? — вмешался Димитров.

— Кто вы такой? Какое вы имеете право совать свой нос в военные дела!

— Я депутат, народный представитель.

— Вы предстанете перед военным судом! Вами будет заниматься трибунал! — рассвирепел полковник.

Парашкева понимала, какая опасность нависла над головой ее сына, но не выдавала своего беспокойства, не делилась ни с кем своей озабоченностью.

Она приняла случившееся как нечто неизбежное, не показав своей муки даже Любе. Парашкева видела, как страдает весь народ, и ее горе растворялось в общем горе. Георгий писал из тюрьмы, письма были полны бодрости. Это успокаивало Парашкеву. Каждую пятницу она ходила вместе с Любой на базар, чтобы купить у крестьян хоть что-нибудь и передать Георгию при свидании.

Заключенным давали в тюрьме сто граммов кукурузной муки и миску гнилого картофеля.

— Ты держись, мама, — говорил Георгий.

— Я держусь, ты же видишь.

— Я вижу, мама, вижу, — недовольно покачивал головой Георгий. Парашкева улыбалась, но он не верил ее улыбке.

— Принесла ли ты мне книги? — спросил он однажды, когда Люба навестила его одна.

— Принесла! — ответила Люба и достала из глубокой сумки заказанные Георгием книги.

Он читал беспрерывно. Люба едва успевала доставать ему необходимую литературу...

А война все продолжалась. В казармы уже забирали учеников последних классов. Забрали и Тодора.

— Хоть бы война кончилась раньше, чем отправят эту молодежь на фронт! — тревожилась Парашкева.

— Кончится, мама, кончится. Она стала уже невыносимой для всех, — уверяла Люба.

А в доме почти нечего было есть. Нечем было растопить печку, не было угля, но ни Парашкева, ни Люба, ни дети не жаловались на это.

Однажды в дом постучали, и Парашкева увидела на пороге незнакомых людей. Их было человек пятнадцать. Она догадалась, что это шахтеры. Они принесли с собой два тяжелых мешка.

— Что это вы принесли? — спросила взволнованная Парашкева, приглашая их в дом.

— Уголь для матери Димитрова! — ответили шахтеры.

Парашкева смущенно глядела на них.

— Я-то не замерзну, а вот кто согреть детей и больных, когда негде купить ни дров, ни угля... Георгий в тюрьме, позаботиться о них не может.

— Он о них и из тюрьмы заботится, — сказали шахтеры.

— Когда же его освободят?

— Мы боремся за это!

Она проводила их ободренная, согретая не столько углем, который они принесли, сколько их любовью к ее семье.

— Мама, пойдем со мной на митинг,— крикнула ей Люба, когда вернулась из города.

— Какой митинг? Где?

— Против войны!

Парашкева живо собралась, и Люба повела ее на митинг. Повсюду видела Парашкева плакаты, которые несла взбунтовавшаяся молодежь. Были и лозунги: «Требуем амнистии для заключенных!», «Требуем суда над виновниками войны!».

Парашкева вернулась домой с твердой уверенностью в том, что вскоре война непременно кончится. Она видела, как возмущен народ, как он борется за освобождение ее сына.

Не прошло и трех месяцев после ареста, как Димитрова выпустили. Он вернулся бодрым, несмотря на голод, холод и тюремный режим, и вновь занял свое место в Народном собрании.

— Теперь мы засучим рукава и будем бороться с теми, кто втянул народ в эту преступную войну и довел его до такого бедственного положения.

Парашкева подняла на сына глаза, улыбнулась, а он продолжал:

— Только так, мама! Но необходимо мужество и организованность, потому что впереди нас ждет еще немало опасностей.

* * *

Подавили солдатское восстание, расстреляли восставших со склонов Витоши. Отдали свою жизнь во Владайском ущелье те, кто арестовывал офицеров в Радомире и привел их сюда, под Софию. Уставшие, истощенные, но решительные, они, как буйный поток, наводнили горную теснину, шли кто с оружием, кто без оружия, кто с винтовкой, а кто с голыми руками. Они были неорганизованные, они вели борьбу, не имея руководителя, а против них выступила хорошо обученная армия юнкеров и германская артиллерия.

— Почему у солдат не оказалось руководителя? Неужели не было никого? — спрашивала Парашкева.

— А кто бы мог это сделать? Все наши люди мобилизованы и разбросаны по фронтам,— ответил Георгий.

— Напрасные, значит, жертвы,— тяжело вздохнула Парашкева.

— Жертвы никогда не бывают напрасными. Герои являются примером для тех, кто продолжает борьбу.

— А не заблуждаются ли они?

— Кто?

— Восставшие. Не поторопились ли они? Не ошибка ли это — их выступление.

— Не ошибка, мама, а конец ошибкам.

— А матери в трауре, а осиротевшие дети?

— Ах, мама, без этого борьба невозможна!

— А может, было бы разумней не спешить, выждать...

— Нет. Разве может ждать человек, у которого ноги охвачены гангреной от ступней до колен? Не может.

— Я все понимаю... Умом примиряюсь, а сердцем никак.

— Этими вещами, мама, управляет разум!.. А теперь давай поедим чего-нибудь, я очень спешу.

— Как спешишь? Разве ты не дожدهшься Любы?

— Люба на собрании. Мы вернемся с нею вместе. Скорей всего, поздно.

Парашкева подала на стол яичницу, налила в тарелку щей, отломала большой ломоть хлеба.

— Мама, достань приправу и садись со мной, поедим вместе.

— Ты же знаешь, Георгий, что мой желудок только липовый чай переносит.

— Когда мы пойдем с тобой к врачу?

— Я же была в больнице, ты забыл разве? Хватит с меня. Никто уже, наверное, не в силах помочь мне.

— Держись, мама, что мы будем без тебя делать!

Парашкева улыбнулась.

Георгий быстро поел и ушел.

— Постой, постой,— бросилась вслед за ним Парашкева.— Пальто забыл...

Она постояла у калитки, провожая сына взглядом, пока он не свернул за угол...

— Ну как ты, тетушка Пано? (Так называли Парашкеву некоторые соседи.) Что слышно? — крикнула ей одна из них, увидев ее у калитки.

— Война кончилась, а лишения остались,— ответила Парашкева.

— Я уж давно в городе не была, но слышала, что в нем и английские, и французские солдаты стоят. Что они будут делать, а?

— Да ничего. Помогут есть хлеб, которого и без них нету.

— Ну, для них-то он всегда найдется, как и для немцев. Я сама видела, как немцы вагонами вывозили все, что им удалось наgrabить у нас! Чтоб им подавиться, проклятым!.. А из деревни даже кукурузной муки больше не возят. Все отобрали. Сама-то я не боюсь, а вот внуки как выживут...

— Зайди ко мне, я тебе дам немного угля, мне шахтеры из Перника принесли, дай им бог здоровья! И муки один шахтер оставил. Все благодаря Георгию.

— Сто лет тебе жизни, тетушка Пано!

* * *

Первый раз Парашкева ездила в Самоков в конце 1914 года. Ее позвали, потому что родился Любчо. Это был первый ребенок Магдалины. Парашкеве не терпелось как можно быстрее добраться до дочери, приехать еще до родов — ведь позвали ее в самый последний момент, и она могла опоздать.

Как только Парашкева взяла на руки теплое живое тельце, она сразу же вспомнила тот свой первый материнский трепет, охвативший ее при рождении Георгия. Воспоминание это и поныне переполняло ее сердце радостью. Она выкупала ребенка, завернула его в пеленки и подала Магдалине, которая в первый раз покормила его.

Парашкева не сводила глаз с новорожденного. Внучек! Первый внучек! Первая радость в этой семье, в этом доме, полном сирот! Родовались все, а больше всего приютские дети. Они пришли к Магдалине

и Стефану, умоляли показать им малыша, но Парашкева велела им подождать.

— Он еще крошечный, пусть пройдет два-три дня.

Дети, недовольные, разошлись. На другой день они пришли опять и стояли до тех пор, пока Парашкева не показала им, наконец, запеленутое под самую шейку маленькое существо.

— Ой, неужели и я родилась такая же?

— Такими все рождаются. Потерпите недельки две, и вы увидите, какого красивого мальчика покажет вам мама Магдалина!.. Жалко, что меня уже здесь не будет.

— А почему тебя здесь не будет, бабушка Парашкева? — воскликнули в один голос ребята.

— Потому что меня ждут дома.

Ребята ушли, и опять недовольные.

Парашкева уехала через двадцать дней...

Но прошло совсем немного времени, и она получила из Самокова тревожное известие: Магдалина больна тифом, Барымов мобилизован, беспомощные приютские сироты остались без присмотра, ребенок — на руках старшей из приютских девочек, семнадцатилетней Марче.

Парашкева выехала немедленно, несмотря на то что чувствовала себя не совсем хорошо и собиралась денек полежать. Но тревога подняла ее, она забыла о своей хвори.

Магдалина не узнавала никого, даже свою мать. Когда врач — русская женщина, которую позвала Марче, — положила больную в ванну, наполненную ледяной водой, принесенной из чешмы¹, Парашкева едва не потеряла сознание. «Господи, спаси ее», — подумала она, потому что неизвестное ей средство лечения было для нее равносильно убийству. Она протянула руки и закричала не своим голосом:

— Хватит, хватит! Не наказывайте ее, простите ее, поднимите ее на ноги!

Лишь когда больную уложили в постель, Парашкева, видя, как Магдалина приходит в себя, успокоилась.

— Она не простудится? — спросила Парашкева и испытующе посмотрела на врача.

Женщина улыбнулась.

— Напротив, скоро температура у нее начнет падать...

Парашкева не отходила от дочери. Она уже не сомневалась в новом методе лечения этой русской женщины-врача и подчинялась всем ее распоряжениям. Когда Магдалина засыпала, Парашкева шла взглянуть на сирот. Она кормила их каждого отдельно, особое внимание уделяя слабым и капризным, стараясь накормить их посытней, утешала плакавших о маме Магдалине.

Через две недели, когда Магдалине стало получше и серьезная опасность миновала, приехал Георгий. Один за другим прибегали дети посмотреть на него.

— Ух ты, какая борода! — удивлялся один из воспитанников, до того никогда не видавший бородатых мужчин.

— Тише, — оборвала его Марче, — это дядя Георгий.

Дети оживились, кинулись к нему, протягивая руки.

¹ Чешма — родник, обложенный камнями.

— Здравствуй, дядя Георгий. Мама Магдалина больна, а бабушка здесь, она...

Георгий обнял свою маленькую, хрупкую мать и поднял ее.

— Какая же ты у меня стала слабенькая!

— Рассказывай, рассказывай, что там дома?

— Все в порядке. Я приехал поглядеть на Магдалину. Слышал, что и ты не очень...

— Со мной все хорошо, Георгий, обо мне не думай.

Георгий озабоченно поглядел на мать.

— Посмотрим,— сказал он и пошел к Магдалине.

Магдалина взглянула на брата, улыбнулась. Она была так слаба, что даже не могла разговаривать.

— Не нравится мне, как выглядит мама,— сказал Георгий.— Позовем врача. Как ты думаешь? Я уеду успокоенным, если врач скажет, что дело не так уж плохо, как мне показалось.

— У нее болит ухо,— прошептала чуть слышно Магдалина.

— Эх, мама, мама! Почему ж она скрывает это? Наверное, и спать из-за боли не может?..

Позвали врача. Он осмотрел Парашкеву, дал кое-какие советы, написал рецепт и ушел. Боль утихла.

— Нужно возвращаться,— сказал Георгий.

— Прямо сейчас! — почти вскрикнула Парашкева разочарованно.— Да ты поешь хоть!

Она быстро поднялась, но Георгий остановил ее.

— Нет времени. Поезд уходит через двадцать минут. Да и не голоден я.

Георгий взял пальто и шапку, весело улыбнулся Магдалине и детям, обнял мать, помахал глядевшей на него во все глаза поварихе и ушел.

Парашкева пробыла в Самокове еще два месяца, пока Магдалина окончательно не поправилась.

* * *

Парашкева все яснее понимала, что происходящие события — это результат борьбы партии, к которой принадлежал ее сын. Из оживленных разговоров между Любой и Георгием она узнала, какое большое значение имеют демонстрации на софийских улицах, когда народ поднимает свой голос против виновников войны. Она выходила в город, вслушивалась в разговоры и слышала: «Куда девался хлеб? Почему нет угля?»

Однажды Георгий вернулся домой возмущенный.

— Тоже мне социалист! — сказал он, швырнув шапку.

— О ком это ты, Георгий?

— О министре внутренних дел. Социалист! Приказал разогнать демонстрантов.

— Не сдавайтесь, Георгий.

Георгий взглянул на мать.

— Мама, что с тобой? Ты ли это?

— А что?

— Мне кажется, что ты с нами, а?
— Раньше я была только с тобой, Георгий, а теперь я и с тобой и со всеми вами.

Георгий подошел к ней, взял ее руку и поцеловал.

— А готова ли ты к тому, чтобы переносить всё?

— Что всё?

— Трудности... Опасности...

— Они меня об этом не спрашивают!

— А выдержишь ли?

— Я хочу, сынок, выдержать.

— Тогда береги свое здоровье...

— Господь поможет мне...

— Но и себя забывать не следует,— ответил Георгий серьезно и открыл дверь, собираясь уйти.

Парашкева направилась было проводить его, но на последней ступеньке крыльца остановилась, увидев идущую ей навстречу соседку Фотю. Фотя повернулась к Георгию и крикнула ему:

— Эй, слышишь, ты моего Георгия в свои дела не впутывай! — И засмеялась добродушно.

— А что он с ним сделал?

— А то, что и мой теперь на собрания ходит. Вчера к демонстрантам сунулся.

— По-моему, тетушка Фотя, ему среди них самое место,— сказал Георгий и большими шагами направился к калитке.

Фотя заговорила снова:

— И ребятишки уже в демонстрацию играют. Только что видела. Выстроились по двое, идут и кричат: «Дайте нам хлеба, дайте нам одежду!» — «Эй,— говорю я им,— вот увидит вас какой-нибудь жандарм, он вам такой хлеб даст, всю жизнь помнить будете!» — «Пусть только придет!» — кричит один из них.— Мой папка никаких жандармов не боится, и я их не боюсь».

Парашкева от души рассмеялась.

— «И я не боюсь!» — повторила она.— Надо же! — И вдруг, перестав смеяться, сказала Фоте:— Слушай, Фотя, а не поучиться ли нам у детей? Хватит нам в страхе шарахаться то от одного, то от другого. Дрожим, как зайцы... Пойдем в дом, погреемся, по чашечке кофейку выпьем.

И она повела соседку к себе.

До нового года оставалась неделя, и стоял лютый мороз.

* * *

— Парашкева! — вбегая во двор, крикнула ей Фотя.

Парашкева, испуганная, выскочила к ней.

— Что случилось?

— Наш Георгий, сын мой,— задыхалась Фотя,— он пришел только что, говорит, твоего Георгия арестовали.

— Где?

— В Пернике. Поезд оттуда пришел, а в поезде — Георгий и пристав. Сын говорит, демонстрация идет... Большущая!

— Подожди,— сказала Парашкева, вернулась в дом и сейчас же вышла, уже в пальто, к которому не успела еще пристегнуть воротник.— Пойдем!

— Куда это?

— На демонстрацию!

— Да ты ж больна!

— Здорова я!

И женщины заспешили по улице.

— Смотри, смотри, Парашкева, конные жандармы!

— Иди, иди,— ответила Парашкева нетерпеливо.

Улица была запружена людьми. Они шли и кричали:

— Освободите Димитрова!

Сердце Парашкевы вздрагивало, когда она слышала имя своего сына. Она спешила вместе со всеми, рвавшимися вперед, но вдруг остановилась. Какой-то солдат-француз влез на тумбу и что-то кричал на своем языке.

— Что он говорит? — спросила Парашкева плечистого мужчину с поднятым воротником и в фуражке.

— Да здравствует Советская Россия!

— Господи,— воскликнула Фотя,— как же он не боится!

— Он же не наш солдат, вольно ему,— отозвалась Парашкева.

Но в это время несколько стоящих вокруг нее людей повторили вслед за французом:

— Да здравствует Советская Россия!

Полицейские плотно окружили арестованного Димитрова и едва продвигались сквозь толпу, продолжавшую непрерывно кричать:

— Освободите Димитрова!

— Да здравствуют большевики!

Французы и болгары перемешались.

— Постой, Парашкева, куда рвешься,— жалобно взывала Фотя, но Парашкева все пробиравась и пробиравась к своему сыну.

И тут Димитров неожиданно выскользнул из рук полицейских. Напуганные криками демонстрантов и французских солдат, они бросили его и теперь уже старались поскорее затеряться в толпе.

Парашкева продолжала протискиваться, постепенно приближаясь к тому месту, где она видела Георгия. Вдруг ее сердце замерло: люди несли ее сына на руках! Кто-то запел «Интернационал», другие тотчас же подхватили. Вся улица пела песню, за которую всех до одного могли бросить в тюрьму.

Фотя видела: Парашкева была бледна и едва держалась на ногах. Она подхватила свою соседку под мышки, и они тихонько пошли вместе с народом, уже растекавшимся в разные стороны.

* * *

Оставив дома Любу, Георгий ушел в рабочий клуб. Там он был в безопасности, потому что полицейские, окружившие здание, видели только тех, кто входил и выходил из него. А Георгий не выходил. Парашкева и Люба носили ему еду и белье, верные товарищи забирали у них все это и передавали вместе с письмами Димитрову.

В доме на Ополченской, в Софии, жили и младшие дети Парашкевы:

Тодор завершил учебу в Самоковском колледже и стал столичным студентом, Лена тоже вернулась — горный климат оказался для нее вредным. Она поступила в третий класс гимназии. Приходили комсомольцы, друзья Тодора, читали вместе газету «Младеш» («Молодежь»), спорили, и двор гудел от их веселых голосов.

— Милости просим, проходите, пожалуйста, — с улыбкой встречала их Парашкева. — А ты где это пропадал, почему давно не был? — обращалась она к кому-нибудь из них.

Орех, посаженный Парашкевой, стал уже большим, крепким деревом. Под его тенью и сидели друзья Тодора. Если б Парашкева не боялась за судьбу Георгия, если бы не было у нее никогда не заживающей сердечной раны, нанесенной гибелью сыновей, если б не мучили ее после случившегося недавно кровоизлияния боли в желудке, она, возможно, тоже чувствовала бы себя молодой среди этих юношей и была бы такой же восторженной, потому что так же, как они, верила, что правда победит, как она победила в России. Но она скрывала свою тревогу, лишь в ее пальцах быстро мелькали спицы — она вязала носки, а в глубоких карманах ее юбки лежали нелегальные документы, листовки, воззвания, письма, которые приносил ей Тодор или присылал через доверенных лиц Георгий.

Иногда Парашкева вмешивалась в разговоры, чтобы предупредить какого-нибудь не в меру разгорячившегося юношу о том, что за дощатым забором есть люди, которые могут подслушивать, и советовала пройти в дом...

Теперь все это осталось позади. Парашкева спешила в Самоков, потому что Магдалина ждала второго ребенка. Когда Парашкева приехала к ней, весь приют был взволнован. Всем не терпелось увидеть Невену, дочку Магдалины...

Парашкева провела в Самокове всего лишь месяц: постоянная тревога — а что там, в Софии? — подгоняла ее побыстрее возвратиться домой. В дороге Парашкева так утомилась, что, приехав, сразу же слегла. Позвали врача.

— Полный покой и постельный режим, — сказал он.

Дней через десять после возвращения Парашкевы, ночью, тайком, пробрался домой Георгий. Увидев сына, Парашкева перепугалась. Ее и без того бледное лицо помертвело.

— Зачем ты пришел, Георгий? Тебя же схватят!

— Не волнуйся, никто не видел, как я вошел...

— Где ж ты теперь живешь?

— Трудно даже сказать... Постоянно — нигде. Сегодня в одном месте, завтра — в другом.

— Совсем вам житья не дают, загнали в угол, — тяжело вздохнула Парашкева.

— Ничего, нас не запугаешь! Но и ты не робей! Слышишь? Береги себя!

Прикрутив фитиль в лампе, Георгий вышел из комнаты и в полутьме проскользнул в ночной двор.

— Мама, мы хотим помогать голодающим Советской России... Собираем для них вещи, деньги, — сказала как-то Лена, вернувшись из школы вместе с двумя одноклассниками.

— Значит, учителя позволили вам это?

— Нет, они не позволяют, мы тайно...

— А если узнают, нас исключат! — прибавила одна из девочек.

— Только этого и не хватает, — проговорила Парашкева.

— Мама, а ты дашь нам что-нибудь из своего сундука?

Парашкева усмехнулась:

— Дело не трудное, вот Любича вернется, мы с ней и решим.

Девочки ушли в пристройку. Через распахнутое окно Парашкева, сидевшая под орехом, слышала их веселые голоса. Вязальные спицы быстро мелькали у нее в руках, ни в глаза ее были задумчивы, взгляд терялся в пространстве. Она знала, что задумали девочки. Она видела и слышала, как оказывается помощь. Не было человека, который отказался бы что-нибудь дать. Люди были готовы отдать свой последний кусок, поделиться последней горсткой муки. Отдавали все. Деньги, одежду, зерно, у кого что было, кто что мог...

«Нашим освободителям», — говорили они. Одни жертвовали месячную зарплату, другие сэкономили на одежде, отказывались шить себе что-либо новое. Не было болгарина, ни в городах, ни в селах, который не горел бы желанием внести свою долю. Все знали о страшной засухе, сгубившей урожай в Поволжье, знали, как бежавшие из России белогвардейцы ограбили страну. Люди в России были раздеты, а приближалась зима, суровая русская зима. А ведь и наш народ, — размышляла Парашкева, — небогато живет: военные поборы, реквизиции; немцы, вагонами увозившие из Болгарии хлеб и скот...

Разные мысли пронеслись в голове Парашкевы. Она знала, что в этом общественном, добром деле обязательно примет участие партия. А это означало, что коммунистам опять грозит опасность. Неужели и Лена тоже втянется в эту рискованную работу, которая уже погубила одного из ее сыновей? Теперь опасность снова подстерегает и Георгия. Но может ли Лена оставаться непричастной, если она — ее дочь и сестра Георгия? Люба сказала Парашкеве, чтобы она ничему не удивлялась. Правительство не может запретить народу оказывать помощь русским братьям-освободителям, но это даст властям повод начать наступление на коммунистов.

— Я понимаю, — ответила Парашкева Любе, — коммунисты будут отвечать...

— Да, нам будет трудно обезопасить себя, — отозвалась Люба, — и все-таки мы будем делать свое дело... Хотя, конечно, нам необходимо быть очень осторожными.

«Быть очень осторожными», — повторила про себя Парашкева и встала. Ветер трепал ветви ореха. Сорвавшиеся с них первые капли обрызгали платок и намочили вязанье. Она слышала, как девочки быстро затворили окно. Проливной дождь обрушился внезапно. Парашкева поспешила в дом. Закрыла окошки, сняла с них цветы. Яркая молния осветила сразу же потемневший двор, раскаты грома сотрясли воздух. «Благодатный», — сама себе сказала Парашкева и улыбнулась, гля-

дя, как засветились, вспыхнули возле дощатого забора лиловые, синие и розовые астры и георгины.

— Есть все-таки на этом свете и хорошие вещи! — прошептала она и, отойдя от окна, села на лавку и опять принялась за вязание.

Люба вернулась с работы поздно.

— А почему ты сидишь здесь, почему не с Леной? — спросила она Парашкеву.

— Тебя жду. Хочу поговорить с тобой наедине.

Люба сняла мокрую накидку, стряхнула ее у двери, переобулась и села.

— Ну, что у тебя случилось, рассказывай.

Парашкева поделилась с невесткой своей тревогой за Лену и посоветовалась, как быть — отдавать ли вещи?

— Конечно, — ответила Люба, — вещи мы ей дадим, иначе и быть не может. Это опасно для нее, но мы не можем оградить ее от мира, в котором живем сами. Все мы подвержены опасности, и ты — тоже.

— Обо мне не думай, разве я что-нибудь делаю? Ничего!

Люба засмеялась и поглядела на свекровь.

— Обо мне говорить не будем, — повторила Парашкева недовольно. — Лучше скажи, как Лену уберечь?

— Мы будем оберегать ее насколько сможем... Да, первого августа в театре «Ренессанс» состоится собрание.

— О чем говорить будут?

— Все о том же. Об оказании помощи голодающим России. Но Лене ходить на собрание не следует. Полиция, сама знаешь, не спит — все время ищет повода заварить какую-нибудь кашу. Устроит провокацию, и тогда пойди разберись, кто прав, кто виноват... Вот что — не разрешай ей ходить на собрание...

— А послушается ли она меня?

Люба пожала плечами, задумалась. Парашкева молчала.

— Впрочем, — снова заговорила Люба, — мне тоже кажется, что она не послушается тебя. Вся страна возбуждена... Ты знаешь, что Георгий бросил курить? И его товарищи тоже. А деньги, которые они тратили на табак, они вносят теперь в фонд помощи голодающим.

— Дай бог им здоровья! — воскликнула Парашкева, и ее лицо засветилось от радости. — Пойду сундук открывать.

Дождь кончился. Очистившийся воздух был наполнен теплым дыханием последних дней лета. Парашкева глубоко вздохнула. На душе у нее было легко и светло. Тревожащие ее мысли утихли. К девочкам она вернулась уже освободившаяся от своих гнетущих раздумий. А те все еще щебетали и звонко смеялись.

— Мама, а можно, мы все будем спать здесь, ведь уже поздно.

— Конечно. Куда ж твоим подружкам на ночь глядя идти! Ну, а вещи для голодающих вам когда отдавать надо?

— Завтра, мама.

— Утром, прежде чем уходить, напомни мне об этом. Приготовила я для вас кое-что...

— Какая же вы добрая, тетушка Парашкева! — закричали девочки и бросились к ней.

— Что ж, одни разве вы только добрые? — пошутила Парашкева и хитро улыбнулась.

Правительство решило расправиться с коммунистами. В первую очередь оно начало преследовать руководителей партии. Затем всех подозреваемых. Две тысячи человек было арестовано. Парашкева и Люба ждали, что полиция вот-вот нагрянет и к ним. С тех пор как были разгромлены все коммунистические клубы, все типографии, в которых печатались коммунистические газеты, Георгия искали — за его голову правительство обещало награду в сто тысяч левов! От матери это скрывали, но соседка выдала тайну.

— А я, тетушка Парашкева, богу молюсь, только бы, говорю, его не схватили, больно уж дорогая у него голова-то.

— Ты это о ком, соседка?

— О Георгии твоём, о ком же ещё! Сто тысяч — деньги не малые, охотники найдутся.

Парашкева тотчас же все поняла.

— А тебе кто об этом сказал?

— Да бабушки Фотинии внук, уж не знаю, где он это слышал.

Парашкева поспешила в пристройку, где разговаривали Люба и Елена. Когда она вошла, они замолчали.

— Не молчите, знаю уж я все, знаю, — обронила она и опустилась на лавку, спрятав руки в складки своей юбки.

Кто-то постучал в ворота. Раз, другой...

— Это полиция.

— Скорее на чердак, — прошептала Парашкева и потащила Тодора за собой, а Люба и Лена остались в пристройке.

— Сидите тихонечко, — сказала она им, — а я буду работать.

Тодор влез на стол, открыл крышку люка и исчез в нем. Парашкева подвинула стол на прежнее место, взяла пряжу, сунула ее за пояс, повязала фартук и пошла открывать.

— Чего стучите-то? Здесь небось не глухие живут!

— А почему ты сразу не открываешь? Хитришь!

— Зачем? Скажите лучше, кого ищите-то?

— Сама знаешь. Где Георгий, сын твой?

— Не знаю, дома его нету — сами посмотрите...

Полицейские перерыли все шкафы, разбросали книги, даже под кровати залезали. Ничего нет. Парашкева сидела на лавке и вязала. Время от времени она поглядывала на полицейских из-под очков. Глядела спокойно. Равнодушно. Невозмутимо.

— Осмотрите уж и погреб, — подсказала она полицейским.

— Ты лезь первой, а мы за тобой, — приказали те.

Парашкева, не прекращая вязать, повела их к погребу.

— Брось спицы, не то глаза нам ими выколешь!

— Как же я их брошу? Вместо меня вязать некому...

Полицейские не стали осматривать погреб, вернулись.

— А кто живет в пристройке?

— В одной комнате квартирантка живет, а в другой я с девочкой сплю. Школьница она.

— А это что за женщина? — полицейские показали на Любу.

— Гостья. Хватит уж расспрашивать-то! Ищите давайте да уходите с богом.

— Много болтаешь, старая. Выучила сына на свою голову, теперь вот неприятностей не оберешься.

Парашкева провела полицейских через двор, отодвинула на калитке засов, открыла ее и снова захлопнула. Над забором торчала голова соседки:

— С ума сойти можно! Как бы эта беда и до нас не дошла.

Парашкева ничего не ответила.

Ночью неожиданно-негаданно появился Георгий. Гладко выбритый, без бороды, неузнаваемый. Но могла ли Парашкева не узнать своего сына?

— Мама, где Любича?

— Наверху, сынок. Легла уже.

— Мама, завтра утром вам нужно будет уехать к Магдалине.

— Зачем?

— Я не могу тебе сказать этого. Знай только: Любиче здесь оставаться нельзя, тебе тоже. А там, в Самокове, вы будете в безопасности.

— Хорошо, Георгий, мы все сделаем, как ты говоришь.

Георгий быстро поднялся по лестнице к Любиче и тут же спустился.

Парашкева знала, что сама она его не послушается и никуда не поедет, но Любичу отправит обязательно. Она села под свое любимое ореховое дерево и долго сидела под ним, затем забрала скамейку и вернулась в дом. Еленка крепко спала.

* * *

Обыски участились. Парашкева встречала полицейских все с тем же спокойствием. В доме никого, кроме нее, не было. Люба уехала в Самоков, а Лена, уже закончившая гимназию и ставшая студенткой, часто оставалась ночевать у своих подруг. Тодор тоже бывал дома не всегда. Парашкева была довольна, что Любе и Георгию удалось скрыться, и вместе с тем она все время тревожилась: а что, если их где-нибудь арестовали! Георгия искали везде и всюду. Искали не только в Софии. Когда Барымов приехал к Парашкеве, он рассказал, как однажды нагрянули к ним полицейские, обыскали весь дом и, ничего не найдя, ушли с угрозами.

Лишь много позже Барымов догадался о причине этого обыска: в полиции прослышали, что к ним кто-то приехал, и решили, что это — Георгий Димитров.

Как-то вечером Тодор, воспользовавшись темнотой, пробрался в дом и передал матери пакет.

— Не спрашивай, что в нем, и не заглядывай. Спрячь получше!

Парашкева положила пакет в карман своей юбки:

— Погляди: видно что-нибудь?

— Не видно, мама. Смотри не спутай только, в каком кармане что лежит. В каком для меня, в каком для Лены. Из дома не выходи. Вдруг что случится...

— А что может случиться? — забеспокоилась Парашкева.

— Ты же знаешь, как нас преследуют.

— Ну и что?

— Народ возмущен...

— Ты что-то знаешь и скрываешь это от меня. Ты видел Георгия?

— Нет, не видел.

— Говори, говори немедленно, в чем дело!

— Я знаю лишь, что полиция ищет его,— ответил Тодор и вышел.

Всю ночь, не раздеваясь, не в силах ни ткать, ни вязать, просидела Парашкева в своей комнате, положив свои маленькие морщинистые руки поверх колен и даже ни о чем не думая. Она лишь ждала чего-то, а чего ждала — и сама не знала. Не знала, потому что от нее скрывали что-то важное. Но на рассвете все прояснилось. На еще темном дворе она увидела какого-то человека. Но вот человек подошел к дому, и она узнала его — он приходил к ним раньше — и быстро открыла. Ни о чем не спрашивая и даже не поздоровавшись, она провела его в комнату:

— Его арестовали?

— Кого?

— Георгия...

— Нет, ничего подобного. Он уехал вместе с Василием Коларовым¹ в Выршец. Руководит восстанием.

— Как? Восстание началось? Почему же Георгий ничего не сказал мне?

— Он просил меня передать, чтобы ты немедленно уезжала в Самоков. Если ты его слушаешь, он будет спокоен за тебя. Слышишь?

Но Парашкева ничего не слышала. В глазах у нее все завертелось, закружилось, и она прислонилась к стене.

— Крепитесь, тетушка Парашкева! Мы победим! Весь народ поднялся. Если мы не встанем на борьбу, нас переловят поодиночке. Георгий собирался прислать тебе весточку, но это трудно. Велел передать привет Любе, Лене и всем в Самокове.

— Ты увидишься с ним?

— Думаю, что не скоро. Я должен работать здесь, в Софии. Ну, я пойду, пожалуй. Прощай.

Парашкева не ответила. Она открыла ему дверь и остановилась на пороге... Впервые неизвестность и опасность, грозящая Георгию, с такой силой обрушилась на нее...

Было двадцать третье сентября 1923 года.

* * *

Три дня и три ночи Парашкева не смыкала глаз. Она уже давно не видела Георгия, расставшись с ним еще за несколько дней до восстания. А Люба была уже в Самокове. Теперь к Парашкеве никто не наведывался, лишь полицейский расхаживал по двору.

— Чего спать не ложишься? — спрашивал ее полицейский.

— Не могу я спать, когда сына нет, а где он — я не знаю.

— Как придет, так мы его и схватим.

— Если только схватите!

Парашкева не переставая ткала, чтобы не выдавать своей тревоги, чтобы не слышать шагов полицейского.

— Тетушка Парашкева, ты где? — крикнула из-за забора соседка, увидев, как полицейский вышел со двора на улицу.— Возле Врацы — сражение. Большое, говорят.

¹ Коларов Васил (1877—1950) — видный деятель болгарского и международного коммунистического движения. Ближайший соратник Д. Благоева и Г. Димитрова.



Георгий Димитров. 1919 г.



Митинг бастующих шахтеров в Пернике, на котором выступал Георгий Димитров 2 июля 1919 г.



Мандат Георгия Димитрова — члена исполнительного бюро Профинтерна. 1928 г.

Парашкева не отзывалась.

Вечером соседка появилась снова.

— Подавили восстание-то, Парашкева. Народу побили — не счесть, а еще больше арестовали.

— Кто это тебе сказал? — с трудом выговорила Парашкева.

— В газете пишут.

На другой день соседка принесла газету и прочитала: Георгий Димитров и Васил Коларов бежали за границу.

— Заманили людей на смерть, а как увидели, что дело плохо, — бежали, — прибавила соседка со злорадством.

Парашкева прибрала у себя в комнате и закрыла окно.

В сумерках к ней ненадолго заглянула Лена, бледная, заплаканная.

— Не плачь, девочка, не плачь! Георгий жив и снова будет помогать народу. Не теряй веры!

— Нет, мама, я верю, верю, но мне очень тяжело. Сколько погибших!.. Но я буду продолжать бороться, пока жива!

— Ты плачешь о погибших, и я плачу о них. А тяжелее всего сейчас Георгию. Он оплакал их уже и за всех нас. Придет день, и эти жертвы послужат живым.

— Как сильно ты веришь в это, мама!

— Верю, дочь моя. И ты верь.

Лена наклонилась, поцеловала ее руку. Парашкева прижала ее к себе, а потом быстро отворила калитку.

— Беги, прячься, береги себя! Сестра Георгия для них хуже сучка в глазу!

* * *

Меньше чем через месяц после разгрома восстания, 17 октября, из Вены пришел первый номер нелегальной «Рабочей газеты». В нем было напечатано «Открытое письмо» Георгия Димитрова и Васи́ла Коларова «к рабочим и крестьянам Болгарии». Как газета дошла сюда из Вены, через кого и какими путями, Парашкева не знала, но, когда Тодор читал ей это письмо, у нее несколько раз перехватывало дыхание, и она то и дело просила его остановиться.

— «Мы вновь соберем и сомкнем наши ряды. Мы приступим к немедленному излечению нанесенных нам ран», — читал Тодор, а Парашкева лишь повторяла:

— Так, так.

— Мама, — сказал Тодор, — это письмо поведет нас по новому пути. Теперь мы снова организуемся, нелегально, но с еще большей верой в успех. Георгий показал нам наши ошибки. Мы исправим их!

Парашкева внимательно посмотрела на него. Тодор заметил это.

— О чем ты думаешь, мама?

— Ни о чем особенном, Тодор... Теперь только ты у меня и остался. Но и ты, как и брат твой Георгий, в том же огне.

— Ты беспокоишься за меня, да?

— Ты же знаешь...

— Не бойся. Мы, молодые, умеем избегать опасностей. Спрячь-ка этот пакет. Ну, до свидания. Скоро не жди, скоро прийти не смогу.

Парашкева быстро пересекла двор, выглянула на улицу.

— Можешь идти, — крикнула она сыну.

Тодор вышел. Парашкева закрыла калитку, взяла лейку и полила цветы, расставленные на ступеньках дома. Вернулась, наполнила лейку снова и обрызгала георгин. Утомленная, но успокоившаяся, села она под орехом.

Теперь Парашкева знала, чем занят ее Георгий.

Потом она задумалась о другом: а как обстоят дела в Самокове, не случилось ли чего-нибудь там? Магдалина отправила Любу в Вену к Георгию, и три дня назад она должна была вернуться. Не поехать ли и Парашкеве в Самоков? Боли в желудке беспокоили ее уже постоянно, но, озабоченная происходящими событиями, она не обращала на это никакого внимания. Но теперь, когда успокоилась, она вновь почувствовала себя плохо. Казалось, что боль только и ждала, когда ей можно будет напомнить о себе.

— Что охаете? — обратилась к ней бабушка Фотя, входя в незакрытую калитку.

Парашкева вздрогнула, попыталась встать и не сумела.

— Опять желудок? — догадалась Фотя. — Лечь бы тебе...

Фотя подхватила Парашкеву под мышки и тихонько повела ее к дому, потом вызвала врача.

— Дело серьезное, нужно класть в больницу, — сказал врач.

Парашкева отказалась. Попросила сообщить о своей болезни Барымову в Самоков.

— Ну что ты так упрямисься? — сказала ей Фотя, когда врач ушел.

— Да была я уже в больнице, все напрасно. Не вылечивается моя болезнь. Мне дома лучше...

Фотя осталась с Парашкевой на ночь. В обед, когда она возвратилась из аптеки, она застала у больной Барымова. Он приехал прежде, чем получил телеграмму. Ему нужно было перевезти библиотеку Георгия в Самоков и там спрятать.

— А полиция не заметит? Ваш дом как раз напротив полицейского участка стоит.

— Буду носить по частям, вечерами, — ответил Барымов.

Через день Парашкева, вопреки протестам Барымова и Фоти, встала.

— Я пришла к тебе Марче, — сказал Барымов.

— Что ж это делается, — вздохнула Парашкева, — как же мне пережить эти тяжкие времена!

— Было бы легче, если бы ты переехала к нам. У нас людей много.

— Где ж много, когда осталась лишь одна Мара! А тут еще я приеду... А Лену не хочется мне оставлять одну в Софии. Да и знаю я себя: приеду к вам, побуду три дня — и назад захочется.

— Посмотрим, — сказал Барымов, — есть еще время подумать.

Когда Барымов ушел, Фотя приготовила лекарства, уложила Парашкеву в постель и под села к ней.

Боли утихли.

— Фотя, — проговорила Парашкева, — ты бы уж шла к себе. Я теперь и одна управлюсь. Что тебе возле меня время терять!

Но Фотя была с ней до тех пор, пока не приехала Мара.

Однажды утром, переночевав в доме матери, Тодор сказал ей:

— Знаешь, мама, мне так нравится баница! Может, замесишь тесто?

— Замешу. Будет тебе баница.

— Ну, а я, если ничего не случится, к обеду вернусь.

— А что может случиться? — настороженно спросила Парашкева.

— На работе могу задержаться...

— Хорошо, хорошо, буду ждать тебя.

Тодор ушел из дома озабоченным. При нем было четырнадцать тысяч левов, присланных Международной организацией помощи революционерам (МОПР) для участников разгромленного Сентябрьского восстания. Все это делалось нелегально. Полиция обратила особое внимание на Тодора еще в то время, когда он принимал участие в организации помощи голодающим Поволжья. Тогда он вместе с другими товарищами ездил в Советскую Россию для передачи собранных средств. Правда, делалось это открыто, законно, с разрешения правительства, но ведь Тодор был братом Георгия Димитрова, и одного этого было достаточно, чтобы полиция взяла его под свой неусыпный надзор. Тодор, несмотря на всю свою осторожность, не знал об этом и даже не подозревал, что полиция уже давно повсюду следует за ним. Выйдя из молочного магазина после встречи с товарищами, он заметил за собой слежку. Тодор свернул в переулок, неизвестный сделал то же самое. На углу улицы Братьев Миладиновых и Царя Симеона жили родственники, и Тодор решил зайти к ним. Он вошел во двор и шепнул в раскрытое окошко:

— Откройте, за мною следят!

Из дома выскочил какой-то мужчина и бросился к Тодору.

— Уходи, сейчас же уходи! — закричал он, толкая Тодора, затем вернулся обратно в дом и закрыл за собой дверь. Появились два полицейских агента. Тодора арестовали...

Когда Парашкева и жена Тодора пришли в управление софийской полиции, чтобы узнать о нем хоть что-нибудь, им сказали:

— Нету его больше! Повесили!

В тот же день из Самокова приехала Магдалина со своей дочкой.

— Сходи в полицию, может, он жив еще, — умоляла ее Парашкева, — спроси, может, они тебе скажут...

Магдалина направилась в полицию, но и ей ответили то же:

— Мы ничего не знаем! Нет его!

Парашкева не верила в это. На другой день Магдалина снова ходила в управление, и ей снова ответили, что полиции ничего не известно. Пришли студенты, товарищи Тодора. Но и они ничего не знали.

Кто-то сказал, что слушатели медицинского факультета будто бы видели труп Тодора в морге. Но Парашкева не могла поверить в это. Она не могла представить себе, что Тодор, ее Тодор, мертв. Она молилась, сама не зная, о чем просить ей своего бога: то ли о том, чтобы он помог Тодору перенести побои, то ли о том, чтобы он умер и его больше бы уже не мучили, не допрашивали, не пытали. Каждый удар, обрушивающийся на ее сына, отзывался на ней, хотя она и не видела этого избивания и даже не знала, действительно ли его сейчас бьют. У нее болела спина, руки, ноги, голова. Она слышала о том, как измываются в полиции над арестованными, и уже видела Тодора в руках палачей. Ее сердце сжа-

лось в комок, но глаза оставались сухими. Венче ни на минуту не отходила от бабушки.

— Скажи, бабушка, а дядя Тодор вернется?

— Вернется, обязательно вернется.

— А книжку с картинками он мне принесет?

— Конечно, принесет, детка. Обязательно принесет.

Парашкева быстро взглянула на девочку, и что-то оттаяло в ее сердце.

— Бабушка, а почему ты плачешь?

— От радости, миленькая моя. Ведь скоро Тодор придет...

Дни проходили медленно, неизвестность становилась все страшнее. Жив ли Тодор? Или нет? Наконец пришел один из его друзей и сообщил, что Тодора убили в полиции, но никто не может сказать, где он похоронен. Лина вместе с женой Тодора обошли все софийские кладбища, но ничего не узнали. Когда они вернулись, Парашкева не стала их ни о чем расспрашивать, она по их глазам видела, что они ничего не знают.

— Где Лена? — только и прошептала она. — Вы видели ее сегодня? Знает ли она про Тодора?

— Ей сказали, она сильно плакала...

— Где же ее видали?

— На старом вокзале... В каком-то вагоне...

Парашкева отвернулась к стене. Лина отошла от нее, она знала, что мать не любит, когда видят, как она плачет.

Вечером сообщили, что в церкви Святого воскресения произошел взрыв. Газеты были полны описаний. По улицам, от церкви к больнице, летели грузовики с ранеными, закрытыми брезентом, в белой пыли от разрушенных стен.

— Теперь начнется что-то страшное!

— Почему теперь?

— Потому что опять обвинят коммунистов и усилят террор.

— Хорошо, что Тодора арестовали до этой провокации.

— Что же в этом хорошего? — ужаснулась Парашкева.

— А то, что, если бы Тодора арестовали после взрыва, его имя смешали бы с именами тех безумцев, которые совершили это подлое дело. Разве Георгий и его товарищи не учат нас тому, что не следует совершать террористических актов. Мы, мама, должны вести борьбу организованную, открытую, честную, а это что такое? Убили несколько человек, может, даже ни в чем не повинных, а на место одного палача придет другой, и все останется по-прежнему.

Магдалина замолчала, потому что Парашкева, приподнявшись на лавке, встревоженно поглядела на нее:

— Что же теперь будет с Леной? Ведь теперь ей грозит еще большая опасность. Нужно сказать ей, чтобы она ни в коем случае не приходила к нам!

Лена и сама догадалась, что ей не следует приходить сейчас в дом матери, и она не пошла, зато полиция сама явилась к Парашкеве. Это случилось через неделю после взрыва. Полицейские были пьяны, они ввалились в дверь, шатались по всему дому, цепляясь ногами за половики. Перепуганная дочка Магдалины бросилась к одному из них:

— Не забирайте мою бабушку! Я вам ее не отдам, не отдам, — кричала она.

— Ладно, ладно, не ори только...

Один из полицейских остался возле Парашкевы, а двое других в сопровождении Лины осмотрели комнаты. Ничего не обнаружив, они ушли. Парашкева так и не вставала с лавки, даже не проводила их взглядом, лишь повторяла, будто бы самой себе:

— Теперь Лене грозит еще большая опасность...

Она положила свои слабые бледные руки на колени, как делала это всегда, когда на нее наваливалось невыносимо тяжелое испытание, и уставилась глазами в стену.

Все вышли. Они знали, что Парашкеве нужно остаться одной.

* * *

Наконец нашлась могила Тодора. Его похоронили вместе с другими убитыми.

Когда Парашкева увидела имя своего сына, написанное на воткнутой в могилу дощечке, она поняла, что здесь, в этой земле, лежит ее младший сын. Она повернулась к Магдалине и снохе, жене Тодора, и попросила их:

— Я хочу поговорить с Тодорчо.

Оказавшись с сыном наедине, Парашкева провела рукою по буквам его имени, затем — от изголовья до ног — погладила всю могилу. Она не плакала. Она лишь шептала тихо:

— Тебя уже не бьют, не мучают, тебе уже не больно... Мальчик мой... Отстрадался. Теперь мать твоя берет на себя твои мучения. Это нужно, сынок, потому что я не смогла избавить тебя от них, сделать так, чтобы ты остался в живых, а я лежала бы здесь вместо тебя... Я знаю, ты скажешь мне: «Не бывает борьбы без жертв». Да. Каждый день роют новые могилы, и все матери каждый день плачут над ними. А ты не позволяешь мне плакать. И ты видишь, я не плачу, потому что не хочу огорчать тебя. Велика моя жертва, слишком велика, Тодорчо, самый красивый мой...

У Парашкевы перехватило дыхание, и она умолкла. Недалеко от нее прыгал воробей, словно хотел сказать ей: «Вот, птенчик жив. Скачет, ищет зернышки!»

— А ты меня, сынок, просил сделать баницу, помнишь? Мы поставили ее в печь, а потом внесли в дом, ждали тебя. До вечера никто ничего не ел, и тогда мы отдали ее Райне, ну, ты ее знаешь, вдову с четырьмя детьми, ведь ее муж, как и ты, лежит в земле...

К Парашкеве подошла Магдалина.

— Вставай, мама, идем! Вернуть ты его не можешь, не можешь и сама уйти к нему. Тебе нужно заботиться о Лене. Тебе нужно быть сильной, мама!

Парашкева поднялась. Ей помогли дойти до фазтона, который и довел ее до дома. Весь путь Парашкева молчала. Молчали и остальные. Было уже совсем темно.

На другой день к вечеру Магдалина вместе с дочерью собралась уходить.

— Куда? — спросила Парашкева.

— Ты знаешь куда.

— Скажи ей, чтобы она была осторожна.

— Не тревожься... Сначала мы отнесем на могилу цветы, а уж потом пойдем на встречу с Леной,— ответила Лина.

Парашкева проводила ее взглядом, полным такой муки, что Лина поспешила поскорей закрыть за собой дверь, боясь расплакаться от жалости к матери...

Они вернулись около полуночи. Лина разула Венче и вышла, чтобы очистить от грязи ее обувь.

— Тетя Лена плакала? — спросила Парашкева внучку.

— Очень, и мама тоже плакала.

— О чем же они между собой говорили?

— Не знаю, бабушка. Ты меня лучше об этом не спрашивай, я ничего не видела и ничего не слышала. Спрашивай только маму!

Парашкева взглянула на девочку и погладила ее своею холодной рукой по голове. Едва уловимая улыбка осветила ее лицо. «Совсем ребенок, а уже умеет молчать. И она готовится к жертвам! И она, господи!»

* * *

— А не пора ли тебе уже собираться домой, а? — спросила Парашкева Лину. — Ты ведь оставила Христинку на Мару.

— Маре уже восемнадцать лет, мама! Да она лучше меня присматривала за ребенком, когда я вместе с Любой уезжала в Вену. Даже купала одна.

— Поезжай, поезжай,— проговорила Парашкева,— в тебе там больше нуждаются.

— Ну, а с Леной как быть? Кто с нею будет встречаться, кто будет носить ей продукты? Если ты согласишься, чтобы вместо меня приехала Мара, я буду собираться в Самоков.

— Хорошо, я согласна.

Магдалина уехала рано утром, и уже в тот же день к вечеру прибыла Мара. Не в первый раз приезжала она к бабушке в Софию. Она сразу же взяла на себя все заботы по дому, потому что все в нем было знакомо ей.

— Откуда ты знаешь, Марче, как нужно заваривать мне лечебные травы? Словно ты приехала ко мне не три часа назад, а живешь здесь бог знает с каких пор,— сказала Парашкева.

— А мне мама Лина все объяснила.

Успокоенная мыслью о том, что Магдалина уже находится вместе со своими детьми и мужем, Парашкева осталась на попечении этой девушки-сироты, не знавшей ни отца, ни матери, которую с малых лет воспитывали в своем пансионе Барымов и Лина. Мара стала их ребенком. Они любили ее, как собственную дочь. Для Мары не было на земле других родителей, кроме них, другой бабушки, кроме Парашкевы. Они жили в сердце этой преданной девушки, напоминавшей Парашкеве ее собственные молодые годы, ее, Парашкевы, проворство, ее трудолюбие, ее веселость.

— Что ты делаешь на кухне?

— Замесила пшеничные лепешки для Лены, завтра отнесу.

— А ты знаешь, на чем я их пеку?

— Знаю. Мама Лина мне рассказала. Я и для тебя лепешек наделала. Уже готовы. Хочешь? С брынзой.

— Хочу.

Да и как не хотеть! Нужно же в конце концов и поесть. Ведь она уже два дня ничего не ела.

— Садись, садись со мной,— сказала Марче Парашкева, принимая тарелку со стопкой горячих лепешек.

Потом она отломил кусочек брынзы и вдруг разрыдалась.

— Не могу, Марче, не могу.

Слезы душили Парашкеву.

— Тодорчо... Тодорчо... он любил... очень любил теплые...

Она так и не сумела договорить, что хотела.

Мара встала, взяла тарелку и вынесла все на кухню.

— Отнеси, отнеси,— прошептала Парашкева, все еще задыхаясь от слез,— соседке. Скажи, за Тодора. Пусть помянет.

Всю ночь Мара провела на стуле, у постели Парашкевы. Та не могла ее убедить уйти спать.

— Не могу я спать, бабушка, не могу. Жалко мне тебя!

— Да я тоже спать буду, Марче. Видишь, уже засыпаю.

Но Мара не поддавалась ни на какие увещевания.

— Ну что ж, если не хочешь идти спать, тогда почитай мне.

На другой день Парашкева долго ждала возвращения Мары после ее встречи с Леной, но та вернулась лишь на рассвете.

Когда хлопнула калитка, а вслед за нею входная дверь, сердце у Парашкевы радостно подпрыгнуло.

— Марче!

— Бабушка!

Мара быстро сбросила с себя намокшую под дождем одежду, переобулась и подошла к Парашкеве.

— Доброе утро, бабушка.

— Все ли хорошо, а?

— Все хорошо. Она привела меня в дом, где сейчас прячется. Дом недостроенный, неоштукатуренный. Встретила нас девушка, очень любезная.

— А эта девушка живет в этом доме одна?

— Нет, бабушка, она познакомила меня со своими родителями. Она сказала им, что мы ее приятельницы, студентки, а живем в Самокове. Я отдала лепешки и брынзу, и мы все вместе поели. Было уже поздно, и они не отпустили меня. Мы спали с Леной на одной кровати.

— А возвращаться тебе было не страшно?

— Нисколько, бабушка. Меня ж никто не знает.

— Когда же ты еще пойдешь?

— Завтра. Нужно отнести Лене продукты. Живет она у людей бедных, им же трудно прокормить ее.

— Конечно. Ну, а люди-то они... надежные?

— Надежные! Их дочка очень любит Лену.

— Что ж, ладно.

— Лена передала мне книги, чтобы я отнесла их туда, к тюрьме. Там меня будет ждать один человек, он их и возьмет.

— Ох уж мне эта Лена — навлечет она на тебя беду!

— Не бойся, бабушка. Я буду очень осторожной.

Парашкева взглянула на нее и покачала головой.

Прошло две недели, когда неожиданно появилась Лена. Парашкева схватилась за сердце:

— Зачем ты пришла, полицейские не спускают с нашей улицы глаз!

— Я их видела, а вот они меня — нет.

— Ты в этом уверена?

— Мне так показалось.

— Дитя ты мое неразумное!

— Мама, я уезжаю в Советскую Россию!

Парашкева, оцепенев, посмотрела на дочь.

— Все уже решено! Я уезжаю вместе с одной девушкой. Нас переправит верный товарищ...

— А паспорт?

— Какой паспорт, мама! Откуда?

— Но как же вы перейдете границу? Без паспорта?

— А разве у Георгия был паспорт?

— Когда же ты уезжаешь?

— Нужно еще уладить кое-какие дела... Мама, помоги мне собраться в дорогу. Возьму самое необходимое, чтобы не было тяжело. Меня предупредили, что мы будем переходить границу пешком.

— Господи, что ты говоришь!

— Ты должна радоваться, мама. Ведь там, в России, я буду в безопасности. Придет день, и я вернусь к тебе жива и здорова. А вот тебе необходимо беречь себя. Чтобы дожидаться Георгия и меня... Сегодня я буду ночевать здесь. Устала очень! Прямо сейчас и лягу. Дай мне ночную рубашку...

Лена быстро разделась, но едва она успела набросить поверх рубашки халат, как в калитку забарабанили. Парашкева взглянула в окно: полиция.

Лена вскочила, быстро обняла мать и, не разбирая ступенек, скатилась по лестнице, вылетела за дверь, метнулась вправо, перелезла через забор и прыгнула в соседний двор.

Парашкева, не шевелясь, продолжала стоять на месте.

А в калитку стучали. Мары дома не было, она еще не вернулась, квартиранты, жившие в пристройке, когда ломилась полиция, на улицу не выглядывали.

Парашкева потихоньку спустилась по лестнице, медленно подошла к двери и, совсем уже ослабевшая, открыла ее. Полицейские — их было двое — сразу же бросились к лестнице. Они ходили из комнаты в комнату, заглядывали под кровати, открывали стенные шкафы, гардероб.

— Чьи это вещи? — выкрикнул один из полицейских, хватая еще не убранный одежду Лены.

— Гостя у меня из Самокова, жду вот ее, с минуты на минуту должна прийти... Что вы все рыщете-то, не видите, что ли, что больна я!

— Дочь твоя где?

— Уехала.

— Куда?

— В Самокове она живет. С мужем.

— Я тебя о другой дочери спрашиваю.

— А где другая, не знаю. Она ведь студентка, может, занимается у какой-нибудь подруги.

— Хватит нас за нос водить. Мы ее видели.

— А может, это к квартирантам кто приходил?

Полицейские отправились в пристройку.

— Был у вас кто-нибудь совсем недавно?

— Никого не было.

Взбешенные полицейские вернулись к Парашкеве.

— Твоя работа, колдунья,— набросился на нее один из них.— Говори, старая ведьма, в кого ты ее превратила, где спрятала?

— Если вы верите в колдовство, пусть оно и поможет вам,— ответила Парашкева и захлопнула за полицейскими калитку.

Как только полицейские ушли, она почувствовала, что силы оставили ее. Она опустилась на землю и встать уже не смогла.

Так и застала ее вернувшаяся через час Мара.

— Бабушка, дорогая, прости меня за то, что я опоздала! — Она нагнулась, подхватила Парашкеву под руки и помогла ей подняться.— А все потому, бабушка, что ты не хочешь лежать. Во двор зачем-то вышла...

— Лена была. Полиция с обыском заявила... Она через забор к соседям сбежала.

— А я перепугалась, когда ее у девочек не нашла. Мне ведь ей сказать нужно было, что я книги передала. Значит, она здесь была... А вдруг соседи выдадут ее?

— Нет, нет, не думай. Это не те соседи, что слева, эти — люди хорошие.

* * *

— Нельзя тебе здесь одной жить,— сказала Магдалина матери, когда вновь приехала навестить ее.— Давай-ка совсем переезжай в Самоков.

— А как же Тодор и Димитр? Как же я от их могил уеду?

Магдалина не знала, что ответить матери на это. Она оставила детей в Самокове, на руках у Мары, чтобы проводить Лену. И проводила ее, переодевшись в одежду тырновских крестьянок. Прощались вечером, плакали. Магдалина отправилась с Леной на вокзал, а матери ехать они не позволили.

Вот и последний ребенок Парашкевы отрывался от дома, улетал, как птица, оставляя в ее сердце новую рану. Хорошо, что он покидал дом живым, но куда улетал он? Что ждет его?

За этими раздумьями и застала Парашкеву Магдалина, когда возвратилась с вокзала.

— Все благополучно? Она уехала? Вам удалось попрощаться?

— Мы видели друг друга издали. Я опасалась, что, если подойду к ней, ее могут узнать. А когда поезд тронулся, Лена помахала мне платком.

— Кто знает, когда мы теперь увидимся...

— Но она ведь жива, мама, она спаслась!

— Лишь бы еще какое несчастье не произошло!

— Ее сопровождают две девушки. Они передадут Лену в верные руки. Успокойся!

Приехал Барымов, забрал последнюю пачку книг из библиотеки Георгия, взял и часть вещей Парашкевы, закрыл ее комнату, а когда квартиранты вернулись, они все вместе тронулись в путь. Выходя из калитки, Парашкева обернулась, взглянула на свой дом и мысленно попрощалась с ним. Здесь оставалась прожитая ею долгая жизнь, с ее радостями и заботами. Сколько людей было когда-то в этом доме, а теперь он стал похож на опустевшее гнездо. Вышли соседи: Фотя, Домна, парни и девушки, приятели и приятельницы Тодора и Лены.

— Уходите, уходите, а не то увидят жандармы, начнут дознаваться, зачем это вы к нам наведывались.

— Ты за нас, Парашкева, не беспокойся, мы не из пугливых.

Парашкева покачала головой. Весь путь до Самокова она проплакала.

* * *

Нелегко было Парашкеве вот так сразу отказаться от всего своего прошлого, глубоко врезавшегося в ее память. Нелегко было начать жить новой жизнью, в корне отличающейся от прежней. Перед ее глазами все время возникали те вещи, которые десятки лет она видела вокруг себя, ее душу населяли те люди, которые приходили к ней и с которыми она сблизилась и сдружилась. Теперь все это ей нужно было вытеснить из своей памяти, чтобы дать место новому. Ее спасали дети, ее спасали теплота и любовь Магдалины и Стефана. И как бы туманом окутывалось то гнездо в ее сердце, в котором остались ее погибшие сыновья и любимый Димитр, раны затягивались, боль становилась переносимее. Ее дни проходили среди забот о детях и в радости общения с ними. Она вставала очень рано, выходила во двор, собирала щепки, кормила кур, наливала им воды, чистила птичник, готовила ребятам завтрак. Заходила она и на кухню, помогала и там.

— Хватит тебе уж работать, мама, отдохнула бы,— говорила ей Лина.

— Человеку нельзя сидеть сложа руки, бес может попутать,— отвечала Парашкева.

В другой раз, когда она снова суежилась и искала себе дело, Барымов заметил, что не следует ей утомлять себя.

— Мне так лучше, Стефан. Это меня от мыслей отвлекает.

— Но ты же знаешь, что Георгий и Лена просили тебя об этом.

Парашкева умоляла и продолжала делать свое. Уговоры не помогали. Верно, Георгий и Лена избежали преследований в своей родной стране, но каково им там, на чужбине! Ведь Магдалина видела Георгия в Вене: он живет нелегально, а это значит, что и там его ищут, преследуют. А Лена о себе вообще еще ничего не написала. Парашкева не знала даже, добралась ли она до Советского Союза, жива ли она, здорова. Правда, товарищи Лены по партии сказали Парашкеве, что она уже в России, но ведь письма от нее все нет и нет.

Иногда после ужина она собирала у себя в комнате детей и рассказывала им о своем детстве, о тех днях, когда она была такой же маленькой, как они. Внуки, Любчо и Венче, уже сильно выросли, и Парашкева могла разговаривать с ними, как с равными. Они читали ей стихи, а она — им в награду — доставала из глубокого кармана своей юбки конфеты, орехи или изюм.

Парашкева знала многие семьи преследуемых или погибших коммунистов. Однажды Магдалина видела, как она давала одной вдове пряжу, чтобы та соткала что-нибудь.

— Мама, ведь я бы могла и сама помочь тебе, если тебе уже трудно! — сказала ей Магдалина.

Парашкева задумалась. Это не она помогает, а я ей. Это я обещала дать ей пряжи, чтобы она заработала хоть немного.

— А почему же ты не дала ей денег?

— Боюсь, что тяжело ей было бы просто так брать деньги. Пусть она их заработает. Поэтому...

С тех пор Магдалина стала посылать больным горячую пищу, прося сказать, что это от Парашкевы.

Мало-помалу здоровье Парашкевы пришло в порядок. Она уже могла выходить, чтобы навестить больных или нуждающихся, что-то принести им, утешить их, дать им совет. Давать советы Парашкева очень любила, но делала это всегда осторожно, тактично. Она делала это от любви к людям, от всего сердца, и к ней относились с любовью.

Однажды, неожиданно для Барымова, она сказала, что хочет съездить в Софию, что ей нужно туда съездить.

— А не может ли твое дело сделать кто-либо другой? Я, например. Ты же утомишься!

— Я хочу побывать на могилах, Стефан.

— Ты же опять разболеешься... Не ездь одна. Возьми с собой Мару.

Парашкева уехала, взволнованно думая о том, что вскоре она опять увидит свой дом, отнесет на могилы цветы, поговорит с Тодорчо, расскажет Димитру о внучатах, которых ему, горемычному, так и не суждено было дожидаться. Она представляла, как пойдет повидаться со своими приятельницами, с соседками. Нужно было ей привести в порядок и кое-какие дела: получить пенсию за Костадина, деньги от квартирантов, заплатить налоги.

В Самоков она возвращалась уставшая, расстроенная запустением во дворе, тем, что дом стал ветшать и понемногу разрушаться, и многим другим.

Она зареклась ездить в Софию.

Но прошло несколько месяцев, и она опять затосковала.

— Как мне хочется увидеть Тодора!

— Ты что это говоришь, бабушка? — удивилась Венче. — Ведь дядя Тодор умер.

— Для меня, внучка, — ответила Парашкева, — он всегда живой!

Венче замолчала. Еще с малых лет она привыкла молчать. С тех пор, когда ходила со своей матерью на встречу с Леной и почему-то поняла, что на все вопросы посторонних людей нужно отвечать лишь одно: «Не знаю!» Эта черта характера — молчаливость — так и осталась в ней, а с возрастом даже усилилась.

* * *

В 1928 году Мара вышла замуж. Перед свадьбой, когда была получена телеграмма с шахты «Бобов дол» о приезде жениха, Парашкева разволновалась. Шахтер! Из тех, наверное, с кем Георгий плечом к

плечу боролся когда-то за рабочее дело. Из тех, кто в самое тяжкое военное время принес ей уголь, чтоб не мерзла больная мать Георгия Димитрова.

Парашкева еще не видела этого человека, но уже приняла его в свое сердце. Мара была счастлива, что бабушка одобряет ее выбор.

Веселой и шумной была эта свадьба. Магдалина, прежде чем молодожены приехали, успела привести в порядок их дом. Когда Мара вошла в него, все необходимое было уже на своих местах. А когда некоторое время спустя к молодым пришла Парашкева и принесла им в подарок вытканные ею самую покрывала, она с радостью отметила, что Мара — очень толковая жена. Можно было не сомневаться, какой замечательной хозяйкой станет она, если еще с малых лет она с успехом заменяла во всех домашних делах Магдалину.

Но одна мука так и продолжала жить в душе Парашкевы, хотя она никому не рассказывала о ней, не желая омрачать радость своих близких. Она страдала от того, что не было письма от Георгия. Правда, к ней приходили иногда люди из разных городов и сел, пересказывали ей сведения, полученные сложными нелегальными путями, но все это были одни разговоры. Кому верить, если Георгий в марте 1926 года был заочно приговорен к смерти. За что? За то, что в Югославии вместе с Василом Каларовым он образовал заграничный революционный комитет... Судебное дело продолжалось более полутора лет... А до этого приговора тяготел над Димитровым еще один. Он был вынесен ему за участие в Сентябрьском восстании 1923 года. Парашкева знала об этих двух приговорах и очень хорошо понимала, что власти не оставят ее сына в покое, что они преследуют его и там, за границей, и хотят погубить. Магдалина, возвратившись из Вены, объяснила матери, что Георгий сменил квартиру, что он отпустил себе бороду, носит темные очки и широкополую шляпу и что узнать его теперь можно лишь с большим трудом. Но почему, спрашивала себя Парашкева, от него так редки письма? Да и те ей лишь пересказывают.

Как-то друзья Георгия сказали ей, что он часто переезжает из города в город, из одной страны в другую, сегодня в Праге, завтра в Париже, ездит в Брюссель и в другие европейские города.

— Не беспокойся за него, матушка Парашкева. У него много друзей, они есть у него во многих городах за границей.

— А зачем ему столько ездить?

— Он выступает. Знакомит общественность Европы с положением в Болгарии, рассказывает о правительственном терроре и страданиях народа. Борется за наших политических заключенных, добивается амнистии для них.

Однажды Парашкеве принесли газету, в которой печатались статьи, заметки и корреспонденции политических и общественных деятелей различных стран мира, и перевели ей статью Георгия. «Значит, жив», — обрадовалась Парашкева. Однако на следующий день у нее опять появились сомнения: а вдруг на него напали еще вчера? А что, если нападут завтра?

В начале 1930 года, седьмого года, прошедшего с того дня, в который Георгий исчез, он дал знать о себе открыткой из Копенгагена. В первый раз за семь лет та вещь, которая находилась в руках сына, попала в ее руки. До тех пор это были книги, его библиотека, перевезенная из

Софии и по частям спрятанная в кладовке, на чердаке, в погребе. Любомир брал из этой библиотеки за томом том и читал их вместе со своими друзьями. Любомир ничего не скрывал от своей бабушки. Дружба между ним и Парашкевой была искренней и сердечной, еще когда Любомир был совсем маленьким, когда еще ходил в школу. Он всегда прощался с бабушкой, а когда возвращался, искал ее:

— Ты где, бабушка? Как ты сегодня себя чувствуешь? Пойдешь ли ты сегодня в гости?

Но то, что внук читал книги из библиотеки Георгия, пугало Парашкеву: неужели и дети Магдалины пойдут по его пути?

— Будь осторожен, Любо!

— Мы читаем тайно, бабушка. Об этом никто не знает.

А она все равно беспокоилась. Ко всем ее заботам прибавилась еще и забота об этом мальчике. Парашкева скрывала свои мысли от Магдалины, чтобы не внушать ей страхи за Любомира. Любомир рос крупным, стройным, живым, ловким юношей. Он был со всеми сердечен, приветлив, хорошо учился. У Магдалины не было никакого повода тревожиться за него. Все ее внимание было поглощено заботами о детях пансионата, о Венче, которая часто болела, о Христианке, которая была еще совсем маленькой...

Лена уже писала Парашкеве из Москвы, Георгий, после откритки из Копенгагена, писал ей и из других городов. «Слава богу, что их нет здесь, в Болгарии»,— утешала себя Парашкева, когда слышала, что преследования коммунистов усиливаются...

Реже стали приходить к ней товарищи Георгия, а некоторые совсем пропали. Мировой экономический кризис коснулся и болгарских капиталистов, партия усилила борьбу за права рабочих. Число ее организаций росло по всей стране. Недовольство и голод в стране были хорошей почвой для пропаганды, но и террор усиливался.

Как-то Магдалине сообщили, что Любомира арестовали вместе с целой группой учеников, его товарищей. Их заперли в казарме и там избивали. Детей семнадцати-восемнадцати лет! Целых четыре дня длилось следствие, а на пятый день Любомира вместе с одним из его товарищей привели домой. Их сопровождали два поручика и шесть вооруженных солдат. Любо был неузнаваем: бледен, с запавшими глазами, с синими кругами под ними.

Увидя Любо, Парашкева бросилась к внуку. Солдаты едва оторвали ее.

— Мама, бабушка, не пугайтесь, ничего страшного!

А сам еле держался на ногах.

Солдаты принялись разбивать стены кирками, копать в подвале. Вскоре они наткнулись на библиотеку Георгия.

— Этим просвещал ты свой кружок? Эту книгу читал? Или эту? — И они били Любомира каждой книгой по голове.

Потерявший сознание Барымов лежал на руках Магдалины. Парашкева стала белой, как полотно.

— Не смейте! — кричала она. — Звери, детей убиваете!

— Ты, бабка, молчи лучше, а то и тебя заберем!

— Берите, берите и меня, я не боюсь вас, я уже натерпелась от вас, привыкла! Но отольются вам наши слезы, придет день, за все расплатитесь, за все!

— Бабушка, прошу тебя, не надо, не надо,— просил Любчо, но поручик толкнул его к дверям.

Любчо увели. Забрали и книги.

* * *

Парашкева не знала, что через несколько дней после ареста Любомира был арестован в Берлине вместе с двумя другими болгарами — Василем Таневым и Благоем Поповым¹ — и Георгий. Их обвиняли в поджоге рейхстага. Магдалина скрыла от матери первое письмо Георгия от 28 мая 1933 года, написанное им из тюрьмы Моабит. Прошло около двух месяцев, когда однажды заглянул в дом Барымовых один знакомый. Дети открыли ему дверь, не послушавшись Магдалины, которая запретила им делать это до ее возвращения. Ведь девочки узнали прошедшего и потому привели его прямо к бабушке.

— Да ты больна, бабушка Парашкева! От волнений, наверное?

— От каких волнений?

— А разве ты не получала известий из тюрьмы?

— Любчо еще ничего не писал.

— Я говорю о Георгии, он ведь тоже в тюрьме.

Парашкева поднялась, пристально посмотрела на говорящего и снова села:

— В какой тюрьме?

— Да не знаю я ничего... Прощай, прощай, Парашкева.

— Значит, не сказали... скрыли,— прошептала Парашкева и резко обратилась к пришедшему: — Ну а ты откуда знаешь?

— Из газеты «Вик» («Призыв»). Да и в других газетах об этом писали.

И он рассказал Парашкеве все, что знал.

Парашкева поняла, в чьих руках ее сын. Она внимательно слушала гостя, взвешивала каждое его слово на весах своего опыта, мучительно пытаясь сохранить спокойствие. «Значит, сумели все-таки... схватили его».

Разговор еще не закончился, когда в дом вернулась Магдалина. Прямо на пороге дети сообщили ей, что знакомого они провели к бабушке! Магдалина бросилась в комнату Парашкевы, быстро распахнула дверь да так и застыла, прислонившись к косяку. Парашкева безжизненными глазами смотрела на нее.

— Мама, не сердись, мы это уже давно знали. Мы не могли сказать тебе правды, пока ты не оправилась от болезни. От Георгия есть письмо. Но мы не посмели показать его тебе, потому что оно из тюрьмы!

Парашкева встрепелась:

— Принеси его, прочти!

— Он здоров, мама. Жалуется лишь, что нет денег, и просит прислать ему продукты.

Магдалина достала из сумки письмо и прочла его.

Парашкева опустила на кровать.

Магдалина кивнула знакомому, и они вышли из комнаты.

¹ Благой Попов и Васил Танев — болгарские коммунисты, обвиненные вместе с Г. Димитровым в поджоге рейхстага.

— Как же я не догадался, что вы скрываете от нее арест Георгия? — сказал знакомый. — Что я натворил!

— Рано или поздно она все равно узнала бы об этом. Не вы, так кто-нибудь другой мог прийти, и все раскрылось бы...

— Успокойте старушку! Не нравится она мне. Очень уж слабой выглядит...

— О Любоchio убивается. Подкосил ее этот арест. А теперь вот еще и новые переживания.

Магдалина замолчала, почувствовав подступающие слезы.

— Извините,— сказал гость и вышел.

Магдалина вернулась в дом и слегка приоткрыла дверь в комнату Парашкевы. Парашкева заметила ее.

— Входи, входи, Лина. Этот человек ушел?

— Ушел. Извинился, передал тебе привет...

— Зачем отпустила его? Угостить надо было...

— Спешил он...

— Все равно надо было предложить... Плохо мне стало, но теперь прошло. Теперь лучше.

— Не вставай, не вставай, лежи!

— Как это «лежи»? Нужно отправлять деньги, собирать посылку Георгию.

— Давай подождем. Вечером Стефан вернется. Куда мы сейчас пойдем?

— Прочитай мне еще раз письмо.

Магдалина раскрыла конверт.

Мои дорогие мама и сестра! Я всегда гордился нашей матерью, ее благородным характером, твердостью и самоотверженной любовью, а сейчас горжусь еще больше...

— Подожди, остановись! Георгий говорит, что я твердая и смелая, а что выходит? Он там голодает, сидит без денег, а я тут лежу на всем готовом... А кто же позаботится о нем? Кто?

Парашкева спустилась с кровати. Какая-то сверхчеловеческая сила пробудилась в ней, глаза ее засветились, щеки разругнулись.

— Хватит мне плакаться! Мать я Георгию или я недостойна быть его матерью?!

— Мама, не вставай!

— Да не больна я, не больна! Здорова я! Мне нужно быть здоровой, потому что это нужно Георгию. Когда он жил со мной, я никогда не держала его впроголодь, так неужели я оставляю его теперь, когда он в тюрьме!

Магдалина помогла Парашкеве одеться.

— Поешь чего-нибудь, подкрепиться надо...

Но Парашкева наотрез отказалась. Как она могла есть, когда ее сын голодает?

И она не ела, пока не отправила Георгию деньги и не собрала ему посылку с сыром, печеньем и луканкой — сырокопченой колбасой. Лишь когда Стефан вернулся с почты и сел возле нее, обняв ее за плечи, она успокоилась. Прибежали дети, стали ласкаться, но Парашкева не могла разговаривать, и Магдалина увела их.

— Ну, а теперь выздоравливай,— сказал Парашкеве Барымов,— силы тебе еще потребуются.

— Ты думаешь, Георгия ждет что-то плохое, да?

Парашкева внимательно посмотрела на своего зятя, пытаясь прочитать в его глазах то, что они, может быть, скрывали от нее... Ту большую опасность, о которой она не знает.

— Что же может случиться хуже того, что уже случилось?— успокаивал ее Барымов.— Но подобные процессы тянутся обычно долго, и нужно иметь терпение, а главное — силы.

Парашкева опустила голову и ничего не сказала.

— Съешь что-нибудь,— предложил ей Стефан, отламывая хлеб и наливая в чашку молоко.

Парашкева взяла хлеб, обмакнула его в молоко и долго держала во рту, с трудом пережевывая, потому что почти все зубы у нее выпали.

— Бабушка, бабушка,— обступили Парашкеву вернувшиеся дети,— с тебя подарок!

Парашкева с изумлением глядела на них.

— Давай, давай, а не то мы не покажем тебе, что получили!

Парашкева достала конфеты и раздала детям.

— Письмо!

— Читайте! — нетерпеливо сказала Парашкева.

Писала Лена. Она сообщала, что Люба больна. Расспрашивала о Парашкеве и жаловалась, что очень редко получает письма от Георгия, что Люба сильно тревожится из-за этого.

Парашкева взяла письмо и задумалась: «Во все концы света разбросало моих детей... Дай мне, боже, силы вынести это! Они мне еще так нужны!»

Парашкева опустилась на стул. Не могла она переносить такие волнения. Барымов подхватил ее на руки и отнес в комнату. В постели Парашкева почувствовала, что силы возвращаются к ней, и протянула руку своему зятю.

— Не беспокойся за меня, я чувствую, что уже скоро встану.

Было 6 июля. Она попросила Магдалину взять перо и бумагу и сестру около нее. Письмо, которое она диктовала, было бодрым. Она сообщала Георгию, что все здоровы, что посылку они ему отправили, лишь бы он получил ее, что завтра пошлют новую...

* * *

Наступили дни, когда Парашкева жила только ожиданиями новостей о процессе над ее сыном. Из газеты «Вик» она узнала, что образовался Комитет в защиту Георгия Димитрова, Василя Танева и Благоя Попова. Читала она и апелляции, напечатанные в той же газете. Это было легальное издание.

Как-то ей сообщили о разгоне полицией митинга протеста, организованного Комитетом.

«Господи, боже ты мой,— думала Парашкева.— Люди борются за спасение моего сына, а я валяюсь в постели!»

В одном из писем Георгий сообщал, что получил известие от Лены из Парижа. Парашкева встревожилась:

— Как? Лена уехала из Москвы в Париж!

— Вероятно, она поехала туда агитировать в защиту своего брата,— объяснил Барымов.— А здесь... Разгоняют митинги протеста! Аресто-

ывають! Арестовывають! Конца нет! Народ запугивають, но, несмотря на гонения, Комитет в защиту жертв фашистского произвола все же образовался! А кто члены этого Комитета? Разве только коммунисты? Нет! Все честные граждане.

Так говорил Стефан, так говорили все друзья и товарищи Георгия, приходившие в дом.

Внезапно сознание Парашкевы озарила одна мысль: ей нужно немедленно вернуться в Софию. Парашкева поднялась и оделась.

— Что ты делаешь, мама! Тебе же нельзя вставать! — закричала Магдалина, входя к Парашкеве.

— Позови Стефана! Я собираюсь ехать в Софию.

— В Софию?

Магдалина схватилась за голову.

— Куда ты поедешь! Погляди на себя в зеркало!

— Со мною все хорошо. Я выздоровела. Не отговаривайте меня! Вот и Лена в Париж уехала. И она борется за освобождение своего брата. А мы тут дремлем...

Не посмел задерживать Парашкеву и Барымов. Несколько дней назад он получил из Комитета в защиту жертв фашистского произвола письмо, в котором говорилось, что Парашкеве необходимо вернуться в Софию. Но он не показал Парашкеве этого письма, считая, что она не в состоянии ехать. Категорически не рекомендовал делать это и врач. А как быть теперь? Барымов понял, что поколебать эту необыкновенную мать ничто не в состоянии. Как она будет помогать сыну? Что сделает? Она и сама не знала этого... Но ей нужно было что-то делать, нужно.

Уже на другой день Парашкева, Магдалина и Барымов выехали в Софию.

* * *

— Я иду в редакцию газеты «Вик», — сказала Парашкева. — Ты пойдешь со мной, Стефан?

— Подожди. Нужно бы сначала узнать, на месте ли редактор. Зачем ты будешь понапрасну утомлять себя...

— Ты же говорил, что меня вызывали, — значит, меня ждут!

— Соберись хоть немного с силами, — попросил Барымов.

— Ну хорошо, хорошо, — согласилась Парашкева.

Барымов вернулся из редакции со вторым выпуском газеты — первый конфисковали. В газете писали: «Комитет сообщает, что назначенный на сегодняшний вечер митинг протеста не состоится, поскольку его проведение запрещено полицией. Митинг откладывается...»

Парашкева, внимательно слушавшая газетное сообщение, вдруг покачнулась, взялась за спинку кровати, словно какая-то тяжесть опустилась на ее плечи, и села на постель.

— Устала я! — едва слышно проговорила она и легла.

Магдалина накрыла ее большой вязаной шалью и, увидев, что мать задремала, на цыпочках вышла из комнаты. Но спустя некоторое время Парашкева открыла глаза, приподнялась на постели и крикнула:

— Стефан, Лина!

— Что случилось?

- Пошли в редакцию.
- Разве ты сможешь дойти?
- Смогу. Должна дойти.

Главный редактор был у себя. Он встретил их восторженно, выйдя навстречу Парашкеве с протянутыми руками.

— О, бабушка Парашкева! Добро пожаловать! Садись, садись! Какая же ты бледная! Но крепись! Нужно спасать твоего сына. Не только потому, конечно, что он твой, а потому, что он — сын всего нашего рабочего класса!

Парашкева не отрываясь глядела на его сияющее лицо, и охватившая ее радость вылилась вдруг в восклицание:

— Храни тебя господь, сынок! Говори, говори мне все, что знаешь, открой мне всю правду! Ведь мои-то, домашние, все от меня скрывают, все жалеют меня, а из газет тоже не больно чего узнаешь. Не пишут они об этом!

— Для правительственных газет Димитров — пораженец, эмигрант, справедливо осужденный на смерть государственный преступник. Они не хотят привлекать к его судьбе внимание читателей. Но теперь и они вынуждены давать об этом какую-то информацию, потому что поняли, что весь мир встал на защиту Димитрова.

— Значит, люди не считают его поджигателем? Они верят ему?

— Еще как верят! Они очень хорошо знают, за что борется твой сын, за что борются коммунисты! Разве ты не видишь, как их преследуют за это? Разве ты сама мало страдала? А теперь хотят запугать и Георгия.

— Ты считаешь, что нам его не спасти? — Парашкева вскочила со стула.

Редактор понял, что, увлекшись, он сказал лишнее и напугал старую женщину, поэтому он поспешил успокоить ее:

— О, мы обязательно спасем его! Самые знаменитые люди Европы, бабушка Парашкева, выступают в печати, на собраниях, митингах с речами в защиту Димитрова!

Парашкева вновь села. Задумчивое, бледное лицо ее говорило больше всяких слов. Редактор пододвинул свой стул поближе к ней:

— Послушай, бабушка Парашкева. Необходимо тебе и матери Та-нева добиться разрешения на проведение митинга протеста...

— Георгий никогда ни у кого не просил разрешения, а сколько митингов протеста провел и организовал!

— Сейчас другие времена.

— Георгий в любое время был решителен!

— Мы делаем все, что можем, — смущаясь, проговорил редактор.

— Скажи когда!

— Мы дадим тебе знать.

Парашкева встала. Магдалина тотчас подхватила ее под руку. Домой надо было вернуться до темноты, чтобы Парашкева могла безопасно для себя пройти по изрытой колдобинами мостовой окраинных улиц.

Прежде чем лечь спать, Парашкева опустилась возле своей кровати на колени: «Я не прошу тебя уже больше ни о чем. Если и он погибнет, если погибнут такие, как он, кто же будет бороться? Погляди на меня: я больна, я слаба, я ношу в своем сердце три раны от смерти трех моих

сыновей. Эти раны не заживают. А теперь к ним прибавилось еще две: Любомир в тюрьме, а Георгий в руках самых страшных палачей на свете. Мои слезы уже не помогут. Поэтому я не плачу!»

Она встала. Глаза ее были сухи, а в них горел такой огонь, такая сила, которая не боится ничего и которая требует от судьбы удовлетворения своего материнского права.

* * *

Парашкеву вызвали в редакцию. Там уже находилась мать Танева и отец Благоя Попова.

— Ты думаешь, что нам разрешат митинг?

— Вы все родители подсудимых, а ты, бабушка Парашкева, к тому же еще и старый человек, может, это подействует на них.

Парашкева недоверчиво покачала головой.

И они пошли. Их повел Барымов, но в полицейское управление зашли только Парашкева и мать Танева.

— Кого надо? — остановил их один из полицейских.

— Хотим пройти к начальнику.

— Зачем еще?

— За разрешением.

— Каким разрешением?

— На проведение митинга.

— Это вы, бабки, что ли, будете проводить митинг?

— Мы хотим, чтобы освободили наших сыновей, — сказала Парашкева.

— Что ж это у вас за сыновья такие, если для их освобождения митинг собирать нужно...

— Георгий Димитров и...

Парашкева не успела договорить, как полицейский заорал:

— Ах, те самые предатели! Недостойные болгары!

— Они наши сыновья. А мы — их матери. Пустите нас!

Когда полицейский доложил о приходе матерей своему начальнику, тот распорядился арестовать их.

Сколько ни пытался Барымов узнать, что случилось, никто никаких сведений ему не давал. Сказали только, что лучше ему уйти, иначе и его арестуют.

Было уже совсем темно. Встревоженные женщины не знали, что их ждет. Никто не являлся к ним.

— Ты чего плачешь? — спросила Парашкева у матери Танева. — Наши сыновья месяцами сидят в тюрьме, а ты не можешь потерпеть нескольких часов!

— Мы пришли сюда утром, а сейчас уже ночь.

— Ну и что? Сколько бы ни держали нас, будем терпеть, хоть этим поможем нашим детям, — ответила Парашкева.

Было уже десять вечера, когда дверь открыли и женщин выпустили из полиции.

На улице их ждал Барымов.

* * *

Писатели, журналисты, граждане Болгарии, присоединимся и мы к протесту миллионов людей с чистой совестью во всех странах мира. Поднимем свой голос против процесса — самого черного события последних дней,— писала газета «Вик».

Парашкева попросила прочитать ей эти слова еще раз. На другой день ей принесли газету «Утро» от 13 сентября. Барымов прочел:

— Известный парижский адвокат Моро Джафери, звезда Парижского бюро адвокатов, приглашен стать защитником трех болгарских коммунистов, обвиняемых в поджоге рейхстага. Верховный суд отказался допустить иностранного адвоката.

— Значит, их некому защищать. Так получается?

— Их защищают рабочие Англии, Франции и других стран.

— Но у них нет адвоката! — воскликнула Парашкева в отчаянии. — Нужно послать адвокатов отсюда, из Болгарии...

— Какой смысл? Их все равно не допустят к защите, — задумчиво проговорил Барымов.

— Нужно добиться разрешения, — ответила Парашкева.

И на этот раз разрешение на проведение митинга получить не удалось. Начальник полиции назвал Димитрова мразью, псом, поджигателем.

Парашкева вскочила со стула, плюнула в него и закричала:

— Сам ты пес, сам ты собачий сын! Но запомни: легко проливать чужую кровь, тяжело расплачиваться за это!

Начальник полиции, размахивая кулаками, бросился к Парашкеве...

Этот разговор уложил Парашкеву в постель. Барымов не отходил от нее. Читал газеты, рассказывал о том, как протекает процесс в Германии, как ширится за границей движение протеста.

— В Лондоне начался контрпроцесс! Люди борются, ты видишь!

— Вижу, Стефан. Но чем громче протестует мир, тем страшнее мне становится. Никогда не боялась я за Георгия так, как теперь...

— Успокойся, тебе нужно быть сильной...

— Знаю, Стефан, знаю.

* * *

Болгарский комитет в защиту жертв фашистского произвола проводит митинг, на котором будут выступать мать Георгия Димитрова, мать Васила Танева и отец Благоя Попова. Наш голос протеста присоединится к голосу Лондонского контрпроцесса, но он будет еще более мощным, потому что будут говорить близкие подсудимых!

Так писала газета «Вик».

— Не состоялся наш митинг! Разогнали нас! — проговорила Парашкева.

— И собрание рабочих тоже разогнали. Они отбивались камнями, а полиция стреляла в них, — отозвался Барымов.

— Его рабочие... Его опора и сила, — с закрытыми глазами прошептала Парашкева.

Парашкева любила перечитывать письма Георгия, начиная с первого его письма до последнего. Каждое письмо, прочитанное десятки раз, значило для нее очень многое и ободряло ее.

Несмотря на все удары судьбы, ты остаешься матерью мужественной и смелой, крепкой духом и сильной своею непоколебимой верой, — писал ей Георгий из Моабита.

Вера Георгия в ее моральные силы укрепляла дух Парашкевы, когда она вспоминала бледное, с синими кровоподтеками от побоев лицо ее внука Любомира. А Георгий еще двадцать шестого июля писал ей:

Надеюсь, что дело Любчо, которое сегодня начинают рассматривать, завершится благополучно.

Парашкева думала: «Он уверяет, что все кончится хорошо, потому что не хочет, чтобы мы беспокоились за него». А сама не засыпала без того, чтобы не вспомнить о Любчо: хоть бы кормили его, хоть бы не допрашивали... Она знала, как допрашивают в полиции, как бьют за молчание...

Подозревая, что Магдалина и Стефан, когда читают ей письма, что-нибудь пропускают в них, Парашкева просила кого-либо из друзей Георгия или Любы перечитывать их заново. Слушая письма, она переживала то же, что переживал Георгий, когда писал их, ее охватывала та же тревога, что и его.

Я как лев в клетке, как птица, у которой есть крылья, но нет возможности летать! — писал Георгий.

Парашкева перебирала в своей памяти все те случаи, когда Георгий у нее на глазах проявлял свое бесстрашие и решительность, и никак не могла смириться с тем фактом, что теперь ее заключенный в тюрьме сын совершенно беспомощен. Но тяжелее всего она переживала то, что Георгий закован в кандалы!

Да, пять месяцев жил Георгий в наручниках. Ничего не существовало для Парашкевы на этом свете, кроме камеры в тюрьме Моабит и самого дорогого человека, чувствующего себя в ней «как лев в клетке».

— Но, мама, он не одинок — за него борются все честные люди мира!

— Они борются вдали от него! А кто рядом с ним? Никого!.. Даже адвоката ему не дали! Только ихнего, гитлеровского! Они ли защитят Георгия?

Магдалина не знала, чем успокоить свою мать. Она видела, как Парашкева буквально таяла день ото дня.

— Слушай, дочка, что может угнетать мать сильнее, чем мысль, что сын лишен ее забот?

— Что ты хочешь этим сказать?

— Только то, что я должна быть рядом со своим сыном. Если я настоящая мать, я должна быть с ним, чтобы придавать ему силы.

— Погляди на себя, какие силы ты можешь придать ему?

— Материнскую силу нельзя увидеть глазами — ее можно лишь чувствовать. Процесс уже начался, а Георгий одинок. Он одинок, он один, сам по себе! Ты понимаешь это?

Магдалина в оцепенении глядела на мать: откуда у нее этот сильный голос, откуда этот огонь в глазах, откуда эта воля, против которой она не могла устоять?

— Ложись, прошу тебя,— сказала Магдалина с полными слез глазами.

Парашкева взглянула на дочь и подчинилась. Лина притушила лампу и вышла.

* * *

— Мы решили... ехать. Скажи, у кого нужно просить разрешения и где? — спросила Парашкева редактора газеты «Вик».

— Прежде всего, конечно, нужно разрешение партии. Должен тебе сказать, что наши люди думали об этом, но кто мог предположить, что ты решишься отправиться в такой долгий путь, в чужую страну. Как ты поедешь? Одна?

— Не волнуйся. Это мы уже обсудили. Со мной поедет Магдалина. Скажи лучше, что нам делать!

— Пусть придет Барымов, мы все с ним уладим.

Разрешение партии было получено сразу же. Начались мытарства, связанные с получением паспорта и разрешением от властей. Из германского посольства их выгнали, как только поняли, что старуха, просящая визу, — мать Георгия Димитрова. Болгарские власти попытались отговорить Парашкеву от поездки. Но ее измученный вид, ее немощная фигура, старое, морщинистое лицо могли растрогать даже каменное сердце.

— Зачем тебе, бабушка, ехать? — спросил чиновник.

— Чтоб повидаться с сыном.

— Тебе не разрешат! В Германии на этот счет порядки строгие. Зря только намучаешься.

— Разве у них нет матерей, у этих людей в Германии?

Чиновник удивленно посмотрел на нее и обратился к Лине:

— А вы зачем едете?

— Я сопровождаю ее.

— А вы знаете, как дорого вам будет стоять эта поездка?

— Знаем.

— Откуда же вы возьмете деньги?

— Это наша забота.

Разрешение было получено.

Парашкева ожила. Мысль, что скоро она увидит сына, воодушевляла ее.

— Лина, как бы нам не забыть взять для Георгия рубашки. Ты их уже приготовила?

— Осталось только пришить пуговицы.

— Давай я пришью!

— Я же сказала тебе, что все сделаю сама! Впереди дорога, тяжелая дорога.

— Я не устала. Дай мне рубашки!

Магдалина не хотела спорить с матерью, не хотела нервировать ее и в тех случаях, когда работа была не слишком утомительной, сразу же уступала Парашкеве.

Приехала со своим маленьким ребенком и Мара, чтобы попрощаться с Парашкевой и Магдалиной и помочь им собраться.

Весь дом принимал участие в приготовлениях к отъезду.

— Бабушка, не утруждай себя!

— Хватит вам носиться со мной!

Она не присаживалась ни на минуту. Не спала. Как можно спать, когда перед глазами так и стоит Георгий! Она видит, как его мучают. О боже, когда же она встретится с ним!

— Мама, пойми же, наконец, тебе надо беречь себя! Дорога долгая, где ты возьмешь на нее силы, если израсходуешь их все здесь!

— Хорошо, Лина, я лягу, я буду спать.

Она легла. Ее тело отдыхало, а голова продолжала свою непрекращающуюся работу. Как остановить мысли?

— Бабушка, с кем это ты разговариваешь?— спросила Парашкеву Мара сквозь открытую дверь.

— С Георгием.

— Ты же его скоро увидишь, а теперь спи.

— Хорошо, Марче, хорошо.

Она закрыла глаза, но Георгий снова перед ней. Такой, каким она знает его. «Мама, скажи, у тебя опять начались боли? Что ты ела?» — «Ничего такого». — «Зачем ты так утомляешь себя и не спишь ночи напролет?» — «Из-за тебя, сынок! Ведь ты не можешь позаботиться сам о себе, вот я и делаю это за тебя!» — «Ты не гляди на меня, мама! Мне нужно заботиться о нашем народе, а не о самом себе!» — «Я знаю, Георгий, но мне страшно за тебя!» — «Не надо, не бойся, мама, меня охраняют русалки! Разве не ты три года кормила меня своим молоком, чтобы я стал юнаком, а юнаки всегда побеждают!»

Парашкева открыла глаза: спала ли она, а может быть, она действительно только что видела своего Георгия?

— Мама, ты все еще не заснула? — недовольно проговорила Магдалина.

— Я видела Георгия и теперь не понимаю, что это было: то ли сон, то ли нет... Я видела его таким, каким помню: молодым, темноглазым, с черной бородой...

— Разве тебе не рассказывали, какой он сейчас? Его фотография была напечатана в газете: ни бороды, ни волос, острижен коротко... Так что ты можешь еще и не узнать его.

— Какая же мать не узнает своего сына!

А дни шли. Они проходили не в одних только приготовлениях к отъезду. Нужно было ждать распоряжения партии. Оно должно было быть передано через одного товарища, который знал адреса друзей в Париже, куда сначала и отправлялись Парашкева и Магдалина. Сколько ни старалась полиция понять, что же происходит в доме Парашкевы, она так и не смогла выследить того человека, который передал им распоряжение партии. Полиция оставалась в заблуждении: мать едет к сыну, жизни которого угрожает опасность.

На первый взгляд, это было достаточно важной причиной для отъезда. Но полиция не могла понять, что дело тут не только в материнской любви. За ней стояло и нечто другое, не менее важное: помощь, которую мать могла оказать своему сыну в защите той единственной правды, за которую борются все честные люди Европы. В помощь этой борьбе с фашизмом и несла свое большое сердце и негибаемый дух маленькая, старая женщина.

Теперь ее уже больше не угнетали сообщения о тех, кто проклинал Георгия и называл его преступником. Они злорадствовали, что немцы арестовали его и будут судить, но весь мир поверил в невиновность ее сына! Отовсюду приходили известия о борьбе, развернувшейся в его защиту!..

— Три дня будем ехать мы в этом купе,— сказала Магдалина.

— Ну что ж,— ответила Парашкева.

— А вдруг тебе надоест?

— Как же мне это может надоест, Лина, если мы едем к Георгию!

Когда Лина заснула, Парашкева свернулась клубочком, накрылась одеялом и тоже попыталась было задремать, но сон не шел к ней. Она вспоминала, как год тому назад пришли к Тодору его друзья. Они читали статьи, разговаривали, спорили допоздна. Во дворе, в холодке, сидел Георгий и работал. Иногда он заходил к ним. Друзья Тодора немедленно вскакивали на ноги, но он тут же усаживал их и просил продолжать спор, изредка вставляя слово. Заходила к ним и Парашкева с миской орехов или чернослива и тихо, чуть ли не на цыпочках, удалялась, боясь смутить их. Но самую большую радость испытывала она, когда приносила кофе Георгию. Как он глядел на нее! В его глазах Парашкева угадывала такую сыновнюю любовь, такую благодарность, что ее сердце сжималось от страха. От все того же неоправданного страха за его жизнь, ведь он был таким осторожным и умел сам подумать о себе! Ох эти воспоминания, ох эта молодежь! Как она радовалась ей! А потом? Потом они один за другим исчезали с глаз ее. Первым ушел из дома и не вернулся Никола, потом погиб Костадин, потом ушел Георгий. За ним арестовали Тодора, и она уже больше никогда не видела его, потом Любчо. Как часто и подолгу она ничего не знала о них...

Монотонно стучат колеса поезда, о многом, о разном думает под их стук Парашкева. Она вспоминает, как напутствовал издали Георгий своих друзей и близких, указывая, по какой дороге должны они теперь идти. Как трудно было им разобраться в происходящем и объединиться снова!

Парашкева сбрасывает одеяло и садится.

— Тебе что-нибудь нужно, мама?

— Дай мне немножко водички...

Парашкева выпивает глоток воды и глядит в темное окно.

— Когда ж рассветет-то?

— Рано еще, ложись, поспи!

Но Парашкевой вновь овладевают раздумья... Хлопоты об отъезде несколько отвлекли ее от переживаний за судьбу Георгия, теперь же она вновь всеми своими помыслами устремлена к нему. Ее беспокойство пробудилось с новой силой. И, закрывая глаза, она видела своего сына с закованными в наручники руками. Нужно спешить к нему на помощь. Ох, как же медленно идет этот поезд!

— Что с тобою, мама? Почему ты стонешь?

— Ничего, ничего... Я боюсь только, что мы опоздаем! Только бы успеть вовремя!

— Не бойся! Они не посмеют вынести приговор так быстро. Ведь они судят его на глазах всего мира.

Парашкева прикрыла глаза, задремала... Но вдруг в ней возникло уже знакомое ей чувство: то самое напряжение, с которым она ждала Георгия после подавления Сентябрьского восстания десять лет тому назад.

Парашкева беспокойно зашевелилась. Словно бы Георгий стоял перед ней и смотрел на нее. Ее терпеливый сын, первенец, которого она кормила так, чтобы он вырос юнаком! И он стал юнаком. Он стоит перед чудовищем и не боится его!

— Мама, о чем ты все думаешь?

— Думаю, а вдруг нам не позволят увидеться с Георгием?

— Что ты сказала?

Парашкева повторила свой вопрос.

— Не думай сейчас ни о чем. Все уладится.

Но Парашкева не может не думать. Воспоминания снова разволновали ее. Она хочет успокоиться и не может. И досадует, потому что в одном из последних своих писем Георгий просил ее быть мужественной. «Для меня это будет большим моральным облегчением и великим утешением», — писал он.

А теперь, когда она едет к нему, просто необходимо, чтобы он собственными глазами убедился в том, что она твердо идет навстречу несчастьям и верит в благополучный исход. Что ради этого она и приехала...

— Ах, мама, ты опять не спишь!

— Представляю себе, как встретимся мы с Георгием!

Магдалина не отвечает Парашкеве. Идет время. Какие-то люди ходят с поезда, какие-то садятся. Парашкева не замечает ничего. В окне проплывают, сменяя друг друга, села, города, высятся горы, простираются поля, извиваются, блестя в свете ночных фонарей, какие-то реки, но все это оставляет Парашкеву равнодушной; она прислушивается лишь к стуку катящихся колес, которые приближают ее к сыну.

— Мама, ты что молчишь?

— Я не молчу, Лина, я разговариваю с Георгием.

Магдалина переворачивается на другой бок. Усталая, невыспавшаяся и почти не отдохавшая в течение нескольких ночей перед отъездом, взволнованная, как и мать, она обязана быть уверенной в себе и в ней.

Вот так и прошли эти три дня и три ночи, пока не прибыли они в Париж. Поезд остановился. Парашкева проворно вскочила и припала к окну. Вдруг она обернулась и крикнула Лине:

— Смотри, смотри, как много народа!

На перроне снова пестрая толпа пассажиров, встречающих и носильщиков.

В Париже их ждала нечаянная радость — они увиделись с Еленой. Парашкева не отрываясь глядела на нее. Десять лет назад Елена была совсем молодой девушкой — такой она и осталась в памяти Парашкевы, но теперь перед ней стояла взрослая женщина, приехавшая из Москвы в Париж, чтобы защищать своего брата, бороться за его жизнь.

Магдалина и Парашкева поселились в том же отеле, в котором жила Елена.

Несмотря на усталость, Парашкева и Магдалина не могли ни отды-

хоть, ни спать, потому что каждой из них нужно было о стольком спросить Елену и столько всего рассказать ей!.. Две дочери было у Парашкевы, и вот теперь они обе рядом.

* * *

С трудом, сопровождаемая обеими своими дочерьми, пробралась Парашкева в переполненный людьми зал. Она оглядывалась по сторонам, поднимала голову и, видя забытые народом балконы и галереи, чувствовала себя совсем маленькой; и если бы не Елена и Магдалина, державшие ее под руки, Парашкева, наверное, не разобралась бы в том, что же происходит вокруг нее и зачем она попала сюда, в этот вмещающий тысячи людей зал.

Утром Елена сказала ей:

— В этом зале ты увидишь душу Франции.

Но Парашкева не верила, что сейчас ее окружает лишь душа Франции, — ей казалось, что в зале собрался весь мир. Неужели весь мир? Ради кого же?

— Весь мир поднялся на защиту твоего сына, — прибавила Магдалина.

Когда Парашкева приблизилась к первым рядам, встал какой-то седовласый мужчина и заговорил, обращаясь к публике: она услышала свое имя, названное вместе с именем ее сына. Зал разразился аплодисментами. Все встали. Взгляды людей были устремлены к трибуне, на которую взойшла маленькая, хрупкая старая женщина в длинной складчатой черной юбке, опрятной черной кофте и тонком черном платке на голове. Яркие прожекторы осветили бледное лицо, и широко открытые синие глаза Парашкевы засияли каким-то особенным блеском.

Воцарилась полная тишина. Казалось, пролети муха — и будет слышно.

И вот Парашкева заговорила. Заговорила на болгарском языке, тихим, но ясным и спокойным голосом, который наполнил этот замерший зал сердечной теплотой. Она высказала свою радость по поводу того, что видит так много людей, которые могут свободно протестовать против неправды и тирании.

Ее голос дрогнул, но она сразу же овладела собой и продолжила:

— Вы собрались в защиту моего сына, благодарю вас от всей души. Я тоже приехала помочь ему, но я принесла ему лишь свое материнское сердце... Ничего другого у меня нет...

Парашкева на мгновение остановилась. Люди плакали. Плакали в зале, плакали сидевшие в президиуме. Парашкева ничего не видела. Все ее существо было исполнено благодарности к этим людям с разных концов земли, большим, великим людям и обыкновенным рабочим и гражданам, которых она видела впервые. И как зал вобрал в себя эти тысячи людей, так вобрало их в себя и ее сердце. Благодаря им она почувствовала, что Георгий не одинок, что он уже «не лев в клетке», что душа его нашла себе место в душе каждого из этих людей.

— Благодарю вас за то, что вы верите моему сыну. Верите, что он не способен совершить никакого преступления! Верите, что он не может быть поджигателем!

Зал снова разразился овацией. Тогда поднялся один из сидевших в президиуме, взял микрофон и крикнул в него:

— Поджигатель и убийца — Геринг!

Публика оглушительно зааплодировала. Ничуть не смущенная Парашкева переждала рукоплескания и спокойно села на место. Возбуждение, царившее в зале, не иссякло и на улице. Одни жали Парашкеву руку, другие обнимали и целовали ее. Огромная толпа провожала ее фаэтон до отеля.

Счастливая и довольная, Парашкева вошла в номер, дочери присели рядом с ней.

— Кто был этот человек, назвавший Геринга убийцей? — спросила Парашкева.

— Известный французский адвокат Моро Джаифери, — ответила Елена. — Это он хотел быть защитником Георгия, а немцы ему не позволили... Ах, если бы такой адвокат был у Георгия!

— А кто сидел слева от меня?

— Ромен Роллан, мама, знаменитый писатель.

— А рядом с ним?

— Марсель Кашен, главный редактор газеты французских коммунистов.

— Смотри-ка, какие люди его уважают, — воскликнула Парашкева и задумалась.

Дочери сидели молча, молчала и Парашкева, но они видели, как она тихо что-то нашептывает и на ее губах блуждает неизвестная им раньше светлая улыбка.

Дочери погладили на мать, потом друг на друга и поняли, что им нужно оставить Парашкеву одну. А Парашкева долго не могла уснуть. Она думала о Берлине. Ведь именно туда поедут они, ведь именно там тюрьма Моабит, а в ней — Георгий. Да, она принесет ему надежду на скорейшее освобождение... Лишь бы побыстрее уехать туда, побыстрее!

* * *

— Почему мы медлим, Лина, почему не уезжаем?

— Сразу нельзя. Нужно кое-что уладить. Мы едем в Берлин, а это — другая страна. Из-за этого разные формальности...

— И здесь тянут так же, как у нас!

— Потерпи еще немного, люди стараются, хлопочут, спешат. Всего два дня, как мы здесь, а ты уже потеряла терпение.

Парашкева умолкла, сложила на коленях руки и задумалась. Десять лет не видала она сына. Его последнее письмо несколько успокоило ее. Георгий получил деньги — двести левов — и обрадовался, когда ему сказали, что, возможно, приедет и Лена и что они увидятся...

Когда Елена и Магдалина вернулись из города, они застали Парашкеву все в том же положении.

— Ты хоть бы вышла, город немного посмотрела! Когда еще снова в Париж приедешь!

— Что мне в нем... Мне бы к Георгию поскорее попасть!

Однако пришлось ждать еще три дня.

Наконец-то!.. Елена попрощалась с матерью и Магдалиной и вновь вернулась к исполнению возложенной на нее задачи — защите Димит-

рова. Парашкева разволновалась от разлуки с Еленой и предстоящей встречи с Георгием. Все трое молчали.

Поезд тронулся. Магдалину и Парашкеву сопровождал болгарский студент Боян Дановский.

— Лина, — спросила Парашкева, — а кто был тот человек, который заговорил со мною по-русски и обнял меня?

— Какой? Который провожал нас на вокзал?

— Да.

— Михаил Кольцов. Советский писатель. Он приехал из Москвы, как и наша Лена, чтобы организовывать в других странах комитеты в защиту Георгия.

— Вот жалость какая, что не знала я этого! Хотя бы двумя словами поблагодарила его!

— Он говорил тебе, чтобы ты была мужественной и верила в то, что Георгий будет освобожден.

— Была мужественной!.. Вот и Георгий говорил, не помню уж кому, что с меня и Любы можно брать пример... Ох, не легко это — быть мужественной, когда сердце кровью исходит...

* * *

В Берлине Парашкева нетерпеливо ждала часа, когда можно будет пойти в суд, увидеть Георгия. Она подала просьбу о свидании, но разрешения еще не было, однако Парашкева была довольна уже тем, что увидит сына на процессе.

— Держись, мама, — сказала Лина, глядя на бледное лицо Парашкевы.

В зале Парашкева сжала руку дочери и уже не выпускала ее. Они сидели в четвертом ряду. Слева от них, за барьером, находилась скамья для подсудимых, среди которых стоял охранник.

Георгий не мог их видеть, ему мешал сидящий рядом с ним товарищ, а Парашкева видела лишь его лицо, повернутое к судье. Но когда он встал, чтобы сказать что-то, Парашкева увидела его целиком. Он был в коротком изношенном пальто, обшлага рукавов обтрепаны... Сердце Парашкевы мучительно сжалось.

— Какой же он оборванный, — прошептала она, стискивая руку Лины.

В это время Георгий повернулся к залу, встретился взглядом с матерью, вздрогнул, на мгновение прервал свою речь и тут же продолжил ее.

Эти два взгляда встретились после десятилетней разлуки. Исполненные муки, устремились они друг к другу... У Парашкевы перехватило дыхание, а сын, перелистывая время от времени какую-то толстую книгу, все продолжал что-то говорить судье. Бывают мгновения, когда два встретившихся друг с другом взгляда остаются в памяти на всю жизнь. Наверное, именно такой взгляд материнских глаз пронзил сейчас все существо Георгия Димитрова, потому что голос его стал звучать сильнее и отчетливее, а речь стала еще убедительнее...

Это было 16 ноября 1933 года.

Поздно ночью Боян Дановский постучал в дверь номера, в котором спали Магдалина и Парашкева.

— Вставайте,— сказал он,— пришла полиция...

Парашкева внешне спокойна. Такой — невозмутимой — она всегда встречала полицию. Ее взгляд сух и направлен как будто бы внутрь. Она знает, что, если их подняли ночью, дело будет серьезным и потому необходимо собраться с силами. И она сделает это, ведь она видела, как смело говорил на суде Георгий... Нет, ее не запугать. Пусть те, кто поднял ее среди ночи, увидят перед собой не трусливую и сжавшуюся в комок старуху, а мать Георгия Димитрова.

Допрос проходил в отдельной комнате. Полицейским помогал переводчик.

— Как зовут? Кто тебя послал? Кто оплатил расходы? Сколько судимостей имел Георгий Димитров? Сколько сыновей и дочерей? Кем работают? — Полицейский, задававший эти вопросы, старался держать себя в рамках приличия, но по его голосу можно было догадаться, что он раздражен.

Парашкева сдержанно отвечала на все вопросы. Когда немец кончил допрос, она увидела на его лице выражение удивления и растерянности? «Конечно, он недоволен тем, что я не испугалась его», — подумала Парашкева.

После допроса, когда все уже вышли из комнаты, Парашкева заметила, что один гестаовец подозвал Бояна и что-то прошептал ему.

— Что он сказал тебе? — спросила Парашкева Бояна, прежде чем уйти к себе.

— Сказал, что мы легко отделались.

На другой день разрешение на свидание было получено.

Дановский проводил Магдалину и Парашкеву до здания тюрьмы, а поскольку ему самому войти в нее не разрешили, он передал их надзирателю и отправился в кафе напротив, откуда можно было наблюдать за входом.

Женщины вошли в просторный вестибюль, куда ввел их болгарин-переводчик, состоящий на службе в германской полиции.

Едва увидев своего сына, Парашкева устремила к нему, обняла и расплакалась.

— Не плачь, мама! Не плачь! Знай, что твой сын невиновен, что он не участвовал в этом преступлении. И я им еще докажу это!

— Но у тебя же нет адвоката,— проговорила сквозь слезы Парашкева.

— Я защищаю себя сам, мама, не бойся. Я уже не только обвиняемый Димитров, а теперь и защитник обвиняемого Димитрова, который знает, как защищаться, и который сможет сделать это. И ты верь мне, мама, верь!

— Я верю, Георгий, верю,— сказала Парашкева и, прикоснувшись к обтрепанному обшлагоу его пальто, вновь разрыдалась.

— Ну, вот, хорошенькое дело! Что ж это получается? Я горжусь твоей смелостью, а ты плачешь из-за какого-то рваного рукава,— проговорил Георгий шутливо.

— Я не из-за рукава, Георгий, я из-за мучений твоих...

Георгий успокаивал мать. Словно малого ребенка держал он сейчас в руках своих — такой беззащитной казалась Парашкева.

На прощанье Парашкева обернулась, чтобы еще раз увидеть сына, но немец подтолкнул ее к двери, и она вышла.

Дановский повел Магдалину и Парашкеву в отель. Парашкева была взволнована, бледное лицо ее было покрыто красными пятнами.

— Мама, успокойся! Ты же своими глазами видела, что Георгий жив и здоров.

— Не могу удержаться от слез! Слишком уж много накопилось у меня вот здесь, — Парашкева показала на сердце. — А теперь словно плутина прорвалась... Вот и...

И она разрыдалась, так и не договорив.

— Пусть выплачется, — прошептал Дановский.

Когда они свернули в одну из боковых улиц, а уже смеркалось, к Парашкеве бросился какой-то человек, обнял ее, поцеловал руку и тут же поспешно скрылся.

Парашкева остановилась и посмотрела на дочь:

— Что это, Лина?

Не прошли они и десяти шагов, как увидели быстро бегущего полицейского.

— Выходит, за этим юношей следили? — проговорила Парашкева прерывающимся голосом.

Ей никто не ответил. Эта внезапная встреча поразила всех. Парашкева шла молча, задумавшись. Когда она, поднявшись на лифте, прошла в свою комнату, Лина помогла ей раздеться и лечь.

— Прощу тебя, поспи! Погляди, как тебя люди любят. Радуйся!

— Это из-за Георгия...

— Конечно, из-за него... Но разве он не твой сын?

Парашкева ничего не ответила, лишь прикрыла глаза, но, едва Магдалина отошла от нее, снова заговорила:

— А вдруг они арестовали его?

— Кого, мама?

— Этого паренька...

— Так это ты из-за него сейчас переживаешь? Тебе что, своих тревож мало?

— А если его арестовали... из-за меня...

— Да нету в этом никакой твоей вины!

Парашкева снова прикрыла глаза и что-то зашептала. Это она молилась за молодого человека, поцеловавшего ей руку.

* * *

Парашкева не пропускала ни одного заседания суда. Она всегда садилась в один из первых рядов, чтобы получше видеть и слышать. Для нее никого, кроме Георгия, в зале не существовало. Для нее не существовало и чужого языка, и сбивчивой, отрывочной речи переводчика, который едва успевал за словами Димитрова. Она следила за жестами сына, его поведением, а главное, за его голосом. Она видела, как раздражают судей некоторые его реплики. «Так, так, Георгий, сынок мой, дай им понять, кого они оклеветали, кого судят!» — мысленно поощряла она своего сына, беспокойно двигаясь в кресле.



Георгий Димитров. 1921 г.



*Георгий Димитров среди делегатов
Болгарской коммунистической партии
на IV конгрессе Коминтерна.
Москва, 1922 г.*



В. И. Ленин. 1920 г.



*В. И. Ленин произносит речь на заседании
III конгресса Коминтерна в Кремле.
Москва, 1921 г.*

— Мама, держи себя в руках, люди смотрят...
— Для них это... забава, а ты спроси, каково мне! Спроси, каково Георгию, которому нужно защитить себя от них!
— И все же, бабушка Парашкева, не нервничайте,— вмешался Дановский.— Берегите себя. Этот процесс завершится не скоро.

Парашкева взглянула на него и твердо проговорила:

— Пусть видят, что я с ним.
— И все-таки...
— Как я могу быть спокойной, когда они обращаются с ним, как с разбойником!

— Они хотят вывести его из себя...
— Это Георгий выводит их из себя тем, что говорит умно и смело! Однажды, когда было получено очередное разрешение на свидание, Лина быстро вошла в комнату и увидела, что Парашкева лежит.

— Мама, тебе нехорошо, да?

Парашкева сейчас же встала.

— Ты получила разрешение? Когда свидание?

— Сегодня днем. Адвокат, их адвокат, сказал Бояну, что хотел бы с тобой до этого поговорить. Ты не могла бы с ним встретиться?

Парашкева, не отвечая, начала собираться. Лина помогала ей. Парашкева была так слаба, что даже не могла сама застегнуть пальто. Она сейчас плохо видела, потому что проплакала всю ночь. Сдерживаясь на людях, она давала себе волю, когда оставалась одна, а чтобы не мучить своей бессонницей дочь, она попросила ее спать в другой комнате.

И вот они отправились на встречу с адвокатом. В то время как Парашкеве переводили его слова, он заглядывал ей в глаза, желая понять, как они на нее действуют. Он убеждал Парашкеву повлиять на сына, чтобы он был более сдержан и не оскорблял судей.

— Это в его интересах,— говорил адвокат.— Вы же понимаете, какая опасность угрожает его жизни. Вы мать, только вы можете предостеречь его...

Парашкева задумалась. Адвокат говорил спокойно, умно, уважительно и очень доброжелательно. А что, если Георгий и впрямь лишь ухудшает положение своими речами? А что, если неотвратимая опасность уже нависла над его головой? Материнское чувство пробудилось в ней с такой силой, что Парашкева была готова согласиться с доводами адвоката и сделать все, чтобы спасти сына. Она обещала адвокату поговорить с ним.

Смушаясь, пришла Парашкева на свидание с Георгием. Его радостная улыбка на бледном, изнуренном лице испугала ее. «Улыбается, потому что видит меня. Дорогой мой мальчик. Неужели они убьют, погубят тебя?»— повторяла она про себя, глядя на сына влажными глазами.

— Слышала, как я вчера говорил? Жалко, что не понимаешь немецкого языка, но ты же видела меня, ты ведь видела, как я говорил?

— Ох, Георгий... Что тебе сказать, Георгий... Очень уж ты злишь их, как бы не было от этого хуже...

Георгий оборвал ее.

— Я зло их? Но если я не скажу им всей правды в глаза, кто же тогда скажет? У меня же нет адвоката. Только правда может меня защитить, мама!

Парашкева вдруг поняла свою ошибку. Она обняла сына и почти задыхаясь, быстро заговорила:

— Ты прав, Георгий, прав, сынок!

Георгий прижал Парашкеву к себе.

— Вот теперь я вижу, что ты — моя мать!

Переводчик сообщил немецкому адвокату, что сказала Парашкева своему сыну. Адвокат покраснел от ярости и, прервав разговор, вывел Магдалину и Парашкеву в коридор и там зло сказал Парашкеве:

— Вы говорили с ним не как его мать, а как его враг!

Магдалина подхватила мать под руку и быстро увела ее от адвоката, не давая времени ей на ответ.

В эту ночь сердце у Парашкевы болело так сильно, что она не отнимала рук от груди. Но она не плакала. Она даже не прочитала ни одной молитвы, не просила своего бога помочь ее сыну. Она поняла и поверила, что он сам спасет себя.

Однажды на заседании суда сообщили, что процесс переносится в Лейпциг. Когда Парашкева и Лина прибыли туда и разместились в отеле, Парашкева легла. Снова боли, снова слабость. К тому же она была еще и сильно утомлена посещениями незнакомых ей людей, с которыми она не могла не встречаться, ведь это были иностранные журналисты, адвокаты, просто сочувствующие. Парашкева отвечала на вопросы, а Магдалина переводила ее ответы на английский. Участие людей волновало Парашкеву, она глубоко переживала их высказывания о процессе, их возмущение поведением судей, лживостью обвинений. Но когда дело дошло до того, что судьи решили удалить Димитрова из зала заседаний и полицейский стал грубо выталкивать его, Парашкева едва не потеряла сознание. После этого случая врачи не разрешили ей подниматься с постели. Ее мучения удвоились: Георгий в опасности, а она лежит, вместо того чтобы быть с ним, чтобы не спускать с него глаз, давая ему силу хотя бы только взглядом... Она плакала, слезы текли безудержно, хотя она и старалась остановить их.

— Не стесняйся, бабушка Парашкева, мы люди свои, мы понимаем, как тебе тяжело,— говорил ей Дановский, видя, что она смущается.

— Они погубят его! Слышали, что говорил их адвокат, когда Георгий отказался вести себя так, как им было бы угодно.

— Мама, за Георгием стоит весь мировой пролетариат! Адвокат говорил это, потому что они напуганы.

— Они постараются поскорее покончить с ним...

— Не посмеют,— ответил Дановский.

Ничто не могло успокоить Парашкеву, а запрещение вставать с постели только терзало ее душу. На заседание суда ходила лишь Магдалина. Она боялась, как бы брат не заметил, что она пришла одна, и не догадался, что мать заболела. Это могло встревожить его. Поэтому Лина садилась на такое место, откуда она могла видеть Георгия, а он ее заметить не мог. Пусть думает, что они еще не приехали в Лейпциг¹.

Парашкева уже начала поправляться, когда ей сообщили, что сви-

¹ 25 ноября Димитров записал в дневнике: «Матери и сестры все еще не видно на заседаниях суда!»

детелем по делу о поджоге рейхстага будет выступать прусский министр-председатель Герман Геринг. Она едва не вскочила с постели: Геринг! Сколько раз ей рассказывали о нем, сколько раз видела она портреты этого человека в газетах и журналах! Нет, не человека, а змия, дракона, чудовища. Ей представлялся Георгий и нападающий на него дракон. Но в сказках все просто. А вот как победит такого врага Георгий? Она понимала, насколько страшна фашистская, гитлеровская власть...

— Хватит мне уже лежать, хватит мне с болячками своими носить-ся,— сказала она Лине и начала одеваться.

Магдалина молча помогала ей надевать чулки, обуваться...

Парашкева с трудом поднялась в фазтон, с трудом вышла из него.

— Не нужно было ей вставать,— сказал Дановский Магдалине.— Когда ее увидит Димитров, ему станет не по себе...

— А когда он не видит меня, ему по себе, да? В самую тяжелую минуту не видеть матери... Это легко?

Магдалина глазами показала Дановскому, чтобы он молчал.

Здание суда охраняла полиция. Им с трудом удалось пройти. Зал заседаний был переполнен — все места заняты. Трое журналистов уступили им свои кресла, а сами встали позади них.

Выступал Георгий Димитров. Иногда его прерывали. Он старался не раздражаться, овладевал собой и снова продолжал говорить. Парашкева успокоилась. Она видела, как уверенно держится Георгий, как смело и убедительно он говорит. Все слушали его необычайно внимательно, даже судьи.

Вдруг публика в зале зашевелилась, судьи вскочили и вытянулись, а Георгий спокойно сел на свое место. В зал в сопровождении своей охраны вошел Геринг. Сердце у Парашкевы забило так сильно, что она прижала руку к груди. Судья что-то сказал, она не разобрала, но увидела, как Геринг занял место, отведенное для свидетелей. Парашкева продвинулась было немного вперед, чтобы получше рассмотреть Геринга, стоявшего к ней спиной, но Магдалина схватила ее за руку и усадила...

Началось единоборство Георгия Димитрова и Германа Геринга. Георгий был спокоен и очень сдержан. Геринг иронизировал. Это Парашкева поняла очень хорошо. Но вот и Димитров сменил тон своего выступления, и чем яснее и увереннее он говорил, тем все чаще и все нетерпеливее перебивал его Геринг. Зал замер. Поединок продолжался, Парашкева не отрывала глаз от сына.

Вдруг Геринг начал кричать. Георгий поднял голову. «Дракон, дракон зарычал,— подумала Парашкева,— так зарычал, словно Георгий пронзил его своим мечом».

— Что, что говорит Геринг? — теребила Парашкева переводчика, но он лишь шепнул ей, что все расскажет потом. А поединок разгорался. Геринг кричал, угрожал, бесновался. Димитров же говорил, как победитель.

Геринг, угрожающе взмахнув рукой, покинул зал. Началось что-то невообразимое. Люди вскочили со своих мест, возбужденные и раскрасневшиеся. Судья что-то крикнул Димитрову, и полицейский увел его.

Парашкева не могла подняться со стула. Бледная, с черными кругами под запавшими глазами, она не помнила, как вывели ее из зала. Она пришла в себя лишь в отеле. Врач сделал ей укол.

— Ты почему так перепугалась, матушка Парашкева? Разве твой сын не победил?

— Я догадалась, что он победил... Да нелегко мне было глядеть, как борется он с драконом.

Услышав это сравнение Геринга с драконом, все рассмеялись...

* * *

Всё говорило о том, что никакой надежды на оправдание и освобождение Георгия нет. Приговор суда будет суровым! Димитров построил весь мир против гитлеровской Германии, он поставил в унизи-тельное положение Геринга, он развенчал и победил его, но простят ли ему все это? Имя Димитрова облетело всю страну. Его смелость была равна героизму. В его лице побеждала коммунистическая идеология. Даже люди, далекие от коммунизма, восхищались его мужеством, ясностью его мысли, способностью моментально давать достойный отпор враждебным, провокационным выпадам, его патриотизмом болгарина и интернационализмом сына рабочего класса.

«Это героизм мирового масштаба»,— говорили иностранные журна-листы, прибывшие на процесс в Лейпциг.

Судьба Димитрова взволновала всех! Отдельные лица и целые семьи из разных немецких городов присылали ему анонимные письма:

Уважаемый господин Димитров! Желаю Вам от всего сердца того, чтобы процесс над Вами закончился как можно скорее самым благо-получным для Вас образом.

Письмо было из Мангейма и отпечатано на машинке, чтобы скрыть почерк.

Но и это не успокаивало Парашкеву. Она чувствовала общее на-пряжение. Как ни внимательны и сердечны были с нею близкие и не-знакомые люди, как ни старались они убедить ее в благоприятном за-вершении процесса, она по-прежнему была уверена в том, что Георгию грозит новый смертный приговор...

Парашкева перестала молиться. Иногда Магдалина читала ей какую-нибудь главу из Евангелия, но это не утешало ее. Она перестала зада-вать вопросы, часами сидела молча и уже не плакала...

Однажды Магдалина, относившая Георгию передачу, сказала ей: — Георгия в тюрьме нет. Никаких объяснений не дали.

И только вечером живший в том же отеле англичанин Лео Галлахер сообщил им, что процесс снова перенесен в Берлин.

* * *

Нелегко было журналистам и отдельным частным лицам проникнуть в рейхстаг, где заседание суда проходило при закрытых дверях. Когда сообщили, что разрешение для близких подсудимого на присутствие в суде получено, Парашкева лежала без сознания. Пришел доктор, привел ее в чувство. Парашкева открыла глаза, повернувшись к дочери, про-говорила:

— Когда же мы пойдем?

— Что ты говоришь, мама? — спросила Лина.

— Помоги мне одеться.

Доктор вызвал Магдалину в прихожую и, прикрыв дверь, сказал:
— Ее сердце не выдержит напряжения, не водите ее в суд.

— Мама, прошу тебя, ты же едва держишься на ногах!

— До сих пор держалась, а под конец сдамся?

— Бабушка Парашкева, тебе нет смысла идти в суд,— проговорил Дановский.

Парашкева никого не слушала. Магдалина категорически заявила ей, что пойдет на процесс одна, но Парашкева сбросила с себя одеяло, спустила ноги на пол и, шатаясь, встала.

— Ну вот,— сказала Лина,— ты же стоять не можешь.

— Могу,— и Парашкева шагнула вперед.

Парашкеву привели в суд, усадили в кресло. Димитров увидел мать, кивнул ей. Парашкева сидела не двигаясь, с застывшим лицом. Когда начали зачитывать приговор, она сжала руку Магdalины и уже не выпускала ее. Неотрывно глядела она на своего сына, стоящего неподвижно. На миг их взгляды встретились. Это был один и тот же взгляд, как был одним и тем же для матери и сына приговор, который оглашался сейчас.

— Мама, мама, их оправдали, ты слышишь?

Парашкева сидела все так же неподвижно. На ее лице не отразилось никакой радости. Она не могла вот так сразу выйти из того состояния, в котором была.

Димитров быстро поднялся и что-то сказал судье. Тот ничего не ответил ему.

Парашкева попыталась встать. Димитров радостно помахал ей и Магдалине, но полицейский сейчас же увел его в находившуюся за скамьей подсудимых дверь.

— Зачем же его опять увели? — спросила Парашкева.

— Ему нужно кое-что взять из тюрьмы. Пойдем в отель.

— А зачем полицейский?

— Ох, мама, хватит уже,— нетерпеливо ответила Лина.

Но Парашкева не успокоилась, она чувствовала и понимала, что происходит что-то не то.

Она ждала Георгия до позднего вечера. Не дождалась, думала: где же может быть ее сын, что случилось с ним?

Утром Магдалина отправилась в тюрьму, чтобы узнать, там ли Георгий. Ей ответили, что Георгия и других обвиняемых задержал Геринг.

— Вот оно — самое страшное,— безнадежно сказала Парашкева.

— Мама, я должна встретиться с журналистами. Полежи, подожди меня, я скоро вернусь.

Магдалина пришла через два часа. Она принесла телеграмму, написанную Георгием Димитровым болгарскому правительству. Он спрашивал в ней, можно ли ему вернуться в Болгарию.

— Это писал Георгий?

— Да. Мне позволили встретиться с ним.

— Ну как он, как? — заволновалась Парашкева.

— Все такой же. Думаю, что теперь ему уже разрешат жить дома.

Парашкева покачала головой. Она недоумевала, как же это он поедет в Болгарию, где ему вынесен смертный приговор? Разве его простили?

— И все же, мама, телеграмму нужно послать...
— Я не верю им, я не хочу, чтобы он возвращался в Болгарию! Они его погубят там!

Вошел Боян Дановский. Он тоже не верил в возможность возвращения Георгия Димитрова на родину.

— Но Георгий известен теперь всему миру! Наше правительство не посмеет тронуть его,— убежденно проговорила Лина.

Парашкева, не поднимая головы, сидела на диване. Лина собиралась уходить на почту.

«Мой сын, мой бездомный сын, дитя мое без отечества, без родины...» — шептала Парашкева

Лина вышла. Дановский остался с Парашкевой. Пришли журналисты. Они о чем-то спорили между собой, пытались жестами объяснить что-то и Парашкеве, но она не понимала их. Лишь когда вернулась Лина и перевела ей слова английских журналистов, она узнала, что готовится большая кампания по освобождению ее сына. Но и это не успокоило Парашкеву.

— Мама, они сообщают о случившемся в свои редакции...

— Пока они будут организовывать кампанию, Геринг опередит их...

Вечером Магдалина предложила матери почитать Евангелие.

— Не помогает оно мне больше,— ответила Парашкева и снова умолкла. Так они и промолчали до самого утра, пока Лина не начала торопливо одеваться.

— Куда ты спешишь?

— В болгарское посольство. Может быть, там уже получили ответ. Я думаю, что они звонили в Софию по телефону.

— Я тоже пойду.

— Нет, мама, нет,— едва не закричала Магдалина.— На улице страшный холод. Прошу тебя, не мучай себя. Позволь мне закончить это дело спокойно.

Парашкева поглядела на дочь. За тревогами о Георгии она забыла, что она и Лине мать, что силы дочери тоже уже на исходе.

— Иди, иди, дочка...

Лина вернулась к обеду. Она сняла пальто и сразу же села. Парашкева жадно ждала известий.

— Мне сказали, что Георгий Димитров больше не является подданным Болгарии и посольство не обязано заботиться о нем...

— Что же теперь?

— Теперь я пойду в советское посольство.

* * *

Когда Лина сказала, что она сестра Георгия Димитрова, ее тут же пропустили в посольство, провели в одну из комнат и попросили подождать. Вскоре к ней вышел посланник.

— Посидите здесь, отдохните,— сказал он.— Я сейчас телефонирую в Москву.

Лина все-таки поднялась, чтобы не мешать разговору, но посланник захотел услышать подробнее о посланной в Болгарию телеграмме и полученном ответе.

— А теперь возвращайтесь к матери. Она, наверное, очень тревожит-

ся. Скажите ей, что мы сделаем все, чтобы вырвать ее сына из рук Геринга.

Магдалина встала, поблагодарила посланника. Машина посольства ждала ее у ворот.

— Мама, мама, мамочка, — бросилась Лина на грудь Парашкевы.

И она подробно рассказала ей о том, как ее встретили в советском посольстве, как обещали позаботиться о Георгии.

Парашкева слушала ее затаив дыхание. Но горечь и недоверие так глубоко вошли в ее сердце, что требовалось время, чтобы оно начало отзвучивать на добрые вести.

— Ты почему не радуешься, мама?

— Подожди, дай мне немного прийти в себя... Ты помнишь, как говорил Георгий: «Советский Союз — это наша вторая родина. Оттуда придет к нам победа». Как же мы сразу не догадались пойти в советское посольство!

— Я говорила об этом Георгию еще в Лейпциге, но он ответил мне: «Пока не время!»

— Ну, вот оно и подошло!

— Мне сказали, чтобы завтра я пришла за ответом.

— И я тоже пойду с тобой, да? — спросила Парашкева робко, боясь, что Магдалина вновь откажется взять ее с собой.

— Ах ты моя мучительница! — вскричала Лина и обняла мать. — Конечно, мы пойдем вместе!

На другой день ответ был получен. Всего двадцать четыре часа потребовалось на то, чтобы Георгий Димитров и его товарищи стали советскими гражданами.

Когда Парашкева услышала об этом, она покачнулась и едва не упала. Посланник бросился к ней, подхватил ее под руки.

— Спокойно, спокойно, матушка!

Он помог Парашкеве сесть, но та, едва придя в себя, тут же попыталась подняться.

— Нет, нет, теперь мы будем пить чай. Жалко, что товарищ Димитров не с нами. Но теперь уже у меня руки развязаны: я могу требовать на законном основании освобождения советского гражданина Димитрова.

Он поцеловал у Парашкевы руку и повел ее в столовую, где их ждала уже вся его семья.

— Почему она не радуется? — спросила жена посланника.

— Устала она, измучилась, — попыталась оправдать Парашкеву Магдалина, — но она рада, очень рада...

А Парашкева была утомлена и своей радостью и волнениями: ведь Георгий все еще был в тюрьме.

На другой день Магдалина пошла на свидание с Димитровым. Она ничего не сказала об этом Парашкеве, потому что шел снег и было очень холодно. Ее провели в какую-то большую комнату, в которой сидели два чиновника. Привели Димитрова. Он, улыбаясь, протянул руку сестре, обнял ее.

— Георгий, — сказала Лина, — со вчерашнего дня ты советский гражданин! Читай! Я принесла советские газеты.

— Но официального сообщения об этом еще не было, — отозвался один из чиновников.

- Как мама? — спросил Димитров.
- Поспокойнее.
- Почему она не пришла?
- Я скрыла от нее, что иду к тебе. Очень уж холодно.
- И хорошо сделала.
- Хочешь поесть?
- Можно...

* * *

Прошло две недели с того дня, как советский посланник потребовал от германских властей освобождения Димитрова. Геринг с решением медлил. В конце второй недели у Лины не приняли передачу для брата.

— Передавать некому, — ответили ей.

Что это могло значить? Может, Георгия куда-то перевели? Или — не дай бог! — убили! Что она скажет матери?

Но Парашкева и сама догадалась, что случилось что-то необъяснимое, потому что Магдалина нервничала и не могла ответить на ее вопросы ничего вразумительного. К обеду пришел Дановский.

— Журналисты говорят, что сегодня утром Георгия Димитрова специальным самолетом отправили в Москву!

Магдалина помогла матери одеться. Дановский нашел такси, и уже через полчаса они были в советском посольстве. Там еще ничего не знали. Посланник провел их в гостиную и, пообещав все выяснить, вышел. Парашкева держала Лину за руку.

— Мама, почему ты такая бледная? Неужели ты и теперь ни в чем не уверена?

— Кто знает, долетит ли он живым...

Возвратился посланник.

— Все правильно. Его тайно отправили в Москву. Удивляюсь, как вы узнали об этом!

— От иностранных журналистов.

— Вот оно что, — проговорил посланник.

— Кто знает, долетит ли он живым, — вздохнула Парашкева.

— После обеда я позвоню в Москву и все выясню! А теперь отдыхайте, жду вас вечером!

Все попрощались...

Вечером Парашкева с Магдалиной снова приехали в посольство.

— Поздравляю вас! Они в Москве! — радостно встретил их сначала привратник посольства, затем советник и секретарь... Но вот открылась дверь кабинета посланника: он стоял на пороге с протянутыми руками. Парашкева бросилась ему навстречу, он обнял ее и поднял в воздух.

— А сейчас мы все должны выпить! — пошутил посланник.

Их пригласили ужинать, но Парашкева не могла сделать ни одного глотка. Дважды ей становилось плохо.

— Мама, что с тобой происходит? — Лина встала из-за стола.

— Одолевают меня мои муки...

Ужин заканчивался в тишине.

— Так я и не увидела его свободным, — вздохнула Парашкева.

Вдруг посланник поднял голову и посмотрел на нее.

— Хотите в Москву?

Парашкева даже не сразу поняла смысл сказанного. Лина пояснила ей.

— Мы можем поехать к Георгию, да?

— Да, да,— подтвердил посланник.

— Дай бог тебе долгих лет жизни! — воскликнула Парашкева.

Посланник налил бокалы. Парашкева подняла свой и чокнулась с ним.

— За здоровье Георгия Димитрова! — сказал посланник.

Глаза Парашкевы засветились радостью. Посланник встал из-за стола, подошел к Парашкеве, обнял ее и расцеловал в обе щеки. И вот уже все горячо поздравляли ее. Когда же к Парашкеве подошла Лина, она не сдержалась и расплакалась: последние слезы выливались из ее наболевшего сердца. Магдалина прижимала ее к своей груди, пока остальные допивали свои бокалы, а посланник говорил:

— В добрый час! Желаю вам всем здоровья и счастья в Москве! Желаю здоровья и счастья Георгию Димитрову!

Через несколько дней Парашкева и Лина, попрощавшись с Бояном и журналистами, с которыми они были уже добрыми друзьями, выехали в Москву. На перроне, с цветами в руках, их провожало все советское посольство.

эпилог

Поезд бежал то просторными лесов. Советский Союз раскрыл свои двери, чтобы встретить в Москве мать Георгия Димитрова. А Парашкева лежала в купе утомленная, но счастливая, и глаза ее светились: завтра она увидит своего освобожденного сына. Теперь ничто не помешает им быть вместе. Она увидит и свою дочь Елену, уже вернувшуюся в Москву к мужу и детям сразу же после оправдания Георгия.

Тяжело было Магдалине. Вынужденная оставить детей на Мару, а Любчо — в Варненской тюрьме и удалявшаяся от них все дальше и дальше, она лежала на своей полке молча и даже на вопросы Парашкевы отвечала с неохотой.

Эта поездка Парашкевы не была похожа на ее поездку в Париж. Тогда ее терзал страх за судьбу Георгия, тогда она спешила ему на помощь, а теперь ее торопила радость предстоящей встречи. Всю дорогу возвращалась она своими мыслями к Георгию. Когда поезд останавливался на больших станциях, а музыка и возгласы встречающих заставляли ее подниматься и показываться людям в окно, она знала, что все это ради него, ради ее сына. Парашкева ничего не принимала на свой счет и не говорила о самой себе, а лишь о Георгии и его борьбе...

Успокоившаяся за время поездки, она вышла из поезда в Москве и сейчас же была подхвачена на руки работницами фабрики «Трехгорная мануфактура», засыпана подарками и цветами. Наконец, маленькая и

хрупкая, как девочка, она встала рядом со своим высоким и стройным сыном, который то и дело наклонялся к ней:

— Ну как ты? Сильно устала?

— Нет,— отвечала Парашкева, глядя на него сквозь слезы.

— Неудержимые слезы радости,— пошутил кто-то, но Димитров показал рукой, что ничего говорить не надо.

С этого дня начался тот период в жизни Парашкевы, который можно назвать легендой. Она своими глазами видела, как уже осуществлялось и осуществляется то, о чем еще совсем недавно Георгий рассказывал ей как о великой цели, к которой стремятся борцы за правду и которая виделась ей недостижимой, далекой мечтой. Она могла посещать огромные заводы и свободно разговаривать с рабочими и работницами, задавать им вопросы, ответы на которые были очень важны для нее, потому что она хотела рассказать обо всем этом в Болгарии. Великие технические завоевания, облегчившие человеческий труд, заставляли вспоминать ее о плуге, о тянувших его волах, нищих пахарях. Она делилась с Георгием своими сомнениями в том, что еще не скоро будет «такое чудо» в Болгарии, но он с уверенностью отвечал ей, что и Болгария непременно достигнет такого благополучия, потому что коммунисты уже давно борются за это. Она прониклась его уверенностью, и ей становилось веселей. Да и как могла она не стать оптимисткой, видя вокруг себя самоотверженный труд и радость советского народа, ощущая его широту и доброту, его веру в настоящее и будущее!

Но более всего ее поразила судьба беспризорных детей. Какие огромные усилия прилагало государство к тому, чтобы они стали достойными гражданами своей страны! Некоторые из них учились в школах, другие — уже в университетах и институтах, готовились стать инженерами, учителями, врачами! А из разговоров с ними Парашкева узнавала об их прошлом: они были ворами, бродягами! Их родители погибли в дни революции и гражданской войны...

Парашкева ездила в самые разные края Советского Союза: она беседовала с грузинами, армянами, азербайджанцами и с представителями других народов и не переставала удивляться тому, как объединились они в составе одного государства, которое и считали своей родиной.

— Им дали, мама, свободу и культуру. Они были неграмотными, некоторые из народов даже не имели своей письменности...

Парашкева тяжело вздохнула.

Георгий, вспомнив, что и его мать никогда не ходила в школу, решил переменить разговор. Он вынул из портфеля стопку книг, письма и телеграммы и сказал:

— Хочешь, я прочитаю тебе приветствия?

Улыбаясь, Парашкева поглядела на него сквозь очки и ничего не ответила. Георгий знал, что она будет слушать и радоваться каждому приветствию, пришедшему на его имя. Так и случилось. Она даже попросила его повторно прочитать ей письмо одного советского писателя, особенно то место, где он говорил о том, что Георгий является «представителем настоящих людей ленинской партии, бесстрашным борцом за дело социализма, чье имя и образ достойны пламенных страниц великой литературы социализма».

На праздновании Первого мая Георгий стоял на трибуне рядом с Максимом Горьким, а Парашкева — с представителями советского пра-

вительства, борцами за свободу. Она думала только о своем сыне и об окружающих его людях, которые осуществили его мечту. Эти мысли отвлекали ее от себя самой.

Она думала об этом даже на собрании женщин, когда мальчик с большой красной звездой на груди преподнес ей букет и сказал:

— А это, бабушка, тебе... Как самой доброй матери.

Парашкева, смущаясь, поклонилась публике, бурно рукоплескавшей ей.

Однажды ее спросили:

— Вы останетесь у нас вместе со своим сыном?

— Нет, — ответила Парашкева. — Мой сын и дочь не могут возвратиться в Болгарию, чтобы рассказать о том, какую жизнь вы построили, а я могу!

И Парашкева вернулась, чтобы продолжить дело своих детей. На родине ее ждала тяжелая атмосфера притеснений, бесправия, преследования борцов за свободу, тюрем, лагерей, смертных приговоров... Ее ждал в Варненской тюрьме любимый внук Любчо Барымов, чья жизнь позднее завершилась героической смертью; ее ждали рабочие, солдаты-отпускники, соседи, гости и все те, кому она будет рассказывать своим удивительным языком о чудесах Страны Советов, из которой вернулась. Ее ждала полупарализованная, прикованная к постели внучка Венче, не отходя от которой она проведет год и шесть месяцев... Ее ждала и собственная неизлечимая болезнь.

Но и болезнь не могла сломить ее жизненного духа. До последнего своего часа слушала Парашкева вести по радио. Если кто-нибудь заходил к ней в комнату, она тотчас обращала на него свои живые любознательные глаза:

— Какие новости? Куда дошла Красная Армия?

Когда Парашкева узнала о смерти Любчо, она, затаив свою боль глубоко в сердце, сказала Магдалине:

— Неси свое горе с достоинством.

Парашкева не дождалась победы — она ушла из жизни за два месяца до Девятого сентября 1944 года.

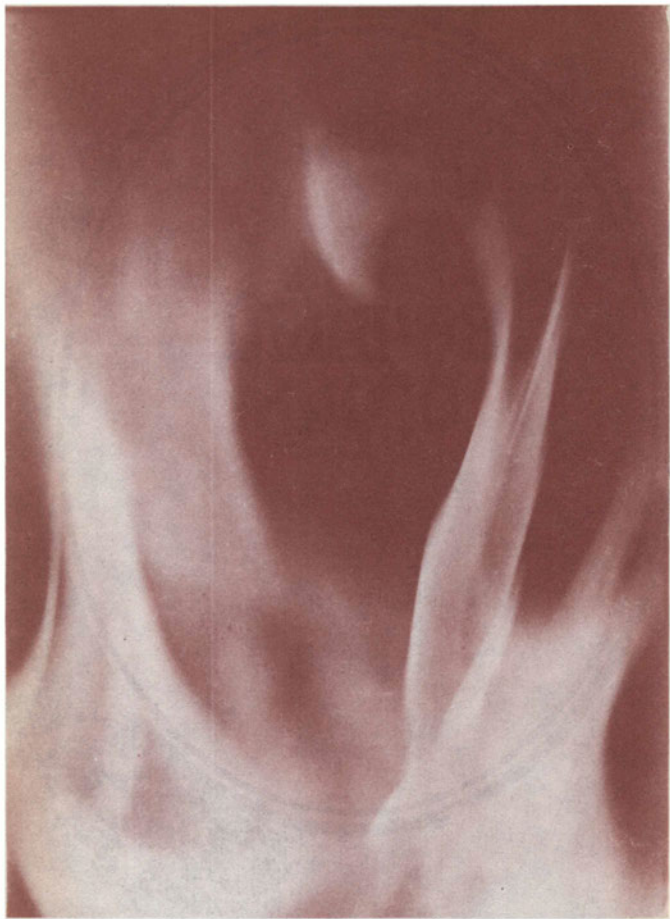
Вот что писал о ней в газете «Правда» в марте 1934 года советский писатель Михаил Кольцов:

Вместе со своими сыновьями и дочерьми, вместе с сотнями миллионов других пролетарских отцов, матерей и детей Парашкева Димитрова участвует в великой битве, как боец за коммунизм.

Ваня
Филипова

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ

Повесть



Ваня Филипова. ВЕЧНИЯТ ОГЪН. «Народна младеж», София, 1973



еоргий?!

— Говори, я слушаю тебя, мастер!

— Так ты что же — в самом деле решил сбежать от меня?

— Да, мастер, решил...

— Значит, считаешь, что в этой норе не заработаешь на хлеб... — Столяр отложил метр, которым измерял доски, и печально поглядел на своего ученика.

— Не сердись, мастер... — Георгий установил на очаге посудину со столярным клеем и подошел к старому человеку. — Дело ведь не только в хлебе. Я люблю книги, а тут... — От обвел взглядом дощатый сарай, куда сквозь щели прорывалась зимняя метелица.

— Ну, если ради книг, тогда беги!.. — Столяр, широко открыв рот, перевел дыхание, стараясь ослабить душивший его кашель.

В мастерскую вдруг ворвался колокольный трезвон. Гулко и басовито звонил большой колокол церкви святого Крапа, ему откликалась святая Парашкева, следом за нею святая Петка. Колокола звонили торопливо, словно состязаясь и пересиливая вой ветра.

Георгий прижался лбом к заиндевелому окну и с любопытством глядел на бежавших по улице людей. Вдруг приземистая хибара столярной мастерской покачнулась от грохота пушечного выстрела. За ним последовал второй, еще более мощный, потом третий...

Георгий не выдержал.

— Мастер, я пойду!.. — крикнул он и выбежал на улицу.

Мастер Стамен последовал за ним. Перед соседними магазинчиками и мастерскими толпились ученики ремесленников и подмастерья, женщины и дети.

Какая-то старушка, повязанная черным платком, набожно крестилась, шепча: «Господи, боже мой, неужто снова война?!» А оружейные выстрелы колыхали снежный воздух, и оконные стекла непрерывно дребезжали.

— Девяносто один... — Считал кто-то.

— Девяносто два, девяносто три...

— Сто один...

Пушки внезапно умолкли, и колокольный звон зазвучал еще сильнее.

По крутому склону возвышенности, где стоял княжеский дворец, сбегала полоумная Дана.

— Эй, люди! Родился наследник, будущий князь... Радуйтесь, люди! — вопила она и упала ничком в снег.

Приступ кашля согнал с лица мастера Стамена ироническую усмешку. — Ну, пойдем, Георгий!.. — крикнул он, откашлявшись. — Увидели мы, вон сколько увидели! — Он поискал глазами своего ученика, но не нашел его.

И тут на него снова напал сильный приступ кашля. Он пошатнулся и, прежде чем кто-нибудь успел его поддержать, рухнул наземь. Снег возле него обгарилсь кровью.

А Георгий в это время уже бежал по плоскому верху возвышенности. Там же неслись фазтоны с богато одетыми женщинами и мужчинами. Путь у всех был один — он вел к княжеской резиденции.

Перед воротами дворца Фердинанда¹ толпились лавочники, владельцы мастерских и магазинов, мелкие чиновники, полицейские.

Георгий протиснулся через толпу поближе к воротам.

Часовые торжественно пропускали во дворец иностранных дипломатов, генералов, министров и их жен — белолицых, с затуманенными взглядами, в мантии из серебристых лисц.

Георгий, чтобы согреться, топал ногами, подпрыгивал, дул на пальцы рук. Убедившись, что ничего интересного тут не произойдет, он пошел попрощаться с мастером Стаменом.

Мастерская оказалась запертой. От учеников соседа-портного он узнал о том, что случилось. Георгию стало мучительно жаль старого мастера, и он помчался к нему домой.

Мастер Стамен недвижно лежал на широкой деревянной кровати. Лицо его было пергаментно-желтым, и только устремленный на жену взгляд говорил о том, что он еще жив. Возле кровати на трехногрой табуретке сидела маленькая седая женщина в ветхом сукмане² — его жена. У ног больного стояли две его дочери и сноха, которая ждала ребенка, у изголовья — смуглолицый высокий молодой человек, его сын.

— Мастер, что же это... так вдруг? — задыхаясь, проговорил Георгий и присел на край кровати.

— Это... Да, вот так... — с трудом произнес, едва шевеля сухими, потрескавшимися губами, больной.

Георгию хотелось сказать что-то утешительное, но ни одно слово не приходило на ум. Он перевел взгляд на глиняный пол, к закопченному очагу и оторопел — казалось, потолок вдруг опустился низко-низко, накрыв, словно крышкой, больного, и тот не может дышать.

Хозяйка поднялась — тощая, бесплотная, словно тень, — подошла к стеному шкафу в углу и долго рылась в нем.

— Возьми. Ешь на здоровье... — сказала она парнишке, протягивая

¹ После того как Болгария была освобождена русской армией (в рядах которой сражались и болгарские ополченцы) от пятивекового турецкого ига (1878), ее территория в результате сговора западных держав, не желавших создания независимого и сильного Болгарского государства, была разделена по Берлинскому трактату на три части. Северная стала вассальным по отношению к Турции Болгарским княжеством. В южном была создана в составе Османской империи автономная провинция Восточная Румелия. Македония и Фракия были оставлены под властью Турции. Первым болгарским князем был с 1879 года немецкий принц Александр Баттенберг. В августе 1886 года в результате дворцового переворота, совершенного офицерами-русофилами, он был свергнут. Но под нажимом австро-германской дипломатии на болгарский престол был посажен немецкий принц Фердинанд Кобург. В октябре 1908 года в связи с Младотурецкой революцией Болгария заявила о своем отказе от вассальной зависимости по отношению к Турции и провозгласила свою полную независимость, Фердинанд принял титул царя.

² Сукман — платье без рукавов из грубой дмотканой шерсти.

ему горсть орехов. Она снова села у кровати, бережно прикрыла грудь мужа изрядно вытертым домотканым одеялом, сжала ладонями его костлявую руку.

Когда Георгий попрощался, сын мастера вышел вместе с ним и проводил его до реки. Метель быстро запорошила обоих крупными снежинками, а вплетавшийся в ее завывание праздничный звон колоколов, казалось, еще больше усиливал холод.

Остановившись под деревом, в защищенном от ветра месте, они разговорились.

— Отец мой уже не жилец на этом свете... А ты иди ко мне работать. У меня кузница возле бани,— сказал на прощанье сын мастера Стамена, пожимая руку двенадцатилетнему ученику своего отца, и направился домой.

А Георгий снова поднялся к княжескому дворцу. Еще издали он увидел на воротах большой лист бумаги. Пробравшись сквозь толпу поближе к воротам, Георгий прочитал:

МАНИФЕСТ

К моему возлюбленному народу!

**Сегодня, во вторник, восемнадцатого января тысяча
восемьсот девяносто четвертого года от рождества
Христова, в восемь часов пятнадцать минут утра...**

Георгий дрожал от холода.

...Ее высочество...

Георгий потуже запахнул свое вылинявшее пальтишко, но морозный ветер снова находил щелки и леденил его исхудалое тело.

**...родила младенца мужского пола, которому мы дали
имя Борис и титул князя Тырновского.**

**...Мы возвещаем о том, что новорожденный князь,
наследник болгарского престола, князь Тырновский,
провозглашен герцогом Саксонским, кавалером
военного ордена «За храбрость» первой и четвертой степени и
ордена Святого Александра всех...**

**Сообщая эту радостную весть нашему возлюбленному
народу, мы...**

Георгий уже не чувствовал своих окоченевших ног. Его башмаки были такими рваными, что он, можно сказать, босиком ступал по льду. Сильный порыв ветра сорвал манифест и, разорвав его надвое, унес оба его куска. Парнишка долго смотрел, как ветер, словно играя, подбрасывает их, а сам думал о мастере Стамене.

Вернулся Георгий к себе домой уже вечером. Еще с порога он спросил:

— Мама, а ты ничего не знаешь?..

— Как же, слышала колокольный звон... А общинный вестовой с барабаном все уши прожужжал этим словом...

— Ма-ни-фест... — раздался из верхней комнаты певучий голосок Лины, сестренки Георгия. И она тут же сбежала вниз к нему.

— Мама, я... я про мастера Стамена... Не жилец он уж на этом свете...

— Не может быть!..

— Люди на руках отнесли его домой — так худо было ему...

— Поправится, — громко сказала Парашкева, чтобы отогнать дурные предчувствия. — Ну, пойдем! — обратилась она к Георгию и стряхнула снег, покрывавший его волосы. — Да ты, я вижу, сильно промерз. Лина, слышишь, у него и голос-то стал какой-то...

— Мужской, — хрипло ответил Георгий.

— Ох, уж я тебе покажу мужской голос! А ну-ка разуйся быстро! Ой, боже мой, ноги-то у тебя совсем ледяные!.. Как бы ты опять не разболелся, сынок... Ведь столько месяцев хворал!..

— Мама, а что нам теперь лучше будет, раз у нас есть маленький князь? — спросила Лина.

— Откуда мне знать...

— А я знаю, — сказал Георгий, глядя матери прямо в глаза. — Знаю, мама: молодой волк кусается покрепче старого...

Парашкева, слушая его, не верила своим ушам.

— Да помолчи ты! Мал еще.

— Сын мастера взрослый и знает все.

— Хватит про это! Не говори только ничего отцу своему...

Мастер Стамен умер через неделю. Георгий подружился с его сыном, но работать у него в кузнице не стал — не по душе было ему это занятие. У него не оставалось бы времени прочитать даже строчку в тех книгах, которыми были набиты его карманы.

Пришла весна. Растаяли снега на ючбунарских полянах, и весь район, где жил Георгий, превратился в болото. Комары тучей носились над ним, облепляли окна домов, врывались в комнаты и жестоко жалили.

Один из соседей Георгия — переплетчик — устроил его на работу в типографию, где работал сам.

И вот Георгий, немного оробев, впервые переступил ее порог и с любопытством стал разглядывать две большие печатные машины. Тяжело, с грохотом вращались, сотрясая пол, их валы, двигались рычаги. У стен громоздились груды газет и книг. Георгий, глядя на них, счастливо улыбался. Как раз о такой работе он и мечтал.

— Эй, воробышек! — обратился к нему пожилой рабочий. — Я помощник мастера, зовут меня Иван! Ну-ка, берись за метлу!

Георгий старательно и быстро подмет все помещение и наклонился над книгами. Он обнаружил здесь «Утреннюю звезду» Ивана Вазова¹, журнал «Природа», стихотворения Славейкова² и так увлекся, разглядывая их, что позабыл обо всем на свете.

¹ Вазов Иван (1850—1921) — крупнейший болгарский писатель. Широко известны его революционно-патриотические стихи, роман «Под игмом» (о национально-освободительной борьбе) и другие произведения.

² Славейков Петко (1827—1895) — известный болгарский поэт, деятель национально-освободительного движения.

— Ты что?! — крикнул, следивший за ним Иван и, затягивая на брюках пояс, распорядился: — Принеси-ка мне вон тот рулон бумаги! Ну-ка, давай!

Когда парнишка справился с этой работой, помощник мастера послал его за табаком. Другой рабочий попросил дать ему воды напиться.

— Если хочешь, принеси ее хоть с Витоши, да только чтобы была она похолодней, потому что эта дрянь все мои соки высасывает... — Он кивнул головой в сторону большой машины.

В обед рабочие взяли его с собой в харчевню, что находилась неподалеку на площади; они выхлебали там наскоро по миске острого постного супа.

«Чудные люди эти печатники, — размышлял Георгий. — Как будто бы устали до смерти, а все шутят». И, переполненный впечатлениями, не мог есть.

Однажды в дверях печатного отделения остановился высокий мужчина с густой темной бородой, разделенной на две кудели.

— Козел! — прошептал кто-то из стоявших рядом с Георгием.

Доктор Васил Радославов оглядел всех, приметил и нового ученика. Борода скрывала выражение его лица. Гнев ли затаился под нею? Добрая или злая усмешка?

— Быстрей, быстрей, — тихо приказал он.

— А вы нам заплатите! — сказал мастер-печатник, высокий, сутуловатый человек. — Уже столько месяцев ни гроша не получаем... Даже на хлеб нет денег... — Он спокойно вытер замасленные руки о пучок нитяных концов и швырнул себе под ноги.

— Запускайте в печать новый номер газеты! — Радославов нервно стукнул тростью по полу и ушел в канцелярию.

— Наш Козел — лидер либеральной партии, — пояснил Георгию смуглый паренек — самый старший из учеников, по прозвищу Негритенок, и его блестящие черные глаза лукаво сверкнули. — Ли-дер!

— А что это за партия? — спросил Георгий.

— Э-хе-хе! — ухмыльнулся Негритенок. — Посмотри на нашего Козла и не спрашивай про его партию. Раз либерал, значит, крадет у народа — у меня, у тебя, у них... — Он подмигнул в сторону рабочих.

Когда начало смеркаться и с Витоши спустился фиолетово-синий сумрак, они зажгли два фонаря и продолжали работать до поздней ночи.

Несколько дней спустя за обедом у печатников вспыхнул горячий спор.

— Социализм — это что-то хорошее, но пока только на словах, — сказал Иван, подбирая ложкой со дна тарелки три фасолинки. — Есть у меня полоска земли и козочка, и пусть только придет кто-то, чтобы забрать их у меня, — так я ему руки перешибу... А так, конечно, хорошо бы, чтоб не было ни бедных, ни богатых. Да только как же возьмешь у Козла-то его богатство, его имущество?... — недоуменно поджав толстые губы, спросил он.

— Пока еще не время для этого... А вот придет тот час... — начал было пояснять Ивану мастер и не закончил.

— Вот у тебя есть собственный дом, а у меня его нет... Справедливо ли это? — сердито заговорил Негритенок, обращаясь к Ивану.

— Эй, парень, с каких это пор ты стал социалистом?! — стрельнув в него глазами, спросил Иван.

— От рождения!

— Да, у людей есть собственность. Ну и что с того? Ведь она же их! Зачем зариться на чужое добро? Чужое, ясное дело, брать легко! — стоял на своем Иван.

— Конечно, у некоторых есть собственные фабрики, типографии... А князь? Вот читай! — сказал мастер Ивану, склонив над ним светло-золотистую пышноволосую голову и протягивая вырезку из газеты.

Иван отвел от нее глаза.

— Трус ты!.. Тогда слушай!

Пятница, 21 октября 1894 года. Во сколько обходится князь по бюджету на нынешний год?

Гражданский лист¹ 1 000 000 левов

На путешествия и прочее 300 000 левов

На содержание дворца и прочее 50 000 левов

На расширение дворца и прочее 330 000 левов

— Ну, говори, Иван! Будешь соболезнавать князю и богачам? — гневно сказал мастер и так хлопнул рукой с обрывком газеты по столу, что задребезжали глиняные миски.

— Лей слезы, лей! Им — миллионы, а тебе — латанные штаны!.. — язвительно рассмеялся Негритенок и дернул потрепанный пояс Ивана.

Иван вздохнул, не поднимая глаз от пустой тарелки, и промолчал.

9 января 1895 года печатники «Либерального клуба» объявили забастовку. Доктор Васил Радославов сразу же прибыл в типографию. Застал взволнованных рабочих во дворе.

— Господа, что это означает? — обратился он к ним.

Борода его тряслась. Он то и дело поглядывал на ворота, потому что успел сообщить о забастовке в комендатуру и с минуты на минуту ждал прибытия полиции.

Негритенок хрипловато хихикнул.

— Господа, чего вы хотите? — крикнул Радославов.

Чтобы скрыть беспокойство, он поднял каракулевый воротник пальто и зябко запахнул. Даже попытался улыбнуться.

— Мы хотим иметь кусок хлеба, — ответил мастер-печатник.

— Хорошо, вам будет уплачено. — Радославов был хитрый либерал и, оценив ситуацию, решил, что нельзя быть грубым. — До сегодняшнего дня я еще ни у кого и гроша не урвал. Ни у ко-го! Но поймите — наша партия находится сейчас в затруднительном положении. Скоро мы выйдем из него, и тогда...

Во дворе царил гробовое молчание. В воздухе порхали крупные редкие снежинки.

— Наши дети умирают с голоду, — раздался чей-то голос.

— Категорически отрицаю! Назовите мне хотя бы один случай смерти по этой причине у нас в городе...

¹ Гражданский лист — денежное содержание, предоставляемое парламентом монарху.

— Мастер Стамен... — прозвенел голос Георгия.

Прищуренные округлые глаза Радослава пронзили ученика. «Вчера только заявился, дали ему возможность выучиться, чтоб имел верный кусок хлеба, молоко на губах еще не обсохло, а уже показывает когти», — подумал он.

— Приглашаю вас сегодня к себе на обед! — иронически предложил мастер.

— И к нам заходите! По-царски угостим вас — водицей и сухими хлебными корочками, — добавил возчик, который развозил газеты. Недавно ему на ноги свалился тяжелый рулон бумаги, и он теперь с трудом передвигал их.

— А потом пойдем к вам... И вы угостите нас тем, что господь бог вам послал... Распахнете ваши кладовые с мягкими булками и икрой... — крикнул Негритенок и расхохотался, сверкая белыми зубами.

Иван схватил его и зажал ему ладонью рот. Парнишка был крепкий, он высвободился из его рук, и сквозь ладонь, еще прикрывавшую его рот, снова прорвался смех.

— Господа, приступайте к работе! Я болен. Выходить из дому в такую стужу очень опасно для меня... — Радослав вытащил из кармана носовой платок и через силу кое-как чихнул.

Передразнивая его, чихнул и Негритенок. Печатники разразились злым смехом. Радослав отпрянул назад, но смех не прекращался. Страх затуманил ему глаза.

— Господа, прошу меня выслушать. — Он поднял дрожащую руку и выронил трость.

— Мы требуем то, что нам положено: уплатите нам за пять месяцев работы! — сказал пожилой рабочий.

— Я сегодня же созову правление...

— Мы требуем установить восьмичасовой рабочий день! — крикнул Георгий и, протиснувшись сквозь толпу рабочих, стал рядом со своим мастером.

— Мы примем решение, господа... Наметим меры...

— Мерами сыт не будешь, господин Радослав! Хлеб нам дайте! — отрезал громко Негритенок, сумевший окончательно высвободиться из рук Ивана и подойти к Георгию.

Один лишь Иван от всего сердца сочувствовал либералу, но не смел выдать себя.

— Ну, ступайте, ребята!.. Возвращайтесь на свои рабочие места! Выпустим еще на этой неделе газету... — упрасивал Радослав. — Если не приступите сейчас к работе — и для нас будет худо, и для вас...

— Мы работаем по тринадцать часов! Если вы не заплатите нам сегодня же, никто из нас не переступит порога типографии, — сказал мастер-печатник.

— Так вы отказываетесь?!

— Да! Я заявляю вам об этом как председатель стачечного комитета, — сказал мастер.

— И вы бастуете? — обратился Радослав к ученикам.

— И мы! — ответил Георгий.

— Давайте договоримся... Обсудим... В конце концов, ведь все мы болгары...

— Голодные! Босые! Голые болгары! — Негритенок указал пальцем

на каракулевый воротник Радославова, в котором укрывалась его большая борода.

Во двор типографии ворвались человек десять полицейских. Радослав тотчас же наклонился и поднял трость, опустил воротник, и лицо его сразу посветлело. Рабочие заволновались, задвигались, а Иван пробрался поближе к либералу.

Председатель стачечного комитета, пользуясь суматохой, подтолкнул Георгия за кучу дров и зашептал:

— Необходимо выполнить трудную задачу. Возьмешься?

— Говори, мастер!

— Пробрись тайком в типографию «Вылков». Предупреди рабочих: если к ним принесут набор нашей газеты, чтобы они не принимали его. Оттуда бегом в другие типографии. От тебя будет зависеть все!

— Хорошо, мастер!

Георгий незаметно исчез за толпой бастующих, шмыгнул в печатное отделение и через окно высочил на обледеневшую мостовую. Мимо него пробежал мальчуган с порозовевшими от холода ушами. Он тянул за собой длинную веревку, и в холодном зимнем небе, словно распутившийся цветок, трепетал красный бумажный змей.

— Держи крепко! — крикнул ему на бегу Георгий.

— Дер-жу-у!.. — ответил мальчуган.

Георгий до вечера успел обойти все типографии и передал распоряжение председателя стачечного комитета. Несколько дней спустя забастовали все печатники Софии.

ЗЕМНОЕ ПРЯЖЕНИЕ

Парашкева устало отложила челнок, убрала корзину с неточными початками и прислонилась к старенькому ткацкому станку. Ее удивляло то непонятное беспокойство, которым был охвачен Георгий перед уходом из дома. Она, правда, ничего ему не сказала, только молча глядела на него. Но его волнение передалось ей, и она почувствовала, как смутная тревога сдавила ей грудь.

Георгий быстрыми, уверенными движениями разглаживал свой выходной костюм. Время от времени он встряхивал головой, отбрасывая назад волосы, а заметив на ткани даже самую крохотную морщинку, снова и снова проводил по ней горячим утюгом, чтобы ее устранить. Его густые, приподнятые вверх брови заметно подрагивали, а на худом, побледневшем лице лежала сегодня печать какого-то незнакомого матери раздумья. Сердцем она чувала, что в этот вечер сыну ее предстоит что-то важное, решающее, но молчала.

Кончив гладить, Георгий надел костюм и остановился перед матерью.

Парашкева затаила волнение. «До чего же ты красив, сынок!.. Береги его, мать, заботься о нем... — думала она, робко проведя теплыми ладонями по лицу Георгия, и задержала их на плечах, а невысказанные

мысли продолжали жечь ей губы. — Девушка, видать, вошла в его душу. Другого быть не может! Вот теперь забота и о его любушке!»

— Мама, я ухожу — опаздываю уже, а ты ложись спать.

Георгий ласково притянул голову матери к своей груди, наклонился и поцеловал ей волосы.

— Иди, иди, сынок!..

Парашкева проводила его до калитки и вернулась, только когда он исчез из виду в вечернем мраке.

Георгий шел быстро, прохладный весенний ветер трепал его кудрявые волосы, забираясь под расстегнутое пальто. Свернув в первый же переулок, он вышел на Главную улицу. Еще издали он увидел светящиеся окна партийного клуба социал-демократов и почти бегом устремился к нему. В несколько прыжков поднялся по узким деревянным ступеням, отворил дверь и в нерешительности остановился на пороге. С середины потолка, слегка покачиваясь на длинной проволоке, свисала большая керосиновая лампа. Ее свет растекался по небольшому залу, заполненному до отказа рабочими, учителями, служащими. Собрание еще не началось, и люди разговаривали между собой горячо и шумно. Георгий заметил в последнем ряду рано поседевшую голову соседа-переплетчика и сел рядом с ним.

Председатель собрания, смуглый молодой человек с небрежно нависшими над высоким лбом черными волосами, поднял руку, и в помещении водворилась тишина. Он открыл собрание и прочел заявление, в котором Георгий просил принять его в партию.

— Пусть он встанет, чтоб мы его увидели!..

— А кто он? — слышались голоса.

Георгий встал, сжимая обеими руками спинку стула перед собой, чтобы приглушить дрожь, волнами пробегающую по его телу. Участники собрания повернулись к нему. Они долго сосредоточенно и вдумчиво глядели на него, спрашивая себя: не слишком ли он молод? Выдержит ли, устоит ли перед всеми трудностями? Он слышал их усталое дыхание.

В первом ряду сидел, слегка откинувшись назад, Георгий Кирков. Из-под изогнутых ресниц блестели его вечно молодые глаза. В этот вечер он выглядел необычайно спокойным. Но Георгий, который был знаком с ним — он слушал его лекции по ораторскому искусству и истории социализма в вечерней школе, — знал, что за внешним спокойствием у Киркова кроется тревожная мысль. Рядом с ним сидели Гаврил Георгиев и Янко Сакизов.

От напряжения у Георгия пересохло в горле, дрожь, волнами пробегающая по телу, не прекращалась, и переплетчик, понимая его состояние, прижался к нему коленом.

— Спокойно, парень, спокойно! — шепнул он и незаметно сжал руку Георгия.

— Есть ли у кого вопросы? Или, может, кто-то хочет что-нибудь сказать? — спросил председатель.

Поднялся переплетчик. Непринужденно и просто он рассказал, как привел Георгия в типографию и тот стал там работать; как во время большой забастовки софийских печатников его сделали председателем стачечного комитета типографских учеников и он так здорово организовал все, что ни один ученик не вышел до конца стачки на работу, не изменил рабочему слову.

— Верно, все именно так и было!..— подтвердил пожилой рабочий.
— Я был неучем,— продолжал переплетчик.— Книгой занимался до тех пор, пока обряжал ее в новую одежду, а после бросал ее, забывал. Слепым был... А вот парнишка этот научил меня дружить с книгой!..— Он повернул голову налево, потом направо и долго оглядывал всех.

Переплетчик сел, напаял на колено свою потрепанную кепку и, высвободив влажные от пота руки, прислонился к Георгию, чтобы скрыть свое волнение. А в сознании его замелькали, словно живые, названия книг, которые Георгий посоветовал ему прочитать и он их прочел: «Что делать?», «Наши апостолы», «Коммунистический манифест», «Что такое социализм и имеет ли он почву у нас?». Губы его беззвучно шевелились.

— Пускай товарищ Георгий Димитров скажет: почему он хочет вступить в нашу партию? Знает ли он, как трудно и опасно состоять в ней? — предложил другой рабочий.

Георгия не удивил этот вопрос — он ждал его, но все же смутился. Ему стало жарко, хотя он сидел у открытого настежь окна и его овеяло весенней прохладой.

— Я рабочий,— чистым, теплым голосом заговорил он.— И отец мой, и все, кто рядом со мной!..

Его взгляд пробежал над головами сидевших перед ним людей и в мгновение перенесся в Ючбунар, где он сам и все остальные жители этого квартала весной и осенью месят ногами густую вязкую грязь, а летом задыхаются в тучах пепельно-серой пыли. Он слышал сдавленный от муки шепот изможденных тяжким трудом людей, доведенных до отчаяния. Видел и дрожащие, бледные как мел лица, и лохмотья, которыми они прикрывают свои тощие тела.

— По десять, пятнадцать часов трудимся мы на фабриках, в мастерских, в типографиях. А живем плохо, тяжело!..— Он почувствовал вдруг, как воротник сжимает его горло, ему стало душно, и он расстегнул самую верхнюю пугивку рубашки. Дышать стало легче, и он продолжал:— Я не приемлю такой жизни! Я понял одно: если мы, рабочие, не будем бороться за нашу свободу, нам никто не поможет. Никто! И никакие соглашения с фабрикантами и министрами, с князьями нам ничего не дадут!..

Он перевел дыхание, и в этой мгновение продолжавшейся тишине нервно скрипнул чей-то стул. Это Янко Саказыов не выдержал, резко завертелся, и его остроконечная борода направилась в сторону Киркова.

— Ты видишь, мастер! Хорошо усвоил твой урок этот печатник!..— зашептал Саказыов, но шепот его достиг слуха сидевших и в глубине помещения.

Кирков от души рассмеялся. У него затряслись от смеха плечи, а в глазах засверкали веселые огоньки.

— Какие уж там уроки, Янко? — радостно воскликнул он.— Жизнь научила парнишку узнавать правду. Ты же слышал, как хорошо он сказал: «Я не приемлю такой жизни!..» Bravo! Молодец!

Несколько дней спустя Димитр Благоев послал специально человека в типографию «Либерального клуба» передать Георгию Димитрову, чтобы тот зашел к нему.

Был уже поздний вечер, когда Георгий закончил работу в типографии и направился к Деду — так звали Благоева в среде революционеров. Высоко в небе быстро проносились, набегая друг на друга и сливаясь, темно-синие весенние облака. Когда они временами разъединялись, в просветах между ними показывались крупные яркие звезды. Улицы пустели. Лишь кое-где мелькали силуэты мужчин и женщин, направлявшихся в ночную смену на фабрики. Звуки их усталых шагов отдавались далеко на притихших безлюдных улицах.

Георгий вошел во двор социал-демократического клуба. Здание было темным. Светилось только одно-единственное окно наверху — окно Деда. Взмывав быстро по лестнице, запыхавшийся и смущенный, он остановился на узкой площадке перед дверью и нерешительно постучался.

— Входи! — послышался изнутри бодрый голос.

Димитров отворил дверь, яркий свет ослепил его, и он на мгновение остановился у порога.

Благоев сидел за большим столом, покрытым зеленым полотнищем. Он что-то писал и, завершив, видимо, фразу, встал. Георгий был наслышан о нем уже давно, но встречался с ним впервые. Благоев был небольшого роста, с длинной седой бородой. Его темно-коричневый костюм был изрядно поношен. Он поднял на молодого человека большие карие глаза, излучавшие тепло, и протянул ему руку. Крепко сжимая его кисть и задержав ее дольше обычного, Благоев почувствовал волнение Георгия и добродушно улыбнулся. Затем пододвинул ему стул, и они сели друг против друга.

— Хочу поздравить тебя со вступлением в нашу партию. Правильный выбрал ты себе путь! — Благоев снова улыбнулся.

— Благодарю! — не сводя с него глаз, ответил молодой социалист, с трудом шевеля пересохшими от волнения губами.

— Правильный, хороший путь! — повторил Благоев.

Он помолчал немного и, глядя через открытое окно на ночное небо, где в разрыве между облаками показалась большая яркая луна, заговорил снова глубоким, мечтательным голосом:

— Когда мы основывали в 1891 году нашу социал-демократическую партию, нас было немного... — Ему вдруг показалось, что он снова взбирается по крутым склонам на Бузлуджу и над головой его шумят вековые буки и белые клены, так же как шумели они когда-то над воеводой Хаджи Димитром¹. — Но вот прошло одиннадцать лет, — продолжал он, — и я вижу в ней море людей! Наши социалистические идеи распространяются в народе подобно тому, как алый мак рассеивает свои семена. Хорошо, что ты одно из таких семян!

— Благодарю вас... Дедушка. — Георгий почтительно поднялся и снова сел.

— А как ты живешь, молодой человек? Читаешь ли? Что читаешь?..

— Да, читаю много... Маркса и Энгельса, Чернышевского, — обрadowанно отвечал Георгий. — Внимательно слежу за вашими статьями. В них говорится обо всем так ясно и доходчиво. «Новое время» и

¹ Хаджи Димитр (наст. фам. Асенов) (1840—1868) — видный деятель национально-освободительной борьбы болгарского народа против турецкого ига. Возглавлял поход сформированного за рубежом партизанского отряда и погиб геройски в бою.

«Работнически вестник» читаю регулярно. Согласен с вами, что классовое сотрудничество ныне — самый большой враг рабочих и партии.

— Да! Да! — подтвердил Благоев, довольный пылкими словами молодого человека. — Вот ты двадцатилетний — и понял все, а ведь сколько есть таких, что и век прожили, а так и не могут понять этого... — В голосе Благоева прорвались гневные нотки.

Он встал возбужденный, убрал со стола исписанные листки и, открыв вторую створку, долго стоял у окна. Началась гроза, над горами сверкала молния, и доносились далекие, но мощные раскаты грома.

— Радетели «общего дела» стригут под одну гребенку рабочих и капиталистов! Это ошибочно и опасно!.. — сказал он озабоченно.

— Вы совершенно правы. Но я думаю, что они составляют ничтожное меньшинство... Даже если они и делают ошибочный шаг, будущее все равно за нами! — на одном дыхании произнес Георгий, возбужденный и покрасневший от смущения.

— Вот именно! — подтвердил Благоев, подвинул свой стул поближе к нему и сел. — Главное то, что теперь у рабочего класса есть партия, которая будет ежечасно, ежеминутно заботиться о том, чтобы он окреп, укрепил свои позиции. Будет оберегать его от влияния буржуазной и мелкобуржуазной идеологии. И важно еще то, что учение Маркса и Энгельса должно быть для всех нас как земное притяжение. — Он задержал свой пронизывающий взгляд на изможденном лице Димитрова, обеспокоенный болезненным цветом его кожи, и спросил: — А как у тебя со здоровьем? Мне кажется, слабовато оно у тебя?..

— Нет, со здоровьем у меня все в порядке...

— Береги его! Нам потребуется еще много сил, Георгий...

Димитров затаил дыхание.

— Я узнал, что ты участвуешь в руководстве профсоюзом рабочих-печатников. Это хорошо. Сейчас всюду трудно приходится. И у вас, среди типографских рабочих, тоже есть защитники теории «общего дела». — Благоев положил руку на колено Димитрова, и тот почувствовал ее мягкое тепло.

— Да, есть такие, — энергично подтвердил молодой человек, но не посмел шелохнуться, чтобы Благоев не отвел свою руку. — Я знаю нескольких таких. Люди эти не верят в силы рабочего класса. А в остальном они такие же голодные и голые, как и все... С ними надо много работать. За каждого бороться! Каждому доказывать, что мы — рабочие — сила, которая похоронит капитализм. Что мы построим коммунизм!

— Так!.. Так!.. — кивал головой Благоев, и счастливое выражение не сходило с его лица.

«Ты смотри, какой цветок вырос среди нас!» — думал он и корил себя за то, что даже не подозревал о его существовании. Потом в голову вдруг пришла другая мысль, и он сказал:

— Пойдем к нам! Вела и дети будут тебе рады.

Благоев надел тонкий плащ и старую широкополую шляпу, взял трость и мелкими шажками первый двинулся к двери.

Они вышли на Главную улицу и направились в сторону Дебыра.

Димитров умышленно замедлял шаг, чтобы идти вровень с Благоевым. Шли они плечом к плечу — самый старый социалист Болгарии и

самый молодой ее социалист. А весенняя гроза разразилась уже во всю свою силу, порывы ветра прижимали к самой земле молодые жилистые деревца, растущие во дворах, а молнии одна за другой рассекали в разных направлениях небо.

Димитров смущенно взял Благоева под руку, и так они оба уверенней зашагали вперед.

Придерживая шляпу, чтобы ее не сорвало ветром, Благоев поглядывал украдкой на молодого человека, радовался ему, улыбался. Какая-то неведомая сила влекла его вперед, и он шагал все быстрее и энергичнее, увлекая за собой своего молодого спутника.

В ЧЕРНОЙ МЕЧЕТЕ

Первое уголовное отделение Софийского окружного суда рассматривало последнее в этот день дело. Председатель — низенький, старый человек в черных сатиновых нарукавниках — поднял усталые глаза и долго вглядывался в Димитрова. «Как много неблагодарного люда расплодилось у нас... — размышлял он и покачивал побелевшей головой. — Вместо того чтобы всем сообща энергично приняться за дело и, отхватив Фракию, выйти к Салоникскому порту... А он вот сидит здесь, потому что хотел досадить своим партийным соперникам «общедельцам» и обозвал кого-то из них шпионом и полицейским агентом. Ну и что, если они были шпионами? Раз это необходимо — они есть и будут шпионами!» Он наклонился над папкой, полистал ее и нашел справку министерства внутренних дел. Прочитал ее еще раз:

«Георгий Димитров является членом Центрального Комитета партии социалистов и секретарем Общего рабочего профессионального союза. О нем необходимо знать следующее:

В 1906 году он руководил взбунтовавшимися горняками в Пернике. Позднее возглавлял забастовщиков спичечной фабрики на станции Костенец, где пробыл сто тридцать три дня. Волнения табачников в Софии и Пловдиве, на руднике «Плакалница», бунт грузчиков в Бургасском порту — все это дело его рук. За последние несколько лет Димитров посетил в Болгарии более пятидесяти населенных пунктов. И повсюду организовывал рабочих и выступал против господ промышленников, торговцев, против полиции и армии».

Старик председатель сердито захлопнул папку. Было ни к чему больше тратить время. Тем более что и устное указание министра облегчало ему задачу. Он встал. Следом за ним поднялись и оба его помощника. Удалившись на краткое совещание, они огласили приговор:

— Именем царя и отечества обвиняемый Георгий Димитров приговаривается к месяцу тюремного заключения. Приговор обжалованию не подлежит и вступает в силу со дня его вынесения.

Это было 10 июля 1912 года.

Конвой, доставивший осужденного в тюрьму Черная мечеть, был встречен у входа надзирателем. Этот верзила с маленькими, словно бусинки, глазами, шевельнув длинными черными усами, подал Димитрову знак, в какую сторону ему идти, и сам важно последовал за ним. Говорил он громко и грубо, голос его гулко разносился по длинному узкому коридору.

— Вот тут твое место. Получше нет! — Он отворил тяжелую, окованную железом дверь.

Димитров бросил взгляд на открывшуюся перед ним камеру. В полу-мраке на сыром земляном полу сидели и лежали с десяток человекоподобных существ — отошавших, прикрытых лохмотьями. Из камеры на него пахнуло спертым воздухом, обдало нестерпимо тяжелым запахом чего-то затхлого.

Димитров переступил порог и остановился. Хотя сквозь частую железную решетку квадратного оконца тусклый свет процеживался скупо, но все же он мог теперь получше рассмотреть людей. У самых ног его сидел, прижавшись спиной к каменной стене, заключенный, под тонкой одеждой которого ребра очерчивались так четко, словно это был не живой человек, а скелет. Его свалаявшиеся пепельно-серые волосы свисали до самых плеч. Он впился в Димитрова лихорадочно горящим взглядом. Под оконцем сидел седой человек, но в глазах его все еще таился молодой блеск. На свою голую спину он накинул короткую меховую безрукавку.

— Не принес ли ты хлеба? — спросил он.

— Хлеба!..

— Хлеба!.. — послышались со всех сторон крики.

Димитров печально покачал головой. Как мало знают люди на воле об этом аде... Его гнев, вызванный несправедливым приговором, стал ослабевать. Он теперь узнает все про Черную мечеть! И всем о ней расскажет! Он им еще задаст жару!

— Правила здесь строгие, — прервал его размышления надзиратель, и его усы, напоминающие сломанные бычьи рога, угрожающе зашевелились. — Тут нельзя петь. Запоешь — и сразу в карцер! И нельзя читать газеты — за это тоже в карцер! И нельзя произносить слов, что хлеб плохой, — за это...

Надзиратель вышел, хлопнув дверью, и повернул в замке ключ.

— Я Мите, а ты кто такой? — дерзко спросил молодой человек, лежащий вытянувшись на спине посреди камеры.

— Человек! — улыбнувшись, ответил Димитров.

Буйный смех, так долго подавляемый в себе этими людьми, вдруг прорвался и всколыхнул смрадный воздух.

Мите поднялся с голого пола и сел на подстилку. Смех у него вдруг иссяк, и он впился в Димитрова большими черными глазами. С минуту он насмешливо, но и с любопытством глядел на него и снова захохотал как одержимый.

— Человек! Человек! — повторял, смеясь, Мите.

— Да, человек. Такой же, как ты... Как все, — спокойно произнес Димитров.

Мите встал, с вызывающим видом подошел к нему, коснулся рукава его костюма, показал пальцем на галстук, на крахмальный воротничок белой рубашки и покачал головой.

— Как я? — ехидно спросил он, возвращаясь на прежнее место.

— Да, как ты, — все так же спокойно ответил Димитров.

Камера снова наполнилась истерическим хохотом Мите; его злобный смех судорожно бился о каменные стены.

— Замолчи! — прошипел заключенный, сидевший возле него, и стал трясти его за плечи. — Хочешь, чтоб тебя снова пихнули в подвал? Живым оттуда ты уже не выберешься.

Воспоминание о камере заставило Мите прийти в себя.

— А за что тебя посадили, за что привели сюда к нам? — тихо спросил он Димитрова.

Из всех четырех углов камеры, где царил вечный мрак, с сырого земляного пола, на котором лежали вповалку живые скелеты, десять пар глаз впились в Димитрова.

— За правду, — затаив волнение, ответил он.

Мите подошел к нему. В глубокой тишине его шаги отдались глухим звуком. Он испытующе глядел в лицо Димитрова.

— За правду, говоришь! А ты нашел ее? Когда меня запихнули в этот каменный мешок, я был еще мальчишкой... Годы уже сижу в нем за одну французскую булку... Украл ее. Признаюсь. Но разве это значит, что я должен тут сгнить? Ну ответь мне, куда ты отправился искать правду? — Мите, словно подрубленное дерево, опустился на пол, зажал между коленями голову и затрясся в беззвучном рыдании.

К нему подошел старик с перевязанной грязным лоскутом правой рукой.

— Ну, хватит! Царь тебя не услышит, не смилуется над тобой.

— Перестань, Мите! — крикнул молодой человек с седой головой. — Смотри! Смотри, что у меня есть! — Он вынул из-за пазухи корочку хлеба. — Ты голоден. На вот — возьми ее!

Мите поднял голову. Но руки за хлебом не протянул. Обернулся к Димитрову и сказал:

— Эй ты, Человек! Иди сюда! Садись тут, рядом со мной!

Димитров сел на холодную землю. Один за другим из темных углов к ним подползли измученные люди. Слова нового заключенного зажали в израненном сердце каждого из них искру надежды.

Последним подсел к ним изможденный крупный мужчина с облысевшей головой. Он долго всматривался в Димитрова, тяжело дыша, а потом сказал:

— Георгий, ты узнаешь меня, браток?

Димитров приподнялся. Что-то далекое пробудилось в его сознании. Где встречал он эти большие глаза? И этот голос где слышал? Мысль медленно возвращала его назад, назад... Он увидел себя зеленым мальчишкой, отправившимся на поиски куска хлеба... И вспомнил...

— А-а, кузнец!.. Сын мастера Стамена!.. — воскликнул он.

— Да, это я, Георгий... — заключенный бросился ему в объятья. — Узнал-таки меня, эх!.. Узнал! Узнал меня! — сквозь слезы говорил он остальным и, собрав последние силы, старался удержаться на ногах, не рухнуть наземь.

— Почему ты здесь? Рассказывай! — допытывался у него Димитров.

— Я убил человека... Помнишь нашу хибару на самом краю города, среди полей?... Так же сломал один злодей, чтоб построить фабрику... Как узнал я об этом, в глазах у меня потемнело, и я поднял на него руку.

Зарубил фабриканта. Вот меня и упрятали... Пятнадцать лет уже сижу тут. А сестры мои пошли по плохому пути...— Он умолк, измученный тяжелыми воспоминаниями и приступом астмы.

— Богача ты убил, а муки твои остались!.. И даже еще хуже стало...— тихо сказал Димитров и обнял его за плечи.

— Да, так оно и есть, Георгий...— задыхаясь от приступа астмы, согласился кузнец.

— А ты что сотворил? — спросил другого заключенного Димитров.

— Я тоже, можно сказать, почти что за правду!..— ответил тот.— Со сборщиком налогов расправился...

Допоздна рассказывали заключенные про свою безрадостную судьбу. Среди ночи Димитров прилег на подстилку рядом с Мите. Но разве мог он заснуть? Чувствовал, что и остальные не спят — дышали тяжело, кто-то стонал, кто-то приглушенно плакал. Горестный шепот наполнял черный мрак камеры. Слышались проклятья. Бессилие рождало угрозы, которые заведомо никогда не могли быть выполненными.

В два часа зазвонил колокол соседней церкви. Делалось ли это по договоренности с начальством Черной мечети, чтобы заключенные и ночью не имели покоя, или же это была вздорная выдумка перестаравшегося церковного служки? Никто в камере не мог одолеть назойливый звон, расслабиться и по-человечески заснуть.

На рассвете Димитров пробрался между телами спящих и стал у окна. Он был измотан переживаниями последних часов. Сколько страшных человеческих судеб оказалось только в одной этой мрачной камере... Он почувствовал неодолимую потребность поделиться своими мучительными переживаниями с Любой. Достал карандаш, бумагу и долго писал о кузнице и Мите, о камере, по стенам которой стекают струйки воды, а пол земляной, сырой и холодный. Остановился. А правильно ли поступает он по отношению к Любе? Ведь ей надо сказать что-то бодрое... Душа его преисполнилась нежностью. Хотя мрак был еще густым и он едва различал буквы, перед взором его вдруг заиграли яркие краски. Они превращались в красные, белые, розовые гвоздики, с которыми Люба всегда провожала его, когда он отправлялся в дальний путь.

А церковные колокола звонили не переставая.

Димитров поднес листок поближе к глазам и прочитал:

Я бодр и чувствую себя очень хорошо. Беспокоюсь о тебе, Люба...

Бам! Бам! Бам! Оглушительный колокольный звон разбудил Мите, снова расположившегося посередине камеры. Он сел и сонный принялся клясть все на свете.

...Пиши мне каждый день, сообщай обо всех важных делах, которые происходят в нашей среде, а также интересные новости из ежедневной прессы, потому что газеты передавать тут не разрешают.

Несмотря на временные невзгоды тюремной жизни, правосудие этим приговором все же оказало мне большую услугу. Этот месяц будет использован наилучшим образом.

Хочу только, чтобы ты была стойкой и спокойной. Твой Жорж выйдет из Черной мечети куда более здоровым, бодрым, сильным и, надеюсь, куда более разумным и способным борцом!

Пиши мне каждый день. В пятницу приходи.

И потекли день за днем...

Бам! Бам! Бам!

В Черной мечети уж так водится... Гибнет тело... Умирает душа... И перестаете уже понимать, жив ли ты...

Димитров обернулся. Над ним наклонился кузнец, вперив в него мутный взгляд.

— Счастливый ты человек, Георгий! Знаешь, для чего живешь на свете... — Он опустил у его ног на пол.

— И я так думаю, — сказал Мите. — Когда гляжу, как бесятся стражники, едва только кто помянет тебя... Говорят, люди писали письма, телеграммы. Требуют, чтоб тебя выпустили. Счастливчик ты!

Поднялись и остальные заключенные, окружили Димитрова. Плотным кольцом расселись возле него. Молча смотрели на него, а в глазах их горел какой-то странный огонь.

Он чувствовал, что ему надо сказать им что-то хорошее, согревающее их истерзанные души.

— Ну скажи нам что-нибудь!.. — попросил кузнец.

— Вы думаете: иметь хлеб — это все?.. — тихо заговорил Димитров. — Значит, сам жить будешь и дети твои не умрут...

— Нет! — резко возразил Мите. — Нет, этого мало...

— Да, иметь один только хлеб — это то же, что ничего не иметь! — Димитров не сводил настойчивого взгляда с лица седовласого молодого узника. — Можешь ли ты чувствовать себя человеком? Свободным! Чтобы работать и знать, что никто не присваивает, не крадет у тебя плоды твоего труда!

— Эх! — скрипнув зубами, вскрикнул Мите. — Почему я так поздно встретил тебя, брат мой! — Он пододвинулся ближе к Димитрову и уперся коленом в его ногу.

— Так и со мной... почти то же... — сказал заключенный, прикончивший сборщика налогов.

— Со всеми нами так... — вздохнув, сказал кузнец.

— Ну вот!.. Темнота мы, а начинаем прозревать... — сказал старик в меховой безрукавке. — Если украдешь для детей кусок хлеба, тебя сразу же запихнут сюда — и ты сгниешь здесь. А дети твои помрут без тебя.

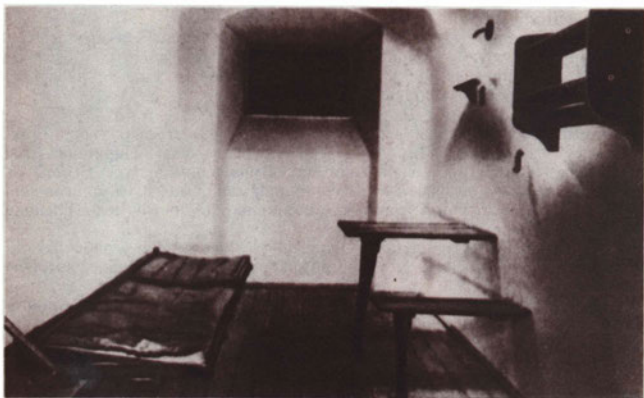
— Понял я святую истину, да поздно... Убил злодея фабриканта, а на его место пришел его сын, и... — Приступ удушья прервал признания кузнеца.

Отрывистый лязг железного клепала, который был сигналом побудки заключенных, слился со звоном церковного колокола.

Димитров вышел вместе с остальными заключенными на прогулку во двор Черной мечети. Собственно, о какой прогулке и о каком дворе могла идти речь? На небольшом вытянутом четырехугольнике, вымощенном крупным булыжником и окруженном со всех сторон стенами тюремных камер, гулко постукивали деревянные подошвы грубо сколоченной арестантской обуви. В глубине четырехугольника возвышалась виселица — высокий деревянный столб, на верхушке которого торчал железный клин. С этого клина спускалась вниз толстая веревка с петлей на конце.



Георгий Димитров.



*Германский рейхстаг во время пожара,
27 февраля 1933 г.*

Камера Георгия Димитрова в тюрьме Моабит.

Димитров, шагая рядом с кузнецом и Мите, присматривался к измученным лицам заключенных, и душа его изнемогала от боли. У стены стояли стражники с примкнутыми штыками, готовые в любой момент наброситься на них.

— Товарищ Димитров, и ты тоже тут?

От шеренги заключенных, шедших в противоположном направлении, отделился худощавый мужчина с высоким бледным лбом, расчесанным шрамом, и приблизился к Димитрову.

— И я,— улынувшись, сказал Димитров.— Есть ли еще кто из наших?

— В камере нас трое — участников стачки на табачной фабрике. И в других камерах тоже есть. Держимся! — Табачник шагал параллельно Димитрову, но один из стражников заметил его, схватил за рукав и, подтолкнув, заставил идти в обратном направлении.

Прогулка была краткой. Ржавое клепало сердито звякнуло, стражники кинулись к заключенным и стали прикладами загонять их обратно в помещение. Когда Димитров проходил по узкому коридору, направляясь в свою камеру, он слышал за спиной шепот заключенных:

— Смотрите, это он, Димитров...

— Димитров...

К нему подошел старый человек с протянутыми вперед руками. Он был слепой. Проведя костлявыми пальцами по его лицу, старик невнятно прошептал:

— Я слышал о тебе... Я уже пятнадцать лет тут... За сто левов...

Димитров с трудом подавил охватившее его волнение.

— А один паренек рассказал мне про Гешова — ты его, наверное, знаешь? — Слепой сжал руки Димитрова.

— Знаю!..

— Этот председатель кабинета министров Болгарии украл миллионы — и ничего... Стоит у власти по сей день. Парнишка тот мне и про Иваницу рассказал — про директора банка в Русе. Восемьсот тысяч левов государственных денег прикарманил он. Суд приговорил его к двум годам тюрьмы, а царь его помиловал на третий день. Господи боже, так где же правда?

— Правды нет тут, дедушка. Она в другом месте! Она у рабочих, что надрываются в непосильном труде на фабриках, она в борьбе, которую они ведут.

К ним подбежал надзиратель с перекошенным от злости лицом. Старик узнал его по топоту сапог, вцепился в него и закричал:

— Сажайте в тюрьму настоящих грабителей и убийц — министров, царя, фабрикантов!.. Паршивые псы вы!

Стражник схватил слепого старика и потащил его в карцер.

— Вот там и сгниешь!.. С крысами... Со вшами... — прошипел надзиратель. — А ты что? И ты в карцер просишься? — грубо заорал он на Димитрова.

— Я написал письмо жене, хочу послать ей.

Надзиратель огляделся. В коридоре не было уже никого.

— Давай письмо! Можешь на меня положиться! А не думаешь ли ты, что если у меня в руках ключи от ваших камер, то я благоденствую? Мои дети померли бы с голоду, если б не было вот их, — он кивнул в сто-

рону камер.— Кому принесу тайком хлебца, кому книжку, кому письмо... Платят мне люди...

Димитров с отвращением взглянул на него.

В один из дней заключенным отменили прогулку. Полутемный коридор наполнился топотом сапог, резкими командами. Через маленькое оконце Димитров уловил доносившиеся из-за тюремной стены крики, шаги сотен ног.

— Требуем Димитрова!

— Свободу Димитрову! — звучали возгласы за стеной Черной мечети.

— Георгий! Ведь это о тебе, — прильнув к окошку, сказал кузнец. — Жалеют тебя люди!

— Если б дело только в жалости было! Нас ведь тоже жалеют. Ну-ка послушай их! Окружили они нашу «мечеть», и у душегубов поджилки трясутся. Что, дрожите, подлюки?! — во все горло крикнул Мите.

— Заткнись! — оборвал его испуганный кузнец.

По коридору продолжали сновать жандармы и солдаты, шелкали затворы ружей. И, несмотря на весь этот хаос, в соседней камере кто-то запел.

— Это молодой серб... — пояснил кузнец.

Голос заключенного пересилил зловещий топот подкованных сапог. Камера, казалось, наполнилась запахом весенней листвы буков и цветущей малины. Перед воспаленными от вечной темноты глазами широко раскинулись родные поля, мелькал образ любимой женщины. Молодой серб пел о своем родном крае. А перед воротами Черной мечети не прекращались возгласы:

— Свободу Димитрову!

— Свободу!

Вдруг песня оборвалась.

— Вот и все! Увели его в карцер... — мрачно произнес Мите. — Тут и песни под запретом.

Димитров все еще стоял у окошка, находясь целиком во власти того мира, что бушевал сейчас по ту сторону высокой тюремной стены. На груди своей он ощущал приятное шуршание письма Любы, которое он только что получил. Он верил, что и она сейчас там, среди рабочих. Ему казалось даже, что он слышит ее голос. Беззвучные слова обжигали ему губы. Он вынул из кармана письмо и взволнованным взглядом вбирал в себя каждое его слово.

Дорогой Жорж!

...Меня радует то обстоятельство, что именно ты стал первой из жертв, которые мы теперь будем приносить... Твои враги, осудив тебя, дали мне возможность еще раз и гораздо глубже заглянуть в душу наших рабочих. Как беспредельно они любят тебя... И как глубока, искренна и чиста их любовь к своему Георгию Димитрову... Достаточно мне только зайти в клуб, как сразу же на меня обрушиваются тысячи вопросов: «Как Георгий? Что Георгий?» (Димитров едва сдержал порыв вспыхнувших в его душе чувств.) Ты понимаешь,

как мне дороги все, кто тебя любит. Именно потому я и сильна, и добра, какой ты меня видел в пятницу. Сегодня уже шестой день твоего заточения. Как долго тянутся дни...

Твоя Люба

— «Как долго тянутся дни»!.. — шепотом повторил он. — И они становятся еще дольше, когда ты знаешь, что тебя ждут, что твое место в борьбе пустует.

Ярость наполнила сердце Димитрова, обожгла его, и он до боли стиснул пальцы.

А гнев людей, стоявших на улице, все нарастал, становился сильнее, бился о стены тюрьмы...

МАТУШКА ПЯРАШКЕВА

Наконец он был свободен! Тяжелые ворота Черной мечети, резко скрипнув, захлопнулись за ним, и он остался один на улице...

И тут же к нему с радостным криком кинулась стоявшая неподалеку жена и упала в его объятия.

— Люба!.. — вырвалось у Димитрова. Он был очень взволнован, ему хотелось сказать ей что-то такое, чего он еще никогда до сегодняшнего дня не произносил, какие-то самые теплые слова, но он не находил их. Поэтому его «Люба!..» вобрала в себя все его безмерные чувства. Он ласково погладил волосы жены, потом, нежно охватив ладонями любимое лицо, заглянул в ее глубокие, чистые глаза. — Люба!..

— И мама тут. С раннего утра ждем тебя. — Она высвободилась из его объятий и замахала рукой, подавая знак стоявшей на противоположной стороне улицы Парашкеве, которая с трепетом ждала сына, устремив на него полный любви взгляд.

Широкими торопливыми шагами Димитров направился к ней.

— Мама!

— Вот и я, Георгий!

— Стоило ли так себя изнурять! Ты же еще затемно пришла и ждешь здесь!

— Эх, Георгий...

Они направились домой. Димитров шел посередине, обняв за плечи мать и жену, повертываясь лицом то к одной, то к другой. Шпильки, которыми Люба закрепляла пучок, венчавший ее прическу, выпали, и ветер рассыпал, растрепал ее мягкие волосы. Она шла мелкими торопливыми шажками, и ее каблучки весело подпевали тяжелым и уверенным шагам Димитрова.

Парашкева, забыв о своих пятидесяти годах, тонкая и стройная, делала по два шага, чтобы не отставать от молодых.

До трех часов пополудни никто в доме не садился за обеденный стол. Все ждали возвращения Георгия. Хотя это была обычная суббота,

но для большого семейства Димитровых день этот стал радостным праздником. Две сестры Георгия — Магдалина и десятилетняя Лена — быстро накрыли на стол, а братья — Костадин, Тодор, Борис и Любен — уселись за него и затаив дыхание ждали, когда же съедят их старший брат, чтобы услышать его слово. В этот день отец купил выдержанного красного вина. Чтобы кушанья были теплыми, Магдалина с утра поддерживала в очаге огонь, и горшки с едой стояли наполовину зарытыми в горячую золу.

Парашкева села, пододвинула к себе свободный стул и никому не позволила занимать его.

— Мама... — маленькая Лена удивленно смотрела на нее.

— Молчи! — оборвала ее Магдалина. — Это место мама приготовила для твоего старшего брата Кольо... Ой! — всплеснув руками, взвизгнула она. — Вода-то для питья у нас совсем теплая! Вот как мы встречаем нашего брата Георгия!

Младшие братья вскочили, готовые, как дети, бежать к водоразборной колонке. Костадин первым схватил кувшины и вышел. Когда он вернулся, щеки у него побледнели от волнения.

— Брат!.. Что ты скажешь на это? — обратился он к Георгию и протянул ему маленький исписанный листок бумаги.

Димитров внимательно прочитал его. Да, предстоящая мобилизация, о которой говорилось по всей стране, выходит, уже началась негласно. Костадин должен был идти в армию. Он сунул повестку в карман и, чтобы скрыть невеселые мысли, широко улыбнулся. Воцарилось тягостное молчание.

Никто не притрагивался к еде.

— Георгий, что случилось? — не сдержалась Парашкева.

— Костадина вызывают в казарму, мама.

— Это не страшно, Парашкева, — сказал отец. — Худо будет, когда вдруг всех сразу соберут под знамена. Сейчас пока не страшно! — повторил он.

Повестка военных властей омрачила семейный праздник. Парашкева разрезала на равные куски ароматную баницу и раздала всем. Димитр, доливая в стаканы вино, чокался с каждым, но радость уже как-то угасла. Мать не сводила глаз с Костадина и, когда их взгляды встречались, старалась подольше удержать его взгляд на себе, а сердце ее пронзала острая боль. Поглядывая на стоявший рядом с ней пустой стул, она ощущала, как усиливается эта боль. Мрачные мысли все сильнее овладевали ею и уносили далеко-далеко — в самую Сибирь.

Часто, просыпаясь ночью, она старалась представить себе, как далеко находится эта Сибирь, где полиция царской России держит в заточении ее Николчо, пошедшего по пути Георгия. Неужто ей никак нельзя добраться туда? Хоть часок побыть с ним... А если бы она застала его спящим, то хоть поглядеть на него. Тогда — как гора с ее плеч...

Неужели это правда, что там никогда не тает снег?

— Мама, — вывел ее из забытья Георгий. — Баница просто чудесная! Только ты умеешь делать ее такой вкусной. Выпьем, мама!

— Будь здоров, сынок! — Парашкева поднесла к губам стакан вина и отпила один большой глоток.

Октябрь был теплым, небо безоблачным, и во дворе у Парашкевы буйно цвели поздние осенние цветы. Она поливала их на рассвете, пока еще не взошло солнце. Багряные клумбы астр властно притягивали к себе, а мысли ее скитались по раскисшим дорогам Фракии, забирались в окопы, искали повсюду Костадина. Она ни при ком даже имени его не упоминала, но, когда слушала возбужденные возгласы: «На Лозенград и Бунархисар! На Чаталджу!» — сердце ее замирало на миг, а затем долго бешено колотилось в груди. Иногда она выходила за ворота и неотрывно глядела на факельные шествия. Слушая выкрики их участников и музыку, Парашкева дивилась людям. Можно было подумать, что сыновья их уехали на свадьбу. В такие минуты душа ее, безмолвно стеная, молила: «Господи, спаси и помилуй моего сына...»

Возвратившись к себе в нижнюю комнату, она доставала из стеного шкафа фотографию Костадина и подолгу глядела на нее. С тех пор как началась война, она стала словно бы меньше страдать за Николу, потому что другой сын непрерывно занимал ее мысли.

Ноябрьские дни пришли в столицу солнечные, теплые, принесли новые пышные цветы, а газеты сообщали, что по всему фронту идут проливные дожди и окопы затопляются жидкой грязью.

Однажды утром, когда Димитр и дети отправились на работу, Георгий и Люба тоже ушли куда-то и Парашкева осталась в доме одна, во двор к ним вошел почтальон. Это был пожилой, тощий человек с резко выделяющимися на худом лице скулами и седыми бровями.

— Мамаша! — войдя в дом, обратился он к ней, хотя сам был старше ее. — Товарищ Димитров тут?

— Его нет... А ты оставь мне то, что принес ему, — сказала ласково Парашкева.

— Нет, нет! — ответил почтальон и поспешно вышел из дома.

Парашкева проводила его до ворот. А когда он, войдя во двор к соседям, необычно долго задержался там, она, подталкиваемая каким-то тревожным предчувствием, направилась следом за ним. Бесшумными шагами прошла она по вымошенному булыжником двору, но почтальон словно сквозь землю провалился. Дверь в дом соседей была распахнута, и изнутри доносился приглушенный разговор. Парашкева невольно прислушалась.

— Сердце мое не позволяет сказать ей... — узнала она голос почтальона.

— А ты найди Георгия или Любу и передай извещение им, — посоветовала соседка.

— Я так и сделаю... И попрошу, чтоб меня освободили от этой обязанности... Нет у меня сил ходить к людям в дом и сообщать им: сын ваш убит под Гечкенли... Муж твой героически погиб под Бунархисаром...

Ноги Парашкевы подкосились, померкло перед глазами солнце. Она покачнулась, но успела ухватиться за росшее рядом айвовое дерево. Вернулась к себе в дом и села на каменные ступеньки, ведущие в комнату Костадина. Невидящими глазами смотрела она на двор и цветочные клумбы. Вымощенные булыжником дорожки вились между ними — их выложил Костадин. Ох, до чего ж велика была ее мука,

но ни одна слезинка не скатилась из ее глаз. Только губы шептали:

— Костадинчо, ненаглядный мой...

Кто-то уже успел сообщить Димитрову печальное известие. Он сразу же прибежал домой, сел возле матери, обнял ее, но не сказал ни слова. Он задыхался от боли. Вскоре пришла Люба. Подавленный, пожелтевший, состарившийся за несколько часов, вернулся до времени из мастерской и Димитр. Следом за ним прибежали Тодор и Лена. Все уже знали страшную весть, но никто ни разу не произнес имени Костадина. Люба первая пришла в себя, набрала букет только что расцветших хризантем и отнесла его в комнату убитого.

— Георгий, Любица, Тодор! Идите, дети! Ступайте каждый по своим делам! — Парашкева встала и, пошатываясь, направилась в нижнюю комнатку, не позволила Георгию даже проводить ее. Хотела остаться одна со своим горем. Пододвинула к стене табуретку и опустилась на нее.

Димитров вернулся в рабочий клуб. Его ждали здесь ответственные дела. Война вырвала из рядов Общего рабочего профессионального союза, который он уже несколько лет возглавлял, самых лучших его деятелей. А теперь вот не стало и Костадина... Были мобилизованы Георгий Кирков и Васил Коларов, и на плечи Димитра Благоева легла вся партийная работа. Поэтому Димитрову надо было неотступно находиться при нем.

Димитров вошел в канцелярию ОРПС¹. Там не было никого. Сжав ладонями голову, он погрузился в мучительные раздумья.

— Костадин убит... — прошептал Димитров, все еще не в состоянии поверить этой страшной истине.

Кто-то приоткрыл дверь.

— Георгий... — раздался знакомый голос.

Димитров обернулся.

На пороге стоял Благоев. Он уже узнал о постигшем его большом несчастье. На лице Деда было написано глубокое сочувствие. Как родного сына любил он Констадина — этого мужественного руководителя софийских печатников.

— Я тут, Дедушка...

С минуту оба молча глядели друг на друга. Благоев глубоко вздохнул.

— Письмо Секретариату международного профсоюзного объединения готово. Вот оно, — сказал Димитров, подавая ему исписанный листок, а перед глазами его снова стоял Костадин с его неповторимой обаятельной улыбкой.

— Я верю, что иностранные товарищи поймут нас, — тихо произнес Благоев.

— И я так думаю. Тут все написано... Война вырвала из наших рядов самых преданных нам людей... Многих из них уже нет в живых. А просьба наша ясна: чтобы помогли нам сколько смогут, потому что касса нашего профсоюза пуста.

— Я принес газету. Цензор изъял всю первую страницу. И по остальным тоже крепко прошелся. Видишь, что делается?.. Сквозь

¹ ОРПС — Общий рабочий профессиональный союз.

игольное ушко придется нам протискиваться, чтобы газета снова вышла.

— Все сделаем для этого, Дедушка...

После смерти Костадина отец тяжело заболел. У него не было сил подняться с постели. Лежа, он сквозь маленькое оконце пристально глядел на калитку.

Георгий приводил врачей, доставал дорогие лекарства. По утрам он торопился в клуб. Неустанно колесил по стране. Война кончилась, мир заключен, но все ощущали приближение новой бури.

Вечером, возвращаясь усталый домой, Димитров садился у постели отца. Сжимая горячей ладонью его руку, больной из последних сил спрашивал:

— Неужели народ будет еще гибнуть?..

— Буржуазия ненасытна, отец. Она жаждет отхватить побольше денег, побольше земель, побольше рынков.

— Побольше... Побольше...— Отец впиался костлявыми пальцами в руку сына.

— Только крепкий союз балканских народов может остановить войну. Только в этом спасение!

— Может, в этом и есть спасение, но надо, чтобы люди поняли это...— прошептал отец.

Несколько дней спустя состояние Димитра ухудшилось. Парашкева снова оказалась одна. Больной уже был не в силах говорить. Она села на край кровати и взяла его горячую руку.

— Георгий...— едва слышно прошептал Димитр.

— Он скоро придет,— сказала Парашкева.— Вот он уже идет...— Она указала рукой на калитку, хотя там никого не было.

Она глядела мужу в глаза, а они угасали; сжимала его руки, а они холодели.

Поздно вечером, когда Георгий вернулся домой, букетики красной герани окружали мертвый лик его отца, уже лежавшего в гробу.

— Мама, пойдй ляг!.. Я останусь с отцом,— настаивал сын.

— Нет! Нет!— воспротивилась Парашкева.— Мое место здесь, рядом с ним. А ты ложись. Тебе нужно набраться сил. Твой путь еще долог.

Она встала, пошатываясь, над гробом. Георгий обнял ее за плечи.

— Вот карандаш, возьми его и отметь там...— сказала Парашкева, протягивая ему карандаш, и снова села возле умершего мужа.

На оконной раме был отмечен день, когда был убит Костадин. Под этой датой Димитров написал: «5 июня 1913 года».

Во дворе соседей пропел петух.

— Мама!— Димитров стал перед ней на колени и уткнулся лицом ей в подол, как делал это в детстве. Он тяжело дышал. С трудом заглатывал воздух. Как мучительно хотелось ему, чтобы смерть Костадина была только страшным сном и отец его был по-прежнему жив! Он не позволит ему больше притрагиваться к игле, чтобы чинить старые шапки.— Мама...

— Говори, Георгий...

— Ты всегда меня понимала... И отец мне простит...— прошептал он, зарываясь лицом ей в колени. Потом поднял голову и встал.

Мать озадаченно глядела на него.

Димитров отошел к окну, где Парашкева повесила портретик Костадина. Умные, дерзкие глаза убитого брата смотрели прямо на него.

— Мама, а не согрешу ли я, если поработаю сейчас? У меня неотложное дело.

— Работай, Георгий... Работа во имя человечности — это не грех...

— Спасибо, мама...— сказал он и направился в верхнюю комнату.

Сев за стол, он развернул большой сверток с материалами, который принес из клуба.

Перед глазами его стояло восковое лицо отца. Он чувствовал, как огонь обжигает ему горло и начинают болезненно зудеть веки. Он поспешно написал на чистом листке: *«Эксплуатация рабочего класса»*.

Утром ему надо было передать готовую статью в редакцию газеты «Рабочнически вестник». Он склонился над столом. Мучительно прожитые дни и годы его отцом — ремесленником Димитром Михайловым, да и всеми остальными, кто месил грязь Ючбунара и заполнял свои легкие густыми облаками уличной пыли, были убедительным примером тяжелой жизни. Об этом же кричали цифры и факты, собранные в Софии и Пловдиве, в Пернике, Варне, Русе, по всей стране. Имена фабрикантов и торговцев, банкиров... Тысячи участвовавших в стачках, сотни изувеченных машинами, голодом и болезнями — вот она, жестокая эксплуатация рабочего класса!

Когда Димитров поднял голову и собрал исписанные листки, над Софией уже сиял дневной свет. Он зашел к матери. Она все еще сидела возле мертвого отца, сжимая края его белого гроба.

— Мама! — окликнул ее Георгий.

Парашкева обернулась. Ее ввалившиеся глаза, исполненные глубокой скорби, были сухими.

— Нет нашего Костадинчо... И отец твой тоже навсегда покинул нас... Николчо погибает в сибирской вьюжной неволе...— Голос ее был тихим и ровным.— Всю ночь я думала... Много думала... И с мертвыми словно разговаривала... Почему бог наказывает нас — бедняков? Что плохого мы ему сделали? Вот вы требуете хлеба и солнца для людей, а вас преследуют, как грешников, избивают в участках. За что же это?

Парашкева умолкла и долго приглядывалась к темным кругам под глазами сына. Новый прилив жалости наполнил ее душу. Какой тяжелый путь уже прошел он!

— Георгий...— прошептала она.— По большой крутизне идешь, сынок. Если остановишься, себя погубишь... Поэтому иди!.. Иди!..

В эту минуту ей так сильно захотелось погладить его кудрявые волосы, прикоснуться ладонями к его щекам, согреть его, приласкать, но она видела сына таким высоким и сильным, что ей стало стыдно.

В окнах соседей на противоположной стороне улицы затрепетали первые лучи нового дня.

ДЕНЬ ПОВЛИ БЯБОЧЕК



Фердинанд стоял у окна и, приподняв краешек шелковой портьеры, пристально смотрел на безлюдный в этот ранний час сад. В последнее время он все чаще уединялся. Не мог выносить ничьих голосов, ненавидел сочувственные улыбки, его выводили из себя лицемерные поклоны. Даже собственных сыновей и дочерей едва терпел. Обзывал их кошками, букашками, а в присутствии престолонаследника становился раздражительным и сторонился его.

Больше всего его угнетали вести с фронта, и в голове непрестанно роились мрачные мысли. И этой ночью он не обрел покоя, хотя проглотил целую горсть лекарств. Его измучили преследовавшие всю ночь кошмары — то за ним гнались красные драконы, то он погружался в ледяную пучину и просыпался весь в холодном поту.

«А не вызвать ли на доклад начальника штаба? — подумал он. — Ну а что радостного, утешительного может тот мне предложить? Ничего!» Фердинанд уже и сам видел несчастливый конец войны. Знал все о солдатах, погибавших на фронте от голода и холеры, от пуль. Знал о солдатских бунтах и о женских волнениях. В одном только не был уверен — насколько точно выполняется его категорическое предписание: за измену отечеству — пуля!

Он отдернул портьеру, и в спальню хлынул яркий дневной свет. Увидев свое отражение в венском зеркале, он не поверил своим глазам. Перед ним стоял старик с мешками под усталыми глазами и с побелевшими губами. Он слегка повернулся и посмотрел на себя в профиль, и у него вызвал отвращение его собственный нос, непомерно заострившийся и горбатый, словно ястребиный клюв. Неужели это царь болгар? Его правая рука подрагивала, и он сжал ее в кулак. Сильный нервный тик откинул назад левую. Он сунул обе в глубокие карманы. Пусть теперь дрожат там. Фердинанд повернулся к зеркалу спиной и решил непременно сделать массаж лица, а затем масляный компресс! Он снова подошел к окну.

И снова его мысли вернулись к начальнику генерального штаба. Что радостного сказал бы ему тот? Отступление!.. Поражение!.. Выразил сочувствие и оправдание!.. Старался бы свалить вину с больной головы на здоровую? И осторожно, издали готовил для него к приближающейся катастрофе Болгарии.

Фердинанд почувствовал сильное желание покинуть дворец. Из его груди вырвался вздох, напоминающий скорее стон. Хорошо было бы на час, а то и на весь день убежать от придворных, которые липнут к нему, от всех этих тайных и явных советников. До чего же надоели, опротивели ему эти болгарские ничтожества!

— Герр!.. — нервно крикнул он своему камердинеру-немцу.

— К вашим услугам, мой царь! — Немец стоял уже на пороге, выткнувшись, как струна, в безукоризненно отглаженной одежде, сия-

ющий чистотой. Мишура на его ливрее поблескивала при каждом его движении.

— Автомобиль!

— Да, мой царь! — Камердинер сделал плавный жест рукой, при котором показались манжеты с золотыми запонками — подарок Фердинанда.

По всему было видно, что день будет необыкновенно хорошим. Соблазнительно очерчивался нежно-фиолетовый силуэт Витоши. На высоком небе трепетали розовато-белые отблески солнечных лучей. Фердинанд, откинув голову на спинку сиденья, жадно вбирал в себя сладостную горную прохладу. Машина остановилась. Он снял шляпу, расстегнул рубаху и пешком отправился напрямик через отлогие горнобанские луга.

Нигде не было ни души.

Царь шел быстро, сминая покрытую росой траву, доходившую ему до колен. Опьяненный свежим воздухом, он тихонько напевал песенку о Лорелее. За ним как тень следовали трусцой адъютант, немец-камердинер, охрана. Вспугнутые куропатки с криком вылетали из зарослей кустарников.

Царь запыхался и остановился.

— Сачок! — шепнул он со счастливым видом.

Адъютант подал ему сачок для ловли летающих насекомых. Царь снова пустился бегом вперед. Над лугами носились стайки пестрых бабочек. Он погнался было за голубой бабочкой, но тут другая — с бледно-розовыми крылышками — привлекала его внимание. Потом его соблазнила третья — вся в бледно-зеленых крапинках.

Царь гонялся за бабочками до полного изнеможения — раздетый, с вылезшей из-под пояса сорочкой. Засучив рукава, красный, запыхавшийся, потный, он яростно хлопал сачком, накрывая им эти прелестные хрупкие существа.

— Адъютант! — раздался вдруг его голос.

Адъютант тотчас же подбежал к нему и подал ему янтарную коробочку, и царь осторожно положил на выстланное бархатом дно пойманную бабочку, судорожно трепетавшую крылышками. Он боялся повредить золотистую пыльцу на ее крылышках.

Когда бабочка утихомирилась, он все так же осторожно проколол ее булавкой. Это было его страстью. Долгая практика позволила ему обнаружить единственное место в теле летающих красавиц, куда зонзив булавку, он достигал ее мгновенной смерти.

— Ну, как? — весело спросил царь.

— Жива еще... — сказал адъютант, сжимая коробочку, где корчилась в предсмертной агонии большая голубая бабочка.

— О, майн гот! Она еще жива?!

— К сожалению, мой царь... — отозвался камердинер.

В эту минуту внимание Фердинанда привлекли двое мужчин, спокойно шагавшие по тропинке в сторону села Горна Баня. В одном из них царь вдруг узнал Георгия Димитрова. Узнал его по буйно вьющимся волосам, развеваемым ветром, по целеустремленным широким взмахам правой руки.

— Ваше величество... Это известные социалисты — Димитров и Темелко Нен... — выступив вперед, сообщил адъютант.
— Знаю, — сердито прервал его царь.
— Ваше величество...
— Сегодня же проверьте, почему мне давно уже не докладывают о деятельности этого Димитрова.

— Непременно...
— Виновных привлечь к ответственности!
— Непременно...

Распахнутая на груди белая рубаша Димитрова словно магнит притягивала к себе глаза царя. И снова появился тот нервный тик — сперва в одной руке, а через секунду в другой. Он сжимал сачок, а тот трясся, отскакивал.

— Негодяи! Публичный расстрел! Виселица! — кричал он в адрес своих помощников и как безумный, с необъяснимым ожесточением топтал цветущие травы. Повернувшись спиной к Димитрову и Темелко Ненкову, он снова погнался за бабочками, следом за ним бежали адъютант и камердинер.

Царь спустился в неглубокую ложбинку, укрылся от глаз обоих социалистов и сумел прихлопнуть сачком маленькую бабочку. Оторвал у нее крылья и бросил ее в траву.

Не везло ему в этот день.

— Ваше величество... Не желаете ли вы перекусить? — робко предложил адъютант.

— Нет! — крикнул Фердинанд. — Автомобиль!

Адъютант поднял руку к стороне дороги, где стояла машина, и подал знак шоферу. Лимузин въехал на луг и остановился возле царя.

— Во дворец!

Всю дорогу до Софии Фердинанд не произнес ни слова. Молчали и адъютант, и камердинер. Старческая, изборожденная морщинами кожа на его лице потемнела от ярости. Он так и не обрел спокойствия, которое искал на лоне природы. Яркие краски уже не радовали его. Он стал глух к звонкому пению дроздов и соловьев. Один лишь внутренний диалог, который, в сущности, был эхом недавнего разговора, завладел его мыслями. И он вдруг пришел к выводу, что его первый тайный советник прав! Жизнь доказывала, что Фердинанд павлиньим пером нежно поглаживает социалистов. Да, этот тайный советник обладает очень тонким и находчивым умом. У царя болгар должна быть крепкая, железная рука.

Фердинанд уединился в своей спальне. Адъютант остался в соседней комнате. Прислонился спиной к стене и превратился в безмолвную статую. Не получив никаких распоряжений, он не посмел отдалиться от дверей спальни. Вскоре до него донесся прерывающийся гневный голос царя:

— Вызовите министра внутренних дел! Необходим исчерпывающий доклад о Георгии Димитрове!

Адъютант щелкнул каблукками и, отвесив глубокий поклон, отправился выполнять приказ.

Фердинанд отказался обедать и оставил придворных в тревоге. Он лег ничком на покрывало из брюссельских кружев и сразу же заснул. Он

спал, не просыпаясь, несколько часов. Его разбудили ровно в пять, и он отправился в кабинет. Там его уже ждал министр внутренних дел. Фердинанд не поздоровался с ним, не предложил ему сесть. Сам опустился в глубокое кресло и сухо сказал:

— Слушаю вас!

Горячие струйки потекли по широкой спине министра. Фрак его был совсем новым, еще не приладившимся к телу. Крахмальная манишка стягивала его толстую шею, и он вдруг почувствовал, что задыхается. Времени для подготовки доклада у него было очень мало. Он сам чувствовал его неполноту. Стоя перед царем, он не смел сделать ни одного лишнего движения. Лишь изредка ему удавалось переступить украдкой с ноги на ногу, слегка перемещая тяжесть своего грузного тела. Он читал доклад слабым, глухим голосом, держа его текст на расстоянии пяди от глаз.

— Громче! — с нескрываемой злостью приказал Фердинанд.

— Георгий Димитров является одним из самых выдающихся социал-демократов...

— Ничего нового! — грубо прервал его Фердинанд.

— В Народном собрании и в прессе высказывается против государственной власти. Не шадит и вас. Он считает и эту войну катастрофой для всей Болгарии. Подстрекает народ...

Фердинанд встал. Он был на целую голову выше министра. Наклонившись над ним, он вонзил ему в лицо взгляд своих бесцветных холодных глаз.

— А полиция ваша дремлет? Или смирилась?!

— Ваше величество, мы за ним повсюду по пятам...

— Знаю...

У министра перехватило дыхание, мысли перепутались... Он долго молчал.

— Да продолжай же свой доклад!

— Вот выдержки из протокола заседания Народного собрания... Они лучше всего характеризуют личность. На трибуне Димитров. Забудьте, какой у него язык: «Прошу вас, господин министр, наберитесь терпения, и вы увидите, что происходит в этой могиле для рабочих и для населения, живущего вокруг Перникской шахты».

«Для тебя все шахты — могилы».

«Да, у нас они действительно могилы! Но эта — особенно страшная могила, и от нее государство рассчитывает получить пятимиллионный доход. А расходует на нее только два миллиона левов! Ведь это чудовищная эксплуатация человеческого труда!» Читать еще, ваше величество? — спросил министр, потому что в пересохшем горле у него сильно запершило.

— Да! — сказал, повернувшись к нему спиной, Фердинанд, увлеченный воспоминаниями. Безвозвратно ушли времена пятимиллионных доходов. Тогда и он был счастлив...

— Вот эпизод другого заседания, ваше величество... Снова на трибуне Димитров. «Министерство находит возможным отпускать определенные суммы Перникской церкви, но в церкви этой, поверьте мне, никому, кто работает в перникских шахтах, нет никакой надобности... Это не поддающийся никакому описанию цинизм! Это издевательство над бездомными шахтерами...» И еще, ваше величество... — Каждый раз

перед прочтением министр отвечивал низкий поклон царской спине.— «...А что делает государство?»

Я, господа народные представители, на этот вопрос отвечаю: пока оно еще не сделало ничего!.. Вот почему мы предлагаем дополнить бюджет министерства торговли специальным кредитом в два миллиона левов, предназначенным для материальной помощи безработным болгарам и их семьям... Если вы отвергнете это предложение, ответственность за все последствия ляжет на вас...

Требуемое нами — это как раз то, что вы, ваши партии и ваше государство, уворовали у рабочего класса, у народных масс».

Фердинанд стоял у камина. На его выступе были расставлены хрустальные амфоры, наполненные драгоценностями. Время от времени он вынимал оттуда полные пригоршни золотых перстней, браслетов, алмазов, сапфиров, рубинов. Горстями загребал дамские брошки, ожерелья. В его утомленном сознании мелькали картины венского леса, отцовское имение...

Он завел граммофон, но музыка Штрауса не могла заглушить голоса Димитрова. Помутившийся взгляд Фердинанда остановился на министре.

— О, вы еще здесь, господин министр!..

— Здесь, ваше величество... Вы, наверное, уже устали...

— Нет! — Фердинанд вдруг весь затрясся от нервной спазмы.— Читай!

— Димитров, как и вся его партия, против войны, которую ведет наш героический народ,— тонким голосом робко заговорил министр.— Поэтому позволю себе прочитать вам еще одну выдержку из протоколов и тогда сделаю вывод. Ваше величество, напоминаю вам о кредите в пять миллионов левов, который просило правительство. Господин Радославов внес тогда предложение. Он сказал: «Во имя народного счастья и национальных идеалов под скипетром его величества мы будем следовать уже предначертанной политике, ибо единственно она гарантирует будущее Болгарии и счастье нации...»

«Ваше счастье — да, господин Радославов! Но вовсе не счастье народа, от имени которого вы говорите!» — прервал его Димитров». Какая наглость!.. — вздохнув, сказал министр и продолжал читать: — «Идеалы отечества должны быть выше интересов личных,— возразил ему господин Радославов,— особенно теперь, когда нация наша переживает решающий момент... Мы должны расширить границы нашей родины и достигнуть ее полного объединения, даже если для этого потребуется отдать свою жизнь...»

«Только не свою жизнь, господин председатель, а жизнь народа отдадите вы...» — снова встрял Димитров, а Радославов продолжал:

«Мы не остановимся ни перед чем, чтобы обеспечить счастье будущим поколениям по крайней мере на тысячу лет...»

— О, майн гот!.. — воскликнул Фердинанд, рассматривая с нескрываемым удовольствием миниатюрные золотые оленьи рога.— Вот самое лучшее золото, господин министр... Читай, читай!..

— «Лучше подумайте о нынешних поколениях, которые живут в крайней нужде и вырождаются, чем думать о будущих поколениях и гоняться за химерами...» — заявил Димитров».

— О, майн гот! — снова воскликнул Фердинанд и громко рассмеялся. Он весь трясся. И хотя инцидент этот, происшедший на заседа-

нии Народного собрания, давно был ему известен, он снова переживал его.

— А вот и конец его речи: «Кредиты, за которые вы призываете голодовать, еще больше закабалят народ, обрекут его на еще большую нищету!.. Вы готовите новую войну, господин Радославов!.. Вы скрываете это от болгарского народа... Сбросьте свои маски, господа!..»

У Фердинанда тряслись плечи. Он подошел к окну и прижался к стеклу лбом. В кабинете стояла тишина, а он снова слышал слова Димитрова, которые почему-то переплетались с теми страшными сводками, которые ежедневно приходили с фронта. Когда Фердинанд успокоился и снова вернулся к камину, министр, собравшись с силами, сказал тихо:

— Всю войну Георгий Димитров ездил по городам и селам и настраивал людей против войны. Бывал он и на фронте, разговаривал с солдатами и опять-таки настраивал их против войны. А мы его терпим...

— Вы терпите!.. — крикнул царь и, вытащив из амфоры руку, украшенную золотыми подвесками, замахнулся ею на министра.

— Я...

— Вы докладываете мне о том, о чем знает вся Болгария!

— Ваше величество... Вы не знаете партии социалистов-тесняков... Другими сведениями мы не располагаем.

— Бездари! Вы заслуживаете публичного расстрела!

— Но теперь... — Новый фрак министра внутренних дел затрепетал. — Теперь пришло время! Произошел незначительный инцидент между Димитровым и одним из наших полковников. На Великотырновском вокзале этот социалист-тесняк подстрекал нижние чины к неповиновению их начальникам... И мы... То есть я — уже готов...

Фердинанд подошел к министру.

— Действуйте строго! Если можно, то и без закона!.. — В его белесых глазах блеснули искорки удовлетворенности.

— Понимаю вас отлично, ваше величество. Опасаюсь лишь одного...

— О, майн гот!

— Народа, мой царь...

— Вы?! — Изборожденное морщинами лицо Фердинанда стало лиловосиним. Он хотел сказать еще что-то по-болгарски, но не смог. Он задышался от гнева, и из его искривленных губ вылетали непонятные немецкие слова.

Отвесив глубокий — до самого пола, покрытого персидским ковром, — поклон, министр внутренних дел вышел, пятясь, из царского кабинета.

Оставшись один, Фердинанд стал рассказывать от окна до венского зеркала, разглядывая его раму из розового итальянского мрамора, потом громко сказал себе:

— Сегодня не пятница и не тринадцатое число... — Он быстро пересчитал хрустальные амфоры — их было четырнадцать — и мгновенно успокоился. Ощувив вдруг страшный голод, он позвал своего адъютанта.

— Вы голодны, сударь? — спросил он его.

— Да ваше величество, — ответил, растерявшись, офицер, хотя вовсе не испытывал голода.

— Вам нравятся жареные фазаны, приготовленные моим поваром?

— Да, ваше величество...

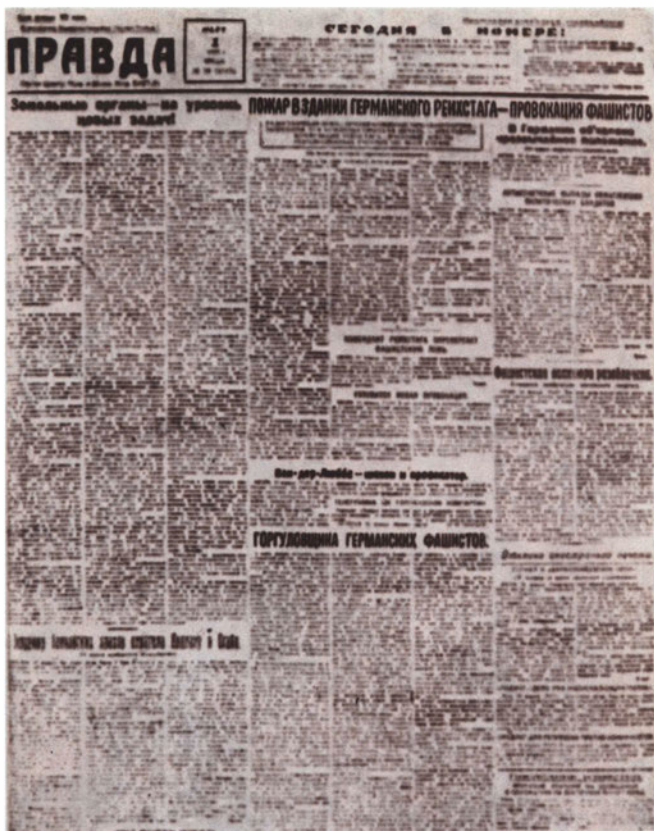
— Особенно с майонезом?

— Да, ваше величество...



Демонстрация протеста перед зданием немецкой миссии.
Нью-Йорк, 1933 г.

Антифашистский митинг в зале Ваграм.
Париж, сентябрь 1933 г.



Первая страница газеты «Правда»
от 1 марта 1933 года
с сообщением
о провокационном поджоге фашистами
рейхстага.

— Обожаю это блюдо. До свидания, сударь! — Фердинанд направился в столовую.

В этот вечер он ел с большим аппетитом. Повар, занимающийся приготовлением специальных блюд, подал ему редкостную закуску — ассорти из грибов, раков и икры. К ним добавил настоящие португальские устрицы. Был еще жареный фазан и бургундское вино. Но царь отказался от десерта, и у встревоженного этим обстоятельством повара сильно разболелась голова.

ПОД СЕНЬЮ ПОРТРЕТА

Ц х разделяла частая решетка, окрашенная в коричневато-черный цвет. В их распоряжении было десять коротких минут, а сказать друг другу надо было так много! Надзиратель — крупный седой мужчина в больших очках в роговой оправе — настойчиво разглядывал Любу. Внимательно прислушивался он и к их разговору, но то ли потому, что тринадцать лет назад пуля прошила ему ухо и он плохо слышал, то ли из каких-то чисто человеческих побуждений он ни разу не вмешался в него.

— С мамой все хорошо. Дома все постоянно думают о тебе, шлют много приветов. А знаешь, сколько цветов у нас расцвело в саду... На Южном фронте произошел большой прорыв. Солдаты отступают... Бунтуют. Во главе их стоит наш офицер — социалист-тесняк. — Люба подождала, пока надзиратель немного отдалится, и торопливо зашептала: — Они заняли Кюстендил. Вторглись в Главную квартиру. Арестовали офицеров генерального штаба... — Она осеклась, задохнувшись от волнения.

От надзирателя ее отделял всего лишь шаг. Его зрачки за толстыми стеклами очков казались непомерно большими.

— Они направляются к Софии... Кобург¹ просил Стамболийского поехать на фронт... Чтобы усмирить... — чуть слышно сказала она.

Лицо Димитрова засияло. Не было ли это началом чего-то большого? Большое начало? Эта мысль возникла у него, скорее, как вожденная мечта, но быстро угасла. Большое начало! А готовы ли они к нему? Он взглянул на решетку, отделявшую его от воли, от Любы, от товарищей, и тяжело вздохнул.

Надзиратель вынул карманные часы и поднес поближе к глазам. Время истекло. Он помедлил немного и сказал:

— Ну, хватит!

— Мама испекла тебе лепешку. Очень вкусная. Восставшие солдаты объявили Болгарию республикой. Руководит ими Райко Даскалов. Сражаются они в ущелье возле Влада. Даже у нас слышится грохот стрельбы...

¹ Болгарский царь.

Димитров долго вглядывался в глаза Любы. Сражаются в ущелье!..
— Юнкера напали возле Сахарного завода на поезд, в котором находилось пятьсот раненых и больных... Убили их всех до единого... Александровский мост был устан мертвыми телами.

Добьются ли успеха восставшие солдаты? Не было ли так же и с большевиками? Перед Димитровым, казалось, простерлась русская степь, и он видел смешанный с грязью растоптанный снег... Навстречу ледяным вихрям шли солдаты, бросившие фронт,— голодные, босые, разгневанные! И решительные!

— Люба, зайди к Деду!

— Он сам хотел прийти к тебе, но его не пустили... Ждет разрешения министерства. Ему обещают...

— Зайди сегодня же! Мне надо знать, что он думает об этом! — На побледневшем лице Димитрова мелькнула тревожная тень.— Сегодня же!

— Непременно... Со всей страны приходят письма и телеграммы. С протестом против вынесенного тебе приговора...

— Да...— рассеянно молвил он.

— Жорж, я не могу этому поверить... Три года без тебя... Это страшно...

Димитров печально улыбнулся. Казалось, он только сейчас заметил расстроенное лицо жены, невысказанные мысли в ее больших глазах. Чувство жалости к ней вызвало острую боль в сердце. Так дорога была ему его Люба. Настоящая героиня! Сколько арестов вытерпела она из-за него! Сколько страданий! А он не может сказать ей о себе ничего обнадеживающего.

— К сожалению, приговор Русенского военно-полевого суда категоричен, Люба. Три года строгого тюремного заключения за подстрекательство военнослужащих против их начальства. Какая гнусность! Но ты ведь сама знаешь! Иначе и быть не могло!

— Я все понимаю...

Давая выход охватившему его гневу, Димитров с силой протиснул пальцы в отверстия железной решетки. Перед ним снова возник этот солдат — хилый, тонкий, как стебелек травы. Он просил о помощи... Великотырновский вокзал кишел заплаканными женщинами и отпускниками, отправлявшимися на фронт. У этого солдата было ранено колено. За время отпуска оно так и не зажило. Он не мог ступить на эту ногу и шатался, как надломленный, а должен был ехать сражаться... Димитров помог ему пробраться через толчею и посадил его к себе в купе вагона первого класса, потому что остальные вагоны были переполнены и люди висели на ступеньках. В купе вошел полковник — небольшого роста, полноватый, с красивыми голубыми, как небо, глазами. Он взглянул на солдата, усмехнулся и вдруг, грубо заорав, выгнал его из купе. Димитров заступился за него. Суд квалифицировал это заступничество как подстрекательство к бунту, и вот он снова оказался в тюрьме.

— Приближаются трудные дни, Люба!

— Знаю, Жорж... Мне так страшно без тебя...

— Мужайся, милая! Ведь и после самой долгой ночи наступает день.

— Солнечный... радостный,— продолжила Люба его мысль. Нежная улыбка углубила ямочку на ее щеке. Глаза ее заискрились еще больше, наполняя сердце Димитрова любовью.

— Ах ты моя смелая и славная поэтесса! Я всегда верил в тебя.
— Я сказал вам, что время уже истекло! Не ясно, что ли? — строго обратился к Любе надзиратель и поднес к ее глазам часы.

— Ясно, господин надзиратель. Пожалуйста, передайте ему лепешку и эти цветы, — попросила она.

Надзиратель не выдержал. Ласковые глаза Любы заделали одну из струн его души, которую он давно считал мертвой. Давно! Еще когда он бежал во время Илинденского восстания и турки их настигли и устроили резню. Зарубили тогда саблями и его Марию... У него на глазах! Он оцепенел от ужаса. Он был бессилен помочь ей. И сразу же ему стал немиглый белый свет. С тех пор жил он как во сне. Жил только ради детей.

И откуда только взялась эта женщина сегодня! Он впился глазами в Любу и протянул руку за цветами. Прощупал их — все же надо было думать и о куске хлеба. Он вторично осматрел букет. Цветы как цветы, завернуты в кусок газеты.

— Хорошо, — нерешительно сказал он, открыл ключом решетку и подал цветы заключенному.

— И лепешку, господин надзиратель...

Надзиратель встряхнул белую домотканую салфетку, в которую была завернута теплая лепешка. Разломил лепешку пополам, чтобы проверить, не спрятано ли в ней что-нибудь внутри, понюхал ее и передал Димитрову.

— Жорж...

— Идите, — сказал надзиратель, обессиленный от мучительных воспоминаний и вспыхнувшего в нем вдруг теплого чувства к этой женщине. — Благодарю тебя... — Димитров помахал Любе на прощание хризантемами и долго глядел на дверь, в которую она вышла.

Вместе с терпкой свежестью цветов он почувствовал сладкий запах лепешки, к которой прикасались руки его матери.

Его отвели обратно в камеру. Оставшись один, он прижал к груди белые хризантемы и долго с жадностью вдыхал их упоительный аромат. Потом взял кусок газеты — это был «Работнически вестник», в который Люба завернула букет, положил на колено, разгладил его ладонью и стал поспешно читать:

«Поднимайся, борец! Собери в кулак свою волю, напряги мышцы, будь тверд как сталь! Протяни руку своему брату по участи, и пусть в ваших глазах вспыхнет пламя пролетарской борьбы за социализм! Это призыв международной социалистической революции, в которую мы вступаем!»

Наступила ночь, а Георгий Димитров, стоя у окна, продолжал сжимать в руке газету. В это мятежное время он не думал о сне. Он весь превратился в слух и ждал, что услышит грохот пушек со стороны ущелья, увидит сверкание ружейных выстрелов, почувствует, как сотрясает воздух боевые команды и песни.

Но не было слышно ни боевых команд, ни песен, ни грохота выстрелов. Глубокая тишина окутала тюрьму и маленькие домики вокруг, притаившиеся за густой листвой кустов сирени, словно гнезда куропаток. И все же возбужденный и взволнованный Димитров с трепетом ждал... Заметив большую яркую звезду, пробившуюся между двумя облаками, он долго глядел на нее.

Несколько дней спустя в камеру к нему пришел надзиратель, держа под мышкой какой-то пакет.

— Вот тебе для подкрепления души,— сказал он и, положив его на стол, принялся распаковывать.

Связывавшая пакет конопляная веревка была стянута в тугой узел, с которым толстые пальцы надзирателя никак не могли справиться. Наконец ему все же удалось развязать узел. Когда он развернул упаковку из толстой оберточной бумаги, показался портрет только что вступившего на престол царя Бориса.

— Не желаю никаких украшений! — резко заявил Димитров.

— А ты погромче говори,— крикнул пожилой надзиратель, показывая на свое оглохшее ухо.

— Я не желаю никаких украшений! — повторил Димитров.

— Теперь понял... Так можно поступать, когда ты у себя дома, а тут место государственное,— добродушно ответил надзиратель.

— Это же издевательство над человеком! Передайте вашему начальству мой протест!

Надзиратель вынул из кармана молоток и большой гвоздь, встал на стул и повесил на стене портрет. Оглядел его, покачал головой и осторожно протер стекло рукавом.

— Это распоряжение распространяется на всех,— сочувственно заговорил он.— А ты меня послушай, я-то ведь постарше тебя... Не поднимай руку на царя! Не лезь на рожон против тех, кто владеет большими богатствами. Рожон может быть раскаленным, и ты обожжешься. С отцом что было то было. Теперь молодой царь поправит дела.

Не сказав больше ни слова, надзиратель ушел.

Димитров попытался вытащить из стены гвоздь и снять портрет, но не смог. Он опустился на соломенный тюфяк и задумался. А может, это провокация? Если все именно так задумано, до чего ж это мелко... А может, они просто хотят таким образом воздействовать на нервы заключенных? Вероятнее всего. Он остановил взгляд на портрете.

Снимок был старый. Под ним еще стояла подпись: «Князь Борис Тырновский, произведенный за боевое отличие в чин майора». На смуглом лице царя-майора четко выделялись густые черные усы. Глаза его были слегка прищурены, что немного смягчало их надменный взгляд. На груди красовались ордена и кресты за храбрость. Он был сфотографирован на фоне безжизненного скалистого пейзажа у Добро Поле.

Димитров с усмешкой вспомнил слова надзирателя: «Молодой царь поправит дела».

Однажды утром Димитрова вызвали в канцелярию тюрьмы. Было еще очень рано. Кое-где в камерах слышался приглушенный разговор и постукивание деревянных подошв. Сам начальник, широко улыбаясь, отворил ему дверь и предложил сесть.

— Благодарю. Я постою,— сказал Димитров.

Начальник постарался скрыть минутное замешательство и снова пригласил его:

— Садитесь, прошу вас!..

Стул оставался пустым.

— Господин Димитров,— продолжал начальник,— мне приятно со-

общить вам весьма радостную новость еще до того, как вы получите официальное уведомление... Вы включены в список на частичное помилование. Лично я предложил включить вас... Лично я!..

«Вот она — развязка», — быстро смекнул Димитров. Охватившее его поначалу удивление исчезло. Было ясно: частичным помилованием власти старались прикрыть, оттянуть решение большого вопроса о всеобщей амнистии. Отвлечь от него внимание! Притупить бдительность партии!

— Я не могу принять вашего помилования! — сказал он.

— Может быть, я вас не расслышал? — изобразив на лице недоумение, спросил начальник тюрьмы. Он пришел в ужас от мысли, что ему не удастся выполнить возложенную на него министром миссию — убедить Димитрова принять помилование.

— Напротив. Вы слышали меня очень хорошо.

— Тогда, значит, я выразился не вполне точно, — не сдавалось тюремное начальство. — В таком случае это моя вина. Я вам сейчас объясню. Помилование означает, что вас освобождают от необходимости полностью отбывать срок наказания. Приговор определил вам три года строгого тюремного заключения, а вы будете полностью свободны в тот день, когда придет приказ... Я рад за вас...

— Именно этого я и не приемлю, господин начальник!

Улыбка слетела с лица начальника. Нижняя губа его беспомощно подергивалась. Димитров только теперь заметил, как велико его разочарование.

— Невероятно! Невероятно! — повторял тот. — Впервые в моей практике я сталкиваюсь с таким феноменом — это же просто невероятно!.. Но мне придется сообщить об этом господину министру...

— Если считаете необходимым. А теперь я могу вернуться к себе в камеру?

Димитров был вне себя от гнева. Это частичное помилование говорило о том, что буржуазия решила выпустить на свободу лишь нескольких заключенных, а остальные чтоб гнили в тюремных застенках. Она надеялась таким образом умиротворить взбунтовавшихся, заглушить протесты, которые сотрясали страну.

Он присел возле стола, взял лист бумаги и написал гневное письмо министру юстиции:

Я с возмущением встретил попытку частичного помилования с целью избежать или, по меньшей мере, оттянуть общую политическую или военную амнистию. — Он писал на колене. Время от времени резко поднимал голову к окошку, но не задерживал взгляда на стаях каркающих ворон, которые летали в прояснившемся декабрьском небе. Наклонялся и снова писал: — Не произвольные царские помилования, а отмена парламентом совершенных военными судами злодеяний. Не помилование, а амнистия!

В коридоре слышались тяжелые шаги, щелкнул ключ, и в камеру вошел начальник тюрьмы. Его неожиданный визит насторожил Георгия Димитрова. Начальник тюрьмы долго молча стоял у стены, потом сел на стул, а глаза его беспокойно бегали по камере.

— В этом здании, господин Димитров, пребывали многие...

— Некоторые дождались тут и своего последнего часа...

— В этом здании я встречал разных людей — были тут упрямые и

буйные головы, упорные и безрассудные личности, отрекшиеся и от всего света, и от самих себя. Но вот вас — единственного — я не могу понять... Не знаю, к кому вас причислить...

«Это что — новая провокация?» — подумал Димитров и, энергично обернувшись к тюремному начальнику, спросил:

— И вы только для того и пришли сюда, чтобы сказать мне это?

— Да... Хотя, в сущности, нет...

«Возможно, мой отказ от помилования действительно пробудил в душе тюремного начальника искреннее недоумение? А может быть, просто скука, напавшая на этого стареющего, растолстевшего человека, заставила его отправиться на поиски занятой беседы?» — продолжал размышлять Димитров, внешне оставаясь спокойным.

— Я вас не понимаю, — тихо и немного грустно сказал начальник.

— Меня? Ведь это не так уж трудно, — заговорил, прислонясь к двери, Димитров, и на лице его промелькнула насмешливая улыбка. — Но куда лучше будет, если вы поймете сто пятьдесят тысяч женщин, потерявших на войне своих сыновей и мужей. Поймите и тех сто тысяч заложников, что оторваны от семьи и родного дома. И двести пятьдесят тысяч искалеченных мужчин. Разве вы не слышите стука их костылей, господин начальник? А плача голодных?

— Да, вы правы. Это печально... Но есть нечто большее, чем отдельный человек. Смею сказать — нечто великое. Оно продиктовано национальными интересами, перед которыми все мы равны, господин Димитров. Равны, как перед богом. Земля наших предков этого требует!

— Равны!... — иронически повторил Димитров. — Скажите мне, что потерял господин Иван Евстафиев Гешов на этой войне? А генерал Рачо Петров? А семейство Буровых?

— Но это же единицы!

— Их несколько тысяч! И они держат нас — миллионы рабочих и крестьян, людей труда — в своих железных когтях. Питаемся мы крохами, которые они нам бросают. Живем из милости.

— Не будем говорить об этом! Ведь некоторых из них тоже постигло поистине большое несчастье. Имена господина Бурова в Добрудже разграблены и сожжены.

— Но золотые вклады за границей в целости и сохранности!..

— А шахты господина Губиделникова в России? Страшно даже подумать! Их захватили большевики и распоряжаются всем, как в собственном доме. Когда они ему будут возвращены, один бог знает... Из-за всех этих мучительных переживаний Губиделникова частично парализовало. Встретил его как-то на улице — ну просто живые мощи. А вы осмеливаетесь утверждать, что он ничего не потерял. Это несправедливо!

Димитров молчал. Ему больше нечего было сказать. Его собеседник поистине представлял собой сплав цинизма и политического невежества. Наверное, именно потому его и держат на этом посту. Даже его круглые невыразительные глаза, которые часто пробуждали сочувствие, сейчас вызвали отвращение. Его нижняя губа снова подергивалась.

— Тяжело, господин Димитров. Вот вы народный представитель, а не помогаете выйти из этого трудного положения... Отечество для вас должно быть на первом месте! Отечество! Закурите? — спросил он, протягивая Димитрову коробку с сигаретами.

Оба закурили и долго молчали.

— И молодому царю нелегко. Один остался, без отца и братьев. Однажды я был на станции Сараневцы и видел, как он встречал освобожденных заложников из Софийской дивизии. Едва удерживал слезы. А какую речь держал он перед ними — перед этими святыми великомучениками!

Расчувствовавшись от свежих воспоминаний, начальник тюрьмы встал и принялся рассказывать возле окошка.

— А с помилованием вы ошибаетесь, — тихо сказал он. — Примите его! Да может ли быть что-то в вашем положении лучше?

Димитров, помрачнев, продолжал молчать.

Начальник тюрьмы вышел, обеспокоенный своей неудачей. Когда шаги его заглохли, Димитров поднял железку, с помощью которой открывал окошко, и долго дышал холодным декабрьским воздухом. Потом сел, взял ручку и добавил в написанный им протест министру:

Амнистия для живых жертв войны и народный суд для виновников войны! — и долго стоял над исписанным листом бумаги.

ПОДЗЕМНАЯ ЯРМИЯ

Темелко Ненков надел поношенный полушубок, нахлобучил кепку и, выйдя на улицу, слился с густой толпой, спускавшейся к вокзалу. Приближалось время прибытия кюстендилского поезда. На одной из маленьких улочек к нему обратился шедший навстречу незнакомый молодой человек. Снежный вихрь покрыл белыми хлопьями его кудрявые волосы, он тяжело дышал, полуоткрыв рот.

— Товарищ Темелко, войска окружают вокзал, — сказал он.

— Знаю.

— Есть приказ арестовать Георгия Димитрова.

— И это знаю. Пойдем!

Темелко сжал его локоть, и они поспешно двинулись вперед.

— Они будут стрелять в него... — С тревогой сказал молодой человек, но слова его заглушил вой выюги.

Он старался не отставать, шагал широко, яростно и, содрогнувшись, снова крикнул:

— Они его убьют!

— Нет! — сказал Темелко и вдруг почувствовал, как все его тело охватил сильный жар. Ему стало душно, он снял обматывавший шею вязанный шарф и сунул его в карман.

— Ты так говоришь потому, что не знаешь коменданта... Я служил у него в части на фронте. Этот капитан злой, мстительный человек! Раз он получил приказ из Софии... — Молодой человек прижал к лицу белый овчинный воротник и долго молчал.

— А ты кто такой? — пронизывая его взглядом, спросил Темелко Ненков.

— Эка важность — кто я! С шахты, как все!

Темелко загадочно улыбнулся. Ему вдруг захотелось довериться молодому человеку и рассказать, чтобы успокоить его, какие приняты меры, но он тут же отказался от своего намерения.

— Не бойся! Все в порядке,— сказал он только, и глаза его холодно блеснули.— А как тебя зовут?

— Стамен.

— Мы огромная сила, Стамен! Запомни это!

— Знаю... Но все же как бы чего не случилось с товарищем Дмитривым!

В зимнем мраке раздавались энергичные мужские голоса. Под ногами торопливо шагавших шахтеров поскрипывал снег. Их жены, держа за руку детей, тоже спешили к вокзалу. Живой человеческий поток, устремившийся вниз, источал такую решительность, что Темелко ощущал ее не только взглядом, но и сердцем. В эти минуты он заглушал в себе тревогу, думая о трех курьерах, которых сегодня ранним утром отправил к Радомиру. Он наказал им идти разными дорогами и непременно встретить поезд, чтобы предупредить о готовящейся засаде. Будет достаточно, даже если это сумеет сделать только один из них. Но он верил, что это удастся всем трем.

Темелко сдержанно улыбался. Стамен, заметив его улыбку, взволнованно воскликнул:

— Мы огромная сила, товарищ Темелко!

Перрон и небольшая площадь рядом с ним, переполненные народом, были зажаты холодным обручем войск и полиции. Приближалась полночь. Мрак становился непроглядным. Со стороны горы Голо Бырдо то и дело налетал ледяной вихрь, со злым воем наваливался на бараки и низенькие домики, словно стараясь их раздавить, и засыпал снегом. Только добротные желтые дома возле крытого рынка не поддавались его бешеному натиску.

Темелко походил среди шахтеров, поговорил с ними, дал последние поручения. Люди пришли прямо из шахт, нетерпеливые, возбужденные. По их покрытым угольной пылью лицам, которые теперь облепил снег, стекали черные струйки. Шахтеры несли с собой кирки, короткие лопаты, ломы. Притопывая окоченевшими ногами, они бодро и весело покрикивали, шутили, словно бы февральская метель была июльским зноем. Вдруг все потонуло в черной тьме, видно, кто-то повредил освещение. Вскоре со стороны ущелья в мраке засверкали огоньки — это приближался поезд. Затем послышалось тяжелое пыхтение, пронзительные гудки паровоза. Потоки вырывающихся из его топки искр озарили своим светом ночь.

Неуловимый трепет охватил сердца людей, сделал их еще беспокойнее, взволнованнее. Военный комендант, уловив это, вынул из кобуры пистолет и нервно сжал его пальцами. Его охватило лихорадочное возбуждение. Улучив момент, когда буран немного улегся, он отдал приказ:

— Рота! Приготовиться к стрельбе!

Резко защелкали затворы ружей.

Из вагонов вышли несколько пассажиров.

Темелко вздрогнул. Холодный лязг оружия пронзил его сердце. Так они в самом деле будут стрелять! Нервная спазма сдавила ему горло. С трудом проложил он себе дорогу сквозь плотную стену человеческих

тел и выбрался в первый ряд. Напряженно вглядывался он в покрытые инеем окна вагонов, стараясь найти знакомый силуэт. А солдатские сапоги шумно топали по утрамбованному обледеневшему снегу. Кто-то последними словами поносил метель и жизнь. Детский плач и проклятия женщин наполнили ночной мрак. Темелоко огляделся. Перед ним поблескивали примкнутые к винтовкам штыки, позади темноло возбужденное, ожесточившееся шахтерское многолоудье. Кто кого пересилит — оружие или люди? Он знал, что партийные агитаторы хорошо поработали — долго и настойчиво убеждали солдат не стрелять... И все же...

— Берите винтовки! — крикнул какой-то солдат и сунул в руки Темелоко свой «манлихер».

— Обезоруживайте нас, братья! Скорее! — раздался еще чей-то голос.

— Ни один из нас не станет стрелять в Димитрова, — слышался следом за ним третий.

И произошло чудо в эту черную, морозную ночь. Шахтеры перемешались с солдатами. Они по-братски обнимались. Большие мозолистые руки шахтеров хватали добровольно отдаваемые им винтовки. С оружием в руках рабочие кинулись к вагонам. Следом за ними бросились женщины с детьми.

Ошеломленный комендант слишком поздно понял, что произошло. Его охватил ужас. Снежный вихрь сорвал с него шапку и унес ее куда-то. Комендант не выдержал и побежал, но натолкнулся на группу солдат. Его выручила темнота — они не узнали его. Он кинулся в противоположном направлении, нашел в толпе щель и панически метнулся к баракам за вокзалом.

На секунду он остановился, чтобы перевести дыхание, скрытый грудой старых ларей. С перекошенным от страха и злобы лицом, со свалившимися надо лбом волосами, он походил на обезумевшего. Он с такой силой сжимал заряженный пистолет, что у него нестерпимо заболела кисть.

От пережитого ужаса, от радости, что спасся, комендант бессознательно нажал на спусковой крючок. Одинокий выстрел напугал шахтеров и подсказал солдатам, что главный виновник скрывается где-то близко. Кто-то крикнул:

— Комендант!

И сразу же человек сто бросилось на поиски.

— Вот он! Вот он!... — наткнувшись на комендантскую шапку, завopil один из них.

— Держите продажную душу!

— У-у-у-у! Вот тут он! За бараками прячется!

Комендант с ужасом слышал эти крики, и у него лязгали зубы. Он совсем потерял рассудок. Растянувшись на снегу, он в каком-то животном страхе раздвигал головой пустые лари и заползал под них. Над ним с треском опрокидывались деревянные ящики, громыхали, падая, пустые керосиновые бидоны. Вой вьюги заглушал их грохот.

Комендант дополз до середины груды, открыл широко рот, и ледяной воздух обжег ему грудь. Прижавшись пылающим лбом к замерзшей земле, он только теперь ощутил пронизывающую боль в сердце. Пот, остывая, еще больше охлаждал его тело, темнота сгушалась, и он потерял всякое представление о времени.

Шахтеры зажгли карбидные лампочки и обыскали поезд. Стамен шел

в числе первых, высоко подняв над головой свою шахтерку. Его тень колыхалась — то исчезала, то снова появлялась. Напряженный, с горящими глазами, он перебежал из купе в купе, звал Димитрова по имени.

Но Димитрова не было и следа. Пассажиры озадаченно пожимали плечами.

Стамен побежал к паровозу. Следом за ним с мерцающими огоньками карбидных лампочек бежали десятки людей. У подножки их встретил пожилой машинист. Он улыбнулся, и на его покрытом сажей лице ярко поблескивали два ряда белых зубов. Шахтеры и солдаты окружили паровоз. Они настаивали, чтобы он пустил их обыскать локомотив.

— Все обстоит так, как надо, — загадочно произнес машинист.

— Где Георгий Димитров? — спросил Стамен и поставил ногу на подножку рядом с его ногой.

Его примеру последовали другие. В руках они крепко сжимали короткие лопаты и тяжелые metallические ломы.

Машинист спокойно вынул из кармана часы и поднес их к лампе Стамена.

— Подождите! Еще три минуты. Тогда узнаете, где он. Раньше — нет! Слово рабочего!

В эту минуту на перрон бешеным галопом примчался всадник. Из-под копыт лошади вылетали куски льда. Над телом усталого животного поднимался белый пар. Путь курьера завершился. Он был весь покрыт инеем, ресницы его обледенели, а губы совсем ооченели.

— Где Темелко? — крикнул он.

— Я тут! — ответил шахтерский вожак, схватив уздечку. — Говори! Говори! — нетерпеливо тормозил он курьера.

— Задание выполнено. Поезд остановлен у взгорья под Перником. Товарищ Димитров и Люба вышли там. Они уже в поселке. В клубе...

Машинист с довольным видом поглядел на часы. Время, необходимое для того, чтобы Димитров прибыл на место, истекло.

— Ну, всего хорошего! С победой вас, товарищи! И хорошенько берегите нашего Георгия, — сказал он, повернул рычажок, и гудок локомотива призывно и торжествующе прорезал ночной мрак.

Пять тысяч шахтеров и две тысячи солдат направились к поселку. Хотели услышать слово Георгия Димитрова. Он действительно был в клубе. Люба, трепеща от счастья и тревоги, стояла рядом с ним, пряча лицо в высоком воротнике пальто, и украдкой то и дело сжимала руку мужа. Ей так хотелось отдать ему все свое тепло.

Шахтеры и солдаты заполнили помещение клуба и улицу перед ним. Димитрову пришлось выступить под открытым небом. На крыльцо вынесли стол, и он взобрался на него.

— Товарищи! Братья по труду и борьбе! Заря свободы, вставшая над Россией, заливает своим сиянием уже всю Европу. Она дойдет и до нас. Мы уже ощущаем ее первые лучи. Они озаряют нас как яркое солнце...

Стамен, обеими руками придерживавший стол, подняв голову, не сводил глаз с Димитрова. Он казался ему каким-то необыкновенно большим и сильным. Одним движением руки он покорял их сердца и указывал им самый верный и мудрый путь.

— Вся власть Советам! — не сдержав восторга, крикнул Стамен.
— Да здравствуют Советы! — зазвучали со всех сторон хрипловатые голоса.

Послышалось пение. Грянули возгласы: «Ура!» и «Да здравствуют болгарские Советы!». Шахтеры размахивали горящими карбидными лампочками, и на фоне черной ночи шахтерский поселок превратился в звездное небо.

Димитров с любовью вглядывался в знакомые лица Темелко и Фердо, во все это огромное море взбунтовавшихся рабов. И мучительное чувство сжимало его горло, а грудь наполнялась надеждой. Слова его звучали еще решительнее, еще горячее. Он говорил об Октябрьской победе русских коммунистов, рабочего класса России, о приближающейся революции в Болгарии. Предстать перед судом народа всем виновникам войны, тем, что принесли разорение стране, голод и смерть ее народу, — веление дня!

— Наша первейшая задача — сомкнуть ряды славного горняцкого профсоюза!

Не сводя с Димитрова восторженных глаз, люди слушали его затаив дыхание, исполненные чувства преданности и веры.

Когда митинг кончился и шахтеры вернулись к себе в бараки и прогнившие вагоны на краю поселка, военный комендант выбрался из-под груды старых ларей и ящиков. Буран уже утих, и на ясном морозном небе, словно ироническая улыбка, сиял лунный серп. Комендант направился к себе в комендатуру. Шел пошатываясь, то и дело хватался за изгородь, но шел.

— Господин комендант, что с вами? — испуганно спросил вышедший ему навстречу дежурный офицер, подхватил его под мышки и усадил на стул.

— Этот сброд!.. — Едва слышный немощный голос коменданта, казалось, исходил из недр земли.

Дежурный стоял растерянный, готовый реагировать на каждый звук, на каждое его движение.

— Софию! Министерство!

Дежурный молниеносно схватил телефонную трубку и завертел скрипевшую ручку укрепленного на стене аппарата.

Им тотчас же ответили. Комендант вскочил, забыв об обмороженных ногах. Но, казалось, раскаленное железо вонзилось ему в пятки, и он, ослабев от боли, опустился на стул. Широко открыв рот и переводя дух, он кратко и отрывисто доложил:

— Георгий Димитров в Пернике! Окажите помощь! Срочно нужна помощь!

Произнеся последние слова, он почувствовал себя униженным. Перед всем поселком солдаты отвернулись от него. Отдались в руки этим, чтобы они обезоружили солдат. Какой позор! А он сам? Что станет с ним?

Помощь пришла. На рассвете Первая софийская дивизия в полной боевой готовности окружила Перник. Улицы его почернели от пехотинцев. Проносились галопом кавалеристы с саблями наголо. На пере-

крестках артиллеристы устанавливали орудия. Домики бедняков, бараки и старые вагоны, в которых ютилась, теряя силы, подземная армия, затаились в ожидании.

Арестовали Дмитрова и Любу. Схватили Темелко Ненкова и шестерых из руководства горняцкого профсоюза. К полудню забрали еще сто пятьдесят человек и отправили их в рудники на Тревненской горе. Дирекция перникских шахт издала приказ об увольнении пятисот рабочих.

Поезд с арестованным Дмитровым стоял на вокзале. Поселок, зажатый огромными снежными сугробами, оглашаемый дикими угрозами и цокотом копыт, дрожал от страха. Полицейские и солдаты устраивали облавы, вторгались в дома, рылись в сундуках с девичьим приданым, топали по чердакам, искали бастовавших шахтеров.

Стамен успел скрыться. Полицейские вошли во двор и направились уже было к дому его хозяина. Прошли мимо старого сарая, пригодного лишь для угля, а Стамен как раз в нем и жил вместе с одним железнодорожником. Когда опасность миновала, Стамен надел на себя поношенную униформу своего сожигателя, которую тот уже выбросил, нахлобучил старую засаленную фуражку и решил пройти по поселку. Хотел понять, что же такое произошло? Сердце его сжималось от дурных предчувствий.

— Куда? — остановили его на первом же перекрестке направлявшиеся куда-то несколько полицейских.

— На работу, — ответил он, сам удивляясь своему самообладанию.

— Смотри в оба! Теперь всякое бывает! — сказал, смерив его взглядом, старик полицейский и пошел дальше, подав знак остальным следовать за ним.

В глубине улицы, после того как Стамен миновал военный пост, его догнал высокий молодой солдат:

— Вчера ты тоже был в этой смене? — спросил он.

— Тоже... — соврал Стамен.

— А Георгия Дмитрова видел? — чуть слышно, шепотом спросил солдат.

— Кого?

— Георгия Дмитрова, — повторил солдат, оглядел пустую улицу и добавил: — Предводителя рабочих. И железнодорожников и шахтеров...

— Я его не знаю...

— Эх ты!.. Вся Болгария его знает!.. — Чистые голубые глаза паренька разочарованно глядели на него. — Его держат под арестом в специальном вагоне. Жаль человека! — добавил он и вернулся к своим.

Стамен пересек площадь, отдалился от солдат, а в ушах его все еще звучали укоризненные слова. Он недавно стал работать в Пернике, не знал еще людей в поселке, не имел друзей, но мысль, что необходимо что-то предпринять, не давала ему покоя. Со всей силой в нем снова пробуждался солдат, принимавший участие в прорыве фронта у Добро Поле... Тот самый, что разносил по окопам «Работнически вестник». Жил в его сердце и повстанец из Владая... Только чудом сумел он тогда спастись... В Пернике еще никто не знал, что он был там...

Стамен огляделся. Перед ним была пустынная улица. Он свернул к профсоюзному клубу. Оттуда выскочила целая ватага полицейских. Ока-

залось, что они превратили его в свой участок. Стамен стиснул зубы и быстро свернул к почте.

— Дайте мне Софию! Прошу вас, срочно! — тихо произнес он, сунув голову в крохотное оконце конторки.

— Линия занята, — ответил почтовый служащий.

Стамен вошел в аппаратную и угрожающе наклонился над служащим.

— Я хочу говорить с Центральным Комитетом социалистов-тесняков! — повелительным, не терпящим возражения шепотом произнес он.

Служащий поднял голову. Глаза их встретились. Он медленно встал, закрыл дверь в соседнюю комнату и подошел к молодому человеку.

— Товарищ, если речь идет о Георгии Димитрове...

— О нем!

— Тебя уже опередил другой.

Стамен растегнул верхнюю пуговицу железнодорожной куртки, и счастливая улыбка согнала суровое выражение с его лица.

— А ты не теряй времени! Беги на вокзал, узнай, когда отправится поезд, и прямо ко мне! И еще, — добавил почтовый служащий, — хорошо бы уехать и тебе... Уже пропали несколько...

Железнодорожная форма помогла Стамену беспрепятственно пройти на территорию вокзала. Он повесил на груди сигнальный фонарик, обогнул пакгауз, всячески избегая встречи с железнодорожниками, чтобы кто-нибудь не узнал и не выдал его. Когда он уже вполне успокоился, вдруг оказался идущий ему прямо навстречу его сокамерник:

— Стамен, что ты тут ищешь? И в моей одежке!

— Где Георгий Димитров?

— Не понимаешь, что ли? Арестован... Вон, видишь поезд, тот, что вот-вот тронется... Так он в первом вагоне.

— Монка, будь мне братом...

— Ты что! Сам знаешь, что и последним куском хлеба мы с тобой делимся...

— Беги на почту, в аппаратную! Передай: поезд уходит.

— А ты?

— Кто много знает, рано старым становится, Монка. Беги!

— Я проходил мимо дирекции. Ты там в списках на увольнение...

Стамен махнул рукой, выхватил у Монки из рук длинный молоток и поспешил к далекому тупику, где комплектовался состав, в одном из вагонов которого находился Димитров. Паровоз уже дымил, и черные кудели дыма стелились над вокзалом. Стамен наклонился у одного вагона, долго оглядывая колеса и осторожно постукивал по ним. Прошел к следующему. Возле него слонялись солдаты и офицеры. Лица у них были напряженными. Раздавались торопливые команды.

Стамен подошел к первому вагону, помешкал минуту-другую и быстро поднялся в него. Внутри было полно военных.

Поезд тронулся. В купе, где находились Димитров и его жена, сидел высокий солдат, широкоплечий, круглолицый. Он сжимал между колен винтовку и пристально глядел на арестованного. Возле Любы сидел второй солдат, и он тоже был крупный, с черными нависшими бровями. Стамен прижался к отворенной двери.

— Ты чего торчишь тут, как груша на пригорке? — зло прикрикнул на него высокий солдат.

— А почему как груша? — засмеялся Стамен. — Лучше скажи, как дуб, что останавливает буйные ветры...

Димитров вздрогнул. Поглядел ему в глаза.

— Ну что, закурим по одной, а? — предложил солдату Стамен.

— Закурим...

— Если угоднo... угостим и господина? — Стамен кивнул на Димитрова.

Круглолицый солдат робко огляделся и пожал плечами. Стамен поднес коробку сперва Димитрову, потом обоим караульным и под конец закурил сам.

— Знаю я ее, военную службу. Тяжела она! Сам три года промаялся на фронте. Вот смотрите! — Он засучил рукав куртки и показал шрам — длинный, пожалуй с целую пядь. — От шрапнели он...

Солдаты молча курили. Время от времени Стамен украдкой обменивался с Димитровым короткими взглядами. И Люба едва заметно улыбалась.

— Меня зовут Стамен. А как тебя? — обратился он к высокому солдату, сидящему возле Димитрова.

— Иван, — неохотно ответил тот.

Второй солдат молча повернул голову к окну.

— Послушай, Иван, путь в Софию долгий. Так мы что же, так и пройдем его весь, слова не сказав, будто воды в рот набрали?

— Сам видишь... На посту я...

— Так... Так... Ну, тогда я тебе буду рассказывать, а ты будешь слушать. Можно? Так легче служба проходит.

Солдат кивнул головой.

— Деда моего тоже звали Стамен, только подхватил он чахотку и рано умер — еще до того, как я родился. Приехал в Софию из Огостской долины. Из села Лопушна. Слыхал про такое? Столяром был он.

Димитров оживился, улыбнулся Любе и встал. Солдаты вскочили, испуганно глядя на него. Димитров прислонился спиной к окну и взволнованно стал вглядываться в лицо Стамена. В сознании его вспыхнуло воспоминание — умирающий столяр и снег, обогранный его кровью, хибара на окраине Софии...

Иван успокоился и сел первым.

— Стамен Столяр звали его люди, — продолжал Стамен.

— И мой отец столяр, — оживился Иван.

— А где он?

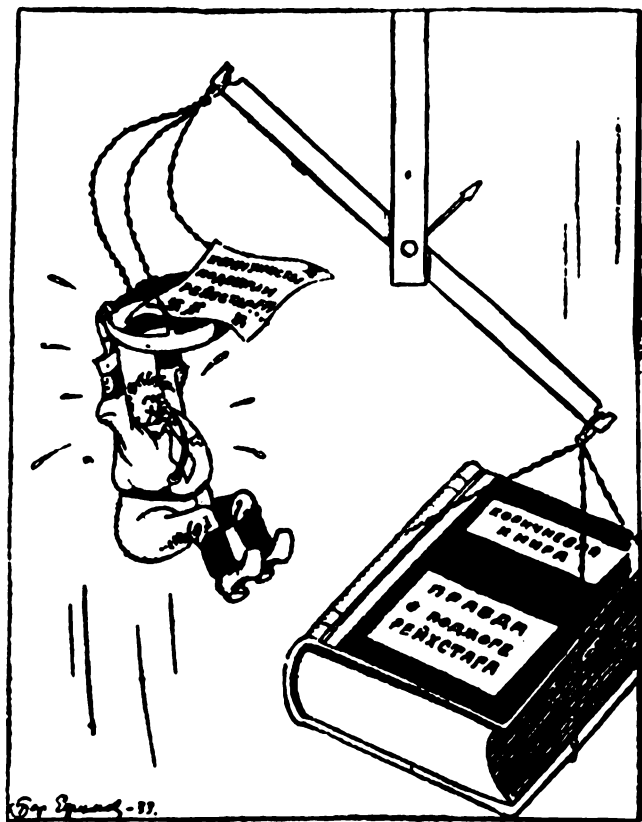
— На селе. Пасет овец старосты.

— Столяр, а стал слугой у старосты... А вот мой отец умер в Черной мечети... Приговорили его к пожизненному заключению. За правду.

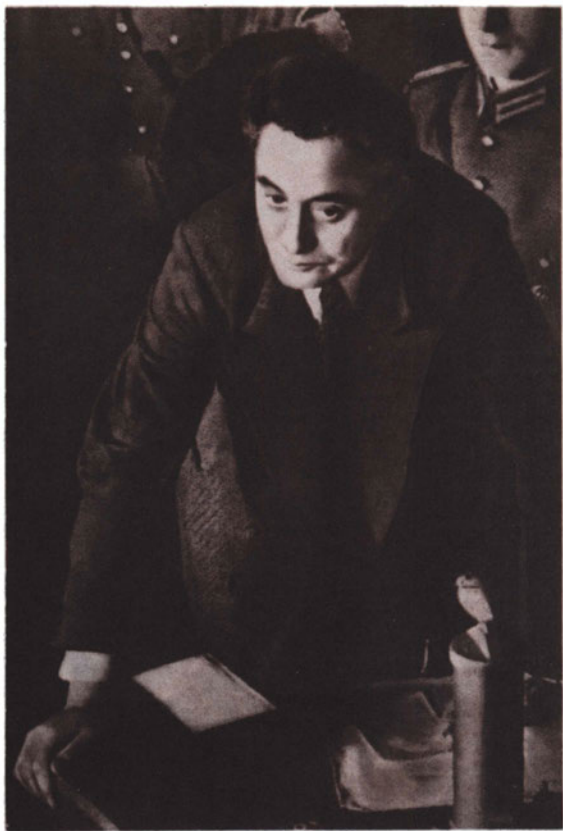
Второй солдат обернулся к Димитрову, потом к Стамену и тяжело вздохнул.

— Правда — это что-то очень большое, емкое, Иван. За нее гибнут люди. Они гибнут, а она остается!

Иван пощупал прижнутый к винтовке штык. Поезд уже въезжал в Софийский вокзал. В голове его завертелись путанные мысли — о старике отце, который медленно бредет за хозяйским стадом, с трудом переставляя больные ноги. О Черной мечети, про которую говорил Стамен...



«Взвешено!»
Карикатура художника Бор. Ефимова,
опубликованная в газете «Известия»
от 11 сентября 1933 года.



Георгий Димитров на заседании суда в Лейпциге.

Он продолжал крепко сжимать винтовку, а в груди его что-то словно надломилось, дало трещину.

Стамен выглянул в окошко и, пораженный неожиданностью и восторгом от увиденного, крикнул:

— Товарищ Димитров! Смотрите! Какая мы огромная сила!

Несколько тысяч рабочих ждали прибытия перникского поезда. И вот на платформе показался Димитров. Он стоял, придерживая за плечи Любу. За ним стоял Стамен. Плотные ряды полицейских окружили арестованных и повели их в комендатуру. Рабочие шли следом за ними. Они осадили здание вокзала, и никто из служащих не посмел высунуть наружу голову.

Тремя часами позднее сам министр, увидев это, вынужден был освободить Георгия Димитрова и Любу.

Это было восемнадцатого февраля тысяча девятьсот девятнадцатого года.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК ИЗ КСАНТИ

Поздно вечером Димитров вышел из партийного клуба и направился к Ючбунару. Он чувствовал себя очень утомленным, голова разламывалась от боли, ему так хотелось хоть часок полежать дома в постели, расслабиться, закрыть глаза.

Димитров поглядел на часы: до отправления поезда оставалось всего два часа. Он должен был по поручению Центрального Комитета выехать сегодня в Ксанти. Там, на побережье Эгейского моря, рабочие табачных складов готовились к стачке.

Забыв об усталости, он торопливо зашагал к Ополченской улице.

Высоко в небе сверкали мелкие оранжевые звезды, и майская прохлада окутывала маленькие дворы с лепящимися друг к другу убогими домишками их бедняцкого квартала. Сердце его переполнялось болью и удивлением. Тут на каждой пяди земли цвели белые левкои и красные розы. Цветы были единственной радостью ючбунарских женщин. Днем они грузили тяжелые ящики с пивом, таскали на спине мешки с мукой, прислуживали в богатых домах. А поздно вечером — вон они! — разжигали стоящие посреди дворов очаги, чтобы сварить фасолевую похлебку, стирали драную одежду, растили цветы. И нежный аромат левкоев смешивался с резким запахом стирки, со смрадом мусорных куч, громождавшихся у реки.

Димитров мучительно вздохнул и ускорил шаги, словно от его убыстренной ходьбы зависело избавление ючбунарцев от голода и нищеты.

Люба ждала у ворот, бледная от страха, не арестовали ли его — время-то ведь позднее. Но ему она не сказала ничего. Он быстро собрал свою дорожную сумку и отправился на вокзал. Незаметно пробрался вдоль неосвещенной стены товарного склада и пристроился к толпе, за-

полняющей перрон. Хотя Димитров был депутатом Народного собрания, полиция неотступно следила за ним, и его поездка была небезопасной. Люба пошла следом за ним, но догнала его уже здесь. Они нашли свободное место в последнем вагоне. Купе было душное и темное. Им оставалось быть вместе еще несколько минут, и они вышли в коридор.

— Жорж...— Люба не сводила с него глаз.

— Не беспокойся!

— Будь осторожен. Береги себя, Жорж...— прошептала она и с робкой улыбкой дала ему три белых левкоя, которые заботливо прятала до этой минуты.

Обрадованный, он ответил ей ее же стихами:

Трубу громозвучную мне дайте,
Чтоб разбудил я
Крепко спящих для наступающего дня!

— Всегда, когда ты уезжаешь...

— Знаю. Ты все время думаешь обо мне. Боишься и пишешь стихи.

Люба улыбнулась, и в лиловатом сумраке вагона он увидел, как блеснули в ее глазах набежавшие слезы.

— Не надо, милая! — Димитрову не хотелось оставлять ее плачущей.

Люба прижалась к его груди. Он почувствовал тревожные удары ее сердца. Чтобы успокоить жену, он прижался губами к ее мягким волосам и прошептал сложенные ею же строки:

Борцы нам нужны, а не плаксы!
Правде служить надо с песнею доброй!

— А я не плачу. Понимаешь? Я просто... просто волнуюсь...

— Твои стихи хороши и сильны, Люба! Я рад за тебя. И горжусь тобой! — Димитров ласково притронулся левкоями к ее губам.

Послышался звон сигнального колокола. Запоздавшие пассажиры с озабоченными лицами бежали по перрону, тащили чемоданы и тюки. Перекинулись между собой крестьянки, боясь потеряться.

К Димитрову подошел кондуктор и тихо сказал:

— Все в порядке! А вы, — обратился он к Любе, — не тревожьтесь! Товарищ Димитров в надежных руках.

Люба вышла из вагона. Разлука опечалила ее... Над паровозом взвились клубы черного дыма, и рой искр осыпал перрон. Поезд тронулся. Тяжело пыхтя, он ускорял свой бег и скоро скрылся из виду.

Люба долго стояла на опустевшем перроне и вглядывалась в темноту. Димитров расположился у окна. В купе был непроглядный мрак.

Попутчики Димитрова — несколько мужчин — непрестанно курили, и при каждой вспышке сигарет он всматривался в их лица, искал знакомые черты своих людей — рабочих, крестьян. Среди них он всегда чувствовал себя спокойно.

Поезд уносил его все дальше и дальше от Софии, и сияние ее света исчезло.

— А ты, Петр, что скажешь? — произнес вдруг хриплый мужской голос.

— Ничего.
— Так будет мой мальчик жить?
— Будет, будет...
— Слушай, Петр! Брат брату должен говорить правду.
— Будет жить,— повторил тот, кого звали Петром.— Я тебе говорю: он будет жить!

— Имей я деньги, отправил бы его за границу... В Америку даже... Может, там извлекли бы шальную пулю, что застряла у него в груди. Два года прошло, как вернулся мой мальчик с фронта, а вылечить его все никак не могут... «Папа,— говорит он мне,— что же это только для меня нет никаких способов лечения и лекарств?»

— Мальчик поправится, да только я знаю, что такой голытьбе, как мы, удачи в жизни не видать.

— Э-э нет, видать! Мой Мите так говорит. Теперь видать! Раз началось у нас... поднимемся и мы, как русские, а там уж — что сабля покажет, как сказал Ботев¹. Иначе — ложись ничком и помирай! — вступил в разговор третий крестьянин, сидевший напротив Димитрова.

В сполохах сигареты Димитров видел небольшое скуластое, изборожденное морщинами лицо. Отец Мите, видно, испугался своих смелых слов. Он беспокойно заерзал на месте, наклонился совсем близко к Димитрову и спросил:

— А твоя милость кто будет?..
— Служу на софийской почте...
— А каким ветром тебя занесло на наш путь?
— Сестра у меня болеет. Еду навестить ее.
— И ты к больному? Значит, и ваши чиновничьи дела не так уж хороши,— заметил Петр.

— Да, не так уж...— согласился Димитров.
— И еще говорит мой Мите: и в Германии, и в Венгрии — по всему свету поднимаются беднота.

— Хоть бы поскорее и у нас наступил божий суд! Иначе и земельку свою продам, и все домодельное: одеяла, половики,— все раздарю, а дитя свое так и не спасу...— с тоской в голосе сказал отец раненого юноши.

Время перевалило за полночь. Поезд мчался, пересекая луга, теряясь среди темных лесов, а Димитров все глядел в окно и думал о жене. В последнее время Люба чувствовала себя что-то неважно, и это тревожило его. Она стала молчаливой, какой-то удрученной, хотя ни на что не жаловалась. И спит плохо... Он посмотрел на часы — малая стрелка показывала три.

Крестьяне примолкли. Их самодельные сигареты, набитые крупно нарезанным табаком, наполнили купе едким дымом. Димитров слегка покашливал и боролся с одолевавшей его дремотой. Вдруг мысли унесли его к Георгию Киркову. Димитрова охватила тревога. Каждый день бывал он у мастера, видел, как болезнь капля за каплей выжимает жизнь из тела этого необыкновенного человека. Сердце Димитрова сжалось от боли. Воспоминание о глазах Киркова — больших, полных огня и веры

¹ Ботев Христо (1848—1876) — выдающийся деятель болгарского национально-освободительного движения, социалист-утопист, поэт, публицист. Погиб в бою с турецкими войсками. Стихи его переведены на многие языки, получили мировое признание.

в то, что он выздоровеет и снова включится в борьбу,— обожгло его сознание.

— Мой Мите сказал: «Скоро и у нас начнется бедняцкое веселье»,— снова заговорил крестьянин, сидевший напротив него.

Димитрову вдруг так захотелось побеседовать по душам со своими тремя попутчиками. Рассказать этим крестьянам о Советской России, о приближающейся революции в Болгарии, о стачках и демонстрациях в Софии, Пловдиве, Сливене, но он подавил в себе это желание. Ни на минуту не должен был он забывать, что едет нелегально, что малейший ошибочный шаг может его раскрыть, и тогда конференция в Ксанти будет сорвана.

Рассвело. Вдали показался Ксанти. Вокруг города вздымались зеленые холмы. В окне сиял майский день. Поезд пронесился мимо сожженных сел. Торчали обгорелые стены. Сбитые снарядами деревья подобно человеческим трупам лежали на полях и в садах. Железнодорожное полотно разделяло на две части бескрайние поля, вспученные от множества безымянных могил без крестов...

Тут прошли недавно одна за другой три войны.

Димитров вздохнул, поднялся со скамьи и высунул в окошко голову. На поле, рядом с железнодорожной линией, маленькая, худенькая женщина, впрягшись в воловье ярмо и волоча за собой соху, вспахивала землю. Светло-русый мальчик лет десяти, помогавший ей, старался удерживать здоровенную соху, но у него не хватало сил, и она заваливалась то влево, то вправо. А женщина, повязанная черным платком, с ярмом на спине, продолжала тащить за собой соху.

— Вот такие мы. И земля наша... И женщины наши...— сказал отец Мите.

Димитров не сумел разглядеть лицо крестьянки. Его прикрывал черный платок, да и поезд быстро пронесся мимо поля, которое она пахала. А образ этой крестьянки все глубже вонзался в сознание Димитрова, и воспоминание о ней, словно сошники, бороздило его душу.

На вокзале Ксанти его ждал невысокий, кряжистый мужчина с бледным обожженным лицом. Старая шляпа-панама отбрасывала на его глаза тень. Они отправились на условленную квартиру. Димитров уже второй раз приезжал в этот город. Ему были знакомы бледные лица рабочих табачных складов и тех, кто гнул спину на чужих полях. Да, подумал он, Ксанти все тот же. Таким он видел его и три года назад. С босоногой детворой, которая стаями носилась по мощенным булыжником улицам, с тесными, тонушими в облаках пыли, торговыми рядами, с магазинчиками, где продаются дешевые ситцы и бидоны залежавшихся маслин. С цветущими во дворах миндальными деревьями.

Они пересекли площадь, обрамленную вековыми чинарами и низенькими турецкими кофейнями. Под полотняными навесами уже сидели, ведя приятные утренние беседы, старики с дымящимися трубками в зубах. Они сразу обратили внимание на Димитрова. Тут каждый посторонний вызывал жгучее любопытство: кто он, что он?.. И старцы, наклонив голову, зашушукались.

Посреди площади журчали быстрые струи фонтана, рассеивая вокруг прохладу.

— Весь город с нетерпением ждет вас,— сказал Димитрову его спутник.

Димитров улыбнулся:

— А полиция?

— Она о вашем приезде не знает.

— Ведь вам сообщили, что я еду нелегально.

— Мы это приняли во внимание, но...

Димитров остановился, озадаченный.

— Ничего опасного тут с вами не может случиться! — смеясь, сказал сопровождавший его рабочий. — Ну-ка поглядите, что там за нами...

Димитров обернулся.

— И мы вот так пересекали весь город?!

— Да, так... — Обожженное лицо провожатого снова засияло счастливой улыбкой.

В нескольких шагах от них стояла внушительная группа рабочих — человек сто мужчин и с десяток женщин. Возглавлял ее пожилой мужчина. Димитров пригляделся к его лицу. В нем было что-то близкое, но пока еще неуловимое. И вдруг он узнал его — это был старый фронтовик Димо, с изрядно поредевшими пепельными волосами, резко выделявшимся на ухе шрамом, оставленным пулей. С его неповторимыми глазами — один глаз темно-синий, другой — карий.

— Георгий! Добро пожаловать в наш город! — воскликнул Димо, крепко сжимая Димитрова в объятиях и преданно глядя ему в лицо.

Остальные рабочие окружили их, и каждый спешил пожать Димитрову руку.

— Будем осторожнее, товарищи... Полиция следит за мной от самой Софии. Мне не поможет и мое депутатство.

— Товарищ Димитров, ведь вы же среди своих, среди рабочих. Мы вас убереем! — сказала пожилая женщина с желтовато-седыми волосами, выбившимися из-под платка. На ее стареньком ситцевом платье едва выделялись вылинявшие красные цветы.

Коммунисты Ксанти собрались на конференцию в неприглядном складском помещении, узком и длинном, с крохотными оконцами. Зажгли большую керосиновую лампу, но ее мерцающий свет не мог рассеять густого мрака. Кипы табака, заполнявшие глубину склада, распространяли резкий, ядовитый запах.

Димитров выступал стоя у стола и ни разу не взглянул на лежавший перед ним исписанный лист. Он говорил о положении трудящихся Болгарии. Его взгляд переходил от человека к человеку и, казалось, проникал в каждую истстрадавшуюся душу. Он рассказывал о тяжелых условиях труда на фабриках и в военных арсеналах, о бесправии сельских батраков, о безработных. За время войны Чапрашиков и Кудоглу, банк «Гирдап», братья Василевы и остальные табачные короли нажили миллионы левов. Ясное дело, нажили за счет трудящихся, обворовывая их, потому что поденную плату им уменьшили наполовину, а рабочее время увеличили вдвое.

Димитров откинул назад волосы. Свет керосиновой лампы трепетал на его взволнованном лице. В горле у него пересохло, и он выпил

глоток воды. Хотя он не спал всю ночь, чувствовал он себя бодрым и сильным.

После него взял слово седой коммунист. У него был низкий голос, пронизанный резкими нотками и потому хорошо слышный в самых дальних концах помещения. Он рассказал о горемычной доле ксантийских табачников. О себе не сказал ни слова, хотя его рубашка с потертым воротником и заплатой на груди, красующейся, словно медаль, красноречиво говорила за него.

— Если на земле есть ад, то имя ему Ксанти...— заключил, задохнувшись от приступа кашля, старый рабочий. Он долго ждал, когда же, наконец, кончится приступ, но кашель становился все сильнее...

Говорили и другие. Каждый жил, испытывая общие для всех остальных нужду и страдания: не хватает денег на хлеб насущный, люди гибнут от туберкулеза...

Димитров слушал с сочувствием и озабоченностью. Усталые, серые от едких табачных испарений лица окружающих его людей запечатлелись настолько глубоко в его сознании, что останутся там, наверное, до последнего дня его жизни. В первом ряду у стола сидел Димо. Мог ли он забыть его? Уцелев от пуля на войне, он погибал теперь мучительно и медленно от изнурительного труда и голода, как подсеченное крепкое дерево. Или же вон та черноглазая девушка у двери? Димитров невольно сравнил ее со стебельком цветка, покрывшегося инеем еще до того, как раскрылся его бутон. У нее были вытянутые, болезненно-белые щеки, под глазами лежали темные полукружия, а в зрачках ее недуг уже явно зажег первые искры.

— Мы, женщины, работаем по пятнадцать часов! — сказала работница в вылинявшем платке, на котором едва вырисовывались алые цветочки. — Наравне с нами хиреют и наши дети. Моему сыну двенадцать лет, а он еще не переступал порога школы. Не знает, что такое букварь. Не знаком с радостью детских игр. Он все время со мной на складе — часто теряет сознание, надыхавшись испарениями табака. А чем он хуже детей богачев? — Женщина обернулась назад, оглядела всех и снова спросила: — Я правду говорю?

— Правду, Василица!

— Скажите! Можно ли от хорошей жизни поседеть в двадцать восемь лет, как поседела я? — Энергичным жестом она сдернула с головы платок, и по плечам ее рассыпались желтовато-белые волосы, бывшие когда-то золотисто-русыми. Не дыша, она пристально посмотрела на Димитрова. Потом, переведав дух, сказала: — Наше спасение в стачке. Вы все это знаете. В Ксанти можно вывести из складов три тысячи рабов. И даже больше! Так давайте помереяемся силами с хозяевами! Или они — или мы! Иначе нет у нас жизни...

Василица словно бросила собранию коммунистов раскаленные уголья. Разгорелся огонь. Со всех сторон раздавались взволнованные голоса — предлагались смелые планы — когда и как провести стачку.

— И еще вот что, товарищи! — продолжала Василица, размахивая ситцевым платком, чтобы водворить порядок. — Когда начнем стачку — пусть даже будем мы смертельно голодными, босыми и голыми, — никто не должен склонять головы, не должен сдаваться! Нам это не впервой! Знаю, — она развела руками, — в Болгарии много безработных... Но если кто нарушит верность нашей правде и придет сюда, чтобы

заработать, тот станет холуем хозяев. Мы такого камнями забросаем, и живым он отсюда не выберется.

— Так и будет!

— Так!

— Так! — клятвенно повторяли все, и эхо неслось от стены к стене, проникало сквозь щели дверей и разносилось по городу.

Вдруг отворились двери и на пороге появился высокий молодой человек. Он поглядел испуганно на Димитрова и сказал:

— Товарищи, потише! На улице все слышно.

— Ничего!

— Как это ничего! Ведь ты говоришь так громко, что твой голос доносится до полицейского участка...

— Ничего, — повторила Василица. — Пришло время, чтобы они это услышали!..

Димитров с восторгом смотрел на эту преждевременно состарившуюся женщину. Ее тело, изможденное тяжким трудом, худое лицо с резко очерченными скулами чем-то напоминали ему мать.

Он обвел глазами сумрачное помещение склада. Свет керосиновой лампы не достигал его глубины, и лица рабочих почти не различались, но Димитров видел их своим сердцем. Завтра эти люди покинут табачные склады и начнут борьбу за восьмичасовой рабочий день, за более высокую поденную оплату, за свою власть!

Вечером после партийной конференции было объявлено общегородское открытое собрание. Оно должно было проходить в самом большом зале Ксанти. По всему городу были развешены плакаты, извещавшие горожан о том, что перед ними будет выступать Георгий Димитров. Плакаты эти, конечно, были дерзким вызовом властям. У начальника полиции не нашлось времени даже задуматься над тем, когда Димитров прибыл в город. Но то, что Димитров находится в Ксанти, было фактом, и это повергло его в панику. Он захотел своими глазами увидеть хоть один плакат. Ему принесли. Он прочитал его вслух:

Сегодня в восемь часов вечера будет выступать

**Георгий Димитров — член ЦК БКП (социалистов-тесняков),
секретарь Общего рабочего профессионального союза и депутат
Народного собрания от партии социалистов-тесняков.**

**Граждане Ксанти, рабочие и служащие, женщины и мужчины,
старики и молодежь — все в зал!**

«Вот уж поистине: птица счастья только раз садится на плечо человеку! — сказал себе начальник. — Схватить Димитрова на месте преступления, когда он будет выступать против власти, заковать его в цепи... Да, счастье приходит только раз!» И он хорошо подготовился к встрече.

Еще сегодня вечером он доложит лично министру. Паники уже как не бывало, а под тонкими усиками начальника скользнула ироническая улыбка. Сам Георгий Димитров! Он вызвал своего помощника и сказал:

— Димитров уже в наших руках.

— Я тоже так думаю.

— Все предусмотрено?

— Да!

— И все же попроси помощи у гарнизона! Пусть пришлют конный отряд! Нет! Лучше два!

— Ясно, господин начальник. Мы арестуем Димитрова еще до того, как он войдет в зал.

— Да! — согласился начальник, отказавшись от своего первоначального плана. Ведь внутри, среди своих, Димитров может каким-нибудь образом укрыться от них. А тут, на пустой площади...

Полчаса спустя полиция и конные отряды блокировали здание старинного зала. Начальник полиции расхаживал один посередине площади, стараясь не выдать своей радости, а она распирала его, и он с трудом сдерживал улыбку. Пройдясь несколько раз вокруг фонтана, он заглянул в кафе, потом безо всякой цели вернулся к себе в кабинет. Был он невысокорого роста, полноватый, поэтому ему пришлось подпрыгнуть, чтобы сесть на краешек письменного стола. Он почувствовал легкое головокружение. Оно, видимо, было от предвкушения скорой победы. Он вспомнил вдруг... В шестнадцатом году Димитров бывал уже в этих краях... Устраивал конференции, имел встречи. Тогда его прозвали! Но теперь... Начальник опустил свои короткие ноги на пол и, сбежав вниз по лестницам, вышел на улицу. Ему встречались приятели, владельцы табачных предприятий, управляющие, офицеры местного гарнизона — он только шелкал каблуками и энергично козырял.

Но когда он заметил на улице большую афишу с именем Димитрова, радость его померкла. Он поспешил оставить афишу за своей спиной как нечто, ставшее уже прошлым.

Вдруг прямо напротив него появилась Василица. Начальник полиции хорошо знал ее. Не раз вступал с нею в спор. У нее был острый язык, но он ее терпел, потому что муж ее погиб на фронте. Он сам не мог себе объяснить, как и почему, но в эту минуту он ее пожалел. Не ради ли трех ее малолетних детей? Или же его тронула ее поседевшая молодость? Он остановился перед нею. Допуская, что при аресте Димитрова может произойти столкновение и дело дойдет до стрельбы, он решил ее предупредить — ведь она все же женщина!

— Свадьба без тебя обойдется... — сказал он, кивнув на вход в зал.

— Без меня? Нет, господин начальник! — Василица звонко рассмеялась. — Без меня не обойдется!

— Иди к своим детям, глупая женщина! Тут страх что будет!

— Ну вот еще! — И снова звонкий смех Василицы разнесся по площади. — Да разве без посаженной матери может быть свадьба?.. — Она поспешно отошла. Что-то величественное и дерзкое было во всем ее облике.

Еще задолго до объявленного времени начала собрания зал был переполнен, все окна и двери распахнуты. Начальник полиции продолжал расхаживать по площади и все чаще вынимал из кармана часы.

Вдруг его заставил вздрогнуть громоподобный гул голосов, словно снаряды, вылетающих из зала. Вслед за тем раздалось восторженное пение.

Неужели Димитров уже там, внутри? Значит, снова повторяется шестнадцатый год?!

— Да ты что! Нет! Этого не должно быть! — заорал сам на себя начальник полиции.

Он почувствовал, как острая боль пронзила его грудь. Беспомощно огляделся вокруг. А из зала все неистовей звучало буйное пение и разносилось по городу. Прохладный майский вечер превратился в пекло. Димитров уже там, внутри зала! Другого быть не может! «Он там, внутри!» — кричал ему кто-то в уши. Но рядом с ним не было никого...

Площадь пустовала. И дома с темными окнами пустовали. Был тот час, когда на скамьях у ворот усаживались старухи и, держа на коленях внучат, вели тихую беседу.

В этот вечер его со всех сторон окружали пустые скамьи.

Из последних сил, догоняя начальника полиции, через площадь бежал его помощник.

— Господин начальник, он там... выступает!

— Немедленно арестовать его!

— Слушаюсь...

К залу бросились притаившиеся в соседних дворах полицейские. Они бежали с саблями наголо и дико кричали. С другого конца площади мчались конные отряды. У стен зала солдаты соскочили с лошадей и стали карабкаться к окнам.

Десять полицейских с помощником начальника во главе прорвались через рабочую охрану и вторглись в зал.

— Димитров! — крикнул помощник начальника. — Вы арестованы!

Георгий Димитров стоял на трибуне. Он махнул пренебрежительно рукой и ответил:

— По воле народа собрание будет продолжаться!

— Есть приказ!..

Помощник одним прыжком вскочил на сцену.

Но достичь Димитрова так и не успел. Рабочие устремились к нему. Несколько сот человек! Они окружили его. Началась рукопашная схватка. Василица встала впереди всех, раскинув в стороны руки, и распорядилась:

— Тут укрывается один негодяй, хватайте его!

Несколько человек вытащили из-под сцены молодого полицейского с густыми рыжеватыми усами, дрожавшего от страха. Он был весь опутан паутиной.

— Держите вон того! А то удерет через окно. Ну вот, теперь он!..

Несколько женщин погнались за старшим полицейским, известным под прозвищем Секира. Он постоянно вертелся возле владельцев табачных складов. Если ему шепнут, что такой-то рабочий против царя, он его избивал до полусмерти. Не щадил и женщин — бил их наравне с мужчинами. Да, Секире все же удалось добраться до окна и крепко уцепиться за раму. Еще какая-то секунда, и он перемахнул бы на другую сторону. Тело его уже наполовину повисло снаружи, а ноги еще болтались в зале. Женщины ухватились за них и задержали его. Сапоги соскользнули у него с ног, размотались портянки. Соскользнули и его галифе. Секира плюхнулся на пол. Полураздетый, раздраемый во все стороны, с искаженным от страха лицом, он вызывал отвращение и жалость.

— Вышвырните эту падаль! — крикнула со сцены Василица.

Секира, сжимая под мышками галифе, нашел один сапог и выбежал на площадь в кальсонах, босой.

— Все же пробираются сюда гады! Гоните их! Бейте их! Товарищи! — кричала Василица задыхаясь, с пылающим от возбуждения лицом. — Вот теперь мы продолжим собрание, — обратилась она к Димитрову. — Подождите еще минутку!

Схватка с полицией закончилась быстро. В зале не осталось ни одного полицейского, и Димитров продолжал свою речь.

Секретарь городской партийной организации послал несколько рабочих разузнать, что происходит на площади. Среди них был Димо... Они быстро вернулись и принесли тревожные вести. Полицейские готовились проверять каждого, кто будет выходить из зала. Войска прочесывали город.

— Выходить будем все вместе, — сказал Димо. — Георгия мы им не дадим!

Собрание кончилось, и секретарь дал знак покинуть зал. Большие группы рабочих направились к выходу. Молодежь, чтобы отвлечь внимание полицейских, выскакивала на площадь через окна. Там их пытались задержать. У главного входа стоял сам начальник полиции. Свет в зале погас. Рабочие волна за волной все сильнее напирала на полицейский заслон, прорывались через него и заполнили площадь.

Димитров вышел под открытое небо еще с первыми группами.

— Теперь в эту сторону! Вон туда! — шептала Василица, показывая ему, в каком направлении надо двигаться. Она открыла тяжелую железную калитку совсем близко от здания, где происходило собрание.

Димитров оказался в просторном цветнике. В глубине его белел высокий дом, опоясанный широкими балконами. В синем мраке ночи дом этот походил на средневековую башню.

— Надежнее, чем эта квартира, места не найти, — сказал Димо.

— Наш секретарь человек бывалый. Свое дело знает, — добавила Василица.

Димо, шедший позади Димитрова, поравнялся с ним и тихо сказал:

— Хозяин Василицы — первый богач в Ксанти. Он адвокат и личный друг Радославова. Кому придет в голову, что ты находишься тут...

Они поднялись по каменным ступенькам, а дальше пошли по узкой деревянной лестнице на чердак. Василица ступала бесшумно, как серна, но под тяжелыми стопами Димитрова и Димо ступеньки поскрипывали. Наконец гостя ввели в узкую мансарду.

Через открытое оконце доносился конский топот, слышались сердитые голоса. Полиция обыскивала дома вызывающих подозрение рабочих и служащих. Раздавались выстрелы.

На рассвете в квартиру Василицы пришел молодой человек с кудрявыми волосами, спадающими ему на лоб. Он был одет в железнодорожную форму, застенчиво улыбался, и на щеках его, как у детишек, образовывались нежные ямочки.

— К отправлению все готово. Через час уходит поезд в Пловдив, — сказал он.

— А как же блокада? — спросил Димитров.

— Вы железнодорожник, товарищ Димитров. Вот ваша одежда и служебное удостоверение на имя моего отца — мастера службы тяги. И у него так же, как и у вас, красивая борода. Вы похожи!

Димитров облачился в железнодорожную форму, которую принес молодой человек, попрощался с Василицей и Димо и осторожно спустился по каменным ступеням. Его сопровождал молодой железнодорожник. Со стороны моря дул теплый, влажный ветер, и старые чинары напевно шелестели. Над Ксанти вставала светлая утренняя заря.

ПЛЯЧ ТЕЛЕГРАФИСТА

*Из решения Центрального Комитета
Болгарской коммунистической партии:
«Назначить дату общего вооруженного
восстания по всей стране в ночь с 22
на 23 сентября 1923 года. Цель
восстания — свергнуть узурпаторское
правительство Цанкова, пришедшего к
власти посредством военно-фашистского
переворота 9 июня, и установить
рабоче-крестьянское правительство.
Коммунистическая партия действует
совместно с Земледельческим союзом».
София, 20 сентября 1923 года.*



орога от станции Боровцы извивалась между нивами, оставленными под черным паром, и необработанными еще подсолнуховыми полями. В местах, где покосы разделяло не собранное в копны сено, да и повсюду чувствовался запах памидовых¹ виноградных лоз и зрелых яблок.

Весть о восстании застала крестьян врасплох, высвободила их из неволи повседневности. Поэтому на полях видны были брошенные сохи, на ветвях буков висели забытые мешочки с кукурузным хлебом и луком-пореем, старые грубошерстные куртки.

В направлении города Фердинанда по железнодорожному пути стремительно мчалась старая, давно вышедшая из употребления дрезина. На переднем месте в ней сидел высокий худощавый крестьянин в распахнутой на груди пеньковой рубахе. Засучив до локтей рукава, он молча, напрягаясь, изо всех сил двигал рукоять рычага. Его жилистые руки походили на корни орешника. Сидевшие позади него несколько пассажиров сосредоточенно и молча оглядывали горящими глазами окрестные горные вершины, ложбины, поля.

Димитров вздохнул, повеселев от расстилавшихся перед ним картин живой природы. Уже было начало осени, а казалось, что еще властвует май с его молодой травой и птичьими песнями.

Открывавшийся перед ним вид был необычным. С возвышенностей спускались повозки, переполненные людьми. По укромным проселкам мчались лошади, и их медные колокольчики долго оглашали все вокруг своим напевным звоном. Прямо через поля, луга, огороды шли торопливо мужчины со старинными ружьями, с пастушьими посохами, топорами,

¹ Памид — сорт винограда.

косами. Следом за ними бежали женщины и девчата, взвалив на спину торбы со свежим хлебом и жареными цыплятами. Все направлялись к городу Фердинанду. Казалось, там происходило большое и пышное гулянье.

Вдруг на фоне яркой зелени развернулись, зареяли красные знамена. Со стороны зеленой вершины Кома дул свежий попутный ветер, напоенный запахом дикой герани и буковой листвы.

Димитров снова вздохнул и, обратив свой взгляд к Коларову, сказал:

— Васил, смотри! Смотри на это чудо! — радостное волнение затрудняло ему дыхание.

Совсем близко от железнодорожной линии текла Огоста — веселая и прозрачная. Ее быстрые воды усиливали радостное чувство, наполнявшее с минувшей ночи душу Димитрова, когда над Выршецом прогремели первые выстрелы народного восстания. А громыхание дрезины преобразилось в его сознании в совершенно иную мелодию...

...Последнее заседание Центрального Комитета. Принимается решение о дне восстания, о завтрашней победе. На улице их подстерегала полиция. А Витя, сын Насти, доктора Исаковой, откинув свесившиеся на лоб волосы, тонкими длинными пальцами ударяет по белым клавишам рояля. Из-под них рождается приглушенный плеск морских волн. Море становится все более бурным. Чайки издают дикие крики. Рокочет безбрежная водная стихия.

Члены Комитета заседали в химической лаборатории Насти, а Витя играл в соседней комнате — Бетховена, Чайковского, снова Бетховена. Надо было создать полную иллюзию музицирования молодежи.

Эта музыка и теперь еще звучала в душе Димитрова, а дрезина, как птица, неслась вдоль Огосты.

— Ну вот! Пришло время тебя сменить, — сказал Димитров крестьянину и пересел к нему.

— Живого человека сменять не надо! — возразил тот, отстраняя его ладони от рукоятки рычага, снял шапку и вытер вспотевшую голову. — Не надо! Нет! — повторил он.

У переезда, возле будки железнодорожного сторожа, путь дрезине преградила поджидавшая ее длинная вереница телег. Дрезине пришлось остановиться.

— Эй, стойте! — крикнул, соскочив с первой повозки, человек средних лет, с тонким горбатым носом. Подойдя ближе, он с любопытством оглядел Димитрова и Коларова. — Послушай, браток, а ты не по ошибке ли поехал в этом направлении с господами? — тихо спросил он крестьянина, который вел дрезину.

— Тормозишь революцию, Сандо! — ответил ему тот.

— Взвешивай свои слова, прежде чем произнести их, — подмигнув своим, отрезал Сандо.

Ему не внушали доверия длинный черный плащ Димитрова и его очки в желтой роговой оправе. Но главное, не было густой бороды, по которой Димитрова узнавали всюду. Прежде чем выехать из Софии, он сбрил ее. А широкополая шляпа и кожаный чемоданчик придавали ему вид иностранца. Да и Коларов своими зелеными очками и кожаной дорожной сумкой вызывал у Сандо большое сомнение. По его суховатому лицу промелькнула тонкая, злорадная усмешка.

— Путь у нас один! — взмахнув рукой, весело сказал Димитров и

указал вдаль, где зеленая стена тополей прикрывала первые дома города.

— Не торопитесь! Документы, с вашего позволения!..— Сандо протянул стертую до крови ладонь с лиловым шрамом посередине.

— Извольте! — Димитров дал ему маленький листок.

Сандо долго вертел его перед глазами. Было совершенно ясно, что он не умеет читать и, стараясь не выдать этого, напряженно вглядывается в буквы.

Губы его беззвучно шевелились. Время от времени он бросал взгляд на дрезину и снова склонялся над документом. С первой повозки соскочил молодой человек в крестьянских кожаных лаптях и солдатских галифе.

— Дай-ка! — сказал он Сандо.

— А ты помалкивай! — раздраженно ответил тот. — Молоко на губах еще не обсохло, а он...

— Дай мне посмотреть, — настаивал молодой человек.

— Ведь это революция! Во все глаза надо смотреть! Все видеть, все замечать!

Парнишка взял документ и прочитал его.

— Ого-о! Предприниматель... Владелец выршецких бань! Отлично. А кто второй? — Он прислонился к дрезине.

— Мой товарищ, инженер. Помощник мой. И у него есть документ...

Веселый блеск в глазах Димитрова не угасал. Сандо уловил его, разгневанно стукнул ладонью по кожаной сумке Коларова и, обернувшись к повозкам, крикнул:

— Эй, вы! Слышите?! Так это же какие-то предприниматели... Инженеришки... — И продолжал, зло кривя губы: — Снуют тут всякие по дорогам, а мы бунт поднимаем! А ты, — пригрозил он Димитрову, — запомни, что скажу тебе я, Сандо, который не знает букв: революция не желает иметь дела с предпринимателями! А ну-ка! Слезайте! — скомандовал он.

В это время от будки путевого сторожа пустился вскачь верхом на тонконогом рыжем жеребенке юноша с русоволосой, коротко остриженной головой. Он прищипывал его босыми ногами и кричал издалека:

— Дайте дорогу дрезине! Дайте дорогу!..

Ветер относил его слова в сторону, и паренек во все горло кричал снова.

С трудом остановил он жеребенка у переезда. На его веснушчатых щеках поблескивали капельки пота, потрескавшиеся губы побелели.

— Неужели вы их не узнаете? — задыхаясь спросил он. — Ведь это же товарищи Васил Коларов и Георгий Димитров!...

На фердинандском вокзале уже ждали обоих руководителей восстания. В городе над окнами одноэтажных домов развевались красные знамена. Некоторые жители покрасили в красный цвет ворота. По улицам проходили вестовщики с барабанами и сообщали последние новости о ходе сражения за Бойчиновцы. На площадях гремели трубы, били барабаны. За одну ночь Фердинанд неузнаваемо преобразился — стал похож на военный лагерь перед атакой.

Вечером состоялось заседание главного штаба военно-революцион-

ных сил. В городе было более двух тысяч вооруженных повстанцев и двадцать тысяч, что называется, с голыми руками. Штаб должен был направить отряды в Бойчиновцы и Криводол, затем в Берковицу, а оттуда их перебросят к Враце, чтобы напасть на нее одновременно со всех сторон.

Пока происходило заседание, долину Огосты сотрясали глухие оружейные выстрелы. В домах дребезжали стекла.

Вдруг отворилась дверь и вошел телеграфист — коренастый, плотный парень в красной рубашке.

— Берковица наша! Берковица пала! — крикнул он, радостно сияя и размахивая длинной лентой морзянки.

— Теперь будет значительно легче, — вздохнув, сказал Коларов. — Теперь мы можем через Берковицу послать отряд в направлении Врацы. С ее гарнизоном и железной дорогой, Берковица имеет для нас решающее значение.

Несколько минут спустя телеграфист появился снова.

— Звонят из Софии...

— Наши? — вскочив, спросил Димитров.

— Из военного министерства...

— Чего хотят?

— Чтобы мы сдались. Обещают все нам простить. Во всей стране, мол, мирно и тихо. Вzbунтовались только мы тут.

Димитров побледнел. Мгновение спустя лицо его залило краской. Гневная дрожь отступила перед твердой решимостью. Он сказал:

— Скажи им, что коммунисты не сдаются. Они будут сражаться до последнего патрона. И еще — коммунисты умеют побеждать.

Заседание закончилось поздней ночью. Димитров чуть было не задремал. Сон ли это был или все происходило наяву? Сквозь закрытые веки он снова видел людей с ружьями и топорами на плече. Снова слышал победные песни. Издалека доносились оружейные выстрелы. Придя в себя, он встал. Коларов, заметив его состояние, тоже встал.

— Что с тобой?

— Меня мучит один вопрос: почему не восстает София?

Светлая сентябрьская ночь наполнила комнату прозрачным мраком. Коларов долго молчал, вглядываясь в напряженный силуэт Димитрова. Тяжкие сомнения раздирали и его. От столичного революционного комитета зависело многое. В известном смысле — даже все. Сумеет ли он повести софийских рабочих в бой? Овладеют ли они центральными учреждениями, институтами, министерствами? Дадут ли толчок революции? Или же поколебленный кем-то комитет откажется от всего этого? А может быть, имеет место предательство?..

В памяти Коларова, как тлеющая головешка, высвечивалось воспоминание о последнем заседании, когда организационный секретарь Центрального Комитета подтвердил свое несогласие с решением относительно восстания. Более того, он разослал по всей стране контрпароли... На местах он этим самым вселял растерянность, путаницу и смуту, потому что сам не верил в победу народа.

И Коларов спрашивал себя сейчас, было ли это близорукостью или политической незрелостью? Воды Марицы еще несли в себе мертвые

тела погибших Девятого июня. Неужели он, организационный секретарь, хотел, чтобы коммунисты склонили голову? И в глазах народа при жизни стали мертвецами? Да! Мертвой революционной партией!.. Кому она нужна такая?

Леденящий озноб волнами пробегал по телу Коларова, он поплотнее стянул на себе одежду и приглушил дыхание, но безмолвные размышления снова уводили его в Софию. А что, если там действительно произошло предательство? В таком случае здешнее восстание — это только маленький оазис, окруженный со всех сторон фашистскими вооруженными силами. «Нет!» — опроверг он собственные мысли и сказал:

— Допустим, что по неизвестным нам причинам восстание в Софии было отложено на день, на два. И этой ночью они уже восстали.

— Ведь боевые группы были готовы, — заговорил озабоченно Димитров. — На Слатинском редуте, на сахарном заводе, в военном арсенале. Они только ждали сигнала и должны были ринуться в город, затопить его собой...

Он отворил обе створки окна и долго глядел на повстанцев, которые с песнями проходили по площади.

— А теперь, Георгий, надо подумать о Враце, — сказал Коларов. — Как овладеть ею. Потому что только тогда мы сможем остановить приток войск по железной дороге. В Петрохан уже отбыл наш отряд — он там сделает доброе дело.

И третью ночь свободы город не спал. Людские потоки по-прежнему заполняли улицы. Где-то звучала волянка, гремели духовые оркестры. Тарахтели телеги. Мобилизация продолжалась, и из сел прибывали все новые и новые бойцы. Они искали отряды, в которые их должны были зачислить; громко, возбужденно рассказывали, как захватили у себя власть. Чистили ружья и считали патроны.

Димитров отправился в город один. Хотел быть поближе к бойцам, послушать их, поговорить с ними. На перекрестках пылали огромные костры, их оранжево-зеленоватые огненные языки терялись в глубоком чистом небе. Во дворах на разостланном сене лежали бойцы — это был их краткий отдых перед новым сражением.

У мечети он увидел открытую дверь слесарной мастерской. Внутри шумно спорили двое мужчин.

— Ну хорошо, есть у вас пулемет, но он же не стреляет! Тогда на что он вам?

— Чтобы пугать офицерье.

— Смехота! Да ты пойми, дядюшка: нельзя так. Дай пулемет моей роте. Мы посмотрим, что в нем неисправно, поправим и завтра у Бойчиновцев сотворим с ним чудо.

— Ишь ты! Ну, хватит! Ничего у тебя с этим не получится. Сам Георгий Димитров дал мне пулемет и сказал, чтоб я берег его как зеницу ока. Он один у нас на весь Лопушинский отряд. А нас ровно восемьсот человек.

— Ясно, мне с тобой не сговориться.

— Ой, матушки... Да ты только наладь его, чтоб стрелял!

— Хорошо. Разбери пулемет! Я увижу, что там неисправно, и наладжу.

Крестьянин стоял посреди мастерской смущенный, с опущенной головой.

- Дядя, ты что, не пулеметчик?
- Да ну тебя!
- Куришь?
- Курю.
- Ладно, закуривай и посиди вон там, пока я почину пулемет.

Димитров прошел мимо слесарной мастерской и свернул на тихую улицу. Сделав несколько шагов, он остановился удивленный. Где-то совсем близко играли на скрипке. Он хорошо знал эту энергичную, торжественную мелодию. Скрипка манила, влекла его к себе, и он поспешил к первому перекрестку. Его взору открылась необыкновенная картина. Он затаил дыхание.

На маленькой, укромной площади сотня бойцов ждала приказа об отправлении. За плечом у каждого была винтовка и мешочек с патронами. На низком балкончике, нависающем над площадью, играл на скрипке молодой человек. Его винтовка стояла рядом, прислоненная к стене. Он плавно водил смычком по струнам, и от его прикосновения к ним рождалась и разливалась вокруг захватывающая мелодия. Димитров стоял в тени яблони, покрытой пышной листвой. Он был не в силах сделать шаг.

А музыка, казалось, неслась из низких домиков, вырывалась из пересохшей земли, из самих людей, бодрствующих в эту ночь.

Она то затихала, то снова торжественная мелодия оглашала все вокруг. Димитров невольно сравнивал ее с рождением солнца.

Скрипач вдруг резко взмахнул смычком — в этот миг, казалось, над бойцами прогремели выстрелы, взорвались гранаты.

Вслед за тем Димитров услышал рядом с собой чей-то вздох. Только теперь заметил он стоящую в тени той же яблони молодую девушку. На ее белой блузке отчетливо вырисовывалась висевшая на плече винтовка. И тут заиграла боевая труба, подавая сигнал к выступлению в поход. Звуки скрипки слились с ее призывным голосом.

Повстанцы отправились в Бойчиновцы.

Священник отец Андрей был командиром Медковского повстанческого отряда. Он пришел в главный штаб прямо с фронта. Распахнул широко дверь и оглядел заседавших там людей. Его свинцово-серое лицо, покрытое пороховой копотью, было невозмутимо. Властный блеск его глаз напоминал острие топора. Он был исполинского роста, его густые, седеющие волосы спускались до плеч. Свою покрытую пылью выцветшую рясу он стянул солдатским ремнем.

Димитров порывисто встал и крепко пожал ему руку.

— Я из Лома. Город уже наш. Им управляет народ, но эти исчадия ада прочно окопались в казарме.

Его громкий голос заполнил тесную комнатку и, не найдя для себя достаточно простора, долго отдавался гулким эхом. Этот человек нес в себе что-то неповторимое и неотвратимое, как неповторима и неотвратима каждая революция. Таким он выглядел в глазах Димитрова.

Он подал ему стул.

— Я тороплюсь, — сказал священник, продолжая стоять.

— И у нас трудно. На станции Бойчиновцы сегодня идет решающий бой с Шуменским гарнизоном, — сказал Коларов.

— Проезжал через те места, знаю... Дайте мне одну пушечку, и Лом победит. Одну маленькую пушку! Только одну... — Он воздел к небу руку, словно бы рассекая невидимого противника.

— Хорошо! Чтобы победить в Ломе, дадим тебе пушку. Вот! — Димитров написал несколько строчек на листке бумаги и протянул его священнику. — Орудие получишь на вокзале, а когда захватите казармы, вернешь его сюда, потому что здесь предвидятся тяжелые бои.

— Я знал! Знал! — обрадовался отец Андрей и горячо обнял Димитрова. Снова поднял вверх руку и сказал: — Аминь революции!

Он сразу же ушел, забыв об усталости, а ведь уже третий день ему не удавалось преклонить головы, чтобы хоть ненадолго заснуть. Казалось, исчезли и лиловые круги у него под глазами. Он бросился бегом к вокзалу. Он несся словно птица, потому что был воплощением благородной идеи, любви и неукротимой энергии. Полы его старой рясы метались налево и направо, затрудняя его движения. И он, обливаясь потом, но помолодевший и счастливый, снял солдатский ремень, сбросил с себя рясу, чтобы убыстрить свой шаг.

Вскоре после ухода отца Андрея в штаб прибыл конный курьер из Бойчиновцев. Он мчался галопом напрямик через поля, луга, овраги. С его почерневших щек и шен стекали струйки пота. Он едва смог произнести:

— Мы победили!.. — Покачнулся и упал.

Его положили на узкую походную койку. Он долго лежал неподвижно, опустив веки, словно мертвец. Димитров снял с его головы кепку, смочил грудь холодной водой, и он открыл глаза.

— Извините... Сегодня было страшно... Я ехал напрямик...

— Есть ли у нас убитые?

— Есть... Мы сражались с Шуменским гарнизоном... С Врачанским... Против нас выступили белогвардейцы. Ох, как было страшно... — Парень попытался встать, но Коларов не позволил ему. — Мы захватили пулеметы и орудия. Взяли несколько вагонов с боеприпасами. Теперь уже путь на Криводол открыт. Оттуда пойдем на Врацу... — продолжал он увлеченно.

Поостыв немного, парень снова впал в забытие. Ему принесли кусок хлеба и большую глиняную миску дымящегося фасолевого супа. Он уставился на нее голодными глазами.

Поздно вечером к Коларову и Димитрову прибежал телеграфист. У него дрожали руки.

— Товарищи, пришли плохие вести!

— Доложи! — Димитров сумел приглушить в себе тревогу.

Телеграфист развернул ленту с морзянкой и стал читать:

— У села Крапчане появились бронированные автомобили и вражеская конница. Лом. Сильные неприятельские части, засевшие на станции Брусарцы, напали на отряд отца Андрея. Происходит ожесточенное сражение.

Кнежа. Оряхово. Бяла Слатина. Идут тяжелые бои.

Бойчиновцы. Правительственная пехота, кавалерия и артиллерия разгромили Лопушанский отряд.

Берковица. Бронированные фашистские части вошли в город. Нас мало. Нет оружия.

Телеграфист стоял понутив голову и судорожно комкал в руке ленту с морзянкой. Его темно-синие глаза заволокло влагой, и крупная слеза, скатившись по щеке, упала на распахнутую на груди красную рубашу. Он ушел в аппаратную, переключил аппарат на передачу и связался с Врачей.

— Это Фердинанд! Это Фердинанд!

Ему ответили злобной бранью.

— Так знайте! Революционные отряды живы! — крикнул он, с ожесточением нажимая на ключ аппарата. — Да!

Его крик услышали в соседней комнате. Димитров вбежал в аппаратную. За ним последовали и остальные члены штаба.

— Кто это?

Молодой человек не поднимал глаз. Ничего не ответил. Он вперил взгляд в аппарат и словно в беспамятстве отстукивал что-то ключом — он запрашивал Софию.

Дворец молчал. Молчало и военное министерство.

Телеграфист выключил аппарат и схватил телефонную трубку. Ручка, которую он вертел, резко поскрипывала в его ладони.

— София! Дайте мне генеральный штаб армии!

Его соединили с каким-то генералом.

Телеграфист, злорадно улыбаясь, расположился поудобнее на стуле и сказал:

— Говорит Фердинанд!

— Отлично, герой! Значит, разбойники эти уже разгромлены? — Тонкий голос генерала заглох. Но тут же зазвучал снова: — Вперед и только вперед за царя и отечество! Итак, действуйте, как я распорядился: дома бунтовщиков предавать огню. Каждому участнику — пулю. Всех, кто содействовал им, в полицейский участок.

Телеграфист немного помолчал. Слез у него уже как не бывало.

— Отлично, царский пес! — крикнул он в трубку, и губы его искрились от ярости. — Запомни: революция жива!

Швырнув трубку, он встал со стула, застегнул доверху красную рубашку. Лицо его было мертвенно-бледным, но глаза излучали огненный блеск.

МОАБИТСКИЕ ДНИ И НОЧИ

Димитров эту ночь провел бес-
покойно. Голова разламывалась,
где-то глубоко в груди ощущалась непонятная ноющая боль. От бетон-
ных стен Моабитской тюрьмы тянуло резким холодом. Плотнo укутав
телo в старый плащ, он шагал от стены к стене. Одновременно с болью
нарасталo и другое ощущение — более сильное, хотя еще и не ясное.
Удивительно! Каждый день на заре его навещало прошлое.

Он сделал шаг, другой и остановился. С этого места камеры его
взору лучше всего открывался простор по ту сторону стен Моабита.

Глаза Димитрова впились в окно. Сквозь тройную железную решетку он видел сейчас лишь клочок мутно-серого неба. И ничего больше. Он сразу же постарался отбросить, забыть увиденное. Душа его непостижимым образом с поразительной быстротой уловила и ощутила истинные краски апреля. А его воображение заполнило ими этот мрачный клочок.

И так изо дня в день. Он делал это сознательно и упорно. Отправляясь на встречи с прошлым и ощущая его непреклонность, он становился сильнее.

В этот ранний час Димитров думал об одной женщине. Он сам себе не мог объяснить, почему именно ее образ так проявился в его сознании. Он даже не знал, как ее зовут. Это была вдова, с которой он повстречался в дни восстания.

...Несколько человек, держа путь в Югославию, с трудом пробирались ночью через буковые леса Чипровских гор. Димитров то и дело спотыкался о высохшие корневища, проваливался в прикрытую опавшей листвой трясину. Наконец на рассвете они вышли на высокогорную поляну, покрытую папоротником и высокими ирисами-касатиками. Преодолевая крутизну подъема, они совсем обессилели и теперь, переведя здесь дух, были просто ослеплены красотой сентябрьского утра. В ушах у них звенела тишина, а сердце все глубже пронзала мучительная боль.

Внизу, в долине Огосты, насколько хватал глаз сплошь пылали пожарища. Клубы черного дыма поднимались над догоравшими домами и, сливаясь в сплошные тучи, закрывали небо.

Горела Лопушна! Горели Соточино и Живовцы...

Горел Фердинанд!..

На поляне вдруг появилась женщина. Откуда она пришла? Как же это она не боится в такое мятежное время бродить по Балканам?

— Чух, чух, чух! — стала сзывать она стадо свиней ослабевшим, но все еще звучным голосом.

Димитров направился к ней. Эта тшедушная, изможденная женщина в черном платочке, казалось, не имела возраста, была как будто бы вечной. Она ему напоминала его мать.

— Добрый день, мамаша! — сказал он ей.

— Дай бог, чтобы твой день был получше! — ответила она ему, опираясь на палку, которой подгоняла свиней, чтобы они не вредили полям. — Пенко! Эй, Пенко! — обернувшись назад, крикнула женщина, и из зеленой буковой чащи незаметно вышел тонкий, как жердочка, паренек. Он был выше ее на голову...

Димитров вздохнул и отвел от окна глаза. От оживших воспоминаний его вдруг обдало теплом. А может быть, у него поднялась температура? Он улыбнулся. Ему никак не удавалось оторваться от возникшего в памяти образа Пенко. Парнишка был в потертых грубошерстных штанах, подпоясанных ивовым лыком. И шея у него тоже была стерта, словно кто-то набрасывал на нее аркан.

— Вы сбились с пути! Идите за мной. И не теряйте времени, потому что фашистские отряды уже вошли в Лопушну, — сказал им Пенко. Они сразу же последовали за ним. А он, уходя, наставлял мать:

— Беги скорее вниз! Там еще идут наши!

Десять лет прошло с тех пор, а Димитров и теперь еще чувствовал на своих губах колючее прикосновение к руке свинarki. Он знал теперь о ней все: муж ее погиб на станции Бойчиновцы, старший сын — в боях за Криводол. А сама она переводила вместе с Пенко через границу разбитые отряды повстанцев. Димитрова вдруг охватило горячее желание снова поцеловать ей руку, шершавую, как черепаший панцирь...

Три резких поворота ключа в замке вернули его в Моабит. В дверях камеры стоял полицейский.

Пришло время допроса.

Его ввели в просторный кабинет, обшитый мрачной коричневой панелью. На стене — портреты Гитлера и Гинденбурга во весь рост, написанные в холодно-гранитной цветовой гамме. У окна — массивный письменный стол, а за ним — низенького роста лысоватый мужчина.

Он представился:

— Я судебный следователь. Советник имперского суда. Прошу, садитесь! — на его полном лице появилась сдержанная улыбка.

Димитров сел.

— Имперский прокурор предложил привлечь к предварительному следствию по делу Маринуса Ван дер Люббе и вас, господин Димитров.

— Я протестую! Это явная несправедливость, беззаконие...

Димитров хотел говорить еще, но следователь, подняв руку, резко оборвал его. Он взял из папки, лежащей перед ним, розовый лист и сказал:

— Слушайте! Тут совершенно ясно написано о вас... Ведь вы и есть болгарин Георгий Димитров? «...Находясь в Берлине в течение времени, не погашенного до настоящего момента сроком давности, а именно 27 февраля 1933 года, совместно с каменщиком Ван дер Люббе:

а) предпринял попытку насильственным путем изменить государственное устройство Германской империи».

Следователь на мгновение отвел взгляд от листа. Момент этот был неповторим, формулировка прокурора точна. Поэтому он надеялся увидеть растерянность на лице арестованного — ведь последствием такого обвинения был смертный приговор. Но как раз отсюда и началось его разочарование. Димитров сидел спокойно, опустив на колени руки. Его взгляд, сосредоточенный и глубокий, казалось, пронзал все, к чему прикасался. И следователь нашел в себе силы посмеяться над полицейскими, которые до этого уже вели допросы болгарина. Ведь они убеждали, что осталось совсем немного, чтобы распутать это дело. Еще совсем немного... Ох уж эти мне полицейские слюнтяи... Он снова принялся читать:

— «б) преднамеренно поджег здание рейхстага... причем совершил поджог, имея намерение с помощью такового поднять восстание». Прошу подписать протокол!..

— Нет, я не подпишу!

Димитров встал. Следователь испуганно оглянулся.

— Полиция! — крикнул он.

За дверью его услышали, и в кабинет сразу же вбежали двое полицейских.

Дрожащей рукой следователь указал полицейским на Димитрова. Помолчав довольно долго и успокоившись, он улыбнулся и сказал:

— О, я не советую вам занимать такую позицию. Нет, господин

Димитров! Арестанту лучше подписать протокол. Так дело пойдет несравнимо быстрее. Прошу, вот тут! — Он положил на столе перед Димитровым розовый лист.

— Никогда! — иронически произнес Димитров. Наступило молчание. — Никогда! — энергично повторил он. — Обвинение, выдвигаемое против меня, чудовищно и необоснованно. Я категорически протестую! Прочитайте мое письменное заявление от двадцатого марта, и вам все станет ясно.

Резкий тон болгарина и эти широко открытые глаза, о которых даже нельзя сказать, синие они или зеленые, разрушили иллюзию следователя относительно того, что процесс будет спокойным и выигрышным. Он оказался неподготовленным к такой встрече. Имперский советник сидел в кресле, как-то сразу словно бы уменьшившись, сидел неподвижно, смахивая на шаровидную каменную статую. Крахмальную манишку так сжимала его грудь, что ему хотелось выдернуть ее из-под костюма и швырнуть куда-нибудь.

— Я судебный следователь. Я доктор. Я советник и не позволю вам учить меня, что и как мне читать! — не переводя дыхания, выпалил он, сознавая, что отступать нельзя. В личном разговоре с рейхспрезидентом Германом Герингом он получил задание не щадить ни тела, ни духа обвиняемого. Любой ценой получить все необходимые для дела показания.

— Да, но вам нужно знать... — возразил Димитров. — Я член Болгарской коммунистической партии и Коммунистического Интернационала, я принципиально против индивидуального террора и всяких бессмысленных поджогов, потому что они несовместимы с коммунистическими принципами и методами борьбы!

— Да помолчите вы с вашей теорией! Практика у вас иная!

Лицо следователя стало темно-лиловым. Едва овладев собой, он поднялся с кресла. И в эту минуту случилось неожиданное. К нему пришла помощь. В открытое окно кабинета ворвалось пение мужских голосов. Слова песни дождевыми каплями увлажняли, подбадривали его измотанную душу.

— Коммунистический Интернационал запрещает индивидуальный террор, — продолжал Димитров.

Судебный следователь, казалось, перенесся на улицу, к поющим, к песне. «Отлично, отлично, ребята!» — беззвучно шептал он, отбивая на ковре лакированными полуботинками четкий такт мелодии.

— Сегодня нам принадлежит Германия, завтра — весь мир! — тихоноко напевал он в унисон поющим. — Да, — обратился он затем к Димитрову, — ваш замысел провалился благодаря вот этой золотой молодежи. Поглядите на нее! Какая величественная осанка у каждого из них! И какая благородная воинственность!

— Коммунистический Интернационал, — повторил Димитров, — запрещает индивидуальный террор. Такие акты в Болгарии, включая и взрыв в Софийском соборе в 1925 году, были публично и самым решительным образом осуждены как мной лично, так и партией, к которой я принадлежу!

— Достаточно! — крикнул имперский советник. — Достаточно! Вы подожгли рейхстаг, чтобы задержать приход нового порядка, но напрасно!

Песня звучала все сильнее. К ее ритму прибавились гулкие удары барабана и дикие выкрики. Советник выглянул в окно.

— Прошу! Поглядите!

Димитров подошел к окну. Зрелище было действительно неопишное. На площади пылал громадный костер. Соседние дома и сады были осыпаны тучами искр. Мелькали коричневые униформы парней, подбегавших к пылающему костру и швырявших в него стопки книг. Сновали крытые грузовички, выгружали новые груды книг и снова поспешно уезжали куда-то. Димитров безмолвно глядел на эту зловещую картину, и в каждом горящем томе видел живого Гейне, живого Эйнштейна, Томаса Манна... Острая боль пронзала его сердце.

— По моему глубокому убеждению, поджог рейхстага мог быть делом лишь безумевших людей или злейших врагов коммунизма.

Размышления вслух болгарина вызвали у следователя тревогу. Он испугался и за самого себя. Выплывет ли он из тех глубоких вод, куда его погрузили оказанным ему доверием, поручив подготовить обвинительный акт? Он сел в кресло, взял сигару, но не зажег ее. Смотрел в упор на Димитрова. И дивился ему. И искренне ему завидовал. Какая прозорливость! Отрезанный от мира толстыми стенами Моабита, он пришел к этому страшному выводу...

Имперский советник закурил сигару, однако ее горьковатый аромат, вместо того чтобы притупить его греховные мысли, лишь усилил их. Хотя и смутно, но он догадывался, что голландец — не настоящий поджигатель. Еще менее может быть им Димитров. Он курил жадно, над головой его кружились зеленоватые витки дыма, а успокоение так и не пришло к нему.

— Я запрещаю вам говорить! — сказал следователь. Он искал спасения для себя.

— В ваших интересах знать и то... — продолжал Димитров.

— Я ничего не хочу знать! — оборвал его следователь. Он бежал от самого себя. И, обернувшись к полицейским, приказал: — Уведите его!

Болгарина увели, и советник остался один. С портретов на него мрачно глядели две величественные персоны новой Германии. Только сейчас он полностью осознал всю трудность положения, в котором оказался. Он почувствовал себя безмерно утомленным. Губы его дрожали, язык пересох. Молчаливо и мучительно он признавался самому себе, что поражение неизбежно. Он воспринимал поведение Димитрова и как личную обиду. Никогда еще до нынешнего дня он не отступал перед обвиняемым. В душе его вспыхнула искра желания отомстить.

— Да! Да! Он должен отдавать себе отчет, кто такой имперский советник!

Следователь нажал на белую кнопку, и сразу же появился секретарь.

— Пишите приказ! — сказал он секретарю, глядя в пустое пространство над головой этого коротышки чиновника и прижимая ладони к своим щекам, чтобы скрыть нервный тик.

Расхаживая по кабинету с какой-то яростной торопливостью, словно находился на улице, он стал диктовать приказ.

Секретарь поднял в недоумении голову.

— Смею ли я высказать свое замечание, господин имперский советник?

— Прошу!
— Димитрова заковать в наручники? Мне кажется, что это не подходит. Снова повсюду поднимется шум...

Кабинет огласился громким смехом. Советник опустил в кресло у окна, его грузное тело тряслось, и крахмальная манишка вылезла из жилета. Нервный смех советника долго не прекращался. Из его глаз потекли слезы.

— Благодарю вас, Фриц! Ну и рассмешили же вы меня! От всей души посмеялся. Ваша шутка после стольких напряженных часов была самым лучшим подарком. Благодарю вас! — снисходительно-насмешливо пробормотал советник и вытер глаза.

Секретарь все еще ничего не понимал. Он стоял перед начальством испуганный и безмолвный. Что крылось в словах советника — ирония или правда?

— Так вы мне советуете, Фриц, остерегаться внешнего мира? А как он узнает, что происходит в стенах Моабита? Скажите, пожалуйста! От кого узнает? От меня? Не-е-ет! От вас? — Советник резко встал и сделал шаг вперед.

— Нет! Нет! Что вы, что вы, господин советник! Я истинный немец... Доказательства этому уже имеются... Можете проверить... — заикаясь, торопливо заговорил до смерти напуганный секретарь и быстро вышел, чтобы привести в исполнение приказ.

В полдень имперский советник объехал несколько магазинов на Ляйпцигер штрассе, но цветы, которые он собирался купить, здесь ему не понравились. Поэтому он заехал на крытый рынок, куда каждое утро привозили свежие цветы прямо из Голландии. Он купил большой букет бледно-розовых гвоздик, завернутых в целлофан, отпустил машину и отправился пешком к матери. Она жила неподалеку, и ему хотелось непременно повидать ее. Апрельское солнце хоть и улыбалось Берлину, но пока было все еще прохладно.

Вот он — его родной дом с винтовыми внутренними лесенками, которые вели к башенке с часами-кукушкой, отсчитывавшими время каждые пятнадцать минут, чтобы прищипоривать многочисленную прислугу.

Имперский советник застал мать в гостинной; она сидела в своем любимом кресле красного дерева. Она ослепла уже много лет назад, но все же ощущала свет, и глаза ее были с жадностью обращены к открытому окну. Он целую минуту стоял молча у двери, созерцая ее, и душа его наполнялась тем сладостным чувством спокойствия, которое только мать может дать своим детям.

Домашнее бархатное платье оливкового цвета скрывало костлявость тела старой женщины. Она почувствовала присутствие сына, поправила на голове белый тюлевый чепец и первой обратилась к нему:

— А я ждала тебя, чувствовала, что ты придешь...

— Вы мне очень нужны, мама...

— Знаю. Неужели ты пришел бы просто так посреди рабочего дня...

— Не упрекайте меня, мама. Государственные дела занимают мои мысли и днем и ночью. Ведь вы сами учили меня так относиться к ним...

Мать улыбнулась, довольная, и с девичьей кокетливостью распустила выбивавшиеся из-под чепца поредевшие волосы.

Сын прошел расстояние от двери до кресла неожиданно для самого себя медленными, тихими шагами и опустился возле нее на колени.

— Что мучит тебя так, мой милый?..

Сын вздохнул, почувствовал себя вдруг маленьким и незаслуженно обиженным. Старуха погладила его полусевшую голову.

— Мне ужасно тяжело, мама. Я просто задыхаюсь...— Он взял ее руку и приложил к своей груди.— Вы же знаете, я имперский советник. Сегодня ко мне обращены взоры всего рейха... Этим утром я допрашивал одного из поджигателей. Готов поклясться богом, что это самый главный из них. Видел его своими глазами... Чувствовал его душой своей — он поджег бы весь мир.

Сын склонил голову на колени матери, закрыл глаза, почувствовав отвращение к самому себе. Он пришел поделиться с нею своими сомнениями, сказать ей, что Димитров не может быть поджигателем. Но страх крепко зажал когтями его душу, и он отказался от исповеди.

Старая женщина ласково гладила рукой его свежие щеки, ерошила седоватые волосы, окаймлявшие его голову, словно венец.

— Я изучил полицейские протоколы допросов болгарина и голландца. Сам исходил вдоль и поперек рейхстаг, чтобы увидеть все своими глазами. Докопаться до истины. Читал документы Коминтерна... Коммунистической партии, орудующей здесь, в Германии.

Дрожь пробежала по тощему телу старухи. Ее выцветшие, безжизненные глаза уставились на колени, где лежала голова сына.

— А не опасно ли это для тебя, сынок?

Имперский советник поднял голову. Он сознавал, что обвинение, выдвинутое против Димитрова, несостоятельно, но подавил в себе желание поплакаться матери насчет своих сомнений.

— Мама, я распорядился заковать болгарина.

— Когда-то тут, в Берлине, красные стреляли с баррикад в твоего отца...— Поредевшие ресницы матери опустились вниз.— Вот почему в твоём предназначении и суждениях твоих я вижу перст божий, сын мой!..

— Я распорядился не снимать с него наручников ни днем ни ночью. Да прости меня бог. Молитесь за меня, мама!

— Да! — Старуха вдруг переменяла тон.— Садись-ка тут. Поближе!

Сын подчинился.

— Путь к величию Германии крут. Бог лучше всех знает это и потому наставляет тебя...

— Я поручил специальному человеку наблюдать за тем, чтобы наручники были всегда заперты на ключ. Под свою личную ответственность он будет хранить ключ. Чтобы какой-нибудь мягкотелый надзиратель не вздумал... А так от любого бессознательного движения во сне железная восьмерка будет глубже и глубже впиваться в его грешную плоть... И тогда... тогда для Димитрова выбор будет только один — сделать полное признание...

Сердце старухи билось медленно, она задыхалась от материнской гордости. Чувствовала себя бесконечно счастливой. Она притихла в своем старинном кресле.

— Мама, простите меня... Я принес вам цветы...

Сын только сейчас вспомнил про букет, который он держал в руке,

и покраснел от неловкости. Целлофановая обертка была смята и утратила свой блеск. Он аккуратно снял ее, чтобы не повредить ни одного лепестка, и подал матери цветы.

— Да, мама...

— Чудесные гвоздики...— повторила мать, прикасаясь пальцами к каждому цветку.

Димитров вернулся в камеру повеселевшим. Он испытывал торжество духа, потому что наконец вступил в открытое единоборство с имперским судом. Остановившись перед оконцем, он глубоко вдохнул прохладный апрельский воздух. В известном смысле следователь разочаровал его. Он полагал, что встретит сильного противника и победа будет вырвана с трудом. А оно вот как получилось!..

Советник не был достойным противником. Димитров взял дневник и записал:

«3 апреля.

Первый допрос у Фогта.

Примечание: Фогт — маленький рост — иезуит. Годен для ведения мелких уголовных дел. Для исторического процесса перед мировой общественностью слишком мелок. Мелочен, идиот. Будь он умнее, он должен был бы после наших первых столкновений руками и ногами бороться за то, чтобы я не предстал перед судом»...

До вечера его больше не вызывали ни на какие допросы. Наступила ночь, и Моабит потонул на короткое время в мертвой тишине. На короткое, потому что до слуха Димитрова часто доходили отдаленные стоны. Он соскакивал с койки, прижимался ухом к двери и долго вслушивался. Гулко отдавались шаги часовых. Приближались к его камере, проходили мимо. Пощелкивали ключи в замке соседней камеры, и раздавались отрывистые команды. Все это напоминало кошмарный сон, и снова наступала глубокая тишина.

Димитров, обессиленный, ложился на койку, закрывал глаза и думал о сотнях арестованных в связи с пожаром в рейхстаге. Камеры не могли вместить их всех, и поэтому многие были брошены в каменные коридоры. Он видел их и этим утром, когда его вели на допрос. Они были избиты и, рухнув от изнеможения на пол, лежали, повернувшись лицом к стене.

Наступило 4 апреля.

Димитров проснулся на рассвете. Возле него раздавались писк и щебет. Он приподнялся. О чудо! Ветки тополя, росшего во дворе тюрьмы, склонились под тяжестью облепивших их серовато-пепельных воробьев. Они залиристо чирикали, прижимались друг к другу и раскачивали ветки. До резкого звонка, означавшего подъем, оставался еще целый час, и он снова лег. С приближением нового дня птичье пение становилось все более восторженным, и Димитров стал уже различать отдельные голоса. Одни давали о себе знать громким, звонким чириканьем. Им торопливо откликались птички с необыкновенно тонкими голосами. Возможно, это недавно вылупившиеся воробышки заявили о своем праве на жизнь. Их писк быстро заглушался на общем фоне, и воробьиное щебетание превращалось в незнакомую очаровательную симфонию.

Димитров забылся в легком сне...

Он слушал и прежде птичье пение — у себя во дворе на Ополченской улице. Под шелковицей на трехногой табуретке сидела его мать...

Мощный электрический звонок разбудил хрупкую тишину Моабитской крепости и спугнул воробышков, упорхнувших в разные стороны. Вместе с ними улетел и сон.

СЛЕДОВАТЕЛЬ

Имперский советник давно уже закончил следствие по делу о поджоге рейхстага. Судейский совет, верховный прокурор доктор Вернер, его помощник доктор Паризиус, а также гестапо тщательно рассмотрели материалы обвинения, изучили самым внимательным образом свидетелей. Готов был уже обвинительный акт. Следователь отправил роскошно переплетенный экземпляр его самому Герману Герингу. Второй такой же спрятал в секретном сейфе — для себя. Он был доволен. Эти двести тридцать пять страниц должны были достойно упрочить его звание имперского советника.

Через четыре дня начинался процесс.

Накануне его отъезда в Лейпциг ему позвонили из канцелярии премьер-министра Пруссии. У телефона был сам Геринг. Имперский советник поглядел на часы — ему очень хотелось запомнить точно время этого разговора. Похвалы премьер-министра сделали его невыразимо счастливым. Они пришлись как нельзя кстати, потому что согрели ему душу, измученную Димитровым. Геринг щедро хвалил его за усердие, с которым он подготовил удар, наносимый коммунизму. Имперский советник печально улыбнулся. Даже самому себе он не смел признаться в том, что допросы болгарина походили на пустые пшеничные колосья. И если бы не было такой солидной подготовки свидетелей и вообще всей организации процесса... Улыбка его держалась на лице всего лишь мгновение. И вот он, крепко сжимая телефонную трубку, уселся поудобнее в кресле и вытянул перед собой тонкие ноги.

Говорил он сдержанно, как и полагается говорить с высокопоставленным лицом, а ему хотелось прыгать от радости.

— Германин нужно побольше таких сынов, как вы, мой доктор! — гремел в трубке голос Геринга.

От волнения у советника сперло дыхание. Фамильярный тон премьер-министра вызвал у него сладостное смятение, и он вдруг освободился от воспоминаний о фанатичном взгляде болгарина. Забыл и то, что ночью вскакивал с постели и как безумец бегал по темной квартире, преследуемый голосом Димитрова. Нет, это был не человеческий голос, а орудийный залп, разрывавший его на куски.

Но воспоминание уже принадлежало прошлому! Советник улыбнулся удовлетворенно. К чертям все! Нет уже их — этих ночей... От радостного возбуждения у него пересохло в горле. Какую необыкновенную силу таил в себе Герман Геринг! Ah, если бы можно было на процессе противопоставить его неукротимому коммунистическому агитатору! Вот тогда бы увидели, кто кого!..

— Я помню первый разговор с вами, господин доктор. Вы тогда великолепно поняли меня. Обвинительный акт — это паспорт, удостоверяющий вашу верность нации. Бог предоставил нам одну родину, и ей мы должны служить душой и телом. Я читал обвинения, выдвигаемые против поджигателя Димитрова. Поверьте мне, казалось, не вы, а я сам написал каждое слово в этом историческом документе.

Имперский советник прижал плотнее трубку к уху, боясь, как бы не упустить хоть один звук, произнесенный устами Геринга.

— В другой раз я говорил вам...

Геринг умолк, но было ясно слышно, что он жует. Советнику стало обидно: он представил себе, как Геринг отрывает зубами кусок от толстого бутерброда. Но в трубке снова раздался голос:

— Пожар в рейхстаге был сигналом для начала коммунистической революции. В этом я, вы и весь народ убеждены! 27 февраля мы упустили бесценные часы. В ту ночь необходимо было уничтожить всех коммунистических руководителей. И детей их. И внуков! Уничтожить эти исчадия ада всех до одного. Запомните, доктор! Только тогда мы сможем смотреть будущему прямо в глаза. Но... (Советник опять услышал шумное чавканье.) Процесс в Лейпциге реабилитирует нас перед историей. Я в этом уверен. С нами бог!

— Если разрешите... Вы совершенно правы, — подтвердил советник, — но, по моему мнению, этот процесс только начало. После него процессы против коммунистов должны следовать один за другим до тех пор, пока...

— Чудесно! Действуйте! — прервал его Геринг. — И знайте: каждый смертный приговор, подготовленный вами, будет иметь мою безусловную поддержку. А это значит, что когда полицейский стреляет в коммуниста, это стреляю я.

— Но есть и еще кое-что... — сказал советник. — Необходимо сократить до минимума юридическую процедуру. Этого требует от нас народ Германии. Обязывает нас! Мы не должны позволять, чтобы закоснелые следственные ритуалы подставляли ножку новому порядку!

— Да, точно. Разумеется, без процедур! Я вообще против процессов. — Геринг громко рассмеялся. — А не переутомились ли вы, доктор? Не отрицайте! Вам непременно надо отдохнуть! Приказываю вам!

— Ну что вы говорите, господин премьер-министр! Да разве я могу обрести покой в эти напряженные для рейха дни? Да и кто другой на моем месте мог бы обрести его? Ведь я же один из главных участников дела, ведущих его, — вполне искренне отверг предложение Геринга имперский советник.

Так закончился этот разговор. Отдавшись во власть переживаний, советник долго сидел неподвижно, опустив веки, оторопев от счастья. В кабинет вошел секретарь и вывел его из забвения.

— Вам письмо... От Георгия Димитрова. Новое... — тихо доложил он. — Ведь мы уже сняли с него наручники? Чего еще он требует?

— Настаивает, чтобы ему незамедлительно были переданы все письма, поступившие в его адрес, и хочет сам определить себе защитника. Снова предлагает имена известных адвокатов — своих соотечественников, французов, американцев, англичан...

— У вас нет срочных дел, Фриц?

— Да, господин советник.

— Вы любите картины?
— Да, господин советник.
— Дайте бутылку. Садитесь тут! — снисходительно пригласил его советник. — Поближе! Знаете, мне трудно понять сатанинское упорство этого балканского субъекта. — Советник устался на бокал с картины. — Он и сейчас настолько же неутомим в своих требованиях, как и прежде, когда наручники впились ему в тело. Пять месяцев неистощимой силы и последовательности... Выпьем, Фриц! За нас!

Секретарь молча поднял бокал. Советник всегда пугал его неожиданными переменами в настроении.

— Скажите мне, из какого теста сделан этот болгарин?
— Не знаю, не могу понять... Если бы в Моабит бросили бога, он бы наверняка отрекся от неба...

— Глупости говорите вы, Фриц! Не ставьте на одну доску бога и этого поджигателя, — заорал вдруг советник и впился взглядом в испуганное лицо секретаря.

Побледнев, едва шевеля оцепеневшими челюстями, мелкий чиновник невнятно забормotal в свое оправдание какие-то слова. Долил бокалы, но не притронулся к своему.

— Простите меня, Фриц, я переутомился. Сам Герман Геринг только что предложил мне отправиться в отпуск.

— Разумеется... И я тоже считаю, что вам надо отдохнуть... — Секретарь позволил себе улыбнуться.

— Фриц, вы с ума сошли! Могу категорически утверждать это. Где сейчас Димитров?

— У следователя Дитриха. Для справки...
— Распорядитесь, чтобы его задержали там подольше! Принесите мне его дневник и копию его письма!

— Немедленно, господин советник... — Покачивающейся походкой Фриц вышел в соседнюю комнату.

Имперский советник одним залпом осушил бокал. Наполнив его, снова осушил и утратил представление о времени. Когда вернулся секретарь с папкой, глаза советника блестели, как лакированные, перед ними плясали расплывчатые пятна на портретах Гитлера и Гинденбурга.

Несколько минут советник не прикасался ни к письмам, ни к дневнику, словно это были раскаленные угли. Он стоял у письменного стола, бледный и безмолвный. Весь ужас, пережитый им во время допросов, когда он ежедневно сталкивался с Димитровым, снова с первозданной силой охватил его. Он выкурил сигару, вторую и, когда волнение его начало утихать, приказал секретарю читать вслух дневник.

— «1 апреля. Случайно полученная газета (*первая газета*) «Моргенпост» от 28, 29. III... Амнистия нацистам — статья Керля об объективности судей...

Примечание. Если в этой статье слово «народ» заменить словами «финансовый капитал», получается совершенно правильная картина». — Тонкий дрожащий голос Фрица выдавал сильное волнение. Дневник трясся в его руках.

— Достаточно! Дальше!
— «2 апреля. *Первое воскресенье.* Гнетущая тюремная тишина... Мысли о том, что происходит там — на свободе...

Время узнаешь только по завтраку, обеду и т. д.».

Имперский советник поднял высоко над головой руку.

— Фриц, я в недоумении. Что, собственно, вызвало интерес моих сотрудников к этому дневнику? Неужели нас, железных рыцарей рейха, могут тронуть сентиментальные излияния обвиняемого? Не находите ли вы, что Димитров по сравнению со мной просто картонный лев? Да! Картонный лев! Со вздернутой головой и поднятой лапой! А оставшись наедине, в камере, он показывает свое истинное лицо. Ну, что вы скажете? «Гнетущая тюремная тишина»... Ха, ха, ха!

Секретарь ничего не ответил. Продолжал читать:

— «3 апреля. Первый допрос у Фогта...»

— Читайте дальше! Об этой дате мне известно все! Посмотрите, что записано двадцать четвертого!

— «24 апреля... Вызов к Дитриху...

...В тюремном коридоре меня показали пожилой даме, незнакомой. Протест: как медведя, показывают сотням незнакомых людей. Почему? Кто эти люди? Столкновение: я кричу по адресу гестапо: «Все вы будете в один прекрасный день привлечены к ответственности за потерянное мною время и здоровье!..»

— Ого! — воскликнул советник и закурил новую сигару. — Читайте, ради бога! Читайте! Скорее! — Поторопил он секретаря.

— «1 мая... Москва — Берлин, два исторических антипода. А я сижу в Моабите — закованный. Достаточно скверно и грустно. Но... Дантон: «Никакой слабости!»

— Налейте мне в бокал мартини! Читайте!

— «3 августа. Получил обвинительный акт. Неслыханная махинация...»

— Остановитесь, Фриц! Проверьте, готова ли машина для отъезда в Лейпциг! Отправимся сегодня!

Секретарь вышел. Советник долго просматривал наугад письма Димитрова и снова убеждался в том, что победа неизбежна. Все продумано! Особенно вопрос о свидетелях — на них он рассчитывал целиком и полностью.

«Письмо госпоже Розе Флайшман... — Советник насмешливо поджал губы. Глаза его, все еще влажные от большой дозы мартини, медленно ползли по строчкам: — Я... уже несколько месяцев занят главным образом тем, что более подробно изучаю историю Германии. Эти занятия очень интересны и поучительны и при этом ясно показывают связь между прошлым немецкого народа и современными событиями в Германии, касающимися всего мира. Они помогают правильно понять эти события и их преходящий характер...

Часто я чувствую себя как *связанная птица*, у которой есть крылья, но она не может ими воспользоваться...

И особенно утешает меня превосходный афоризм Гёте:

Богатство потерять — немного потерять,
Честь потерять — много потерять,
Мужество потерять — все потерять!

Да, так вот, смелость, смелость, всегда смелость! И на всех парах вперед — несмотря ни на что!»

— Неужели Гёте вам поможет, господин Димитров? — громко произнес советник и швырнул письма.

Он уже был готов отправляться в путь. Взял телефонную трубку и набрал номер своей матери.

— Мама, шеф гестапо выписал вам пропуск в Лейпциг. Через двадцать минут я заеду за вами.

На этот раз старуха была особенно щедра на слова. Пустилась в долгие объяснения, какие туалеты и почему она считает необходимым надевать в Лейпциге.

— Платье из темно-синей парчи? Да! — одобрил сын. — И второе — из коричневого муслина! И третье — из черного бархата, — повторял он следом за матерью. — Чудесно, мама! Сегодня у меня был разговор с Германом Герингом. Он был необыкновенно ласков со мной. Впрочем, будьте готовы!

Советник положил телефонную трубку, и на губах его заиграла счастливая улыбка. Но миг сладостного опьянения был краток. Взгляд его остановился на письме Димитрова и впился в строку: «...Смелость, смелость, всегда смелость!..» Острая боль пронзила вдруг ему грудь и сковала все тело. Он попытался сделать шаг вперед, но не смог и долго стоял неподвижно.

ВЕЧЕРНЯЯ ВСТРЕЧА ВЕЖЛИВОСТИ

Над городом сгрудились свинцово-серые тучи. Время от времени шел крупный, холодный дождь вперемешку со снегом, который местами лежал узкими полосками. Звон колоколов Мариенкирхе возвещал о начале вечерней литургии. В их торжественно-молитвенную мелодию вторгался вой заводских гудков, пересиливал, заглушал ее... Приближалось время ночной смены на оружейных заводах.

Председатель суда доктор Бюнгер, лежа на мягком диване, отдыхал перед ужином. Пушистое ангорское одеяло приятно согревало его изнуренное тело, и он забылся в мучительной дремоте. Уже несколько дней процесс проходил в Берлине. Заседания становились все утомительнее, а конца им не было видно...

Его разбудил неожиданный телефонный звонок. Он, еще в полусне, ощупью нашел трубку.

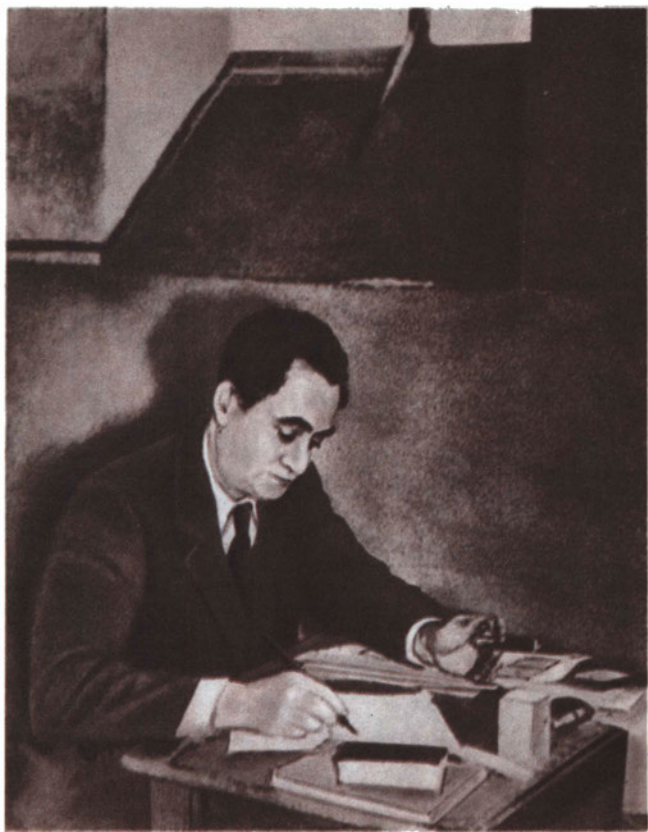
Звонили из гестапо. Просили его о встрече.

— Если доктор желает... Если у него нет никаких других приглашений или дел в этот вечер... то просим пожаловать... Машина будет ждать его перед домом.

У Бюнгера не было возможности выбирать. Усталость вмиг исчезла, и он машинально ответил:

— Разумеется! Приеду!

Он надел зимнее касторовое пальто, взял трость и остановился на секунду перед зеркалом в холле. «Эх ты, бывший министр правосудия Саксонии! И ее премьер-министр! — насмешливо сказал он себе... — Эх ты, плешивый старикан! Как вскочил ты по команде этого мальчишки!..»



Георгий Димитров в тюремной камере.



*Георгий Димитров выступает
с заключительной речью в суде.
Лейпциг, 16 декабря 1933 г.*



*Последний день суда в Лейпциге
(23 декабря 1933 года, 9 часов утра).
Оглашение приговора. Георгий Димитров
стоит в первом ряду справа.*

Из зеркала на него смотрело его собственное лицо, отекавшее и расстроенное. Все же зачем его вызывают в гестапо? Беспричинно? Нет! Дружеский визит? Нет!

Пока машина неслась по широкому, скользкому бульвару, Бюнгер, глядя через приспущенное стекло на сверкающие разноцветные рекламы крупных трестов и торговых фирм, пытался спокойно поразмыслить. Процесс не задавался... Правду уже невозможно стало скрывать... Виновник? Эй, кто же виновник?!

Шеф гестапо Дильс встретил его весело, извинился, что нарушил его отдых, но... Ведь доктор Бюнгер лучше всех понимает, в каком положении они находятся...

— Признаюсь вам откровенно: Герман Геринг недоволен мной... — В больших меланхолических глазах молодого человека мелькнула загадочная улыбка. Он подхватил под руку судью и усадил его в кожаное кресло у несгораемого шкафа.

— Почему? Что послужило поводом? — спросил Бюнгер.

Гестаповец недоуменно поднял свои густые черные брови, и на его красивом смуглом лице снова промелькнула улыбка.

— А все же? — настаивал Бюнгер.

— Я, естественно, тоже недоволен вами... — У начальника тайной политической полиции были четко очерчены губы, и они придавали его лицу особую выразительность.

Он поставил на столике коробку с дорогими шоколадными конфетами. Бюнгер внимательно поглядел на него. Неужели этот молодой дьявол знал, какую слабость он питает к шоколаду?

— Меня смущает очень многое, господин начальник... — тихо сказал председатель суда и протянул руку к конфетам с орехами.

— Говорите спокойно... — Шеф гестапо расположился в кресле рядом с ним.

— Верховный прокурор доктор Вернер, его помощник доктор Паризиус и особенно следователь обрекают нас на явный провал... Все идет от обвинительного акта... — Бюнгер бросил взгляд на высокую, обитую кожей дверь.

— Да! — воскликнул гестаповец. — Значит, мы с вами думаем одинаково. А что касается следователя... То болгарин уже вынес ему приговор в своем дневнике... Он слишком мелок для ведения дела, за которым следит мировая общественность. Печально, печально, доктор Бюнгер. Но ведь это — сущая правда!

— Если я вас правильно понял, премьер-министр недоволен и мною? — спросил судья Бюнгер.

На свежем молодом лице гестаповца снова расцвела подкупающая улыбка.

— Доктор Бюнгер, мы утрачиваем позиции... — тихо прошептал он, но в просторном кабинете шепот отозвался гулким эхо, и Бюнгер снова испуганно огляделся. — За границей буря возмущения против нас усилилась. Необходимы решительные действия!

— Ваша точка зрения — это и моя точка зрения. Вы же знаете: хотя я не национал-социалист, но борьба против левых, против коммунистов — это цель и содержание моей жизни...

— Безусловно! Иначе разве мы доверили бы вам этот процесс? Но, как председатель четвертого уголовного сената имперского суда

вы, простите меня, тоже иногда допускаете ошибки... Предлагаю послушать записи заседаний на процессе, и вы сами убедитесь в этом...

Шеф гестапо включил патефон.

Доктор Бюнгер вел допрос Маринуса Ван дер Люббе:

«Почему вы совершили эти три поджога?»

«По собственным побуждениям».

«Что вы хотели этим доказать?»

«Этого я и сам тогда не знал».

«Не должно ли было это явиться публичным протестом против капитализма?»

Диск патефона вертелся с легким шипением, и кабинет наполнился молчанием голландца. Бюнгер вздрогнул. В допрос вмешался Георгий Димитров:

«Непонятно, почему Ван дер Люббе раньше давал такие подробные показания следователю, а здесь, на открытом заседании суда, молчит и не дает никаких ответов. Если он действительно нормальный, как утверждают эксперты-профессора, остается лишь предположить...»

«Вам нечего строить здесь какие-то предположения, вы можете задавать вопросы исключительно в связи с поджогами, которые рассматриваются в данный момент».

«Сейчас я это сделаю. Во всяком случае, я должен хоть раз высказать свою точку зрения. Ван дер Люббе был простой, довольно хороший парень. Он был каменщиком, много ездил и вот совершил это преступление. Тут могут быть только два предположения: либо Ван дер Люббе безумец, либо он нормальный человек. И если он нормальный и молчит, то молчит, подавленный чудовишным бременем преступления против рабочего класса. Я задам Ван дер Люббе следующий вопрос: слышал ли он хоть раз когда-либо в жизни мое имя?»

Шеф гестапо не сводил с доктора Бюнгера испытующего взгляда.

— Вы не узрели в этом коварства Георгия Димитрова. Вот она, ваша близорукость. Болгарин, можно сказать, ставил на карту свою жизнь, а вы не воспользовались этим моментом. Если бы голландец сказал одно только «нет», наше обвинение превратилось бы в картонный домик. Что ж тогда было? Две минуты в зале стояла гробовая тишина. Словно в имперском зале не было ни живой души, доктор Бюнгер! Кроме Георгия Димитрова! И иностранные корреспонденты по достоинству отметили молчание Ван дер Люббе. Оно было равносильно «нет». Только тогда вы вмешались... Как слепец с протянутой вперед рукой. Дрожащим голосом. Административно! Послушайте себя!

«Вы не имеете права спрашивать, спрашиваю я».

Слушая свой немощный голос, Бюнгер похолодел. Дерзкие слова Димитрова всегда разрушали его спокойствие. А тут, в гестапо, они прозвучали еще более вызывающе и страшно. Но пострашнее было другое!.. Совсем близко, почти упираясь своими коленями в его, сидел шеф тайной политической полиции...

А Бюнгер уже очень много знал о пожаре рейхстага... Дрожь пробежала по его тучному телу. Знал он и имена исчезнувших, даже нацистов, которым были известны тайны, связанные с пожаром... А какова будет его собственная участь после процесса? Он молча выдержал уставившийся на него холодный взгляд гестаповца, и в глубине сознания

прорезалась мысль о необходимости сокрушительной атаки на болгарина. Внезапной! Из засады! Засыпать его вопросами! Повторять их! Сбивать на противоречия — и так вести ее до последнего дыхания этого непокорного коммуниста.

Начальник гестапо встал. Его сердитые шаги продолжали держать судью в напряженном состоянии. Бюнгер, уставившись на его поскрипывающие на ковре остроносые туфли, испытывал к себе безмерную жалость. И в то же время грудь его распирала злость. Он допускал, что где-то упустил главное. Но где? И почему ему не помогут? Неужели они не понимают, что вся беда исходит из обвинительного акта. Что, разве болгарин не человек из плоти и крови? Судья сидел в кожаном кресле, сникший, сгорбившийся, и на его пухлых щеках поблескивали капли пота.

Начальник гестапо искренне пожалел его. Он сам не видел его вины, но помочь ему было невозможно. Геринг каждый вечер высыпал кучу обидных слов в адрес Бюнгера. И может быть, уже недалек тот день, когда недовольство премьер-министра превратится в живое действие...

— Прошу вас, помогите мне увидеть свои промахи...— обратился к нему судья.

— Хорошо! Давайте запустим еще раз пластинку. Вот вы допрашиваете Димитрова:

«Эта книга ваша?»

«Такая книга была в моей комнате. Но именно она ли это — не знаю... Дать гарантию полиции не могу».

В кабинете раздался взрыв веселого смеха. Патефонная пластинка продолжала вертеться. Священной тишины как не бывало. Фанатичная тишина Имперского зала кончилась. Смеялись все — и нацистская публика, и иностранные корреспонденты. Чей-то истеричный женский голос крикнул: «Ха-ха!» Шеф гестапо и доктор Бюнгер переглянулись.

— И отметьте, господин председатель четвертого уголовного сената имперского суда! Вы тогда не реагировали на этот презрительный смех. На этот убийственный сарказм. Может быть, вы и сами смеялись?

— Ну что вы говорите?! Вы обижаете меня!

Гестаповец снова включил патефон.

— Это опять вы, да? И Димитров?

Бюнгер кивнул головой и слушал свой голос...

«Молчите! Полиция может обойтись и без вашей гарантии. Скажите, каким образом вы вели записи в своем дневнике?»

«Я вел их не для имперского суда, а для себя!»

В кабинет снова ворвался убийственный смех. Бюнгер испуганно поглядывал то на шефа гестапо, то на патефон, откуда, kloкоча, неслась сокрушительная ирония. Доносились отдельные слова, шушуканье. Когда все утихло, голос болгарина прозвучал как приговор:

«Полиция показала свою полную неспособность и непонимание в этом деле».

Гестаповец нервно захлопнул крышку патефона, отошел к окну и, став спиной к председателю суда, с минуту молчал. Он пристально вглядывался в темные силуэты соседних зданий, а думал о встрече с Герингом. В двадцать три часа ему надо было прибыть к нему с новыми записями... В кабинете было тепло, а ноги молодого человека дрожали. Сковывающий холод полз от пальцев ног к коленям и выше, постепенно

охватывая все его тело. Тишина становилась болезненно осязаемой. Казалось, пустой диск патефона заполнял ее громовым голосом болгарина: «Полиция показала свою полную неспособность».

— Да,— сказал он, вздохнув,— вы правильно отстранили Димитрова от участия в заседании. Но завтра надо будет снова его вызвать...

— О, боже! Это невозможно... Ради авторитета суда не настаивайте! — молил беспомощно Бюнгер.

— Точно в девять часов утра в имперский суд явится свидетель по этому делу — Герман Геринг. От вас требуется лишь одно: сделать из их встречи нечто исключительное! Мы должны одержать победу! — Гестаповец поднял руку. — Не торопитесь! Хорошенько подготовьтесь!

— Понимаю... Непременно.

— Как вы думаете, Георгий Димитров действительно имеет только двухклассное образование?

— Мне трудно сказать... Сомневаюсь...

— По нашим сведениям, он был в Москве профессором международного права. Впрочем, это не имеет никакого значения. Важно то, что он очень настойчив! И знает нашу жизнь...

— Да! К сожалению... — подтвердил Бюнгер.

— За семь месяцев, проведенных в Моабите, он прочитал семь тысяч страниц. Прежде всего, доктор Бюнгер, он читал правовую и историческую литературу. Вот справка: сочинения историков Шефера и фон Гофмана, фон Сибела и Гольдфельда, философские труды Мессера, Канта и Гегеля. «Майн кампф» фюрера, «Борьбу за Берлин» Геббельса. И вместе с этим читал Гёте, Шиллера, Шекспира. Его камера, казалось, могла быть скорее кабинетом ученого самого высокого ранга... И все это происходило на наших глазах! С нашего ведома! Разве вам это ничего не говорит?.. Курите! — Гестаповец подал ему коробку с сигарами.

Курили оба молча. Бюнгер задумчиво уставился в пустое пространство перед собой. Он чувствовал себя между двух огней. Коммунистов он ненавидел. И если бы не этот страшный шум, что поднялся в России, в Англии и Франции, в Америке, процесс давно уже был бы закончен и смертные приговоры приведены в исполнение. Побоялся Бюнгер и нацистов. И все же предпочитал скорее их.

Шеф гестапо вынул из несгораемого шкафа туго набитую папку и сказал:

— Завтрашний день потребует у вас много сил. Я верю в вас, доктор Бюнгер, и хочу вам помочь. Тут собрано все, что было написано за границей о процессе и о контрпроцессе в Лондоне. Вы должны хорошо знать противника.

— Да я лично знаю многих из участников контрпроцесса. Из их секретариата... Английского королевского советника Дэниса Нозла Притта, шведского сенатора Георга Брантинга, парижского адвоката Венсана де Моро Джаферри, итальянца профессора Франческо Нитти. Известен мне и лорд Марли...

— Сенаторы, лорды, королевские советники... Мир сошел с ума. И этому безумному миру противостоям мы. Единственные! Одни! Вы понимаете, каково наше положение, доктор?!

Бюнгер молча кивнул...

— Под покровительством так называемого Международного комитета помощи жертвам германского фашизма, а это означает прямое учас-

тие в нем Коммунистической партии Германии, пресловутая «Коричневая книга»¹ марширует по всей планете.— Шеф гестапо пытливым взглядом пристально глядел на судью.— И мы не можем воспрепятствовать этому! Не можем! — Он встал, открыл обе створки большого несгораемого шкафа и сказал: — Смотрите!

Изумленным глазам Бюнгера открылось необыкновенное зрелище. Сотни экземпляров «Коричневой книги» кипами громоздились на полках. На обложках их стояли невинные названия: «Герман и Доротея» Гёте, «Валенштейн» Шиллера, пестрые рекламы кинофильмов с улыбающимися обнаженными женщинами и новейших моделей пылесосов.

Шеф гестапо резко захлопнул дверцы шкафа.

— А отзывы о «Коричневой книге» за границей приводят в отчаяние. В «Чешском слове» — это в правительственном органе! — пишут: «Убедительный язык фактов, доказательства, цитаты, имена, даты вызывают у нас стыд и возмущение». Волнуется и старая хладнокровная Англия.— Гестаповец протянул руку к письменному столу и взял какую-то газету.— Вот! Прочтите!

Бюнгер пожал плечами. Он не знал английского языка.

— Тогда слушайте: «Описываемые события напоминают скорее эпоху заговоров Катилины, чем двадцатый век в Европе... Они должны вызывать отвращение у всего цивилизованного мира».

Гестаповец швырнул газету.

— Скажите мне откровенно, ведь мы с вами говорим как друзья, не считаясь с должностями и рангами! Видите ли вы у нас тот самый земной ад, о котором говорится в «Коричневой книге»? И заговоры Катилины, господин доктор? Вы понимаете?

Бюнгер отрицательно покачал головой.

— Нет! Англия на нас клеветает!

— А вы читали «Коричневую книгу»?

— Читал...

Наступило краткое молчание.

— Это хорошо! Перед решающим боем надо знать все.— Он взял со стола другую газету.— Вот вам «Газета варшавска», симпатизирующая новой Германии. Заметьте, что она пишет: «Димитров одарен блистательными умственными способностями. Он превращает скамью подсудимых в трибуну обвинителя. Он обвиняет нацистское правительство и германское правосудие, а иностранные журналисты смотрят на него — большевика — с симпатией...»

Зазвонил телефон, но гестаповец не взял трубки.

— Даже наша «Ляйпцигер Нойесте Нахрихтен» не может умолчать о том, что происходит в зале заседаний, и предупреждает: «...Этот человек превратил важный процесс в неотделимую часть собственной жизни — политической в своей сущности. Уже доказано, что Димитров — один из моральных поджигателей самого чудовищного калибра... Цивилизованный мир должен уничтожать эту обращенную в живую плоть программу III Интернационала, если он не хочет погрузиться в бесконечную кровавую ночь».

¹ «Коричневая книга о поджоге рейхстага и гитлеровском терроре» вышла в свет 1 августа 1933 г. Книга была подготовлена к печати Международным комитетом помощи жертвам германского фашизма при содействии немецких антифашистов.

Начальник гестапо опустился в кресло и с горьким удивлением заметил, что половина шоколадных конфет исчезла. «Этот человек ни о чем, кроме своего брюха, не думает».

— Но есть и другое! — со сдерживаемым гневом продолжал он и насыпал перед судьей десятки печатных листовок и бюллетеней. — Все это издания нелегальной Коммунистической партии Германии. К сожалению, она имеет и свои типографии!

Замысловатое сплетение старческих морщин у глаз Бюнгера натянулось, зрачки расширились, он уставился на эти листовки, бюллетени и с нескрываемым ужасом прикоснулся к ним.

— «Фрайхайт», номер один, два, три, пять, семнадцать... — Гестаповец продолжал раскладывать перед ним трясущимися руками нелегальные материалы. На лице его уже не было приятной улыбки. Гнев исказил его, придав ему что-то демоническое. — Каждые три дня Центральный Комитет Германской коммунистической партии издает специальный номер своей «Фрайхайт», обобщающий процесс. Ежедневно, помимо очередного, второй специальный номер о заседании, проходившем в этот день. С крыш зданий разбрасывают листовки, вламываются к людям в дома и злословят по нашему адресу. Засыпают иностранных корреспондентов этими хлопьями. Да, к нашему глубокому огорчению, доктор Бюнгер, Германская коммунистическая партия еще жива! А куда же смотрим мы?

Судья мрачно молчал. Жевал шоколад. Зеленоватый дым сигары окутывал его облысевшую голову.

— Итак, я спрашиваю вас — только отвечайте мне откровенно и точно: сумеете ли вы доказать участие коммунистов в поджоге рейхстага?

Испуганный Бюнгер продолжал молчать.

— Да или нет?

— Да.

— Вам на помощь придут господа Герман Геринг и Йозеф Геббельс. Сделайте все! И как писала «Ляйпцигер Нойесте Нахрихтен», уничтожьте эту обращенную в живую плоть программу III Интернационала! Германия надеется на вас. Фюрер ждет этого от вас! Прошу передать мои пожелания всех благ госпоже Бюнгер! — Шеф гестапо улыбнулся и отвесил элегантный поклон.

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ

Н а рассвете в камеру к Дмитрову вошел незнакомый ему человек — низенький толстяк с маленькими, необыкновенно живыми глазами. Они как-то совершенно не вязались с его крупным, вялым лицом.

— Я служащий дирекции тюрьмы, — представился он. — Прошу извинить... Проходил тут мимо, увидел, что вы не спите, и потому... — Он держал маленькую картонную коробку, перекладывал ее из руки в руку и шарил взглядом по камере.

Дмитров просматривал конспект заключительной речи, которую он

сегодня собирался произнести. Приход незнакомца прервал его работу, и потому он резко спросил его:

— Что нужно господину из дирекции тюрьмы?

— Мне ничего! Я принес вам вот это... Получили вчера! — ответил тот и, положив на стол коробку, улыбнулся.

— Благодарю, — сдержанно сказал Димитров.

Служащий не ушел. Без спроса перелистал несколько газет, лежащих на столе, заглянул в конспект.

— Интересно! Исключительно интересно!.. — шепнул он, перевертывая исписанные листки.

— Что надо господину — представителю гестапо? — вскипев, спросил Димитров.

— Отгадайте! — сказал, продолжая улыбаться, тот. — Но спокойно, спокойно! Каждый занимается своим делом... — Он наклонился и прочитал: — «Процесс — это звено в цепи мероприятий по истреблению коммунизма».

— Вы нарушаете элементарную человеческую свободу! — возмутился Димитров и встал разгневанный. — Вы не имеете права!..

— О, тут мы только вдвоем, и я могу быть откровенным с вами, — тихо, с нескрываемым цинизмом сказал представитель гестапо. — Что касается процесса, то вы правы. До недавнего времени я работал в маленьком провинциальном городке, и там за такие слова... Вы меня понимаете? Я не хочу вас пугать, господин Димитров, вы родились под счастливой звездой. Весь мир следит за тем, что происходит с вами. Оберегает вас. И мы даже...

Снежный вихрь стонал у стен тюрьмы. Димитров с отвращением смотрел на склонившуюся над столом спину незваного гостя.

— И о господине Паризиусе будете говорить? И о господине верховном прокуроре докторе Вернере? О, вы даже не пощадите господ Геринга и Геббельса! Слишком смело. Безумно! Снова буду откровенным... — Гестаповец выпрямился, лицо его покраснело, на низеньком лбу надулись две темно-синие вены. — Вы мне симпатичны... Но тут вы допускаете ошибку. Вы не представляете себе силы, могущества Германии. — На его одутловатом лице улыбка сменилась выражением иронии и угрозы.

— Вторично спрашиваю вас: чего вы хотите?

— Простите, еще минутку! Я не буду долго мешать вам.

Гестаповец выбежал из камеры и минуту спустя вернулся с большим фотоаппаратом на треножке. Он насильно удерживал на тонких губах улыбку.

— На память о вас... — Он направили объектив к столу. В его пальцах зашевелились страницы конспекта. Он лихорадочно перелистывал его и снимал, перелистывал и бормотал: — Получатся чудесные фотоснимки. Четкие! Ясные! Уверяю вас! О! Вы цитируете Гёте! Должен признаться вам, я не люблю его. В нем есть что-то такое... Чем именно вы воспользовались у него? Ах, вот! — Он громко прочитал:

В пору ум готовь же свой.
На весах великих счастья
Чашам редко дан покой;
Должен ты иль подыматься,
Или долу опускаться;

Властвуй — или покоряйся,
С торжеством — иль с горем знайся,
Тяжким молотом взвивайся —
Или наковальной стой.

Гестаповец читал плохо, запинаясь, повторял слова, и в его устах Гёте утрачивал свою силу и красоту.

— Цитата неподходящая для этого случая. Не-под-хо-дящая! — заявил он.

— Будущее рассудит!

— Будущее — это мы! — слегка опустив веки, сказал гестаповец, и его крохотные глазки исчезли.

— Будущее и это рассудит! — рассмеялся Димитров, и его зеленые глаза заблестели. — У меня к вам вопрос.

— Говорите!

— Кому нужен фотоснимок моей речи?

— Нашему Герману, господин Димитров! Прощайте! — Гестаповец взял аппарат и поспешно вышел.

Димитров с отвращением взглянул на картонную коробку и тут же протянул к ней руку. Открыл ее и вздрогнул от неожиданности. Внутри ее лежали три красные гвоздики. Их прислала ему незнакомая немка с пожеланием благополучного исхода процесса.

Душа Димитрова наполнилась благодарностью к этой женщине. Погрузив взгляд в яркие краски гвоздик, он стоял в каком-то забытьи посредине камеры. Забыл пухлые пальцы гестаповца, которыми тот трогал его вещи. Неловко держа стебли гвоздик, он прикоснулся к ним лицом и глубоко вдохнул их нежный аромат. От них исходило благоухание весны, жизни. Казалось, рядом с ним была Люба. Он зажмурил глаза. Боль становилась осязаемой и непреодолимой.

Три красные гвоздики! Так его всегда провожала Люба, когда он отправлялся в дальний и опасный путь — в Берлин и Амстердам, в Париж и Брюссель, в Женеву. Его, политического секретаря Балканской коммунистической федерации, руководителя Западноевропейского бюро Коминтерна... Доктора Шаафсма, доктора Рудольфа Гедигера, Виктора Гельмута...

В стоны снежной бури влетался нежный голос: «Жорж!.. Жорж!..» Димитров, прислонившись к каменной стене, стоял неподвижно, затаив дыхание, и слышал постукивание Любиных каблучков: тук-тук-тук... Вена, берег Дуная... Или рабочие кварталы, притихшие скверы с бюстами Моцарта, Бетховена, Баха, покрытыми маслянисто-зеленоватым налетом... Он ездил на нелегальные встречи, конференции, конгрессы... И повсюду его сопровождало это неотступное и верное: тук-тук-тук...

Любы уже нет. Димитров дрожащими руками порывлся в разбросанных на столе листках бумаги и нашел письмо своей сестры. Да, Люба умерла... Метель запорошила снегом зарешеченное оконце камеры. Но в ее прерывистые стоны, в резкое завывание порывов ветра снова врывался голос Любы:

Я гордая плебейка — знайте это, господа!
Родилась я в грязи и среди мерзости росла, да!

.....
Я гордая плебейка — знайте это, господа!
Родилась я в грязи и в битвах выросла я, да!..

Димитров поцеловал три красные гвоздики. Электрический гонг вернул его снова в камеру. Начался день шестнадцатого декабря тысяча девятьсот тридцать третьего года!

Вошел надзиратель и принес из прачечной белье.

— Герр Димитров, вот вам...

— Да, да, благодарю вас,— ответил он равнодушно и начал готовиться к судебному заседанию — сегодня в Имперском зале ему надо выглядеть бодрее и жизнерадостней, чем когда-либо.

Димитров развернул пакет, оставленный надзирателем, и вынул белую сорочку. В складке манжета и на этот раз он обнаружил записку: «Мы с тобой!»

— «Мы с тобой!» — вполголоса повторил он, и холодная камера сразу же наполнилась восторженными звуками. Сколько бодрости и сил принесло ему это «Мы с тобой!»...

Бабушка Парашкева долго лежала, укутав тело своим пестрым домотканым одеялом, и не могла заснуть. Она прислушивалась к злому вою порывистого ветра, и сердце ее мучительно сжималось от холода и горести. Что делает сейчас Георгий? Есть ли у него что-нибудь, чтобы согреться? Ей казалось, что тяжкий грех — лежать в теплой постели, когда сын ее мерзнет. Она сбросила с себя одеяло и встала. Усталые ноги едва удерживали ее. А боль в груди с каких уже пор так и не утихала. За покрытым инеем окном над Лейпцигом едва пробивался белесовато-серый рассвет.

— Лиана, пора уже собираться! — крикнула она дочери, спавшей на соседней постели.

Магдалина приподнялась совсем сонная и сказала:

— Еще рано, мама, только пять часов. Ложись, поспи хоть немного!

Бабушка Парашкева приглушила мучительный вздох. Как это она будет спать, когда Георгию грозит виселица?.. Виселица стояла перед ее глазами, как страшный призрак, и не исчезала даже на мгновение.

Парашкева снова стала вглядываться в мутное оконное стекло, а возбужденные мысли вдруг унесли ее в Софию.

...Незадолго до того, как они отправились в Париж, она шла по широкой улице. Ее поддерживал под руку молодой рабочий, а следом за ними тянулась нескончаемая вереница людей. Они несли портреты Георгия и требовали, чтобы фашисты выпустили его из тюрьмы. «Коммунисты — не поджигатели!» — кричали они. На мосту им преградила путь полиция. Пуля одного их полицейских попала в шедшего рядом с нею паренька, и он склонил на ее плечо голову...

Метель запорошила снегом окна отеля. А старая Парашкева все еще ощущала на своем плече поникшую голову паренька, и в груди ее запылал болезненный жар. Из глаз ее брызнули слезы. Она плакала по незнакомому пареньку. Плакала по Георгию. Немец-адвокат прямо сказал ей: если сын ее будет продолжать так дерзко говорить, если не изменит своего нрава, его ждет смерть.

Слезы Парашкевы капали на пуховую подушку — в темной комнате никто не мог ее увидеть. Она только собралась было снова будить дочь, как к ним в дверь громко постучали. Парашкева неспешно вынула из

кармана юбки платок и вытерла слезы. А снаружи продолжали настойчиво стучать в дверь.

Магдалина проснулась и отворила. На пороге стоял высокий мужчина в штатском, на плечи его был наброшен длинный черный плащ. На его тонком белом лице застыло надменное выражение. Рядом с ним стоял болгарский студент, который по указанию партии сопровождал мать и дочь из Парижа в Германию.

— Минутку, прошу вас, господин полицейский! Дайте возможность старой женщине одеться! — запротестовал студент и загородил своим худощавым телом вход в комнату.

Полицейский грубо отстранил его и вошел.

— Вы... — обратился он к Магдалине, — повернитесь лицом к стене! А вы предъявите документы! — приказал он бабушке Парашкеве.

Старая женщина дала ему свой паспорт.

— Вы говорите по-немецки?

— Нет, — ответил вместо нее студент.

— Найд, найн... — оскорбился полицейский. — Все должны уметь говорить на языке фюрера.

— Извините, — сказал студент, — а вы говорите по-русски, по-французски?

— Найн...

— Жаль, — пошутил болгарин. — Если бы вы знали русский или французский, вы могли бы сами разговаривать с бабушкой Парашкевой.

— Зачем вы приехали в Германию? Кто вас сюда послал? Кто вам платит? Москва, да? Но... Запомните, что германское правосудие умеет расправляться с такими непокорными головами, как Димитров...

Пулеметная очередь вопросов должна была бы привести в замешательство старую женщину. Студент едва успевал переводить их ей. Она сидела на постели, свесив босые ноги, накрывшись черной шалью, и отвечала просто и кратко:

— Видать, здешняя полиция недалеко ушла от нашей...

— Она всюду одинакова, бабушка, — сказал ей студент.

— А в Болгарии Георгий Димитров поднимал восстание? — спросил полицейский.

— Димитров сам разъяснит этот вопрос на процессе, — ответил студент.

— Я спрашиваю мать, а не вас! Переводите точно! — заорал полицейский.

— Да как же не поднимать-то бунта, молодой человек? Можно ли вечно терпеть бедняцкие муки? Душа человеческая пресытилась ими, — недоуменно ответила бабушка Парашкева.

Полицейский агент ушел, так и не сказав, для чего приходил, но старая женщина поняла: чтобы удручить ее.

Магдалина приготовила чай, но мать отказалась пить его.

— А есть ли у Георгия теплый чаек? Слышала, как он покашливал? — вслух высказала она свою тревогу.

— Ему непременно дали чай, мама, — поспешила успокоить ее Магдалина.

Но бабушка Парашкева в эту минуту уже повязала свою седую голову черным платком, накинула на плечи шаль и стала торопить дочь поскорей уйти.

Как только они спустились в вестибюль гостиницы, к ним кинулись журналисты, которые еще затемно пришли сюда и поджидали мать Димитрова. Позабыв правила благопристойного поведения, они толкались, стараясь опередить друг друга.

— У меня к вам один вопрос,— обратился к Парашкеве маленький светлоглазый австриец, сумевший первым пробиться к ней.

Но прежде чем она услышала его вопрос, молоденькая итальянка с длинными — до плеч — распущенными волосами кокетливо оттеснила его.

— Простите, но госпожа Димитрова давно уже обещала мне интервью,— солгала девушка.

Но и она была мгновенно оттеснена в сторону. Статный, настойчивый француз уже спрашивал бабушку Парашкеву:

— Вы выступали в Париже на митинге, и я вас слушал. Вы сказали, что сын ваш не поджигатель, и я вам поверил. Хочу, чтобы мой сын стал таким, как он. Скажите мне, как этого достичь?

Когда студент перевел бабушке Парашкеве просьбу француза, она почувствовала серьезное затруднение.

— Не знаю,— чистосердечно призналась она.— Мой Георгий... Жизнь сама подхватила и повела его, а я только говорила ему, что такое добро и что зло.— Уловив, что француз явно не удовлетворен ее ответом, мать добавила:— Я все думаю, что, если бы не было его партии, он не сумел бы так далеко смотреть.

— Господин,— обратился к студенту пожилой английский корреспондент, на облысевшей голове которого поблескивали капельки пота.— Не стану скрывать, моя газета не питает симпатий к коммунистам. Но должен признаться, поведение вашего Димитрова удивительно красиво. Я слишком поздно понял, что все исходит из силы убеждения. Прошу, передайте мое почтение госпоже Димитровой.

Корреспондент отвесил глубокий поклон бабушке Парашкеве. Он долго молчал, и никто из его коллег не посмел нарушить молчание. Всем становилось ясно: что-то надломилось, прорвалось в душе пожилого человека. И что-то новое рождалось...

По дороге в Имперский зал снежный вихрь засыпал и валил с ног бабушку Парашкеву, студент, обняв за плечи, с трудом удерживал ее. На какой-то глухой улице к ним подошел молодой немец — он еще издали узнал заснеженные фигуры трех болгар. Остановившись перед бабушкой Парашкевой, он, прежде чем она поняла его замысел, схватил ее руку и, горячо поцеловав, воскликнул:

— Мать, Димитров будет жить!

И так же внезапно, как появился, он исчез в снежной вьюге. Старая женщина долго оборачивалась назад, искала его, но в глубине улицы видела только столбы уличных фонарей.

В судебном зале она села на место, определенное ей нацистами,— в четвертом ряду у окна. Студента в здание суда не допустили, и они с Магдалиной были вынуждены слушать иностранную речь без переводчика. Перед нею всегда сидел какой-то широкоплечий немец, который мешал ей, и она часто приподнималась, чтобы видеть сына.

В этот день Георгий Димитров имел право на последнее слово. Хрустальные люстры рассеивали по залу белый свет. Монотонно жужжали кинокамеры. Гестапо делало свою специальную запись на патефонные

пластинки. Кинооператор выжидал, и, как только бабушка Парашкева показывалась из-за спины сидящего перед нею мужчины, кинолента вертелась целую минуту, фиксируя ее.

После скучного церемониала председатель суда долго рылся в сборниках законов, искал в них опору, твердую почву под ногами, а тревога острыми иглами прокалывала ему грудь. Он поднял голову и неестественно приподнятым тоном произнес несколько бессодержательных фраз.

Доктор Бюнгер допускал бабушку Парашкеву и Магдалину не на все заседания, и Димитров не знал, будут ли они сегодня в зале суда.

Ему предоставили последнее слово. Он не успел еще оглядеться вокруг, но сердцем своим понял, что мать его тут. На какое-то мгновение увидел он ее седую голову, покрытую черным платком. Бабушка Парашкева сидела, слегка приподняв руку, словно благословляла его, и сын почувствовал неодолимое желание прижать ее к своей груди. Это чувство заставило его замешкаться. Их взгляды встретились, и он, собрав мысли и волю, приблизился к микрофону.

— Я защищаю себя самого как обвиняемый коммунист. Я защищаю свою собственную коммунистическую революционную честь.

Голос его звучал твердо и рассекал холодную тишину зала.

— Я защищаю свои идеи, свои коммунистические убеждения. Я защищаю смысл и содержание своей жизни.

Доктора Бюнгера словно обдало кипятком, и напрасно он прятался за грудой томов уголовного кодекса. Он старался создать впечатление глубокой сосредоточенности. И еще впечатление того, что слова обвиняемого — пустая болтовня, которая не может смутить первого юриста Германии. Но сердце его сжималось от мучительных спазмов. Он украдкой взглянул на часы. День едва лишь начался. А Димитров... один бог только знает, сколько еще будет говорить. Вот он уже повел наступление:

— Союзник со стороны политического безумия сидит на скамье подсудимых. Союзники со стороны политической провокации остались на свободе. Глупый Ван дер Люббе не мог знать, что, когда он делал свои неловкие попытки поджога в ресторане... неизвестные, применив горючую жидкость, о которой говорил доктор Шатц, совершили поджог пленарного зала...

И тут Ван дер Люббе начал смеяться. Вся его фигура тряслась от беззвучного смеха, руки болтались из стороны в сторону. Словно это был деревянный пацц и невидимый кукловод приводил его в движение, дергая за нитку.

Губы Бюнгера одеревенели, и он, словно загипнотизированный, не сводил с голландца глаз. Неужели кончилось воздействие медикаментов, которыми так пичкали его, чтобы притупить мысли и чувства, убить в нем все человеческое? Неужели это ничтожество заговорит в последние минуты? В горле председателя суда пересохло, он тяжело вздохнул и принялся искать глазами шефа гестапо Дильса. Тот, как обычно, сидел в первом ряду. Рядом с ним, тоже как всегда, — американка мисс Додд. В зале царил гробовая тишина. Шеф слегка опустил веки, и его взгляд заскользил понизу. Падавшая на его продолговатое лицо тень придавала ему то лилово-синий, то темно-зеленоватый оттенок. Хотя Бюнгер и

побаивался начальника гестапо, но в эти минуты ему было искренне жаль его. Если провал произойдет из-за голландца, гестаповцу каюк... Голова Ван дер Люббе бессильно поникла.

Димитров слегка наклонился вперед и, вскинув руку, направил ее, словно стрелу, в его сторону.

— Незнакомый провокатор позаботился обо всех приготовлениях к поджогу. Этот Мефистофель сумел бесследно исчезнуть. И вот здесь присутствует глупое орудие, жалкий Фауст, а Мефистофель исчез...

«Явно необходимо прервать на десять минут заседание... Явно...» — беззвучно повторял доктор Бюнгер. И пока продолжалось это его влияние из стороны в сторону: влево — чтобы позволить Димитрову спокойно говорить, вправо — чтобы помочь высокопоставленному гестаповцу, Димитров взял со стола какую-то книгу, заглянул на секунду в нее... Коммунистический манифест!.. И голос его зазвучал с новой силой, словно бы он выпил глоток чудотворной воды.

— Меня не только всячески поносила печать — это для меня безразлично, — но в связи со мной и болгарский народ называли «диким» и «варварским»... И этого я не могу обойти молчанием.

Слова Димитрова удивили высокопоставленного гестаповца. «Действительно ли у коммунистов есть национальное чувство? — спрашивал он себя. — И как работа в Коминтерне, этой мировой коммунистической партии, согласуется с любовью к клочку родной земли?»

В эту минуту мисс Додд, склонив голову к его плечу, прошептала:

— Удивительный человек!.. Знаете, дорогой, я вижу коммунистов какими-то другими... Не сердитесь на меня, но Димитров обаятелен.

Гестаповец нежно сжал руку девушки и задумался. Марта Додд его любила. Он знал это. Она его принимала как нациста и в то же время так горячо восхищалась коммунистом Димитровым. В самом деле, до чего же сложна женская душа... «А может быть, это относится к человеческой душе вообще?» — заговорил в нем какой-то внутренний голос. В этот момент Марта сказала ему еще что-то, но он не расслышал: поглощенный своими мыслями, он уставился на обвиняемого.

Георгий Димитров взглянул на судей поверх черной оправы очков и продолжал:

— Народ, который пятьсот лет жил под иноземным игом, не утратив своего языка и национальности, наш рабочий класс и крестьянство, которые боролись и борются против болгарского фашизма, за коммунизм, — такой народ не является варварским и диким. Дикари и варвары в Болгарии — это только фашисты. — Он сделал шаг вперед и возвысил голос: — Но я спрашиваю вас, господин председатель: в какой стране фашисты не варвары и не дикари?

Доктор Бюнгер совладал с охватившей его яростью и сдержанно спросил:

— Вы ведь не намекаете на политические отношения в Германии?

— Конечно, нет, господин председатель, — иронически улыбаясь, сказал Димитров.

Бюнгер снова спросил себя: он что, безумен — этот человек? Неужели он не понимает, что вопрос о нем будет решаться в другом месте? Ведь оправдательный приговор — это только дымовая завеса... Для внешнего мира... И не стоит ломаного гроша...

А Димитров продолжал:

— Задолго до того времени, когда германский император Карл V говорил, что по-немецки он беседует только со своими лошадьми, а германские дворяне и образованные люди писали только по-латыни и стеснялись немецкой речи, в «варварской» Болгарии Кирилл и Мефодий создали и распространили древнеболгарскую письменность...

Бабушка Парашкева поменялась местами с Магдалиной и уже видела во весь рост своего Георгия и судей, запахнувших в длинные красные мантии.

— Столько дьяволов собралось в одном месте... Боже мой!.. — вырвалось у нее, и материнское сердце мучительно сжалось.

— Молчи, мама!.. — прошептала Магдалина.

Бабушка Парашкева умолкла, недовольная дочерью, но слова сына захватили ее, и она каким-то своим способом переводила их.

— Лина, я все понимаю, все, что говорит твой старший брат... Про нас толкует он этим нечестивцам. Про пахарей и рабочих.

— Да что ты говоришь, мама! Ведь ты же не знаешь немецкого языка! — усмехнувшись, сказала Магдалина.

— Я все понимаю, дочка! — настаивала на своем старая женщина и взглядом ласково гладила поседевшие волосы сына, а губы ее тихо шептали: — Говори, говори им, Георгий! У тебя дар апостола Павла, сынок. Хорошо бы, если б ты их вразумил... И хорошо бы, если б твоя судьба была не такой, как у апостола Павла.

— Мама, не надо так! — взмолилась испуганно Магдалина и обняла ее.

Бабушка Парашкева высвободилась из ее объятий, вынула из кармана своей широченной юбки большое красивое яблоко и сказала:

— Я из дома привезла его для твоего брата. Как только закончит он свое выступление, я ему дам его — пусть освежит себе рот. — И она провела ладонью по крупному плоду.

А Димитров продолжал говорить.

Напомнил близкую историю Германии и доказал, кому был необходим пожар рейхстага — Тиссену и Круппу, которые хотели установить в стране принцип единовластия и своего абсолютного господства, чтобы скизить жизненный уровень рабочего класса, а для этого надо было раздавить революционный пролетариат. У Германской коммунистической партии была только одна задача в этот период: создать единый фронт, объединить силы для обороны против попыток национал-социалистов уничтожить рабочее движение.

Бюнкер оскорбился. Его национальное чувство немца было ущемлено. «Болгарин слишком глубоко проник в политические отношения рейха. Говорит с опасным знанием». Он, как председатель, взмахнул рукой, прерывая Димитрова, и сказал:

— Это не имеет отношения к процессу!

Но Димитров словно бы и не слышал его.

Он весь уподобился стихии. Взгляд его проникал сквозь толстые стены судебного здания, входил в дома бедняков, в заводы и шахты — всюду, где были рабочие.

— Коммунистическая партия Германии, даже будучи нелегальной, может при соответствующей ситуации совершить революцию!



*Георгий Димитров с племянниками.
Москва, 1934 г.*



*Георгий Димитров, его мать
Парашкева Димитрова с дочерьми
Магдалиной и Еленой и внуками.
Москва, 1934 г.*



*Георгий Димитров с матерью.
Июль 1934 г.*

Верховный прокурор нервным жестом вырвал лист из блокнота и, весь кипя от злости, написал:

Господин председатель, моя честь германского юриста не позволяет мне столь долго слушать этого коммунистического инструктора, да еще в Имперском зале. Это же кощунство! Мне кажется, что границы допустимости и снисходительности уже давно перейдены.

Доктор Вернер.

Бюнгер прочитал записку, и у него затряслись руки. Чтобы скрыть свой испуг, он сильно прижал их к судейскому столу. Он снова попытался прервать Димитрова, чтобы тем самым заставить его отклониться от германских проблем, но не сумел. «Да разве по сущности своей это защитительная речь? — с возмущением подумал он. — Вернер прав». Он прислушался с обостренным вниманием к тому, что говорил Димитров, и его охватила паника. Под столом дробно запрыгали колени.

— Массовая работа, массовая борьба, массовое сопротивление, единый фронт, никаких авантур! Таково альфа и омега коммунистической тактики, — продолжал Димитров.

Он обвел взглядом судей, скопище корреспондентов и сидящую за ними нацистскую элиту. На мгновение его охватило глубокое спокойствие. Даже если его лишат слова и двое полицейских выведут из зала, он все же сумел сказать самое главное для германских рабочих.

В зале стало так тихо, что до него донесся чей-то вздох. Димитров узнал его. Одна только мать его могла так тяжело вздохнуть.

Доктор Бюнгер получил вторую записку. На этот раз от помощника прокурора:

Господин председатель, Димитров говорит так, как он говорил бы на коммунистическом конгрессе. Давно пора ему напомнить, что тут имперский суд!

Доктор Парицус.

Что ж, напомните ему!..

Все попытки Бюнгера прервать обвиняемого оказались безрезультатными. Димитров отметал обвинение. Доказывал, кто такой Ван дер Люббе. Коммунист? Отнюдь нет! Тогда кто же он? Жалкий Фауст... А Мефистофель кто? Мефистофель исчез, остался нераскрытым. Если бы какой-нибудь коммунист сделал что-либо подобное, он не молчал бы на суде, когда на скамье подсудимых сидят невиновные! Нет! Ван дер Люббе — не коммунист, не анархист, он, орудие, которым злоупотребил фашизм.

Доктор Бюнгер сделал последнюю попытку приостановить бурю.

— Я запрещаю вам это... Я даю вам еще девять минут.

«Дурак», — решил шеф гестапо и сам почувствовал себя крепостью, которую сотрясал Димитров. Он забыл о присутствии Марты. Напряженное внимание, с которым он ловил каждое слово болгарина, изнурило его. И в этот вечер он еще должен быть у Геринга в его баварском имении! Надо будет подробно доложить ему о процессе. Необходимо!.. В сущности, что радостного можно сказать ему? Что Димитров — коммунистический пророк, дерзкий и вдохновенный? Что он понял все происходившее в связи и вокруг поджога рейхстага? И если он не назвал

поджигателей их собственными именами, то только для того, чтобы сохранить себя, чтобы вырваться из наших рук и продолжать свое дьявольское дело!.. Гестаповец представил, как Геринг будет непрерывно доливать в бокалы коньяк и как его большой рот будет растягиваться до ушей от прикикивания: «Пей! Пей! Пей!» И сам будет курить сигары, пить коньяк и снова курить сигары. И вперит глаза в пылающий камин. А вокруг будут вертеться офицерчики из его свиты.

Нет, он не посмеет сказать это Герингу. Ну а то, что он, шеф гестапо, и все остальные в зале были беспомощны? Нет, этого он тоже не скажет ему.

И все же что он будет говорить сегодня вечером, когда премьер-министр Пруссии, сняв сапоги и протянув к камину босые ноги, будет жадно, как голодный ястреб, ждать от него доклада?

Гестаповец испугался собственных мыслей. И чтобы не выдать своего внутреннего смятения и растерянности, он улыбнулся Марте и сказал:

— Тут ужасно жарко.

— Да,— согласилась девушка.

— Выйдем. Если хочешь... Можно зайти в бар.

— О, прошу тебя, не надо! Димитров говорит! — И мисс Додд в тот же миг перестала замечать его и впиалась глазами в Димитрова.

Лицо обвиняемого засияло от внутреннего озарения, и он глубоким, внушительным голосом произнес:

— Верховный прокурор предложил оправдать обвиняемых-болгар за отсутствием доказательств их виновности.

Я предлагаю вынести следующее решение:

1. Верховному суду признать нашу невиновность в этом деле, а обвинение — неправильным; это относится к нам: ко мне, Торглеру, Попову и Таневу...

Доктор Бюнгер ответил ему сразу же:

— Эти ваши так называемые предложения суд при обсуждении приговора будет иметь в виду.

«Дурак», — вторично пришел к выводу шеф гестапо. Он попрощался с Мартой Додд и направился к выходу. Им овладело непреодолимое желание уединиться, чтобы обо всем поразмыслить — и о самом себе, и о Германии. Он шел тихо, на цыпочках, а голос болгарина его догонял и обрушивался на него, как тяжелый молот:

— Наступит время, когда такие предложения будут выполнены с процентами...

В XVII веке основатель научной физики Галилео Галилей предстал перед строгим судом инквизиции, который должен был приговорить его, как еретика, к смерти. Он с глубоким убеждением и решимостью воскликнул: «А все-таки Земля вертится!»

Шеф гестапо был уже у двери. В последний раз он обернулся к Димитрову и невольно восхитился его беспредельной дерзостью и его верой. И в тот же миг пришел в ужас от самого себя. Не совершает ли он предательство по отношению к рейху этими своими мыслями? Да, Геринг прав. Имперский суд оправдает Димитрова... Нет, болгарин этот должен сгнить в подземелье гестапо!

Он закрыл дверь, и Димитров остался позади него.

Доктор Бюнгер нервничал, подавал знаки обвиняемому замолчать. Затем встал. Его примеру последовали остальные судьи. Поднялись и

прокуроры. Принялись собирать со столов фолианты сводов законов, папки, а слова Димитрова их все больше прищипывали.

— Мы, коммунисты, можем сейчас не менее решительно, чем старик Галилей, сказать: «И все-таки она вертится!» Колесо истории вертится, движется вперед...

В зале было невыносимо душно. Кто-то приоткрыл окно. И в мгновение снежный вихрь ворвался в зал. Сорвал со стола блокнот главного прокурора, разметал во все стороны мелко исписанные его помощником листки и распахнул шелковую мантию председателя суда. Засыпал снежинками глаза дам и господ, сидевших у окна.

Димитров стоял, все так же гордо выпрямившись, сжимая в руке маленький эбонитовый микрофон. Его гневный голос, столько месяцев хранивший молчание за каменными стенами Моабитской крепости, нашел, наконец, простор и, подхваченный вихрем, унесся наружу, в мертвую декабрьскую белизну.

Пламен
Цонев

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ

Повесть



Пламен Цонев. ЗАТВОРЕНИЯТ КРЪГ. «Народна младеж», София, 1972

*Воистину нет ничего более чудовищного,
чем вооруженная неправда!..*

Аристотель



Перрон парижского Северного вокзала и в этот вечер напоминал многолюдный перекресток. Пестрые толпы выплескивались из вагонов, другие толпы устремлялись к поездам — прибывающим и отбывающим. Непрерывный, вечно пульсирующий поток. Каждый сам нес тяжесть своих тревог. А вокруг — чемоданы с разноцветными этикетками, баулы, узлы, дамские сумки. За пассажирами спешили носильщики, нагруженные до последней степени. Вещи буквально плыли над головами людей.

Но в этот вечер здесь происходило и что-то не совсем обычное — к одному из вагонов поезда, стоявшего на первом пути, быстро подходили небольшие группы людей. Столпившиеся люди мешали движению.

— Что происходит, мосье?

— Извините, дайте дорогу...

— Разрешите пройти, — просили пассажиры, локтями расталкивая провожающих.

Бросалось в глаза, что здесь собрались самые различные люди. Были тут молодые и старые, мужчины и женщины, даже несколько чернокожих. И все они приходили с цветами — с букетом или со скромным цветком. Особенно беспокоились женщины. Если кто-то невольно прикасался к нежным лепесткам, они старались защитить хрупкие цветы...

— Провожают высокопоставленное лицо? — полюбопытствовал старик пенсионер, который держал под мышкой термос. Он устремил многозначительный взгляд к окну, из которого выглядывал внушительного вида господин с римским носом, нависающим над сигарой, которую он сжимал в зубах.

Но железнодорожник, которому был задан этот вопрос, молча отошел.

— Ну да! Разве вы не видите магараджу, — произнес хитроватый паренек, похожий на Гавроша. Он показал пальцем на окно, в котором белела живописная чалма. — Говорят, что один его сапфир стоит столько же, сколько все княжество Монако. Не упускайте такого зрелища! — И паренек шмыгнул в толпу.

Старика толкали со всех сторон, но он вытягивал шею и тарасил глаза.

В это мгновение из окна вагона по соседству с тем, в котором находились колоритный индус и высокопоставленное лицо, выглянула обыкновенная, ничем не примечательная старушка.

К удивлению непосвященных и любопытных, провожающие устремились с цветами именно к ней, старой бабушке Парашкеве, которая вчера на большом митинге взволновала Париж простыми выстраданными словами — она призывала людей поверить в честное имя и чистую совесть ее оклеветанного сына. Она отправилась за тридевять земель с надеждой, что истина, как гласит старая пословица, всегда найдет добрых друзей.

Она едва успевала пожимать своей сухой рукой тянущиеся к ней руки. Ее голубые глаза безмолвно благодарили людей, а губы шептали материнские благословения...

С глухим свистом вырвался белый пар, окутал перрон. Но вот над белыми клубами поднялся худощавый человек в запотевших очках — его несли на плечах. Его голос согрел старую женщину, хотя она смутно понимала его речь — он говорил по-русски:

— В добрый путь, мать! И не бойтесь. Не забывайте, что с вами все честные люди, весь трудовой народ, все человечество. Правда с вами!..

Бабушка Парашкева высунулась из окна, чтобы лучше рассмотреть говорившего. Его открытое, юное, не особенно красивое лицо поразило ее одухотворенностью и мужественностью. «Наверно, это близкий друг Георгия», — подумала старая женщина, стараясь запечатлеть это лицо в памяти.

— Доброго пути!

— Выше голову!

— До свидания! — слышалось со всех сторон.

Голоса притягивали ее взгляд, казалось, каждый хотел, чтобы она заметила его, чтобы между ними установился какой-то личный контакт...

Длинноносый господин с любопытством смотрел на пожилую женщину из соседнего вагона. Похоже, он завидовал ей. Видимо, привык, что его окружает не только сигаретный дым, но и внимание. Потом он с шумом захлопнул окно.

Индуса, который вблизи совсем не походил на гималайского принца, видимо, тронула сердечность людей, и, хотя провожали совсем не его, он приветливо закивал головой и молитвенно сложил руки в знак приветствия, по древнему обычаю.

А бабушка Парашкева сняла платок, ветер подхватил ее белоснежные волосы, темный платок затрепетал над металлической табличкой: «Париж — Берлин».

Поезд заглатывал километры. Но уже по небольшому количеству пассажиров в поезде чувствовалось, что желающих путешествовать в этом направлении немного, что там, в Берлине, что-то происходит. А в купе второго класса, более многолюдном, царила особая атмосфера.

Здесь собрались: торговец, утомленный бесконечными поездками по железной дороге, полная, внушительная немка в похожей на поднос шляпе с вуалью, с густым слоем пудры на лице, которая развлекала свою собачку, француз-железнодорожник. В этом же купе находились бабушка Парашкева с дочерью Магдалиной и Студент, который сопровождал их...

Над головой бабушки Парашкевы покачивались на полке котомка и плетеная корзинка, на дне которой лежало пестрое домотканое одеяло.

Казалось, этот неприхотливый багаж задыхается, с двух сторон сжатый пухлыми кожаными чемоданами.

Француз держал в руках на коленях развернутую газету и обсуждал с торговцем напряженную международную обстановку. Торговец механически покачивал головой, и было непонятно, согласен ли он с железнодорожником или его просто укачивает на поворотах; разговор он под-держивал вяло, сонно.

Пассажиры, ехавшие в купе, проявляли к старой женщине явный интерес, хотя каждый занимался своим делом.

А Студент загадочно улыбался, уйдя в себя. Его взгляд был обращен на полные ноги сидевшей напротив дамы, вернее, не на сами ноги, а на плетеные туфли на высоких тонких каблучках. Последняя французская модель. Железнодорожник хитро и весело поглядывал на Студента, словно понимал его. Но он не мог проникнуть в тайные мысли молодого человека...

Перед глазами Студента проплывали картины. Вот она лежит у него на коленях — еще недоплетенная, незавершенная, но уже приобретающая форму дамская туфелька. Кожаные ремешки торчат во все стороны, он пробивает шилом кожу, сплетает ремешки...

А вокруг его ровесники, студенты-бедняки, стучат молотками. Мастерская находится в полуподвале, через окошко которого видны мелькающие туфельки, туфельки, туфельки — разнообразные и разнокалиберные туфельки парижанок. Они плывут по тротуару...

Этому миру, что гнил, обречен,
Саван мы шьем
И обувь плетем...—

пародирует стихотворение Гейне скуластый паренек в студенческой фуражке без козырька, а остальные студенты, собравшиеся в круг под низко висящей лампой, таинственно, как древнее заклинание, повторяют:

...Плетем мы, плетем...

Юноши едва сдерживают смех, подталкивают друг друга, показывают глазами на молчаливо сгорбившегося Петера, хмуро сдвинувшего брови.

— Петер бастует. Почему же, наш бедный друг?

— Потому что его муза плетет туфли вместо стихов,— шутливо бросает кто-то.

Петер не реагирует на шутку, даже не поднимает глаз.

И тогда Студент, чтобы разрядить атмосферу, неожиданно раскладывается с театральным жестом и произносит:

— Послушайте стихотворение «Осень скитальцев» нашего поэта Петера, получившего за свою лирику премию дрезденского журнала «Ди колоне». Надеемся, что скоро он получит за свою поэзию и премию рейха...

Сделав многозначительную паузу, он начинает декламировать. Петер грозит ему пальцем, хочет что-то сказать, но ему зажимают рот.

Сухие листья молча отряхнув —
Они в открытом поле спали,—
В обмотанных бечевкой сапогах
Шагают в огненные дали...

Петер мрачно, с раздражением прерывает его:

— Ваш поэт Петер не хочет признания этого рейха и потому отказался от издания сборника своих стихов. Сам забрал книгу из типографии, и вовсе не из боязни, что книга не дойдет до прилавков книжных магазинов. Когда говорят пушки, музы молчат,— язвительно, но с болью завершает Петер.

— Неужели? — провокационно бросает Студент и забивает шило в ремешок, который держит на коленях.— Ой, укололся!

Он закатывает штанину до колена, чтобы потереть уколотое место. Все, даже Петер, улыбаются.

А Студент, массируя ноги, говорит, глядя на мелькающие за окном каблучки:

— Не знаю, как остальные, но я, глядя на мелькающие пятки, все пытаюсь представить себе лица девушек.

— Они тебе, верно, и во сне снятся? А знаешь, что в древности женщины носили кожаные сандалии, на подошвах которых было вытиснено: «Иди за мной». Они, ступая в пыль, оставляли точные ориентиры.

— А ты стираешь подметки, бегая за ними,— оживляется Петер.

— Наш брат — я имею в виду тех, кто изготавливал кожаные сандалии,— и тогда шлепал босиком,— вступает в разговор великан с рыжеватой бородкой, норвежец, показывая свой дырявый ботинок. Его трагикомическое заключение остальные встречают громким смехом.

— Лучше босой, но живой, чем в лакированных сапогах в гробу, ногами вперед,— подхватывает стройный Франсуа.— Какой парадокс: мой дед Мишель всю жизнь ходил в грубых башмаках, а когда слег, чтобы уже не встать, ему на ноги натянули лакированные сапоги. «Грех иначе»,— запричитала бабка, и пришлось продать корову. Пусть простит меня всевышний, но у меня душа болела за эти сапоги.— Он крестится и устремляет взгляд на потолок...

— Нашел чему завидовать. Я бы предпочел отправиться на тот свет босиком, лишь бы мне не натягивали на ноги сапоги. Как подумаю о них, сразу вспоминается муштровка, потные ноги. Ать-два, ать-два... И — ура!..

Снова раздается смех...

Но на этот раз Студент не смеется, его лицо становится сосредоточенным, ожидающим. Он прислушивается к шагам, они приближаются. Это к нему... Он закрывает глаза, и волнение сменяется решимостью. А прежде чем его называют по имени, он встает, отряхивает фартук.

— Вы обдумали наше предложение? — тихо спрашивает его с порога изысканно одетый мужчина в надвинутой на лоб шляпе.— Мы остановились на вашей кандидатуре, потому что вы кажетесь нам наиболее подходящим: вы болгарин, свободно владеете немецким языком, знаете обстановку. Но еще не поздно...

— Не поздно, но отступать я не привык. Не стоит обсуждать то, что я считаю своим долгом. Отправляемся.— Он бросает фартук норвежцу, улыбается своим товарищам, видимо понимающим все, но считающим комментарии излишними...

— Куда же без своего холодного оружия? — Франсуа поднимает шило Студента, но сейчас же спохватывается: шутка слишком неуместна. Он берет своего друга за руку, крепко сжимает ее и произносит от имени всех: — Ты не забывай нас т а м...

...Поезд с грохотом пронесся по мосту.

Глухое рычание собачонки вывело Студента из задумчивости. Бабушка Парашкева с добродушной улыбкой протягивала собачонке кусок бублика. Но та оставалась бесстрастной, как и ее хозяйка, даже вяло оскалила зубы.

— Не ест хлеба! — несколько удивилась старая женщина, и это навело ее на невеселые размышления. — А мы в войну чего только не ели: и кукурузный хлеб, и ячменный, даже желуди мололи.

— Выходит, мы жили хуже собак, — иронично заметила ее дочь Магдалина и туже затянула свои собранные в узел длинные русые волосы.

Эти волосы вызывали нескрываемую зависть элегантной дамы, редкие крашенные волосы которой выглядели жалкими даже под богатой шляпой. Немка бросила на Магдалину быстрый неприязненный взгляд и снова принялась расчесывать пушистую шерсть собачонки.

— Я с грехом пополам вырастила вас, семерых, а как вы со Стефаном кормили тридцать детей? — обратилась бабушка Парашкева к Магдалине. — Ты заменила мать этим детям в приюте «Надежда», так вы его называли, Лина? — Парашкева смотрела на дочь, но, похоже, хотела разжечь любопытство Студента. Или просто гордилась Линой.

— Они были моей надеждой, и они приглядывали друг за другом, а то бы нам пришлось туго... И ты была им как бабушка... Помнишь, что ты им говорила? «Когда человек не работает, работу ему находит черт».

Лина оживилась, но была явно смущена. Эта скромность делала ее еще более миловидной. И Студенту захотелось заглянуть в ее голубые глаза. Он словно впервые увидел ее красивые, но огрубевшие руки, заботившиеся о стольких сиротах, согревавшие их своей лаской и нежностью.

— Бедные сиротинушки. Разбросало их, как птенцов, по белу свету, — произнесла бабушка Парашкева, глядя в окно.

Ей казалось, что оттуда доносятся детские голоса, она напрасно пыталась распознать их. Голоса закружили ее в своем вихре, словно ее милые «внучата» дергали ее со всех сторон за передник, чтобы она тоже включилась в их хоровод:

Бабушка,
Пора проститься,
Уезжаю я
Учиться!..

— И как управляется сейчас Мара, она осталась одна с двумя детишками. — Парашкева положила свою сухощавую руку на руку дочери, заглянула в ее увлажнившиеся глаза. — Да и Лю... в тюрьме. — Она так и не выговорила до конца имя своего любимого внука Любчо, сына Лины, которого заковали в цепи и отправили в Варненскую тюрьму перед самым их отъездом в Берлин. Не только кровь, но судьбы накрепко связывали этих двух женщин.

Лина молча положила свою руку на руку матери.

Бабушка Парашкева бросила помутневший взгляд на даму, холодную и недоброжелательно-любопытную. Та продолжала гладить свою пушистую собачонку.

И этот контраст врезался в сознание Студента — холеная рука дамы в шерстке собаки и рука старой женщины в огрубевшей руке Лины... Он вынул блокнот и сделал несколько набросков. Но ни одним не был доволен. Наконец один из них ему понравился, и он молча протянул его бабушке Парашкеве и Лине.

— Ты что, на художника учишься или на артиста? — удивилась старая женщина, сравнивая оригинал с наброском. Но ни одним не был подозрительно и враждебно старалась понять причину оживления.

— Режиссер должен уметь все, мама, — с улыбкой произнесла Лина и благодарно кивнула Студенту.

— Совершенно верно! Даже сапоги тачать, — подтвердил повеселевший Студент.

— Очень даже неплохо, — неожиданно одобрил его работу железно-дорожник, который не смог сдержать любопытства и заглянул в блокнот, потом что-то заговорщически принялся шептать на ухо Студенту. — О, пардон, — принялся он извиняться перед дамой, уловив ее неприязнь, — прошу простить меня. — И он отвесил поклон: сначала даме в шляпе, потом собачонке. Он даже подмигнул собаке, а та тупо уставилась на него немигающими глазами.

Бабушка Парашкева скрестила руки на коленях и задумалась. Перед ее глазами вдруг встало лицо худощавого мужчины в очках, который сказал ей на прощание вроде бы чужие, но такие близкие слова. И, преодолевая усталость, она спросила Студента:

— Сынок, а это кто провожал нас, такой худощавый?

— Михаил Кольцов. Советский журналист. Корреспондент газеты «Правда». Он из тех, кто... — охотно отозвался Студент, пряча в карман блокнот.

— Понятно, как не знать! Он из тех, кто пером борется за правду... Да, нелегкая у него работа, — произнесла старая женщина с такой озабоченностью, что Студент всем корпусом повернулся к ней. — Кривды на этом свете мн-о-о-го-о, а правду найти трудно, хоть днем с огнем ее ищи, — dokonчила она и ушла в себя, словно ее слова породили воспоминания...

Потом бабушка Парашкева сунула руку в карман юбки и протянула Студенту аккуратно свернутую газету:

— С Тодором, который писал о нас в газете, нас вместе таскали по участкам.

Студент развернул газету. Под тремя кричащими буквами с названием газеты — «ВИК» — он прочитал заголовок: «Новый процесс — в Лейпциге судят сыновей — в Софии полиция судит матерей».

И в углу, над заголовком, дата: «1 октября 1933».

Паровоз пронзительно загудел и нырнул в туннель... Тьма поглотила и газету, и находящихся в купе...

Зал заседаний, в котором имперский суд рассматривал большое дело «поджигателей рейхстага», был ярко освещен хрустальными люстрами. На стенах красовались нацистские свастики. Кинооператоры суетились возле камер. Нацистская пропаганда действовала, мобилизовав все свои силы...

Под батарейным огнем прожекторов стоял, выпрямившись во весь

рост, знаменитый болгарин. Его охраняли два «телохранителя» в полицейской форме. Резко скрипнуло огромное тяжелое кресло с высокой спинкой, в котором сидел председатель Бюнгер. Он весь напрягся, подался вперед, склонил свою бритую голову, словно собирался отразить удар. И удар не замедлил последовать.

Димитров. Я хочу заявить протест против извращения моих слов фашистской прессой.

Бюнгер. Довольно! Вам слово не дано. Я определяю, когда можно делать заявления.

Димитров. Я бы хотел заявить, что в субботу...

Бюнгер. Я не разрешаю сейчас выступать с заявлениями.

Димитров. Я констатирую, что меня лишают возможности...

Бюнгер. Тихо! Вы тут ничего не можете констатировать. Обратитесь к вашему защитнику!

Димитров. Я сам себя защищаю!

Начавшийся недавно процесс, неоднократно прерывавшийся и снова продолжавшийся, явно достиг своей решающей фазы. Знаменитый болгарин отказался от услуг официально назначенного адвоката и заявил, что будет защищать себя сам...

«Даже самый большой юрист, который по долгу службы ведет дело, в правоте которого не убежден, едва ли может надеяться на успех и уповать только на свое риторическое искусство. Что же говорить о посредственных, хорошо оплачиваемых служаках, которые даже не скрывают, кому они служат...» — словно хотел обосновать свою точку зрения подсудимый, и судьи, сидящие за дугообразным столом, хоть и лишили его слова, не могли не чувствовать, что эти слова готовы вырваться у подсудимого.

«И этот Торглер¹ — трибун, депутат коммунистов, а доверил свою судьбу, и не только свою, адвокатскому красноречию!» — негодовал Димитров, глядя на своего соседа, который сидел на скамье подсудимых, бесильно опустив немощные плечи.

А его защитник доктор Зак в это время нервно расстегивал свою адвокатскую мантию, одна из пуговиц которой оторвалась и покатилась под стол, заваленный толстыми книгами и судебными бумагами. Известного адвоката окружал целый штаб молодых юристов, которые словно ждали большой битвы.

— Камуфляж, — презрительно проговорил Димитров, и взгляды адвоката и подсудимого, непримиримые, враждебные, скрестились.

Доктор Зак поднял руку, прося слова, но, к его досаде, на него не сразу обратили внимание.

Доктор Зак. Господин прокурор, я хочу обратить ваше внимание на тот факт, что за моей спиной Димитров непрерывно что-то комментирует; только что он назвал Ван дер Люббе кретином. Прошу наложить санкцию...

Бюнгер. Я снова предупреждаю вас, Димитров...

Димитров *(он немного подался вперед и проговорил тихо, но так,*

¹ Торглер Эрнест в 1924 г. был избран в рейхстаг и являлся председателем коммунистической фракции рейхстага. Во время Лейпцигского процесса проводил капитулянтскую линию и согласился, чтобы его защищал известный фашистский адвокат д-р Зак. После оправдания и освобождения из тюрьмы заявил об отказе от антифашистской деятельности и в 1935 г. был исключен из Коммунистической партии Германии.

чтобы его услышали). Доктор Зак, вы не профессиональный адвокат, а профессиональный доносчик...

Маститый адвокат в сердцах стукнул палкой о стол и, почувствовав, что привлёк к себе внимание молчаливых зрителей от первого ряда до последнего, не нашел ничего лучшего, как заняться поисками закатившейся под стол пуговицы. А юные адвокатики уткнули носы в своды законов, чтобы их всемогущий учитель не подумал, что они кое-что слышали...

Заправили рейха, гражданские и военные, расположились в первом ряду. Среди них мрачно чернел мундир шефа гестапо Дильса. Рядом с ним сидела изысканно одетая молодая дама — дочь американского посла. Дильс проявлял к своей соседке чрезмерное внимание, но его плоские шуточки не трогали молодую женщину. Обостренный журналистский слух приковывал ее внимание к мужественному, красивому лицу обвиняемого. Его ясные, глубокие, пронизательные глаза призывали присутствующих к прямоте и четкости позиции. «Смелчак, человек-огонь», — нашла она наконец слово, которое точно характеризовало обвиняемого.

Даже его волнистые волосы походили на пламя. И молодую женщину охватила странная веселость. Что сказал бы шеф гестапо, если бы узнал, как образно видит она этого человека, обвиненного в поджоге?

Бабушка Парашкева сидела в четвертом ряду, глядя на скамью подсудимых. Черты ее усталого лица заострились до крайности.

Волнение матери передавалось Лине — Парашкева сжимала дрожащей рукой руку дочери. Ее беспокойство увеличивалось еще и от того, что она всячески пыталась обратить на себя внимание сына, но ей это никак не удавалось.

И все же болгарин, видимо, чувствовал, что чье-то сердце, исполненное любви, зовет его, учащенно бьется среди этого настороженного собрания, потому что он порой непроизвольно оглядывался.

«Георгий, сынок, неужели ты не видишь меня!» — повторяла про себя старая женщина и все время приподнималась. Она, наверно, встала бы, но Лина заставляла ее сидеть. Бабушка Парашкева не знала немецкого языка, и реплики не могли приковать ее к месту, как присутствующих на суде других людей. Полицейские не дали Студенту пропуск, и теперь некому было переводить ей. Но хотя она и не понимала, о чем говорят, по визгливым возгласам, внезапно хмурящимся лбам или злым взглядам догадывалась, что боится не подсудимый, а, скорее, боится подсудимого...

— Нельзя так, мама,— шептала ей Лина, а сама напряженно смотрела на старшего брата.

И вдруг тот вздрогнул и весь просиял. Радостная улыбка на его суровом лице не могла остаться незамеченной. Наблюдательные люди в зале увидели ее, среди них были и дочь американского посла, и французская журналистка, и грызущий ногти следователь. Глаза болгарина наполнились влагой, потом засмеялись, но только на мгновение. Он отвернул взгляд от матери и сестры, его снова захватил процесс, и он включился в допрос, чтобы не пропустить ни одной реплики.

«Вероятно, мать и Лина здесь с утра... Mamочka, milaya ty moy...» — мысленно говорил он, чувствуя, как радость умножает его силы. Водоворот допроса снова увлек его туда, на дно, где блуждали трусливые глаза пойманного на месте преступления голландского «революционера» Ван дер Люббе.

— Он видел нас, мама, видел, — Лина сжала сухую ладонь матери.
— Как же это я не заметила! — запричитала Парашкева, огорченная тем, что их взгляды разминулись. Ее опять охватили сомнения.
— Слушай, мама, слушай, — произнесла Лина и стала прислушиваться к голосам, но чужая речь ничего не говорила ей, только навевала тоску.

Вот он, этот странный человек, которого поймали, когда он поджигал рейхстаг. Она узнала о нем кое-что: бывший каменщик, полуослепший от постоянной работы с известью, потом пловец, выпустивший рекламные карточки со своим ликом, собиравший пожертвования, чтобы переплыть Ла-Манш, и наконец... И нацисты хотят выдать ее брата за соучастника этого авантюриста, которому переводчик утирает нос платком?

Бюнгер. Почему вы совершили эти три поджога?

Ван дер Люббе (*после долгого молчания, через переводчика*). По собственным побуждениям.

Бюнгер. Что вы хотели этим доказать?

Димитров. Непонятно, почему Ван дер Люббе раньше давал такие подробные показания следователю, а здесь, на открытом заседании суда, молчит и не дает никаких ответов. Если он действительно нормальный, как утверждают эксперты-профессора, остается лишь предположить...

Верховный прокурор и Бюнгер (*перебивая*). Вам нечего строить здесь какие-то предположения, вы можете задавать вопросы в связи с поджогами, которые рассматриваются в данный момент.

Димитров. Сейчас я это сделаю. Во всяком случае, я должен хоть раз высказать свою точку зрения. Ван дер Люббе был простой, довольно хороший парень. Он был каменщиком, странствовал, ездил, и после этого он совершил это преступление. Тут могут быть только два предположения: либо Ван дер Люббе безумец, либо он нормальный человек. Если он нормальный и молчит, то молчит, подавленный чудовищным бременем преступления против рабочего класса. Я задам Ван дер Люббе следующий вопрос: слышал ли он хоть раз когда-либо в жизни мое имя?

Наступила напряженная пауза. Даже иностранные корреспонденты, обычно весьма словоохотливые, не решались обмениваться репликами, боясь упустить что-то важное, что непременно изменит ход процесса.

Георгий Димитров в упор смотрел на Ван дер Люббе, собрав всю свою энергию, чтобы заставить его протрезветь, дать ответ — независимо от того, каким будет этот ответ. Он пошел на этот риск, чтобы и он сам, и другие раз и навсегда поняли, что за «коммунист» этот голландец и кто вложил факел ему в руку. Этот психологический эксперимент немало стоил и ему самому — его пальцы, которыми он впилился в край стола, побелели.

«Если он скажет «да», он сознательный провокатор, если станет отрицать или промолчит...»

Председатель суда Бюнгер облокотился на раскрытую толстую папку с обвинительным актом и напряженно думал о том, стоит ли позволять этому несчастному подсудимому отвечать на вопрос. Все было так запутано — и в этой папке, и в нем самом. Как и в голове почти невменяемого Ван дер Люббе. Пальцы Бюнгера механически рылись в «доказательствах». Надо же было устроителям процесса наткнуться на этого негнбимого болгарина — вероятно, составители обвинения не знали его

хорошо, в противном случае они ни за что не связались бы с ним. «Опять перехватил инициативу», — констатировал Бюнгер и, сочтя это за личное оскорбление, поспешил заявить:

— Я не разрешаю вопроса. Он здесь неуместен.

Димитров (*громко обращаясь к Ван дер Люббе*). Он должен сказать правду!

Бюнгер. Вы не имеете права спрашивать, спрашиваю я.

Бюнгер явно ожесточился, и его задетое честолюбие окончательно уничтожило право. А Ван дер Люббе молчал, несмотря на усилия своего переводчика, который поддался натиску Георгия Димитрова и не понимал, что председатель не желает получать ответ.

Но молчание говорило само за себя. Обвиняемый нашел ответ на загадку — перед всем залом. И он облегченно вздохнул. «Ясно, он их жертва...». Болгарин с грустной улыбкой отвел глаза от жалкой фигуры Ван дер Люббе, чтобы уже убежденно и аргументированно вести бой дальше...

Димитров. Я рад тому, что даже эксперты не верят, будто Ван дер Люббе поджигал один. Это единственный пункт обвинительного акта, с которым я всецело согласен. Но я пойду еще дальше. На мой взгляд, Ван дер Люббе в этом процессе является, так сказать, Фаустом в деле о поджоге рейхстага. Этот жалкий Фауст предстал перед судом, но Мефистофеля поджога здесь нет...

Бюнгер. Сейчас не время рассуждать...

Димитров. Пусть этот жалкий Фауст назовет имя своего Мефистофеля.

Весь зал пришел в движение, по нему словно прокатилась волна. И среди всеобщей сумятицы, там, в четвертом ряду, из-за толстых шей и погонов опять выглянуло изможденное лицо бабушки Парашкевы. Она вся напряглась, силясь понять, куда же клонится дело. Тут она увидела своего спасителя — Студента, которому наконец удалось провратиться в зал. Не ожидая вопросов, он сел и начал коротко объяснять то, что успел услышать, потом перевел несколько последних реплик.

— Мефистофель, — dokonчил он фразу и попытался понятными словами объяснить старой женщине смысл фразы. — Может быть, вы слышали легенду о том, как один человек продал душу дьяволу...

— Как не слышать, господи спаси, это сатана. — Бабушка Парашкева перекрестилась и подозрительно покосилась на фигуру там, за судейским столом. — Вон там сам сатана!..

— Вы что-то путаете, бабушка Парашкева. — Студент добродушно улыбнулся и недоверчиво посмотрел на нее. Ясно, что надо более подробно рассказать ей...

— Смотри, Фома неверующий... Вон тот, в красной накидке, сам дьявол, а вон тот, рядом с ним, его помощник, — по-своему толковала Парашкева и указала на верховного прокурора и его помощника. Потом ее узловатый указательный палец обвел всех семерых членов суда, тоже одетых в красные мантии, словно она хотела показать всем, кто они такие. — Они из адского огня сюда явились...

— Да-а, — протянул ее собеседник, удивленный этими словами.

Он и сам неожиданно открыл что-то дьявольское в помрачневших лицах нацистов. И снова с изумлением посмотрел на пожилую болгарку,

которая сейчас казалась ему пророчицей и мадонной, защищающей своего сына. Эта материнская сверхъестественная интуиция и эта сила породили в его душе музыку. Ему показалось, что в зале зазвучала величественная fuga Иоганна Себастьяна Баха, который некогда был органистом в соборе. Накануне вечером Студента до слез растрогало потрясающее искусство седоволосого старца в кафедральном соборе города...

Лина осторожно опустила обвиняющую десницу матери и смущенно укорила старую женщину:

— Нельзя так, мама, на нас смотрят...

А бритоголовые бюргеры были явно выведены из состояния мешанского самодовольства, напоминание о легенде Гёте их удивило и обеспокоило.

Воспользовавшись суматохой, болгарин посмотрел туда, где сидела его мать, но та вся была во власти мрачных видений. А когда она снова подалась вперед, чтобы увидеть сына, кто-то выставил локоть, и она ничего не могла увидеть. Над локтем красовалась красная лента со странным крестом — свастикой. Говори после этого, что тут не дьявольское наваждение!

Ступени, ступени... Загремели решетки и ключи, заскрипели петли тяжелых железных дверей.

Блестящие сапоги с подковами затопали по коридорам, эхо тяжелых шагов раздалось под каменными сводами. И среди этих ног в тяжелых сапогах так непривычно выглядели мелко семенящие женские ножки в полусапожках с пуговками. Мелькнуло черное пальто, вязаные шерстяные рукавички, и постепенно мутные лампы осветили покрытое глубокими морщинами лицо бабушки Парашкевы.

Это лицо обрамляли белые как снег волосы, выбивающиеся из-под черного платка, завязанного на затылке узлом. Немного выцветшая шаль охватывала ее шею, скрещивалась на груди.

Трогательную женскую фигурку окружал эскорт жандармов, говорящих на каркающем языке. Пожилой женщине было трудно представить, что в этом зловещем месте находится ее сын...

Послышалась команда «Хальт!», патруль прошел вперед, а пожилая женщина осталась стоять посреди голого каменного зала. С правой стороны стоял, расставив ноги, безмолвный ефрейтор Ганс. С левой стороны стоял штатный переводчик имперского суда в клетчатом костюме, немного знавший болгарский язык. Он должен был присутствовать при этом необычном свидании и следить, чтобы в разговоре не промелькнуло какое-нибудь запрещенное слово.

Бабушка Парашкева испытующе оглядела своих спутников, словно оценивала что-то. Ефрейтор не внушал ей доверия, он смотрел враждебно и нервничал, не выдерживая ее взгляда. «Проклятая старуха», — буркнул он и, вероятно, про себя выругался, не подозревая, что таким образом посылает проклятия и своей собственной матери. Он чувствовал себя, несмотря на свою внушительную комплекцию, легковесным, почти бесплотным, словно эта пожилая женщина взвесила его на своих особых весах...

Бабушка Парашкева перевела взгляд на другого спутника. Чутье или

то обстоятельство, что больше надеяться было не на кого, заставило ее обратиться к нему:

— Так вы из каких мест, ваша милость?

Переводчик вздрогнул, в первый момент не поняв вопроса, но потом осторожно ответил, косясь на прислушивающегося к разговору, но ничего не понимавшего Ганса.

— Я родился здесь, в Германии, я не из ваших краев, но мои предки были славянами,— понизив голос, проговорил он, последнее слово произнеся совсем невнятно.

Бабушка Парашкева повернулась к нему всем корпусом, неожиданное открытие вслило в нее смутную надежду, обрадовало.

— Вот ведь как бывает! Значит, у нас один корень. Каким же ветром вас занесло сюда?

— Мои предки переселились в Германию в поисках заработка...

— Ради хлеба, значит.— И пожилая женщина заторопилась, чтобы не упустить главного: — Так вы, может, знали его Любичу? Я говорю о жене Георгия... Она была из Сербии.— И, уловив недоумение в его смущенной улыбке, она добавила: — Ничего, сынок. Извините, я ошиблась. Раз вы родились в Германии, вы не могли знать Любичу. Пусть земля станет ей пухом, царство ей небесное.— Она быстро перекрестилась.— Какой красавицей была она, глаза черные, большие...— Она пыталась объяснить переводчику свои чувства к покойной снохе Любиче Ивошевич.

Она вздохнула, грустно улыбулась, ища сочувствия.

А переводчик нащупал в кармане табакерку и едва заметно кивнул ей — доброжелательно и ободряюще.

— Что нужно этой старухе? — с нескрываемой враждебностью вмешался в разговор ефрейтор.

— Спрашивает, кто я по национальности. А я в этом отношении столько же знаю, сколько и вы...— уклончиво ответил переводчик и протянул ефрейтору табакерку, но тот отказался и показал на противопожарный стенд, под которым стояло ведро с водой.

Переводчик понял, что запрещение касается и его, бросил горящую спичку в песок. Он так и стоял до конца свидания с незажженной сигаретой, которую то сжимал губами, то вертел между пальцами.

Бабушка Парашкева обожгла Ганса синими огнями своих глаз и уже больше ни о чем не расспрашивала. Она наклонилась, потихоньку вытащила треснутое зеркальце и растерла ладонями свое посеревшее лицо, чтобы не выглядеть перед сыном такой измученной и истерзанной. Потом ее взгляд остановился на галстук-бабочке Славянина, как она мысленно окрестила переводчика, и она вспомнила выцветшую фотографию Любичи — тонкую девичью шею скрывал высокий белый воротник, на котором, словно бабочка, темнел бархатный бантик. У нее была и фотография сына того же периода. У Георгия тогда только намечались усы и борода. Обе фотографии стояли у нее на старом дубовом буфете в домике на Ополченной улице. Она часто смотрела на них, дула на стеклянную рамку, стирала с фотографий пыль.

Тяжелый топот прервал ее воспоминания. В зал вошел Георгий — ее сын. Его лицо прорезали глубокие морщины.

— Мама,— почти выкрикнул он, а она ничего не ответила, только прижалась к сыну и словно утонула в его объятиях, такая маленькая

и худенькая. Но она только казалась слабой. Мать сумела обнять, приласкать сына, на время оградить от жестоких людей в этой мрачной темнице.

— Засаекаю время, вам дано десять минут,— произнес полицейский.

— Вы располагаете десятью минутами, господин Димитров,— повторил переводчик, но ни мать, ни сын не слышали его, только сердца у них забились чаще, они были сейчас одним телом, одной душой, одним порывом, который, словно могучая волна, обрушился на тюремные решетки...

И все закрутилось у него перед глазами: глинобитный домик в Ковачевцах, потом выбеленный известью дом на Ополченской улице, возле дома — его сестренка с русской челкой, в матроске, она прижалась к отцу, дед Димитр согнул свои острые колени и скрестил большие руки на ручке смешного длинного зонта. Нет, это, скорее, дед Благоев на съезде социалистов в Габрово, окруженный своими товарищами,— они сфотографировались на фоне идилических декораций. Благоев скрестил свои усталые руки на ручке трости.

— Десять лет пролетело. Ты поседел.— Парашкева провела рукой по волосам сына и, коснувшись его лица, вдруг осязаемо почувствовала, как он исхудал.

Она откинула полу широкого, сильно потертого спереди пиджака, мешковато висевшего у него на плечах,— поверх пиджака было накинута старое пальто — и, чуть не плача, произнесла:

— Во что же тебя превратили, сынок, кожа да кости остались!..

А он отрешенно обнимал ее, а перед глазами у него качались хлеба и алеи маки, похожие на сигнальные огни в тревожных ночах того страшного 1923 года...

Но вот мгла рассеялась, и все стало свежим и росистым, как утренний луг, как мать, как родина.

— Мама, ты вся пропахла богородской травой,— проговорил он, жадно вдыхая пряный аромат и глядя ее волосы.

Он все время пытался подавить глухие хрипы — следствие воспаления легких, чтобы не тревожить мать. А она беззвучно всхлипнула, высвободила руку, сунула ее за пазуху, протянула ему крохотный пучок травы.

И вдруг сразу стянула с себя слабость и громко запричитала: — Я ничего тебе не принесла, сынок... Такая дорога была длинная, в корзинке ничего не осталось.

Она порылась в кармане юбки под сатиновым передником и вынула горсть орехов.

— У меня осталось несколько орехов с нашего дерева. Оно постарело, но все еще дает плоды...

И до того, как полицейский произнес свое категоричное «найн», она поднесла горсть орехов к его лицу, а потом к лицу Славянина, ища у него поддержки:

— Это же простые орехи, сами посмотрите.— И она протянула один орех смущенному переводчику: — Возьмите и расколите его!

Тот сделал отрицательный жест, и она опять повернулась к ефрейтору, который раздраженно бубнил свое «найн».

— Поняла, поняла,— проговорила бабушка Парашкева, повернулась

к немцу спиной, выразительно посмотрела на переводчика и вдруг сняла с ноги сапожок и демонстративно расколола орех о стену на глазах у любопытной охраны. — Попробуйте теперь, не отравитесь.

И после того, как сначала Ганс, а потом переводчик, который переступал с ноги на ногу и потирал руки от холода, отказались, она сама съела половину ореха, а вторую протянула развеселившемуся Димитрову. Остальные орехи она положила в руку сына на глазах у ошеломленного, сбитого с толку тюремщика. Чтобы выйти из неловкого положения, ефрейтор хмуро посмотрел на часы, мрачно процедил:

— Цвай минутен, — и снова выругался про себя.

— У вас осталось две минуты, — вернулся к исполнению своих обязанностей переводчик и облегченно вздохнул, довольный, что все обошлось.

— Спасибо, я понимаю их язык и рад, что вы понимаете наш, — многозначительно произнес болгарин.

— Прошу вас, говорите спокойно. Я больше стараюсь понять вас самого, чем ваш язык! — быстро ответил переводчик.

В его тоне было что-то подкупающее и многозначительное. Он отступил назад и ушел в себя, словно хотел оставить их наедине.

— Переводчик не похож на этих... Не знаю, славянин он или еще кто, но мне кажется, у него есть совесть, — поделилась с сыном бабушка Парашкева, почувствовав его недоверчивость. И вдруг сразу стала деятельной, вся преобразилась, быстро зашептала: — Говори, сынок, говори скорей, чем тебе можно помочь.

Но ее сыну просто хотелось слушать дорогой голос, смотреть в дорогое лицо, узнать побольше о близких...

— Подожди, потом, расскажи сначала, как ты живешь, как дела дома, — поспешил прервать мать Георгий, не сводя с нее глаз.

— Перед нашим отъездом Любчо бросили в Варненскую тюрьму. — Бабушка Парашкева не стала говорить о себе, перевела разговор на своего любимого внука. Она заговорила быстро-быстро, чтобы успеть все рассказать. — Ты можешь ему туда написать, если захочешь. Лина из-за него все глаза выплакала. И здесь она без конца хлопочет — чиновники, пропуска, полицейские... А Любича все из головы у меня нейдет, не можем смириться с ее смертью. — Бабушка Парашкева всхлинула, но сейчас же взяла себя в руки. — Говори, что можно для тебя сделать...

И ее сын, понизив голос, начал говорить, поглядывая на переводчика и пытаясь понять, слушает ли тот или пропускает его слова мимо ушей: «деньги на бумагу и чернила», «Коричневая книга», «товарищи из Болгарии», «приговор»...

Славянин, видимо, слышал. И не слышал. Он был непроницаем.

Ефрейтор почувствовал что-то неладное в этой сцене, сделал переводчику замечание и, важничая, прервал свидание раньше срока:

— Кругом!

Подошли охранники, чтобы отвести заключенного. Ганс хотел оторвать Парашкеву от сына.

И тут произошло неожиданное — заключенный оттолкнул руку Ганса и гневно произнес:

— Не смейте прикасаться к моей матери! И вы не имеете права сокращать свидание!

Лицо немца исказилось, он был готов наброситься на заключенного, тогда Димитров позвал офицера.

Прибывший офицер слушал сбивчивые объяснения Ганса и ничего не понимал. Георгий Димитров перебил ефрейтора:

— Заставьте этого забывшегося блюстителя порядка считаться если не с человеческими законами, то по крайней мере с приказами своего начальства.

Но офицер все не понимал, что происходит.

— В моем распоряжении еще полторы минуты, и я требую, чтобы в течение этого времени мне не мешали! — заявил узник тоном, не терпящим возражений. И нежно обнял бабушку Парашкеву.

Прижавшись друг к другу, они, не стесняясь Ганса и офицера, продолжали вполголоса прерванный разговор:

— Я забыла самое главное, сынок, меня пустили к тебе при условии, что я тебе посоветую...

— «Повинную голову меч не сечет». Так? — Ее сын засмеялся. И, заметив горькую складку на материнских губах, добавил: — Так в чем дело, мама? Скажи этому следователю, моему душеприказчику, что я твердоголовый, пусть тебя пускают ко мне почаще учить уму-разуму.

— И ты еще смеешься, Георгий! — произнесла она, чуть не плача.

Болгарин нежно погладил худенькие плечи матери, а она вдруг заметила у него на запястьях глубокие синие бороздки. Она вздрогнула, провела пальцем сначала по одной бороздке, потом по другой... Он легонько высвободил свои руки, по привычке потеряв их одну о другую...

— Это память о моем дорогом наставнике, следователе Фогте. Он пять месяцев держал меня в наручниках.

Бабушка Парашкева только теперь поняла, почему у Георгия ладьяк вытерт спереди. Она провела ладонью по густым волосам сына.

— Ведь правда на твоей стороне, сынок?

— На нашей, мама...

— Я это знаю... Смотрю на тебя и не могу понять, почему ты так изменился внешне. Наверно, оттого, что сбрил бороду...

— Мне тут не перед кем красоваться.

Время истекло, о чем напомнил офицер, покашливая и поглядывая на часы.

Мать с сыном отстранились друг от друга.

— Береги себя, сынок, — с усилием проговорила бабушка Парашкева, почувствовав, что осталась без опоры. У нее подкосились ноги, она пошатнулась...

— Держись, мама! Я ведь один из наших, твердых орешков... — Он ободряюще улыбнулся матери и подкинул на ладони орехи. Потом круто повернулся, чтобы она не видела его затуманившихся глубоких встревоженных глаз.

Вскоре тяжелые шаги конвоиров заглохли в мрачном коридоре.

Бабушка Парашкева закуталась в шаль, слезы капали на ее шерстяные рукавички.

Болгарина втолкнули в камеру, дверь захлопнулась у него за спиной. Он сейчас же приложил ухо к двери и, уверившись, что надзиратель ушел, сел на стул и положил орехи под тусклую настольную лампу. Он

стал внимательно осматривать и ощупывать каждый из них и одновременно словно гладил их — эти плоды родила Болгария...

Потом он осторожно взял один из орехов, другой, сжал их в ладони.

Пустой орех быстро распался на две половинки. Внутри лежали мелко исписанные листочки папиросной бумаги. Они зашуршали у него между пальцами, ожили, заговорили.

Он услышал голоса своих верных товарищей, увидел их лица. Вот Тольятти, он приветливо улыбается, поправляя очки. Вот Анри Барбюс, его шею скрывает высокий крахмальный воротник, Анри Барбюс кивает ему... Вот... Потом он увидел свою мать, которая была готова приютить под своим крылом всю орлиную стаю...

И болгарин вспомнил о другой стае — разбитой и измученной. Эта стая пересекала границу среди пожарищ той жестокой осени. И другая мать, такая же высохшая и почерневшая, как и его, провожала смельчаков до пограничного столба за горным селом Чипровцы.

«Помоги вам бог!» — сказала она на прощание. В ее голосе была такая мука, что у них ноги словно налились свинцом.

Там, среди почерневших кустов шиповника, которые цеплялись за одежду и мешали идти, революционер почувствовал жестокую боль расставания. Чтобы продолжить свой путь там, за пределами Болгарин, необходимо было еще раз опереться на них, незабываемых, исстрадавшихся матерей и товарищей, перед которыми зияли оружейные дула. А до победы было еще так далеко...

Ох эти белые ночи, волчьи ночи, когда встречаешь рассвет с открытыми глазами. Бессонные ночи, начавшиеся еще в тайнике виллы «Незабудка», где укрывались руководители восстания накануне выступления. И там он старался сдерживать предательский кашель, как и здесь, в тюрьме, во время встречи с матерью...

...В коридоре раздались шаги. После секундного колебания заключенный быстро свернул в трубочку листки папиросной бумаги, приподнял настольную лампу и засунул их в отверстие для шнура. Но надзиратель прошел мимо, не остановившись возле его камеры...

Тогда Димитров раскрыл толстую книгу — «Историю Гогенцоллернов». С потрепанной страницы на него смотрел потомственный владетель с клинообразной бородкой в латах. Старая немецкая гравюра... А Димитров вспомнил о другой встрече. Память вернула его в Перник, где бастовали шахтеры. Он приехал тогда в этот бедный шахтерский городок...

Его вызвал юный агитатор из рабочих, Темелко, он же сопровождал его. Они быстро шли по дороге среди утреннего марева, проверяя, не следят ли за ними. И неожиданно увидели, как от Горнобанской дороги, через левады, к ним направились три фигуры — один мужчина был в гражданском, два других — в военной форме.

— Эта встреча ничего хорошего не сулит! — с тревогой в голосе произнес. Темелко и по-мальчишески дернул Димитрова за руку, ожидая от него решения. Но его спутник продолжал невозмутимо шагать, сокращая расстояние.

А Темелко то отставал, то ускорял шаг, соображая: если остановиться или повернуть назад — это покажется подозрительным, если идти вперед — их остановят на перекрестке. Всматриваясь издали в мужские фигуры, он вдруг споткнулся и ахнул от изумления:

— Царь!..

— Да, это он. Иди, не обращая внимания.— Димитров продолжал невозмутимо шагать вперед и уже не произнес больше ни слова. Только складка, как стрела, легла у него между бровями, словно указывала ему направление.

И ожидаемое произошло — перед ними вырос во всем своем величии сам царь болгар Фердинанд, охраняемый двумя адъютантами. Он был в белой рубашке и брюках-гольф.

— Приятная встреча! Куда так рано? — наивно-иронически поинтересовался царь, несомненно узнав молодого бунтаря.

— По делам. А вы? — ответил на ходу Димитров.

— А мы на охоту... за бабочками,— благодушно объяснил Фердинанд и сейчас же понял бессмысленность объяснения — длинная бамбуковая палка с сачком на конце была достаточно красноречива.

— Хорошо, когда нет других дел,— бросил ему удаляющийся Димитров.

Измученный Темелко кинулся догонять его. Он украдкой оглянулся — у раздосадованного самодержца сачок подрагивал в руке, борода растрепалась.

Темелко распырил смех, но вид нахмурившегося, недовольного Димитрова прогнал улыбку.

Темелко понял причину его волнения...

Бабочки...

Царь преследовал их неутомимо — набрасывал на них сачок, нанизывал свои жертвы на булавки и помещал в коробку, которую всегда носил с собой адъютант. И бабочки замирали, бездыханные. Подданные гербария его величества. Той же участи царь подвергал и своих непокорных подданных — повстанцев, их сажали на кол, пронзали пулями.

Приглушенные, крадущиеся шаги замерли у двери камеры, но заключенного трудно было застать врасплох — он даже во сне слышал эти шаги. И когда надзиратель уставился на него через глазок, то увидел только спокойно склонившееся над книгой лицо...

Ох уж этот мне глазок! Хотя и был он сделан хитроумно, но все же ограничивал видимость. Да и можно ли проникнуть в душу?..

Ефрейтор Ганс перестал играть в прятки. Он сердито загремел ключами, трижды повернул ключ в неподатливом замке. Дверь взвизгнула, и он вырос на пороге, не переступая через него. Левый глаз у него дергался и плохо видел, зато правый почти не мигал, был всегда прищурен и нацелен на кого-то или на что-то, выискивая жертву.

Как только дверь скрипнула, не предвещая ничего хорошего, болгарин стал повторять про себя:

Богатство потерять — немного потерять,
Честь потерять — много потерять,
Мужество потерять — все потерять!

И эти слова Гёте постепенно приобретали особое звучание, перерастали в мелодию, помогали ему в этом мрачном каменном мешке, придавали сил.

Сотни раз в день в нем начинал звучать этот музыкальный напев, он становился особенно четким в минуты напряжения, когда на него

накатывалось отчаяние. Его голос принимал различную окраску и звучание — то понижался до шепота, то становился громким, к удивлению тюремщиков.

— Кажется, с ним не все ладно, в голове у него непорядок,— ехидничал ефрейтор Ганс в караульном помещении. Напевные, навязчивые слова, произносимые по-немецки, раздражали его, он не мог постичь их глубинного смысла...

Прищуренный глаз надзирателя теперь глядел не на заключенного, а на человека, который стоял за дверью на почтительном расстоянии. Это был Славянин. Он нарочито покашлял.

— К вам посетитель,— сообщил ефрейтор, пропуская переводчика. И прежде чем дверь захлопнулась за спиной у вошедшего, тюремщик добавил: — Когда кончите, стукните в дверь. Я буду поблизости.

Болгарин не удостоил внимания эту привычную комедию. Но неожиданная встреча удивила его, он приподнялся и протянул не одну, а сразу обе руки — это привычка осталась с того времени, когда его держали в наручниках. Повернутые ладонями вверх руки заключенного доверчиво тянулись к посетителю. В улыбке болгарина сквозила болезненность, но он сейчас же овладел собой и, чтобы вывести своего гостя из неудобного положения, сказал по-болгарски:

— Добро пожаловать.— И, оценив обстановку, испытующе продолжал: — Чему обязан честью?

Переводчик был явно смущен.

— Мерси. Благодарю. Я пришел...— Он говорил на каком-то французско-немецко-болгарском языке.

— Наверно, вы решили исполнить поручение. Или... что-то передать мне,— подкупаясь понизил голос Димитров.— Говорите спокойно на нашем языке. Тюремщик его не понимает. И ничего не видит.— Заключенный закрыл глазок ладонью.— Ну? — И в этом «ну» уже звучала ирония.

— Пардон! Сожалею, но вы заблуждаетесь. Я пришел к вам, чтобы выразить свое сочувствие,— вполголоса произнес необычный посетитель и приложил палец к губам.

— Вот оно что, сочувствуете, значит...— подражая его тону, произнес Димитров, решив дать ему возможность высказаться до конца.— Присаживайтесь. Жаль, что не могу предложить вам кофе...

— Я... только что пил,— выдавил гость и тут же закусил губу, поняв всю глупость такого признания.

— И мне только что поднесли. Кофейной водицы,— с иронией промолвил Димитров, указав гостю на топчан, а сам отошел к окну, чтобы оказаться к нему спиной.— Говорите, говорите. Я соскучился по родному языку. Вы славянин, насколько я понял. А кто точно?

— У меня мать славянка, из переселенцев, а отец немец. Но материнская кровь оказалась сильнее,— ушел от прямого ответа непрощенный гость.

— Возможно... В сущности, не только кровь обуславливает национальное самосознание. Верно?

Славянин не сел на топчан — не оттого, что клетчатый соломенный тюфяк, жесткий и корявый, показался ему неудобным и не слишком чистым, а оттого, что его заинтересовал стол. Скорее, листок бумаги, выглядывающий из объемистой книги.

— Я... Впрочем, все мы, весь мир восхищается вашей стойкостью,— начал он, но словесные фейерверки не мешали ему одним глазом коситься на листок бумаги. Он не подозревал, что его интерес к листку не остался незамеченным.

— Так, так, я вас слушаю. Извините, что повернулся к вам спиной, у меня болят глаза от напряжения, на свету мне легче. Очки у меня забрали, чтобы я не перерезал стеклом вены. И теперь, когда сажусь писать, перед глазами у меня вертятся красные и синие круги.— Димитров продолжал делиться своими неприятностями, давая гостю возможность действовать.

И тот выдал себя, протянул к листку, на котором была нарисована какая-то странная схема, ручку своей трости.

— Между прочим, один осужденный на смерть посылает вам эти сигареты, я не мог отказать ему в его последнем желании.— И, уверившись, что листок и в самом деле представляет ценность, перебрал трость в правую руку, а левой молниеносно выхватил листок. Пачка сигарет, лежавшая на книге, даже не шевельнулась.

И в этот момент Димитров резко обернулся, чтобы застать его врасплох. Теперь у него и в самом деле от гнева перед глазами пошли круги. «Гость» пришибленно сжался.

Заклоченный прошел мимо него, взял его шляпу и заткнул глазок. Надзиратель по ту сторону двери вытаращил глаза, не понимая, что происходит.

Заклоченный шагнул к сидящему на краешке стула человеку, жалкому и беспомощному. Он прикрывал лицо ручкой трости, не понимая, что трость может послужить ему для самообороны. Он вообще не думал о сопротивлении.

— Только... не бейте меня... по лицу,— забормотал он, увидев трость у себя над головой, он даже не заметил, как она оказалась в руках у Димитрова, лицо которого не предвещало ничего хорошего.

Заклоченный откинул густые волосы и, с трудом подавляя негодование, бросил трость.

Новый приступ гнева заставил его сгрести в охапку непрошеного гостя, поставить его на ноги, подгибающиеся в коленях. Димитров испытывал неодолимое желание дать ему пощечину, но его рука, как возмездие, повисла в воздухе над перепуганным лицом — он сдержал себя.

Всем своим существом болгарин испытывал отвращение от прикосновения к этому мозгляку. Он опустил руки... Но этот ненанесенный удар, повисший, как дамоклов меч, над головой жалкого человека, потряс того больше, чем потряс бы удар. Эта пощечина осталась у него в душе.

Гнев сменился презрением. Димитров взялся с двух сторон за черный галстук прищельца, быстрым движением развязал его.

— Почему бы вам не повеситься? — Он раскачивал галстук перед носом гостя.— Английский бархат. Выдержит.

Увеличенная тень галстука упала на стену, напоминая петлю.

Встревоженный тюремщик загремел ключами. Димитров снял с двери шляпу, бросил ее на топчан и сел на стул возле стола.

— Мне показалось, что вы постучали...— Тюремщик обеспокоенно обследовал обстановку.

— Он поскользнулся, и трость стукнулась о бетонный пол,— отве-

тил Димитров вместо посетителя, а тот подтвердил эти слова неловкой глуповатой улыбкой и поднял трость.

Надзиратель недоверчиво посмотрел сначала на одного, потом на другого, пожал плечами и вышел. Закрыв дверь, он повторил привычную уловку — застучал сапогами по полу, словно уходил, а потом потихоньку вернулся и занял позицию возле глазка.

Загадочный листок, ставший причиной столкновения, оказался точно в центре круга, очерчиваемого глазком. Димитров разгладил листок ладонью, снова выстроил в ряд раскатившиеся орехи и протянул руку к пачке сигарет.

— Прежде всего надо отдать дань уважения товарищу, который перед смертью послал мне свои сигареты. Прошу, возьмите и вы. Надеюсь, что хоть это не дешевый трюк!

— Бог свидетель. Можете проверить...

— Верю. Тогда передайте ему эти орехи.— Димитров собрал орехи и высыпал их в руку сбитого с толку переводчика.— Обещаете?

— Слово мужчины!

— Так... А теперь... В сущности, я могу вам позволить заглянуть сюда. Смотрите. Это своего рода схема распределения ролей между главными свидетелями обвинения, призванными «доказать», что обвиняемые коммунисты связаны с несчастным Ван дер Люббе.

Переводчик неохотно приблизился и осторожно заглянул в схему, ожидая подвоха. Он увидел нарисованные на листке два круга — один в другом, рассеченные четырьмя стрелками, указывающими четыре направления, по числу четырех свидетелей...

— А где-то в центре здесь находится нацистский Мефистофель. Я назвал это «дьявольским кругом», потому что видите, сколько дьяволов вышло давать лжепоказания против меня, чтобы обвинить Коммунистический Интернационал в поджоге рейхстага...

Славянин боязливо озирался...

— Возьмите карандаш и считайте. Депутаты национал-социалистов: Карване, Фрей; журналисты национал-социалисты майор Вебершtedт, доктор Шредар (или небезызвестный Циммерман); агент тайной полиции Гельмер; члены партии Дойчнационале Ланге и Панкин; Леберман — вор и морфинист, Вилле — фальшивомонетчик...

Непрощеный гость, только что завязавший галстук, счел необходимым развязать его. А болгарин неумолимо продолжал:

— Вайнбергер, которого судили за взяточничество, Гроте — психопат, заключенные-рабочие, их двадцать два человека, чиновники из полиции, Гелер, главные докладчики — доктор Фогг, доктор Леше, ренегат Маурер Пауль Пукс и другие, всего...— Димитров забрал у растерявшегося Славянина карандаш и стал считать сам: — Всего: $11+8+22+8+12+2+2=65$... Или, если быть совершенно точными: $65+1$ наивный человек... Как вас зовут? — как бы между прочим поинтересовался заключенный, а непрощеный гость не мог выдавить из себя ни слова.— Не стесняйтесь, назовите себя, мне все равно вас представят в ходе процедуры, официально.

— Я... не буду свидетелем...

— Не будете, но хотели... Ничего не известно. Не накликайте на себя гнева Вельзевула. Прежде всего дисциплина. Не забывайте, что вы все же дьявол, хоть и небольшого ранга...

Мелкий чиновник имперского суда вынул из нагрудного кармана своего пиджака носовой платок и вытер капельки пота, выступившие у него на лбу и над верхней губой. У него было такое чувство, будто он проглотил горькую пилюлю.

— Впрочем, что вам пообещали? Повышение по службе?

Гость присел на краешек топчана, у него подкашивались ноги. Потом вынул флакончик с какими-то таблетками, высыпал несколько таблеток на ладонь, ловким, привычным движением отправил их в рот и стал последовательно глотать, каждый раз откидывая назад голову — так куры пьют воду.

— Вы... можете мне не верить, но я, честное слово, клянусь вам, до сих пор не исполнял ничьи поручения. Просто проявил интерес.

— Интерес? В том смысле, что были заинтересованы?..

— Признаюсь, что в данном случае... Но ни в коем случае... — У непрошеного гостя что-то застряло в горле.

— Предположим, что вы искренни. Значит, на добровольных началах... — Заключенный иронически улыбнулся и внезапно встал со стула, зашагал по камере, стараясь подавить волнение. — Кто вас прислал ко мне? — Голос Димитрова теперь звучал твердо и требовательно. — И без уверток!

Расстроенный переводчик выдержал его гневный взгляд и ответил сдержанно, но откровенно:

— Не стану скрывать, после всего происшедшего они, видимо, ждали от меня какой-то информации...

— Информации или документации? — Димитров уже не щадил его.

— Это все равно, потому что я не создавал...

— Вы не создавали, что они, дьяволы-искусители, изучили вас более тонко, чем вы сами себя изучили, — уточнил его мысль заключенный. — Они только засоряют мозги, а рога уже вырастают сами. Сатана прибегает к усовершенствованным средствам.

Эта убийственная логика доконала Славянина и в то же время породила в нем чувство глубочайшего уважения к узнику.

— Вы сильный человек.

— Вы хотите сказать, что мы сильные люди, потому что мы правы, — тихо произнес болгарин. Эти слова выражали его жизненное кредо. Поэтому он произнес их вполголоса, как исповедь, устремив глаза на струйку света, пробивавшуюся сквозь решетку. — Ложь лишает человека стойкости, делает его жестоким, но не сильным, доводит до иступления...

Тюремщик сделал очередной обход и снова вернулся на свой пост. Но напрасно он пытался понять, что происходит в камере. Он видел спину Димитрова, стоявшего возле окна, и часть лица переводчика, тот сидел, подперев голову ладонью... Надзиратель прорычал что-то, чтобы привлечь к себе внимание, и, не получив ответа, застучал коваными ботинками по бетонному полу. Он ушел, чтобы вскоре снова вернуться.

— Вам придется научиться смотреть жизни прямо в глаза. Ничто не дается даром. Не стоит ссылаться на молодость и неопытность.

Димитров вспомнил о чем-то далеком, связанном с этими мыслями, и счел необходимым поделиться воспоминаниями. Возвращение в годы детства волновало его, а ирония придавала эпизодам особые краски. И постепенно сильный, мужественный человек, присевший на краешек

стола напротив другого человека, стал уходить в прошлое, в годы своего детства.

— Когда я был мальчишкой...

...Маленький Георгий с растрепанными густыми волосами и в штанах до колен играл с ребятами на церковном дворе в чижики, а голос матери звал его на всю слободу:

— Ге-ор-гий, Ге-ор-ги-ий...

Увлеченный игрой, мальчик ничего не слышал, пока один из ребят не сказал, что его зовут.

— Иду-у-у,— отозвался он и побежал к матери.

Она вытерла о передник выпачканные мукой обнаженные до локтей руки и произнесла:

— Слушай внимательно... Вот тебе поручение. Сейчас же иди к деду Златью и передай ему...

Георгий рассеянно слушал, косясь на спелое яблоко, краснеющее среди листьев. Потом не выдержал, сорвал его, жадно впился в мякоть зубами — у него пересохло во рту из-за беготни во время игры — и бросился выполнять поручение.

— Постой! Ты понял, зачем тебя послали?.. Подожди!

— По-о-нял!

Через несколько секунд облако пыли, которое он поднял, окутало его. Он быстро миновал улочки, которые вились по склону холма, и...

— Дедушка Златьо,— крикнул он еще издали и вскоре сам, запыхавшийся, высунувший язык, оказался перед забором небольшого домика.— Где ты?

На его зов долго не было ответа, только зарычала собака. Боязливо обходя ее, Георгий продолжал звать:

— Дедушка-а-а...

— Я здесь! Иду, иду! — Седая голова деда Златьо показалась над ульями, которые стояли в самом конце двора.— Что случилось, внучек? — И он направился к мальчику.

— Дедушка Златьо, мама поручила мне,— быстро проговорил Георгий и вдруг замолчал, выплевывая яблочные семена.— Мама дала мне поручение,— снова начал он и снова осекся.

Он понял, что помнит только слово «поручение», а в чем оно состоит, хоть убей, не знает. Виновато посмотрев на старика, он вдруг побежал обратно — еще стремительней, чем бежал сюда.

А дед Златьо недоуменно покачал головой и зацокал языком...

— Георг-и-ий! — звала мать.— И куда запропастился этот пострел...

— Слезаю! — раздался сверху голос мальчика, и через секунду он спрыгнул с крыши.

— Что ты делал наверху? Ты же испортил черепицу! И так крыша дырявая. Как идет дождь, подставляю корыто,— запричитала мать.— Ты же и разбиться мог!

— Ну что ты! Вчера ветер растрепал гнездо аиста, я поправил, как смог.

— Ты понимаешь, что делаешь? Ведь старый аист мог заклевать тебя!..

— Ничего страшного.— Георгий принялся счищать с одежды соломинки, мать стала помогать ему.— Зачем ты меня позвала?

— Надо сбежать к тете Добринке. Скажи ей, что я посылаю тебя за... Ты ведь знаешь, что твоя сестра больна... Пусть Добринка даст тебе...

Георгий смотрел поверх ее головы. На крыше появился старый анст, он казался грустным-прегрустным. Птица слетела с крыши, а мальчик подмигнул матери, которая смотрела на него озадаченно и недоуменно.

— Ты понял, что от тебя требуется? Повтори!

— Понял! — ответил мальчик рассеянно и бегом помчался к воротам.

Мать что-то крикнула ему вслед, потом беспомощно опустила руки, предчувствуя, что сын вернется ни с чем.

Так и случилось. Георгий вернулся очень скоро — потный, расстроенный, виноватый. И еще от калитки крикнул матери, неподвижно застывшей посреди двора:

— Мама... зачем ты посылала меня к тете Добринке?

— Подойди поближе — скажу.

— А? Я и так слышу.

— Подойди-ка, я надеру тебе уши.

И хотя мальчуган приближался очень осторожно, она изловчилась и схватила его за уши. Ей хотелось нашлепать его, хорошенько проучить.

— Ох, ох, — вертелся он в руках матери и уже готов был заплакать, но она строго произнесла:

— Не реви, ведь тебя не бьют. Я хочу только, чтобы ты запомнил: есть два сорта бестолковых людей. Одни глупы от рождения, а другие рассеянны от избытка ума. В то, что ты рассеян от слишком большого ума, я пока не верю... Сестра вся горит, а ты... Ты ведь мужчина, я на тебя надеюсь...

Она отпустила сына. У того на глаза навернулись слезы, но он сдержался, не заплакал. Он уткнулся в материнский передник, чувствуя, как в нем что-то переворачивается. А может, он повзрослел в ту минуту...

...Георгий шел, подбрасывая ногами камешки — тянул время. Ему предстоял неприятный разговор с матерью.

— Мама, я разбил окно в доме Димо Тележника. Нечаянно.

Мать перестала стирать, вытерла мыльные руки. Она хотела наброситься на сына с упреками, но он посмотрел ей прямо в глаза и твердо, по-мужски сказал:

— Я решил сам заработать деньги на стекло. В воскресенье пойду на кирпичный завод, поработаю день, а выручку отнесу Димо Тележнику.

...Резкий ветер бил в окно...

— С того дня прошло много времени, жизнь не раз жестоко билась меня... Но я научился отвечать за свои поступки. Я был старшим из восьми детей, очень хотел учиться, но мне пришлось оставить школу. Мои товарищи продолжали учебу, а я пошел работать в типографию.

Табачный дым вызвал приступ удушья, и Георгий Димитров снова подошел к окошку, жадно вдыхая воздух. Славянин поспешил погасить сигарету. Он даже попытался проглотить без остатка последний глоток дыма, который и в самом деле потерялся за его пожелтевшими от никотина усами.

Этот жест был оценен по достоинству и даже тронул кашлявшего, что не помешало ему спросить себя, откуда эта потребность рассказы-

вать о своем житье-бытье? К тому же человеку, который... Неужели с педагогической целью? «Смешно»,— решил он, но все же продолжил:

— В типографии, глотая ядовитую пыль, я понял, что тот свинец, которым пугают нас жандармы, весит не так уж много. Слово весит куда больше. Правдивое. Выстраданное. Которое порождает горечь во рту и жжет нам пальцы...

Димитров вдруг вспомнил о чем-то, огляделся и увидел то, что искал,— возле стены на топчане лежала стопка чистых рубашек, перевязанная крест-накрест бечевкой. Он взял рубашки, провел по ним ладонью. Славянин принялся извиняться — он только что облокотился на них.

— Обратите внимание на это слово.— Заключенный вынул и протянул переводчику небольшую бумажку — счет из прачечной. Славянин недоумевающее посмотрел на счет, надел очки.

— Вот здесь,— Димитров показал пальцем на еле заметное слово, написанное между строчками: «Рот Фронт».

И слово стало расти, увеличиваться, растягиваться, пока не заполнило все поле зрения Славянина.

— Одно-единственное слово может выразить смысл целой жизни, возвысить человека или уничтожить его. Все зависит от выбора. Тысячи слов в этом толстом словаре,— он раскрыл огромную книгу,— но мало просто овладеть языком, английским или немецким... Надо в совершенстве овладеть другим языком, языком истины, чтобы научиться разговаривать как надо и с друзьями, и с врагами... Сколько веков фанатики пытаются испепелить слово истины. Сжигали еретические книги, а у нас, в Болгарии, и поэтов, несших слово правды, сжигают в печах. Мы первыми, на собственной шкуре, испытали, что значат варварские костры фашизма...

Славянин, сам не зная зачем, усиленно тер носовым платком очки.

— Да и сам поджог рейхстага разве не является своеобразным костром? Я не сомневаюсь, что это было сигналом к наступлению, к физическому уничтожению непокорных. Завтра они разожгут другие костры и станут жечь книги, идеи, людей... Да, и людей.— Болгарин словно пророчески заглядывал в будущее.

Переводчик вздрогнул, нервно провел ладонью по рано поседевшим волосам.

— Но мы нестины — есть в Болгарии такое племя, они танцуют на раскаленных углях. Мы можем воскресать из пепла. Как воскресает феникс. Не знаю, видели ли вы такую птицу, над моей родиной не пролетали такие мифические существа, зато у нас есть другие птицы — ласточки.

Теперь голос Димитрова звучал задушевно и немного грустно.

— У болгар есть одно поверье, наш писатель Йовков использовал его в своем великолепном рассказе «По проводам». По пыльной дороге едет телега, колеса скрипуче поют: «Сколько муки на этой земле...» А в телеге — больной ребенок, он должен найти белую ласточку, лишь она принесет ему исцеление. Но белых ласточек нигде нет, зато попадают черные. Вот и моя мать из тех черных ласточек, почерневших от горя...

Димитров заходил взад-вперед по камере, внезапно остановился возле Славянина.

— Я не хочу предсказывать, но волосы вашей матери тоже покроет черный платок, когда гитлеровцы примутся повсеместно вводить свои новые порядки. И ей будет вдвойне тяжелей, если она повяжет его, сраженная позорным концом родного сына. Она не посмеет людям смотреть в глаза...

Славянин приподнялся, мучительно сглотнул. Казалось, у него перехватило дыхание. Он затрясся, стал бешумно бить кулаками в стену, словно хотел освободиться от тягостного состояния. Потом обернулся, тяжело привалился спиной к стене — ноги не держали его.

— Дайте мне возможность искупить свою вину перед вами, нет, перед самим собой...

— Почему перед самим собой? Перед собственной матерью. И перед моей. Она вам, между прочим, поверила.

Славянин почувствовал, что в нем нарастает неясное беспокойство. И лишь потом понял причину: его начала тревожить судьба этого человека.

— Неужели вы все так же будете разговаривать с прокурором? — с искренним удивлением спросил он, и его охватил ужас. — Ведь вас же обезглавят!

Но болгарин уже плохо слушал его. Он приблизился к решетке, его лицо просветлело.

— Тсс... — Он приложил палец к губам. — Слушайте! Наверно, уже половина восьмого, начинается концерт.

И в самом деле, сначала тихо, а потом все громче зазвучало чирикание сотен воробьев. Они целый день летали в поисках пропитания, а теперь возвращались сюда на ночлег. Птицы заняли все ветки высоких деревьев вокруг Моабита, перелетали с ветки на ветку и оглашали округу таким оглушительным гомоном, словно каждая пташка пыталась перекричать остальных, делясь своими большими тревогами и маленькими радостями пережитого зимнего дня... Сотни, тысячи певцов...

— Слышите? Это моя самая большая радость здесь. Птичьи голоса заменяют концерты, которые я так любил на воле... Это хоровое пение звучит более волнующе и задушевно, чем инструмент. Инструменту не хватает теплоты...

Этот день был для Славянина очень тяжелым днем. Его бросало то в дрожь, то в холод, одно состояние сменялось другим, сейчас верх взяло удивление...

— А что касается ваших опасений за мою голову, то это им нелегко сделать, хотя я мысленно уже простился с ней. Один мой друг недавно сказал мне, что все в суде развивается благоприятно для нас, но тон, тон... Но ведь именно тон делает музыку!

Болгарин задел локтем книги, лежащие на столике. Славянин помог поднять их с пола и успел прочесть несколько заглавий: Бенито Муссолини «Фашизм»; Альфред Тишле «Панславизм до мировой войны»; Мольтер «Школа мужей»...

— Я тут подчеркнул кое-что интересное. Шекспир:

Всего превыше, верен будь себе,
Тогда, как утро следует за ночью,
Последует за этим верность всем...!

¹ У. Шекспир. «Гамлет», акт I, сцена III. (Перевод Б. Пастернака.)



*На торжественном собрании по случаю 65-летия Н. К. Крупской
28 февраля 1934 года. Н. К. Крупская,
Г. М. Кржижановский и Г. Димитров.*

*На VII конгрессе Коминтерна.
Георгий Димитров и Клемент Готвальд.
Москва, август 1935 г.*



Георгий Димитров. Москва, 1934 г.

*На VII конгрессе Коминтерна. Георгий Димитров,
Морис Торез и Вильгельм Пик.
Москва, 1935 г.*

Незванный гость провел рукой по железной решетке, словно на ней была распята не душа узника, а его собственная душа, в которой сейчас звучали слова: «Не будешь вероломен ты ни с кем...»

Лицо Димитрова начало проясняться. Он понял, что сумел подавить в себе неприязнь к этому человеку. И помогла ему собственная откровенность.

— Вы начинаете мне нравиться. Но не забывайте, что вы заслужили пощечину, хоть я вам ее не дал. Я почувствовал, что вы найдете в себе силы искупить позор, выйдете из неловкого положения, в которое вас поставили...

Вдруг вместе с порывом ветра, отбившийся от своих или изгнанный ими, в камеру влетел взъерошенный воробей. Он заметался по тесному помещению, потом забился в угол под столом. В первый миг находившиеся в комнате замерли от неожиданности. Потом болгарин приложил палец к губам, тихо приблизился к птахе. Та перепугалась, стремительно взлетела вверх, ударилась о потолок, потеряла равновесие и, обезумев от страха, ослепленная светом, едва не разбила лампочку. Собеседники обеспокоенно переглянулись и уже не двигались, их тревожила судьба этого обезумевшего существа. Славянин прислонился к топчану, раздавшийся скрип снова заставил воробья заметаться по крохотной камере в поисках выхода, он забил крыльями по решетке и снова опустился на пол. Но теперь не сидел, а лежал, он поранил крыло. Боль и ужас этого крохотного существа передались узнику. У него болезненно скривились губы, он склонился над птахой, чтобы помочь ей обрести свободу. Раненая птичка восприняла этот жест как угрозу и в полном отчаянии, в стремлении вырваться из его рук собрала последние силы и с безумством смелых ударилась головой о стену, решив пробить ее или умереть. Слабое тельце упало на пол. Из клювика вытекла тонкая струйка крови...

Славянин вынул белый носовой платок из верхнего кармана пиджака и хотел завернуть в него воробья. Но узник остановил его.

— Не надо. Идите,— устало произнес он, поднимая маленького певца. И нежно провел ладонью по его застывшим перышкам.

— Все же... я честный человек... В первый... и в последний раз попадаю...

Болгарин поднял глаза и внимательно посмотрел на него, словно хотел заглянуть в самые темные уголки его души. И неожиданно подумал: «А может, стоит дать ему возможность проверить самого себя?»

— Видите ли,— начал Димитров, но сразу остановился: за ними могли наблюдать. Он бросил многозначительный взгляд на Славянина, тот понял, что от него требуется, и небрежно облокотился на дверь, заслонив глазок.

Тогда болгарин осторожно положил воробья на стол, написал несколько слов на том листке, который привлек внимание Славянина, сложил его и протянул своему незваному гостю. Тот неловко повертел листок, потом опустил его во внутренний карман пиджака.

— Передайте листок моей матери. Если это будет опубликовано, я поверю, что вы в самом деле верны лучшему в себе!..

Он улыбнулся, услышав возню за дверью — тюремщик безуспешно пытался рассмотреть, что делается в камере. Он подал знак Славянину, и тот отошел от двери.

— Вот видите, на чем держится государство, которому верноподанные так усердно служат? На недоверии. Вы следили за мной, другой — за вами, а кто-то третий, вероятно, следил за вторым. И все это лишь оттого, что тот, третий, невидимый, не веря себе, непрерывно сомневается в других. И не дай боже, если ритм твоего сердца не совпадает с ритмом марширующих сапог... А теперь прощайте. Или до свидания. Впрочем, как вы решите.

И болгарин трижды стукнул в дверь.

За дверью царило благоразумное молчание. Ганс отошел, потом снова подошел, шумно шмыгая носом. Зазвенели ключи, заскрипели петли, и он вырос на пороге.

Славянин протянул узнику руку, но тот — случайно или сознательно — не заметил ее. Возможно, пожать руку ему помешал вошедший тюремщик.

— Герр надзиратель, вы кашляете, у вас слезится глаз. Видимо, простыли. Советую вам выпить теплого вина с черным перцем. Помогает. Работая в таком месте, немудрено простудиться... Тем более, вы постоянно суете нос в чужие дела...

Ефрейтор чихнул — проклятая простуда! — пропустил Славянина и с шумом захлопнул дверь...

— Плотнее закрывайте двери, дует, герр... Дует! — Димитров зашевелился. Но вдруг перед глазами у него пошли красные круги, он схватился одной рукой за решетку, другую поднес к глазам...

У него из груди снова вырвались хрипы. Он закутался плотнее в старое пальто, поднял воротник. Потом встал на топчан и попытался закрыть за решеткой оконце. Но северный ветер, который вырывал из мрака крупные хлопья снега, не позволил ему сделать это. «Бедные певцы», — подумал узник о своих крохотных друзьях, сжавшихся на ветках... Его рука снова легла на остывающее тельце птички, словно хотела согреть его, хотя узник сам дрожал от холода. Снег напомнил ему о русской зиме, о том дне, когда раздался тот тревожный телефонный звонок. Два слова прозвучали, как выстрел: «Ленин умер!»

...Он тогда с трудом добрался до Москвы после долгих странствий. И, еще не устроившись, пожелал пойти в Кремль. Ему очень хотелось встретиться с Лениным, рассказать ему о трагических событиях в Болгарии... Но к Ленину уже никого не пускали...

Болгарин знал, с какими нечеловеческими усилиями до крайности истощенный Ленин день за днем борется с той разрушительной стихией, которая бушевала в нем, силилась разрушить организм... Тяжело больной, он все еще пытался вести дела, отдавал распоряжения. Он тревожился не за себя, а за судьбу своей страны. Разбитый физически, он напряженно думал. Врачи прослушивали его сердце, а он вслушивался в пульс революции...

Когда болгарин вошел в его комнату, скульптор уже снял посмертную маску с лица Ленина. Георгий Димитров держал в руках свою меховую шапку, и слезы беззвучно закапали на густой мех. Он посмотрел на лицо Ленина, на его высокий лоб, потом — на гипсовую маску. Зрелице было таким невероятным, что он вздрогнул. Прошли минуты, пока он осознал истину — Владимир Ильич, уходя, оставил свой образ, навсегда врезал его во время и пространство. Он жил теперь в своих то-

варишах, а этот барельеф стал только символом этого перевоплощения, первым памятником Ленину. С этого момента ему предстояло оживать — в гипсе, в граните, в бронзе. И прежде всего — в идеях и вере, в сердцах людей...

Болгарин застонал. Его взгляд упал на руки Ленина. Ему казалось, что если он дотронется до них, то почувствует их тепло. Рукопожатие Владимира Ильича всегда было теплым. Какая тонкая и сложная вещь — человеческая рука, одухотворенная и сильная, раскрывающая характер, волю, целую жизнь. Не случайно художники труднее всего воссоздают на полотнах человеческие руки...

...Ветер врывался в окошко камеры Моабитской тюрьмы...

Славянин вышел из тюрьмы, пошатываясь, безучастно прошел мимо часового и зашагал по заиндевавшему булыжнику.

Уже стемнело, но ослепительное сияние снегопада освещало улицы. Переводчик ощущал живительную прохладу. Его разгоряченный мозг все еще лихорадочно работал. Славянин набрал пригоршню снега, растер себе лоб и щеки. Снег освежил его, и ему захотелось, как в детстве, вывалиться в нем, очиститься. Но он пошел дальше в своей сдвинутой набекрень шляпе, с беспомощно повисшими усами. Он, скорее, не шел, а ноги сами вели его куда-то. И привели в пивную. Он сел на высокий вертящийся табурет перед стойкой.

— Один коньяк, — механически произнес он, а рука его автоматически сняла шляпу, пригладила мокрые волосы. Пальцы рук дрожали.

Бармен наполнил янтарной жидкостью рюмку и с удивлением увидел, что клиент придвинул ее к себе тростью.

Содержимое исчезло в горле мужчины, а рюмка моментально вернулась к бармену.

— Еще, — произнес Славянин, и рюмка снова поползла по гладкой поверхности стойки, влекомая тростью.

— Еще... — Рюмка снова вернулась и снова, уже полная, поползла к клиенту.

— Еще... — Но на этот раз не рюмка, а бутылочка с металлической пробкой отправилась тем же путем к клиенту.

Бармен расвеселился, перестав удивляться.

Клиент бросил на стол банкноту, повернулся на табурете, и ноги понесли его к выходу. Полная бутылочка потонула во внутреннем кармане, шляпа криво сидела у него на голове, и он подправил ее тростью.

...Славянин стоял напротив третьеразрядного отеля, перед застекленной витриной магазина фирмы «Эмаль» и соображал. Потом постучал по стеклу, чтобы привлечь внимание паренька в грубом комбинезоне и с приглаженными волосами. Паренек, чистильщик обуви, задержался позднее всех, чтобы закрыть магазин.

— Эй, ты уже кончил работу? — поинтересовался Славянин.

Чистильщик обуви, который в это время расставлял по местам банки с разноцветным гуталином, взял в руки щетки и забарабанил ими по деревянному ящику.

— Для друзей я всегда на работе. Проходите и давайте свои ноги.

Чиновник имперского суда вошел в помещение, сел в потертое кресло и вытянул ногу. Он испытывал удовольствие от ловких движений щеток,

которые возвращали его обуви потерянный в лужах блеск. Он снова погрузился в свои мысли, глядя сквозь стекло на отель.

Двое мужчин — гражданский и военный — увлеченно разговаривали неподалеку, и их беспечность пугала его. Он думал о том, может ли он положиться на этого мальчишку... Не случайно Геббельс предупреждал, что то, чего ему не скажут взрослые, скажут дети. Он рассчитывал на них, на их доверчивость... И все же он решил рискнуть — у него не было выбора.

— Дружок, — снова заговорил Славянин, — хочешь заработать десять марок?

— Ха, — изрек чистильщик, — стоит ли об этом спрашивать?

— Ты видел пожилую женщину в темной шали?.. Она живет в отеле, что напротив.

— Еще бы! Вчера я чистил ей ботинки. Это известная женщина. Ее фотографии печатают в газетах...

Такая осведомленность удивила клиента, но породила в нем чувство доверия. Он свойски улыбнулся пареньку и приложил палец к губам.

— Тсс...

Потом деловито добавил:

— Вот тебе пять марок. И вот листок. Стучишься, передаешь женщине листок, а если ее нет — оставляешь под дверью и возвращаешься сюда. Вернешься — получишь остальные деньги. И кое-что сверх того.

— А если меня схватят? — поделился своими опасениями паренек. — Вы станете носить мне сигареты в кутузку? — Он замолчал, потом вдруг сказал: — Разувайтесь!

Славянин понял его мысль, расшнуровал ботинки, поставил ноги на деревянный сундучок.

— Это и для алиби, и для того, чтобы получить и остальные марки. — Чистильщик надел ботинки себе на руки. — А вы, если увидите, что я слишком задержался, можете уносить ноги, ничего, что на вас только носки, — наставительно закончил паренек и, насвистывая для храбрости, пошел к освещенному входу в отель.

Он прошмыгнул мимо швейцара в яркой ливрее, а когда тот закричал ему вслед, многозначительно поднял вычищенные до блеска ботинки, которые служили ему пропуском, и побежал наверх.

Славянин облегченно вздохнул, но продолжал напряженно следить за отелем. Какой-то прохожий с удивлением посмотрел на него сквозь стекло. Славянин подмигнул ему, вынул из кармана бутылочку и стал блаженно потягивать коньяк...

Паренек в грубом комбинезоне бежал по коридору, глядя не столько на номера комнат, сколько на...

Он сразу узнал женские полусапожки на медных пуговках, стоявшие возле одной из дверей. Чистильщик обуви постучал в дверь один раз, два раза... Ответа не последовало, тогда он осмотрелся и сунул листок в щель под дверью. Потом снова поднял высоко ботинки и побежал вниз.

— Клиента нет... Может, вы мне заплатите вместо него? — бросил он швейцару, недовольно покосившемуся на него.

Паренек пересек улицу, он спешил туда, где сидел улыбающийся незнакомец в носках, к которому он уже испытывал симпатию.

Незнакомец протянул ему деньги, но паренек в синем комбинезоне не взял их и не позволил больше говорить о деньгах.

— Я могу и обидеться,— пригрозил он.— Я уже взял с вас деньги за то, что вычистил вам ботинки, а сверх того мне ничего не надо.— И он протянул посетителю перепачканную гуталином руку. Тогда мужчина порылся в кармане и высыпал на детскую ладонь горсть орехов, привезенных издалека...

Трость застучала по тротуару, начищенные до блеска ботинки начали терять в лужах свой блеск.

Студент постучал в дверь и услышал приглашение: «Входи, входи!» Он переступил через порог и услышал из ванной комнаты шум воды.

— Это ты, сынок?

— Я, бабушка Парашкева. Не спешите, я подожду.— И Студент начал смотреть в окно. Он увидел киоск, магазин фирмы «Эмаль», вышедшего из него незнакомца в начищенных до блеска ботинках. Незнакомец неожиданно поднял голову, их взгляды встретились. Им так и не довелось познакомиться ближе, этим двум переводчикам — добровольному и должностному...

Час был уже поздний, но перед цветочным магазином напротив остановился автомобиль — приехали за венком из живых цветов. «Странное дело,— подумал Студент,— по сотне венков в день берут из магазина. Эпидемия здесь, что ли?» Он вдруг рассердился сам на себя, поняв, что это не ужасает его. «Коричневая чума»,— довершил он свою мысль.

Глаза у него воспалились от бессонных ночей. В прошлую ночь его опять разбудили, допрашивали, допытывались, кто они, откуда и кем посланы, от кого получают деньги... Особенно усердствовал белообрый гестаповец. «Вы легко отделались и на этот раз»,— сказал он Студенту. Этот гестаповец выгнал его из зала суда, куда он проник без пропуска.

— Извини, сынок,— прервала его мысли бабушка Парашкева. Она вышла из ванной, вытирая мокрые руки пестрым полотенцем.— Ты входи, не стучись. Когда ты в первый раз постучал, я кричала, кричала тебе, но ты, верно, не слышал...

— Я? — Студент недоуменно пожал плечами.— Наверно, это стучал кто-то другой.— Он интуитивно посмотрел в сторону двери.

И тут его взгляд привлек белый листок.

Он поднял его, развернул, увидел странную схему, попытался разгадать ее.

...Мама, срочно передайте это с просьбой опубликовать.

Георгий.

Студент прочел записку еще раз, на этот раз вслух, посмотрел на «дьявольский круг», с надеждой взглянул на пожилую женщину, седые волосы которой выбивались из-под съехавшего вязаного платка.

— Я ведь тебе говорила, сынок, нечистая сила...— Она по-своему поняла схему. И благословила про себя храбреца, который принес ее.— Не перевелись еще честные люди. Надо поторопиться. Нет, подожди,— остановила она Студента, который намеревался пойти выполнять поручение. Она сняла платок и провела деревянным гребнем по своим распушенным волосам, которые достигали ей почти до пояса. Что-то трогательное было в ней, в этих ее чистых влажных волосах, пахнущих уксусом...— Ты зачем приходил? — Она быстро собрала белоснежные волосы в узел и направилась к корзинке.

— Давайте я отведу вас в кафе, вам надо поесть,— предложил Студент.

— Мне и есть-то не хочется... А вот ты молодой, тебе нужны силы,— ответила она, расстелила на столике домотканую салфетку, положила на нее яйцо и ложку.

— Садись к столу, закуси,— ласково произнесла пожилая женщина, и он послушно сел, понимая, что отказываться нельзя.

— Бабушка Парашкева, у вас и без меня хватает забот...

— А я без забот жить не могу. Посмотри, на что ты стал похож,— добродушно укорила она молодого человека.— И чебреца отведай,— она открыла одну из коробочек.

Студент растроганно посмотрел на нее. А она провела рукой по его волосам, словно он был ребенком.

— Ешь, ешь! Хорошо, что я взяла с собой спиртовку.— Бабушка Парашкева говорила, чтобы скрыть волнение.

И только теперь Студент услышал шум закипающей воды.

— Мне надо идти,— произнес он, быстро проглотил желток и собрал в горсть скорлупки.

— Иди, сынок, иди! А утром что нам предстоит?

— Сначала надо идти в полицию за пропусками, потом зарегистрировать паспорта, затем встретиться с товарищами...

— Так, так, поняла, иди. И спокойной ночи,— попрощалась она и пошла в ванную, покачивая головой.

...Через полчаса она погасила свет и легла в постель. Шум автомобилей наполнил комнату. Этот шум и пестрое домотканое одеяло, привезенное из Софии, напомнили ей о ее доме на Ополченской улице...

Зажужжал ткацкий станок, замелькали пестрые нити. Она ткала и вплетала в яркое одеяло нити бунта. Белый, зеленый, красный цвета... Станок пел, в груди матери поднималась скорбь, и невозможно было понять, в улыбке или плаче скривились ее губы. А может, мать пела колыбельную песню, которую ее дети впитали в себя с материнским молоком. На закопченной балке все еще темнели крюки, на которых раньше висела люлька.

Но только что это? Люлька и сейчас висит на веревках, качается... Да нет, это не люлька, а виселица, ветер раскачивает петлю в такт песне или плачу... Бабушка Парашкева встала из-за ткацкого станка и вдруг оказалась в Париже, в зале с микрофонами...

Зал шумел, все ждали ее слова. Повязанная черным платком, она волновалась и только хотела начать говорить, как из людской массы словно выплыл синий мундир начальника болгарской полиции.

«Я запрещаю всякие демонстрации! Разойдитесь! Буду стрелять!» Он хотел расстегнуть кобур, и вдруг оказалось, что это только мундир, что в этом синем мундире нет человека, не было и руки, которая могла бы выхватить пистолет... Зато у рабочих парижских предместьев были большие и сильные руки — они схватили китель с эполетами, швырнули его на землю и растоптали этот призрак, преследующий бабушку Парашкеву...

Избавившаяся от своего преследователя и кошмаров бабушка Парашкева подошла поближе к микрофонам, поклонилась людям — иначе она не могла выразить свою благодарность тем, кого привело сюда желание послушать ее и поддержать ее сына Георгия. В этом поклоне не

было ничего ни театрального, ни унижительного, он выражал только чувство признательности. Ее сын не мог быть преступником. Разве он не боролся всю жизнь во имя счастья людей?

Свет автомобильных фар осветил темную комнату отеля. И впервые Парашкева заплакала. Она плакала долго и безутешно, думая о судьбе своего сына.

В этих безмолвных слезах таилось отчаяние, которое она тщательно скрывала от других, чтобы никто не усомнился в ее силе. Потом она словно окаменела.

В такой позе ее и застала Лина. В первый момент она чуть не вскрикнула от страха — может, случилось непоправимое? Мать лежала неподвижно, на столике перед кроватью стояла старая фотография Георгия — молодого, с густой бородой...

— Мама! — бросилась к ней Лина, обняла за плечи и облегченно вздохнула. — Как ты меня испугала! Почему ты не спишь, ведь уже поздно.

— Ко мне сон не идет. А почему ты так опоздала?

— Меня привезли в отель Штайгеры. Они приглашают нас к себе на рождество.

— Для нас больше нет праздников... Но... пожалуй, стоит пойти. Послушай, есть весточка от Георгия. Он переслал через кого-то странное письмо, — бабушка Парашкева оживилась.

— А как оно к нам попало?

— Кто-то подсунул под дверь. Студент тебе расскажет.

Лина поцеловала мать в ввалившуюся щеку, приподняла ее.

— Тебе необходимо приложить что-то теплое к пояснице, — засуетилась Лина, поправляя подушку.

— Сейчас бы кирпич горячий, как это я делаю дома.

— Только этого нам не хватало! Жалеешь, что не захватила кирпич из дома? Ты и так чего только не наложила в корзину. Даже одежду на случай смерти...

— Все может случиться... Только не хорони меня в чужой земле.

— Что ты такое говоришь, мама, — остановила ее Лина и пожалела, что упрекнула пожилую женщину.

Она поставила на пол тазик с горячей водой, и пар начал клубиться над бабушкой Парашкевой.

— Похороните меня рядом с вашим отцом. Так случилось, что мы не знаем, где могилы Костадина, Тодора, Николы, нельзя даже поплакать над ними вволю...

Парашкева потеряла одного за другим трех сыновей. Николу, уехавшего в Россию, приговорили к каторжным работам в холодной Сибири, случилось это незадолго до революции 1917 года. Он долго был прикован к постели тяжелой болезнью и умер в муках. Матери все время казалось, что он так и умер в кандалах. «Я чувствую себя счастливым, потому что страдаю за правду...» — писал он в своем последнем письме. О его состоянии многое говорили кривые, напользавшие одна на другую буквы. В России у него оставались жена и дети. И чего только бабушка Парашкева не делала, чтобы привезти внучат в Болгарию!

Костадин погиб в Балканскую войну. Проводили его сильным и здоровым, а потом им прислали только кокарду с его фуражки — на память...

Самый младший, Тодор, попал в облаву. Его схватили ночью полицейские. Он никого не выдал. Случилось это в двадцать пятом году. Было ему тридцать лет...

Все трое, как и Георгий, работали в типографии, были грамотными, хотя получить настоящего образования никому не удалось. Ее сыновья были образованными, передовыми людьми, а сама она не умела писать, читала и то с трудом. Правда, на старости лет дед Димитр взялся обучать ее письму. И она осилила бы грамоту, если бы судьба не забросила ее сюда.

Пожилая женщина понимала, что трое сыновей навсегда ушли от нее, потеряны безвозвратно, но она ни одного из них не видела мертвым, не хоронила их, и это позволяло ей обманывать себя, считать их живыми. Иногда она разговаривала с ними по ночам, расспрашивала, давала наставления... Словно надеялась на их возвращение. И они приходили к ней — во сне. Эти встречи были ее праздниками.

Даже крохотную пенсию, которую она получала за погибшего на войне Костадина, она никогда не тратила на поминавшие усопших. Эти деньги шли то на больного, то на какого-нибудь сироту, то на вдову одного из товарищей.

Черствый хлеб она скормливала птицам, а не курицам, как делали ее соседи. Она раз и навсегда решила, что кур держать не станет. Однажды кто-то из родственников привез ей живую курицу. Курятника у них не было, и она заперла курицу в подвале. Но мысль о том, что курица чахнет в темноте, не давала ей покоя. А тут как раз заболел внук, и она решила сварить куриный бульон. Так как резать курицу было некому, она взялась за дело сама. С кухонным ножом в руке она опустилась в подвал, неловко схватила курицу за ноги, поднесла нож к ее горлу. И тут произошло неожиданное — курица закудахтала, напряглась, и к ногам бабушки Парашкевы скатилось яйцо. Женщина так удивилась, что чуть не бросилась бежать. Яйцо было теплым, скорлупа еще не затвердела. Конечно, ни о каком бульоне она больше не думала. А странная курица с того дня — то ли от страха, то ли в знак благодарности — стала регулярно нести своей хозяйке по яйцу. Счастливая бабушка Парашкева всем рассказывала об этом знаменательном событии...

Бабушка Парашкева редко думала о смерти. Но выпадали часы, когда она с мучительной безысходностью размышляла о том, что скоро умрет. В такие часы ей страстно хотелось увидеть своих сыновей, приласкать их, побыть с ними вместе хотя бы минутку... Если бы они согрели ей душу в последний час, вместе проводили ее... Она звала их, но в такие часы они не приходили к ней даже во сне.

— Доченька, спой мне мою любимую песню о пропавшем сыне и муже, которую мне пела Мара...

Свет уличных фонарей проникал в комнату, дрожал на стенах. Слова песни успокоили бабушку Парашкеву, уняли ее душевную боль, но другая боль напомнила о себе. Лина хотела накрыть мать атласным гостиничным одеялом, но бабушка Парашкева остановила ее:

— Дай лучше наше одеяло.

Расстроенная, Лина развернула домотканое одеяло и укрыла им мать.

Бабушка Парашкева вынула из-под него сухую руку и доверчиво положила на пестрые полосы, вытканые ею самой. Эти цвета и этот рисунок родились в ее душе, чтобы стать болгарским узором.

Она закрыла глаза. На ее изборожденном морщинами лице появилась улыбка. Вскоре она задремала.

— У нас есть вести от него, Милорд,— произнес Студент, оглянувшись, и протянул свернутый листок крупному, внушительному мужчине. Изысканная одежда мужчины — плащ, цилиндр, белые перчатки — резко выделяла его из толпы прохожих.

Рука в белой перчатке взяла листок, развернула его.

— Великолепно! Исключительно интересно. Очень точно уловлено распределение ролей,— отметил Милорд.

— Что и говорить, они ловкие режиссеры, это отмечал и сам Димитров, особенно если судить по грандиозному спектаклю на съезде нацистов с тысячами факелов и барабанов, которым дирижировал сам Геббельс.

— А мы с тобой какие — ловкие или справедливые?

— Мы честные,— сразу же определил Студент.— Вот только лично я не могу похвастаться большими познаниями ни в какой области.

— Ты хочешь сказать, что еще не почувствовал, в чем твое признание,— поправил его добродушный спутник.— Спорить не стоит. Вперед, на телеграф! — скомандовал он.

— Да, но теперь моя очередь действовать. Ты вчера уже проявил свои ум и находчивость.

— Благодарю. Но позволю мне это сделать и сегодня. Сам знаешь, что я менее уязвим. Мне стало известно, что тебя собираются выслать за пределы Германии. Без тебя мне станет трудно...

Он обнял Студента за плечи и посмотрел на него дружелюбно и весело.

— Профессор Эйнштейн и лорд Марли выступили с заявлениями. Контрпроцесс в Лондоне мобилизовал общественное мнение. Сестра Георгия Димитрова Елена и Васил Коларов сделали большое дело в Лондоне, приятель, я понял это, еще когда находился там. А вот что пишет о Димитрове «Таймс».— Англичанин вынул из кармана газету: — «Этот болгарин обладает врожденным достоинством». Заметь — врожденным.

— Спасибо, сэр! Завтра обрадуем бабушку Парашкеву,— ответил Студент и покраснел, вспомнив о трогательной заботе пожилой женщины. Когда речь заходила о ней, он испытывал непонятную робость.

Англичанин был достаточно деликатным, чтобы не оскорбить этого чувства. Он и сам относился к матери Димитрова с любовью.

— Итак, дорогой мой друг,— сказал Милорд,— порой мне хочется, чтобы утверждение нацистов, что Димитрова поддерживают богатые евреи, оказалось правдой. Тогда мы могли бы помогать обвиняемым деньгами, которые нам якобы быстро и легко дают воображаемые еврей-финансисты. Но увы, в политике евреи не отличаются от христиан и всех остальных. Есть евреи бедные и богатые, добрые и злые, среди них немало революционеров и пролетариев. Сколько дверей захлопнулось перед моим носом! Один банкир заявил мне, что долг каждого еврея — не идти против Гитлера, чтобы не давать повода для провокации. А молодой человек из духовенства сказал, что фашисты не причинят зла тому, кто усердно молится и ведет скромную и праведную жизнь... Но есть

и другие. Портные Лондона, шахтеры Западного Уэльса, безработные из самых разных уголков Англии отдали последние деньги в знак солидарности. Бедные оказались богаче...

— Как всегда, бывают и исключения, не правда ли? — Студент хлопнул по плечу своего богатого друга.

Они шли по талому снегу. Стояла оттепель, с крыш капало. Мокрый булыжник отражал свет уличных фонарей. Из ресторанов доносились пошлые песенки. Вооруженные штурмовики гоняли по улицам на мотоциклах, оставляя за собой синеватый дым. На стенах красовались свастики и лозунги типа «Нация — превыше всего». Кое-где висели портреты Гитлера с челкой и скрещенными руками, в коричневой блузе. Вдруг они увидели на заборе сделанную масляной краской надпись: «Поджигателей — на эшафот». Рядом был нарисован топор.

Друзья замедлили шаг. Они не глядели друг на друга.

— Как называется эта улица? — глухо спросил Студент, ища табличку.

— Не знаю. Зачем тебе это?

— Чтобы не попасть сюда вместе с матерью Димитрова.

— Понимаю. Хорошо, что она не знает немецкого.

— Не знает, но такие вещи схватывает мгновенно. В этом ее не обманешь.

Улица вывела их на площадь перед большим памятником. Англичанина осенила неожиданная мысль, он огляделся и хотел было направиться к памятнику. Но Студент, видимо, угадал его намерение и взял друга за локоть:

— Потом. Сначала...

И они продолжили свой путь, обеспокоенные этим откровенным призывом фашистов. Они знали, что нацисты планируют инсценировку: «возмущенные граждане» должны отбить заключенных у охраны и линчевать их на месте. Приходилось все время находиться на чеку. Возле тюрьмы и здания суда постоянно дежурил то один, то другой из товарищей, даже хрупкая Доротти Уудман, приехавшая вместе с Милордом. Геббельс углублял психологическую подготовку к самосуду.

Молодой лорд попыхивал янтарной трубкой с ароматным восточным табаком и проклинал туман, отнявший у него солнце и разъедающий суставы. Солнце и в Лондоне редко навещало его, и Милорду пришлось отправиться по его следам. Впервые он открыл солнце во всем его великолепии возле Босфора. Оно напоминало медный поднос, выброшенный из глубин Черного моря, оно было щедрым и живительным. А море казалось ему глубоким, мятежным и одновременно невероятно нежным, как души этих необыкновенных болгар — того, который шел сейчас рядом с ним, и того, Большого... Не случайно это же море омывает их родные берега. И он мысленно увидел перламутровые блики на воде, опущенные паруса рыбачьих лодок на закате, почуствовал во рту неповторимый вкус жареной скумбрии, которую только что вытащили из моря. Что поделаешь, он всегда отличался хорошим аппетитом...

Милорд целиком посвятил себя большому делу, хотя знал, что это может ему дорого стоить. Выбор он сделал сам. Что из того, что ему прямо в лицо говорили: «Чудак!» Обвиняли в неискренности и суетности, в том, что он стал революционером ради оригинальности, что он хочет

убедить высшее общество в независимости своих политических убеждений. Что на них обижаться? Сплетни являлись их монополией. В сущности, не только высшее общество, но и крайние левые распространяли о нем подобные слухи. Он предпочитал опровергать пересуды не словами, а делом, которому был всецело предан. Он никому не угодил. В этом не было и необходимости. Джордж Гордон, лорд Байрон, поборник свободы, доказал, что можно сражаться за революцию в белых перчатках, вдали от туманных Британских островов.

Милорд глубоко уважал Маркса, был на многое готов во имя пролетариата. Правда, он не окончательно отрекся от жизненных благ, потому что не мог еще обходиться без бифштекса и ароматного восточного табака для трубки, но если бы понадобилось, пошел бы на эту жертву. «Ах, какая большая жертва!» — язвительно произносил его внутренний голос. Но он не считал этот вопрос существенным. Разве в кодексе революционера входит вегетарианство? Едва ли. Тем более, что самый большой враг марксизма был вегетарианцем, ему становилось плохо при виде крови. В это трудно поверить... Милорд не мог воспринимать сектантов, его раздражало их пуританство. Многие из сектантов отнюдь не лишены пороков, а непрестанно клеймят человеческие слабости... Человека, эту удивительную сверхчувствительную машину, трудно создавать методом штамповки, невозможно конвейерным способом сфабриковать качественно нового человека «модели тысяча девятьсот тридцать такого-то года», тем более за такой краткий срок, как одна человеческая жизнь. И особенно когда появляется известный еще с древних времен тип фанатика, но появляется в настоящем, тысяча девятьсот тридцать третьем году... Подобный только что попавшемуся им навстречу самоуверенному юнцу в коричневой рубашке — он налетел на них на тротуаре, идя точно по прямой. Этим он давал понять, что не он, а они должны уступать ему дорогу. Из принципа.

Телеграф кишел людьми.

Журналисты, спешащие передать свои специальные сообщения, буквально осаждали кабины.

— Мадемуазель, всего на два слова. — Милорд отвел в сторону удивленную молодую женщину со строгим лицом и коротко подстриженными волосами — корреспондентку французской газеты. — Мы уже знакомы, я из Международного комитета защиты жертв. Вы знаете, о каких жертвах идет речь, правда? Не припоминаете? — Он многозначительно посмотрел на девушку, и досада на ее лице сменилась доброжелательным интересом.

— Ах, да... — произнесла она, все еще не понимая, куда клонит этот англичанин.

— У меня для вас есть нечто весьма интересное. Мы могли бы оказать друг другу взаимную услугу, если... — он не досказал своей мысли и вынул листок, который сам мог сказать многое.

Француженка моментально поняла схему Димитрова. И, оценивая «дьявольский круг», горячо воскликнула:

— Не надо лишних слов, сэр! Всегда к вашим услугам.

Она благодарно пожала руку Милорда, и они расстались, очень довольные друг другом.

Студент одиноко стоял среди гудящей толпы. Его радовала простота, с которой решился вопрос.

— Не обделите вниманием и свою коллегу, прошу вас, не будьте эгоисткой,— сказал Милорд вслед корреспондентке и бросил взгляд на русоволосую журналистку-немку, которая с любопытством смотрела на них.

Потом он подошел к Студенту, обнял его за плечи и увлек на улицу.

...Памятник одиноко стоял посреди холодной площади. Студент остановился на углу, а Милорд направился к мраморному пьедесталу. Оглядевшись, он вынул прокламацию и тюбик с клеем и прилепил ее к пьедесталу. И сразу услышал предупреждающий кашель Студента и чьи-то шаги. Но он не поспешил уйти, а спокойно принялся набивать трубку.

— Прошу вас, дайте огонька. Зажигалка что-то барахлит.— Он небрежно щелкнул зажигалкой, преграждая дорогу двум прохожим и одновременно закрывая спиной прокламацию.— Если вы курите, прошу,— и он протянул им по сигарете.

Те не стали отказываться, внешность иностранца внушала уважение.

— Впечатляющий монумент.— Он указал наверх, и они проследили за траекторией, очерченной рукой в белой перчатке.— Благодарю вас. Доброго вам сна.— Он поклонился.

Прохожие отвесили в ответ неловкие поклоны и удалились.

Но через секунду один из прохожих, высокий молодой парень в потертом меховом полупальто, вернулся и, запыхавшись от бега, сунул в руки Милорду какую-то тонкую книжонку.

— Это кинореклама,— смущенно проговорил незнакомец и скрылся.

— Благодарю, благодарю,— удивленно сказал англичанин и пошел к обеспокоенному товарищу.

Студент с опаской взял подозрительную книжонку.

— Реклама нового фильма, только и всего. А ты что подумал?

— Ты неосторожен. В таких делах излишняя самоуверенность вредна.— Студент явно нервничал и чувствовал неловкость от того, что приходится делать замечание.

— Это не самоуверенность, а маневр.— Англичанин хлопнул его по плечу.— Да и чего нам особенно бояться?

— Конечно, ты не так уж много теряешь. Ты ведь потомственный лорд.

— Ты что-то путаешь, мой друг. Диалектика, диалектика... Как раз наоборот: если кто-то и теряет в этой игре, так это я, потому что у меня в кармане лежит чековая книжка. А ты ведь пролетарий? Что ты можешь потерять, кроме своих цепей? — иронично произнес Милорд в ответ на несколько жестокую шутку.

Студент, немного уязвленный, но повеселевший, в ответ погрозил ему пальцем.

И они опять пошли по мокрому булыжнику мрачных улиц — два верных товарища, иностранцы, подружившиеся здесь, сплоченные одной большой идеей...

А на сером мраморе памятника алела прокламация: «Свободу Димитрову!»

Вдруг Студент остановился на углу под уличным фонарем, его пальцы лихорадочно переворачивали страницы.

— Посмотри внимательно.— Он перевернул две первые страницы книжонки: в двух параллельных колонках одним и тем же шрифтом был набран различный текст:

Тиран Нерон послал своих верных людей под-
жечь Рим, чтобы начать преследование христиан,—
30 сребренников получал каждый, кто поймает или
выдаст христианина...

...награду в 20 000 марок полу-
чает каждый, кто даст показан-
ия в связи с поджогом рейх-
стага...

— Что в этом странного? Я смотрел этот фильм.— Милорд пробежал взглядом первую страницу, текст напомнил ему сцены из фильма — римские легионы, мечи, битвы, Колизей, брошенные на съедение зверям люди... Но когда его взгляд упал на вторую страницу, он восторженно воскликнул:— Хитро придумано! Хорошо проучили меня эти «кинематографисты». Провели меня — видного деятеля ассоциации кинообществ Англии.— Он раскатисто рассмеялся.— И я издавал брошюры в Лондоне в защиту Октябрьской революции, но не догадался придавать им такой живописный вид. Умно. Стратегия и тактика. Молодцы!

— Так о чем тот, другой фильм? — поинтересовался Студент.

— Другой? Я его не смотрел, потому что сам участвую в его отдельных эпизодах, да и конца этого фильма не видно... Ах, да, возможно, ты — будущий режиссер...

— Спасибо, сэр. Только я едва ли сумею. Скорее это можешь сделать ты или кто-то с вашей киностудии... И всё же такой фильм непременно будет,— задумчиво и серьезно предсказал Студент и прищурил зеленоватые глаза, словно хотел увидеть сквозь туман фигуры на экране будущего...

Процесс продолжался.

Показания давал свидетель Леберман, он стоял перед председателем, слегка наклонившись, его движения были быстрыми и нервными.

Болгарин изучил моральный облик своего противника и потому не всматривался в его искаженные черты. Он боялся, что может не сдержаться, тогда его лишат слова. «Спокойно!»— повторял он, призывая себя к самодисциплине.

Димитров. У меня есть вопрос.

Председатель. Теперь вы имеете право задать вопрос.

Димитров. Мне хотелось бы знать, поскольку это имеет значение для процесса: кто пригласил сюда этого свидетеля? Является ли он свидетелем прокуратуры?

Председатель. Я уже сказал: этот свидетель однажды, 13 октября, послал записку в дирекцию тюрьмы, после чего был допрошен прокуратурой. Но это я уже сказал.

Димитров. Это я уже слышал.

Председатель. После этого было предложено вызвать его в качестве свидетеля.

Один из зрителей, сидящий в последнем ряду, приподнялся, предугадывая дальнейшее,— это был Славянин. На скулах у него предательски подрагивали мускулы, выдавая волнение...

Димитров. Кем?

Председатель. Имперской прокуратурой. Но я хочу вам сразу сказать: не занимайтесь критическими придирками, которые совершенно бесполезны. Ведь вы же не можете ни прокуратуре, ни суду помешать вызвать свидетеля, если он что-нибудь сообщает.

Лицо Славянина исказил нервный тик, он мучительно сглотнул. Переводчик проводил аналогию между собой и этим незнакомым свидетелем, догадываясь, что он сам был или, вернее, мог оказаться в подобной ситуации, если бы...

Димитров. Я и не хочу этого. Но мне хотелось бы только, господин председатель и господа судьи, заметить, что круг свидетелей (главных свидетелей) прокуратуры против нас, обвиняемых коммунистов, сегодня этим свидетелем замкнулся. Этот круг открылся депутатами рейхстага от национал-социалистической партии, национал-социалистическими журналистами и замкнулся вором.

Зал пришел в движение, зазвенел председательский колокольчик. Славянин приподнялся, смочил горло несколькими глотками алкоголя из бутылочки. Он был необычайно взволнован. Ведь этот человек дал ему возможность вырваться из хорошо известного ему круга...

Верховный прокурор д-р Вернер. Это вопрос?

Председатель. Все это отмечено.

Димитров. Круг...

Председатель (*прерывает*). Димитров! Я вам уже не раз говорил, что вы должны ставить вопросы...

Димитров. Вопрос к свидетелю д-ра Паризиуса.

Паризиус. Прошу указать обвиняемому, что он не имеет права упоминать мое имя, обращаясь ко мне.

«Ничего не поделаешь, придется вам самому расхлебывать кашу, которую вы сами заварили, Паризиус. Вы сами состряпали обвинительный акт — тысячу с гаком страниц...» — подсмеивался про себя обвиняемый.

Славянин перебрался поближе, развернул газету и стал обмахивать ею, как веером. «Душно», — бормотал он, но более наблюдательный глаз уловил бы, что он усердно машет газетой не случайно. Время от времени он с удовольствием поглядывал на первую страницу, где крупным шрифтом был набран заголовок: «Димитров в дьявольском круге». Это была французская газета, в которой поместили материал, полученный при его прямом содействии. Ему хотелось, чтобы Димитров заметил газету у него в руках и уверился, что он выполнил свой долг.

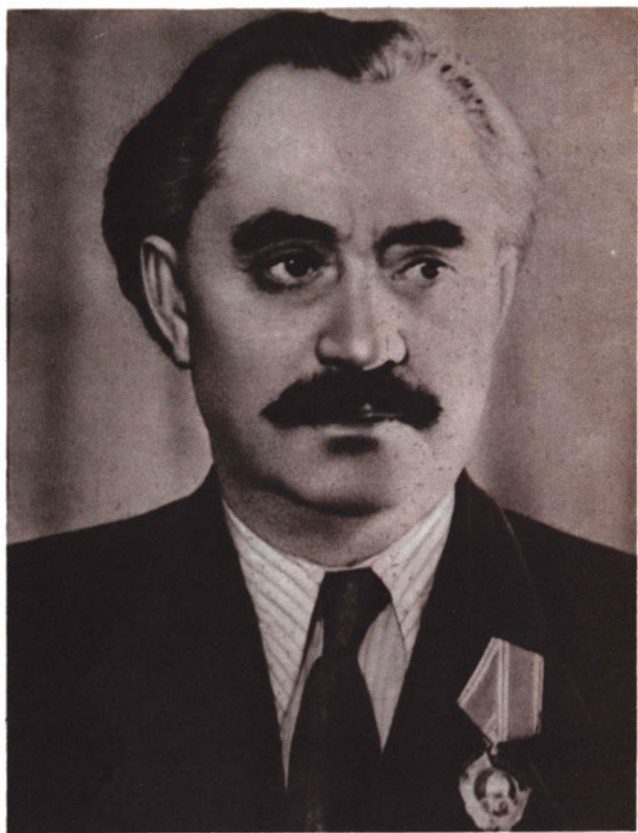
Их взгляды вскоре встретились, и болгарин, единственный в этом зале, недвусмысленно и ясно понял сигнал. «Спасибо, вы нашли себя!» — сказал он дружелюбным кивком головы, к огромной радости Славянина.

«Паризиус уже читал газеты, потому так и бесится», — догадался Димитров.

Неукротимый болгарин мог только «сочувствовать» судебным заседателям, которые непрерывно попадали в неловкое положение. Они не были ни глупыми, ни нерадивыми — наоборот, здесь собрались самые квалифицированные и авторитетные люди, элита юриспруденции, лучшего состава имперский суд не мог предложить. Они обладали тонким интеллектом и разносторонними интересами, что не мешало этим культурным, воспитанным в добрых старых традициях «рыцарям чести» кощунственно бросать в огонь книги, следуя фанатичным призывам,



*Председатель Президиума Верховного
Совета СССР М. И. Калинин
вручает Георгию Димитрову орден Ленина
за выдающиеся заслуги в борьбе против фашизма.
Москва, 1945 г.*



Георгий Димитров. 1945 г.

звучащим по радио: «Против декаденства и моральной распущенности. За благопристойность и высокую нравственность в семье и государстве». По вечерам они с удовольствием потягивали пиво и целовали своих детей в кроватках — пусть спят спокойно, их отцы заботятся о них, дают пример гражданского поведения будущим поколениям... Они и в самом деле обладали и умом, и благоразумием. Но ситуации, в которых они оказывались из-за внутреннего отпора и внешнего натиска, делали их неуравновешенными и смешными. Внешний натиск был двояким: с одной стороны, им приходилось служить несправедливости, с другой стороны — они не могли не считаться с энергичными протестами, с общественным мнением всего мира. Это последнее обстоятельство подсудимый улавливал в атмосфере процесса, в недомолвках, в нервозности, в «Коричневой книге» — молчаливом свидетеле нацистской жестокости и неумолимом обвинителе, который пробил кордон и явился сюда без пропуска. Обвиняемый чувствовал ее невидимую поддержку, наблюдая, как судьи хмуро передают ее один другому. С каким удовольствием полицейские предали бы ее огню, но правду невозможно сжечь. Власти всячески старались помешать Димитрову получить более полную информацию. Корреспонденция, газеты, посылки, посетители — все это за-прещалось. Этот неукротимый болгарин и без того обладал достаточно вулканическим характером, чтобы давать ему дополнительные импульсы...

Председатель. Нет! Какой вопрос хотите вы задать свидетелю? Димитров. Я спрашиваю следующее, господин председатель!..

Председатель. У вас, стало быть, нет вопросов?

Димитров. У меня есть вопрос.

Паризиус готовился к самообороне. Его красивое лицо болезненно осунулось.

Председатель. Так задайте его, наконец!

Димитров. Свидетель подал заявление 13 октября — это после того, как он прочел в газетах о процессе в связи с пожаром в рейхстаге. Это он и сказал. Он находится под арестом; он не свободный человек. Он зачислен в третий разряд заключенных. У него есть надежда быть выпущенным теперь на основании лжи. Я спрашиваю, кто повлиял на него, кто склонил его сделать эти мерзкие, позорные...

Председатель (*прерывает*). Спокойно! Не оскорбляйте свидетелей. (*Обращаясь к Леберману.*) Повлиял ли на вас кто-нибудь?

Леберман. На меня никто не влиял.

Председатель. Он ответил на вопрос.

Димитров. Поздравляю вас, господин прокурор, с таким свидетелем!

В словах обвиняемого звучал жестокий сарказм. Он указал рукой сначала на свидетеля, потом на прокурора.

Лицо прокурора Паризиуса исказилось, словно его ударили, кровь прилила к его голове, его щеки стали такого же цвета, как его пурпурная мантия. Чтобы избавиться от насмешливых взглядов, он отодвинул стул назад, облокотился о стол и прикрыл глаза дрожащими пальцами.

А Славянину показалось, что он услышал звук пощечины. Поднятая рука разгневанного болгарина и изгазившееся лицо его шефа прокурора Паризиуса связались в его сознании воедино.

Ему показалось, что звук пощечины услышал весь зал. Он взглянул на своих соседей и убедился, что только что разыгравшаяся сцена и на них произвела такое же впечатление, как и на него. И удивление в нем сменилось смутной радостью — ведь эта или подобная пощечина могла предназначаться и ему.

Полицейская машина стояла возле бокового подъезда здания суда. Димитрова вывели из зала. Его сопровождал целый кордон полицейских и штурмовиков.

Какая-то встревоженная женщина попыталась пробиться к полицейской машине. Подсудимый заметил ее и остановился.

— Георгий! — сквозь слезы крикнула женщина, приподнимаясь на цыпочки.

— Лина, что происходит, почему я не вижу вас на суде? Может, мама больна? — Он попытался прочитать истину в глазах сестры.

— Уже поправляется, не беспокойся. Завтра придет... Опять старая болезнь напомнила о себе...

Начальник охраны бросился к человеку в наручниках и сделал ему строгое замечание.

— Уведите его! — приказал он полицейским.

— Поймите, господин офицер, больна моя мать! Нам нужно обменяться всего парой слов. — Его просьба прозвучала так настоятельно, что офицер полиции не решился ему отказать.

— Вам известны правила и инструкции... Но раз дело обстоит так, пусть она сообщит вам о матери, только вкратце, пока вы будете садиться в машину, — тихо проговорил начальник охраны и жестом приказал оставить женщину в покое.

Так, через головы охранников, идя за братом к машине, встревоженной женщине удалось переговорить с ним.

— Язва желудка? Ты уверена? Врача вызывали? — скороговоркой проговорил Димитров.

— Приступ уже прошел. Но она жалуется и на другое. Говорит, что ей плохо в отеле, холодно и неудобно, что лучше бы переехать на квартиру к кому-нибудь из твоих товарищей, даже если придется ютиться в кухне. Говорит, что грех спать под пуховым одеялом, когда ее сына гноят в тюрьме, — простодушно рассказывала Магдалина, ожидая, что посоветует ей брат.

На заключенного словно повеяло теплом родного дома, его растрогали слова матери.

— А ты поменьше ее слушай, пусть себе говорит, — громче сказал Димитров, становясь на приступку. — Ты водила ее в церковь, Лина? В последний раз она показалась мне очень грустной и подавленной...

— Она отказывается. «Что, говорят немецкие товарищи?»

Полицейский подтолкнул заключенного, дальше задерживаться было нельзя...

— Пусть сходит! Скажи ей, что я тоже хожу... — Он не дождался фразы, так как увидел остальных обвиняемых, которые с унылым видом садились в соседнюю машину.

С лязгом и грохотом захлопнулась дверь тюремной машины. Этот звук будто подтолкнул Магдалину, ей показалось, что она не успела сказать самое важное...

— Может, нам сходить в советское посольство, попросить помощи...
— Сейчас этого делать нельзя! Это только осложнит положение. Они не оставят меня в беде. Позднее я сообщу вам, что делать.

Сквозь гул мотора и вой полицейской сирены доносились только отрывки фраз, но Магдалина все же поняла смысл сказанного.

Через минуту, заплаканная, удрученная, она осталась одна на опустевшей улице.

А в полумраке полицейской машины заключенный грустно улыбался своим мыслям.

«И как такое пришло в голову моей старушке... Не хочет жить в отеле, пока я в камере...»

Потом он вспомнил, что нечто подобное испытал совсем недавно он сам, хотя и при других обстоятельствах.

«Там, на последней явочной квартире, разве не застревал у меня в горле великолепный пудинг госпожи Софии Мансфельд, когда я вспоминал о товарищах, томящихся в застенках? Что это, наследственный комплекс?... Или товарищеская солидарность?..»

Машины подбрасывало на неровной дороге, тормоза визжали на поворотах.

Двери тюрьмы, многочисленные, тяжелые, окованные железом, с массивными запорами, были постоянно закрыты, а если и открывались, то лишь для того, чтобы пропустить тюремщика или заключенного и сразу захлопнуться.

Но во дворе Моабитской тюрьмы были одни необычные двери, единственные открытые двери — тюремной церкви.

Отсюда вырывались звуки церковной музыки, устремлялись вверх, к наблюдательным вышкам над тюремными стенами.

Политического преступника сопровождал тюремщик. Удивленное лицо стража говорило о том, что Димитров пришел сюда впервые. Места для прихожан в этой церкви располагались так, чтобы заключенные не могли общаться друг с другом. Задние ряды немного нависали над передними и состояли из тесных деревянных клетушек, открытых только спереди. Тюрьма наложила свой отпечаток на церковь. Заключенные входили поодиночке, каждый занимал отведенное ему место и находился там, пока продолжалось богослужение, после чего заключенные расходились поодиночке, не обменявшись с соседями ни словом, ни взглядом. Все это производило тягостное впечатление, здесь тюремные ограничения воспринимались особенно остро...

Церковь была евангелической. Звучала музыка, несколько заключенных вместе с пастором читали молитву, держа в руках молитвенники.

Димитров медленно двигался вдоль рядов и неожиданно в одной из клетушек заметил Торглера. Увидев рядом с ним свободное место, он занял его — надо дождаться окончания богослужения... Может, удастся...

Его поразил не тот факт, что он встретил своего товарища по процессу, обвиненного, как и он сам, в поджоге рейхстага, депутата Коммунистической партии, в церкви, а выражение глубокого уныния на его лице.

Тюремщик засмотрелся на пастора, болгарин воспользовался этим и тихо, но внятно проговорил:

— Торглер, я очень озабочен вашим состоянием, вы совершенно пали духом. Вероятно, вы забыли пословицу, что волк задирает прежде всего того, кто ведет себя, как овца.

Торглер нервно вздрогнул. За время пребывания в тюрьме он стал похож на живые мощи, словно стоял, и по застывшему взгляду его глубоко впавших глаз было видно, что душевные силы покинули его. Он сидел опустив глаза и подперев голову руками. Ему не пришлось напругать слух, чтобы узнать голос говорившего.

Жалкий вид Торглера не вызывал у Димитрова сочувствия. Скорее, наоборот, порождал чувство неприязни.

— Только в тюрьме или монастыре человек может всецело сосредоточиться на самом себе или предаться целиком отчаянию. А вы отдали себя в руки своего врага, доверились такому лицемерному защитнику, как Зак...

— Вы не правы, Димитров. Он должен защищать меня только как личность...— упавшим голосом возразил Торглер, не поднимая головы.

— Но это нелепо. Разве мог бы, к примеру, Тейхерт защищать меня как обыкновенного человека, а я сам себя — как коммуниста? Не могу себе представить такого деления: одна часть — человек, другая — коммунист... Впрочем, некоторые люди двуличны...

Заметив, что сопровождавший его тюремщик приближается к нему, Димитров поднялся ему навстречу и, проходя мимо Торглера, бросил ему прямо в лицо:

— Лучше умереть, чем быть живым политическим трупом.

Место, откуда пастор, одетый во все черное, читал свою проповедь, было тоже затянато черным полотном, на полотне белели вышитый крест и слова:

БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ.

Заклученный прислонился к холодной стене, стараясь унять внезапно появившееся раздражение. Какой близкой и одновременно чуждой была обстановка в этом пристанище скорбящих и несчастных. Ему исполнилось всего четыре года, когда он вместе с отцом впервые переступил порог подобной церкви, любопытным и настороженным взглядом окидывая все вокруг. Отец, держа в руках такой же молитвенник, тихо говорил ему: «В евангелической церкви больше смысла, в ней нет ничего лишнего». И действительно, там не было строгих ликов святых на иконах, огоньков светильников, удушливого фимиама... Позднее он понял, что, принимая евангелическую религию, отец подсознательно стремился выразить свой протест против существующей неправды, в этом проявилась твердость и независимость его характера. В то время евангелисты представляли небольшую секту, которая подвергалась преследованиям со стороны местных властей, и сильная натура его отца находила известное удовлетворение в том, чтобы бороться за что-то и идти против течения. «Это, конечно, не помещало ему разделить мои убеждения, — с признательностью вспоминал сын... — Славный мой отец! Во время выборов он одевался как на праздник и вместе со мной отправлялся голосовать. А когда мне приходилось выступать на митингах, он старался держаться поближе к трибуне вместе с нашими товарищами, готовыми защитить своих ораторов...»

Но уже в пятнадцать лет сын понял, что большинство людей,

исповедующих: «Бог есть любовь», не очень-то любят бога и ближних. Глубоко возмущенный таким лицемерием, он, уже работая печатником, однажды ночью собственноручно набрал и отпечатал сатирическую газету «Кукареку». И смело подписался: «Ответственный редактор Георгий Димитров».

Болгарин приблизился к пастору, который уже заканчивал свою проповедь о втором пришествии и Страшном суде, перед которым рано или поздно предстанет каждый, чтобы получить по заслугам. Пусть божие чада будут смиренны, спокойны и терпеливы — высшая справедливость восторжествует, божьи апостолы возвестят об этом в тот день, когда... Как только проповедь закончилась, стриженные головы заключенных склонились над молитвенниками и нестройные голоса затянули:

...Как мы хотим быть ближе к тебе, господи...

Димитров сразу вспомнил и этот напев и эти слова. Он слышал, что этот псалом пели последние пассажиры «Титаника», столпившиеся около капитана, перед тем как погрузиться на дно морское. И ему показалось, что освещенная лучами заката церковь принимает очертания призрачного корабля, деревянные клетушки — это каюты, из которых не выбраться обреченным, а заключенные — те самые пассажиры, которым суждено погрузиться в пучину.

Они искали спасения, но получали лишь слова утешения!..

Двое заключенных вывели под руки слепого, тот шел с гордо поднятой головой... И Димитров невольно сравнил стоицизм этого человека с безволием другого — Торглера.

Болгарин почтительно посторонился. Он проводил слепого сочувственным взглядом, который не укрылся от приближающегося пастора.

— Мир вам и добро пожаловать в храм божий...

— Мое почтение, отче, — приветствовал его Димитров. — Жестокий мир! Неужели и слепые являются такими опасными врагами режима, что их нужно держать за решеткой?

— Крепись, сын мой. Не мы, а бог нам судия, самый справедливый, — возразил моложавый пастор и приветливо улыбнулся. Крахмальный воротничок подрагивал на его черном нагруднике.

— Но меня судят здесь, почтенный служитель церкви. — Заключенный закашлялся и невольно взглянул на своего тюремщика, который делал вид, что рассматривает давно знакомые ему стены.

— Вы ведь не боитесь сложить свою голову?

— Да, конечно. Даже когда я ручался головой за невиновность моих товарищей Попова и Танева. Следователь Фогт тогда заверил меня, что я ничем не рискую, так как мне все равно не сносить головы.

Пастор задумчиво теребил свою бородку — этот заключенный вызывал в нем симпатию. Он излучал такую силу убежденности, которая превосходила силу убежденности его, пастора.

— Откуда вы черпаете силы, если не верите в божье милосердие? — Пастор не устоял перед искушением задать этот вопрос.

— Если вы видели в прошлом году постановку Бертольда Брехта «Мать» здесь, в Берлине, то могли бы объяснить себе источник нашего

оптимизма... Бабушка Тонка¹, бабушка Парашкева... Наши матери-мученицы... Наша сила от них.— Заключенный высказал это, как сокровенную тайну, и его лицо утратило обычную строгость.

Пастор понял, что это не просто удачный ответ на его вопрос, а глубокое убеждение. И хотя этот человек принадлежал к чуждому ему миру, он внушал уважение и заставлял задуматься.

Стоял мрачный зимний день. Солнце лишь изредка пробивалось сквозь плотную завесу облаков, оно не могло согреть своих пернатых друзей. Пастор вывел заключенного во двор, постелил газету на влажную скамейку и предложил Димитрову присесть рядом с собой. Болгарин сделал несколько раз глубокий вдох, и от свежего воздуха вершины деревьев закружились у него перед глазами. Он невольно залюбовался ими. Воспоминание о болгарских матерях вызвало другое воспоминание. Перед его мысленным взором предстал образ — образ молодой прекрасной болгарки. Эту фигуру вырезал из целого тополиного ствола его товарищ по типографии, умелец Асен. Потомок старых народных резчиков, Асен все свободное время посвящал работе над этой скульптурой. Мастерской ему служил ветхий дровяной сарайчик, где он работал при свечах. Весь инструмент его состоял из молотка и двух стамесок — большой и маленькой. Работал он в поте лица. Время от времени он ставил скульптуру вертикально и подносил к ней свечу, чтобы оценить продланное, потом снова принимался за работу. Скульптура получалась сказочно красивой. Пышные косы девушки мягко спадали ей на грудь, на полуоткрытых губах как бы застыла протяжная песня, тонкие пальцы правой руки бережно держали нежный цветок... Одетая в национальный наряд, она излучала обаяние и нравственную силу. Это была настоящая болгарская мадонна...

Пастор почувствовал волнение собеседника и, чтобы рассеять его, перевел разговор на другое:

— Вы хорошо говорите по-немецки. Это меня радует. Вы овладеваете тонкостями немецкого языка...— И, будучи наблюдательным человеком, добавил:— Однако вы, вероятно, не случайно посетили лоно божье?..

— Во всяком случае, не в поисках утешения. Скажу вам откровенно, в поисках оппонентов. Я готов спорить по любым вопросам, начиная с иезуитов и кончая проблемами полета в стратосферу. А с кем другим я могу поспорить, кроме вас? Разве что с моими судьями? Тюремщики безмолвны, стены не отвечают. Разговаривать можно лишь с самим собой. Так не долго и с ума сойти.

Несмотря на свою прозорливость, пастор только сейчас открыл для себя внутренний мир этого человека. Логическая последовательность мысли и внутренний накал делали его очень убедительным в споре.

— Поэтому я вам глубоко благодарен, отче! Мой немецкий словарный запас еще недостаточно богат, а мой прицел должен быть точен. Я выступаю сам против всех. И хочу поучиться у вас. Я всегда учусь. Даже во время суда мне удалось узнать кое-что полезное для себя. Так что дайте мне возможность поучиться чему-то полезному и у вас.

— Господи! Чему вы можете поучиться у меня, простого священни-

¹ Бабушка Тонка — активная участница болгарского национально-освободительного движения.

ка? Вы, с вашим энциклопедическим умом? О вас говорят, что вы являетесь профессором Софийского университета. Меня вы постоянно удивляете, вы словно созданы из другого теста...

Заклоченный постарался спрятать в прищуре глаз ироническую улыбку.

— А не вызывает ли у вас большее удивление теория общенациональной религии, в основе которой древнегерманский бог Вотан? Эту религию вам хочет навязать фюрер. И зачем вообще все это нужно, коль скоро он уже провозгласил себя идолом и в своих речах постоянно ссылается на провидение? — спросил Димитров.

Пастор почувствовал вызов в этих словах, но не мог уйти от ответа — жестокая правда парализовала его.

— Вы хотите сказать, что они могут докопаться до бога, которого мы носим в своих душах, чтобы распять его?..

— Крестоносцы усеяли свою дорогу к гробу господнему могильными крестами. А рыцари свастики... Впрочем, разве газеты не писали о том, что в Мюнхене и других городах арестованы многие священники? Похоже, в тюрьму некоторые новости доходят быстрее...

— Да, конечно, — пастор был явно растерян. — Но оставим политику. Не лучше ли нам вернуться к вопросу о латинской и славянской азбуках?..

Димитров заставил себя сдержаться, понимая, что излишне погорячился. Ему не хотелось отталкивать от себя собеседника, заставлять его осторожнее подбирать слова и выражения...

— Железо, врезавшееся в живую плоть! Может ли быть нечто более жестокое? — Он обратил внимание пастора на колючую проволоку, впившуюся в стволы деревьев, окружающих церковь. И неожиданно стал растирать свои запястья, на которых остались глубокие следы от наручников.

Зимний ветер гнул и раскачивал голые ветви. Заклоченный поднялся со скамьи и задумчиво направился к деревьям. Впервые ему в голову пришла мысль о некотором сходстве между ними и им самим. Проволока глубоко врезалась в ствол, как клевета, которой пытались очернить Димитрова. И все-таки проволока была затянута наростами коры — все внутренние силы живого дерева пришли в движение, чтобы рана затянулась.

— Вы спрашивали, отче, откуда я черпаю силы?.. Отовсюду, даже из несправедливости, оскорблений и клеветы, которыми осыпают меня и мою родину.

Группа корреспондентов окружила бабушку Парашкеву. Почувствовав, что здесь есть чем поживиться, корреспонденты засыпали ее вопросами. В поисках сенсации, а также в силу профессионального интереса они стремились понять и сделать достоянием своих читателей чувства и мысли матери героя последних событий.

Правда, большинство из них, оценив критическим взглядом внешний вид бабушка Парашкевы, не ожидали от этой импровизированной пресс-конференции больших результатов, но, в конце концов, они ничего не теряли.

— Леди и джентльмены, прошу вас сохранять спокойствие. — Ми-

лорд старался сдерживать корреспондентов. Благодаря респектабельной внешности и изысканному произношению это ему удавалось.— Не все сразу. Вот человек, к которому вам следует обращаться с вопросами, это переводчик матери Димитрова,— представил он Студента.

— Я к вашим услугам, господа, но прошу вас быть краткими, чтобы не переутомлять...— И Студент выразительно взглянул на бабушку Парашкеву, потом обратился к ней:— Я думаю, вы скажете несколько слов, ведь это очень важно.

Бабушка Парашкева слегка улыбнулась и утвердительно покачала головой — она поняла, почему эти люди окружили ее и что им надо. В последнее время ей приходилось много выступать на многочисленных собраниях, люди хотели услышать от нее нечто важное. Поэтому она не растерялась, а постаралась собраться с мыслями, чтобы не упустить это важное...

— Я корреспондентка из Парижа,— представилась Студенту курносенькая, подстриженная под мальчишку девушка, лукаво улыбаясь Милорду и не догадываясь, что Студент ее тоже узнал.— Недавно мне удалось пробиться к Димитрову,— доверчиво прошептала она ему на ухо,— и задать мимоходом один вопрос. Он сказал: «Геринг вышел из себя, значит, он слаб». Но это только между нами,— поспешила добавить она, опасаясь, как бы ее информацию не перехватили коллеги.— Я напишу об этом позднее,— тактично заметила француженка.

Студент благодарно кивнул ей и тут же передал ее слова бабушке Парашкеве, лицо которой сразу просветлело.

— Разрешите мне,— вмешался пожилой мужчина, оттесняя девушку плечом.— У меня вопрос...

— Извините, но только после французской корреспондентки. Если бы не свободолюбивая Франция, матери Димитрова было бы трудно добраться до Берлина,— осадил его Милорд.

Француженка поблагодарила его и деловито раскрыла блокнот. Потом вежливо обратилась к бабушке Парашкеве:

— Не поддались вы отчаянию на процессе?

Бабушка Парашкева поделилась своими тревогами просто, тихим голосом, обращаясь то к Студенту, то к француженке:

— Мне, как матери, пришлось перенести много горя. Я потеряла трех сыновей, не знаю даже, где их могилы. Один погиб в Сибири, другой — на фронте, третий — от рук болгарских фашистов.— Глаза пожилой женщины оставались сухими.— И когда я увидела, как мой Георгий выступает на суде, подумала: «Несдобровать ему... И этого у меня отнимут...»

Она умолкла. Корреспонденты старались не пропустить ни слова из того, что переводил Студент...

— Я не понимаю по-немецки, но, судя по тому, как он говорил, понимаю, что судей он ни в грош не ставит...

Славянин, который только что подошел, вздрогнул, настолько осязаемо он представил себе Димитрова. Слова бабушки Парашкевы глубоко взволновали его. Он почувствовал необходимость уединиться, поразмыслить над своей участью. И закурить. Он медленно удалился, но у него перед глазами продолжала стоять эта пожилая женщина, черны платок которой гармонировал с его настроением...

Бабушка Парашкева заметила его клетчатый пиджак, он ей напомнил что-то, но в эту минуту ей было не до воспоминаний.

Она беззвучно всхлипнула.

— Мать героя не имеет права унывать, она должна... — выкрикнул какой-то тип через головы корреспондентов, очевидно провокатор, но его слова вызвали единодушное осуждение присутствующих.

И тогда вмешалась Лина:

— Сердце матери обливается слезами, даже если их не осталось в глазах. Оно болит за всех сыновей!..

Корреспонденты с интересом выслушали ее слова, большинство из них не знали Лину и теперь спрашивали, кто она такая.

— Ее сын и мой внук Любочо тоже находится сейчас в тюрьме, — снова взяла слово бабушка Парашкева, — он боролся за правду. У нас с дочерью и судьба, и доля одинаковые.

Бабушке Парашкеве вдруг стало нестерпимо больно за любимого внука, который вырос у нее на руках... Она зримо представила себе, как маленький Любочо теребит ее за передник в поисках потайного карманчика, в котором для него всегда были припасены лакомства... А вот он, уже большой, ростом с Георгия, подает ей стопку листовок: «Бабушка, это надо передать...» Он знает, что она сунет их в тот же потайной карман и без расспросов отправится куда надо. Ни один связной не мог с ней сравниться...

— Вы счастливая мать! Как вам удалось воспитать такого сына, настоящего героя? — несколько высокопарно, но искренне спросил один из корреспондентов — по-немецки он говорил с сильным акцентом и не заметил, что слово «счастливая» прозвучало в данном случае неуместно.

— Не знаю, — смущенно ответила Парашкева. — Сам он таким вырос, я только учила его ненавидеть зло...

— Вы, вероятно, посоветовали вашему сыну более сдержанно держаться на суде? — спросила француженка.

Этот вопрос интересовал всех корреспондентов.

Студент с улыбкой перевел его, зная заранее ответ. Бабушка Парашкева нахмурилась и сердито ответила:

— Как вы можете так думать? Георгий сам знает, что делать. И если он резко разговаривает с судьями, то, значит, те это заслужили. Я ему в таких делах не советчица!

Неожиданный ответ вызвал оживленные комментарии. Француженка торопливо писала, на лице пожилого корреспондента выразилось полное недоумение, белокурая журналистка в очках грызла кончик карандаша.

— Разрешите мне, мадемуазель, задать вам один вопрос? — обратилась белокурая журналистка к француженке и, получив согласие, раскрыла блокнот, но в это время из зала суда донесся звонок, и Милорд решительно произнес:

— Прошу прощения, леди, извините, джентльмены. На сегодня достаточно. У вас еще будет возможность встретиться с матерью Димитрова. — И, отнесясь журналистов, он прервал эту импровизированную пресс-конференцию в коридорах имперского суда.

Сановники-нацисты, столпившиеся возле корреспондентов, чтобы послушать бабушку Парашкеву, поспешили занять свои места. Их снисходительные улыбки угадали, как только они услышали ее слова. Эта

полуграмотная пожилая болгарка оказалась выше их по своей нравственной чистоте, ее материнское горе выявило ее глубокий ум и подлинное благородство.

Славянин проталкивался сквозь толпу, возбуждение все еще не покидало его. Лицо его выражало торжество от победы над самим собой. Он даже подмигнул нарисованной на стене Фемиде: дескать, вопреки твоей слепоте справедливость все-таки существует.

Но внезапно торжество его померкло. Он натолкнулся на человека, которого меньше всего хотел бы видеть, на мрачную фигуру в красной мантии, настоящего дьявола первого ранга.

— Подожди, дружок,— услышал он строгий голос.

Славянин хотел юркнуть в толпу, но почувствовал, что его крепко держат за руку. Славянин медленно обернулся, всем своим видом стараясь выразить удивление от неожиданной встречи.

— Ах, простите,— он вытянулся по-военному, демонстрируя готовность выполнить любое поручение.— Простите мне мою преступную близорукость.

— Непростительна лишь политическая близорукость, мой дорогой переводчик,— снисходительно заметил прокурор и взял его под руку.— Надеюсь, вы не имеете ничего против небольшого разговора наедине...

Вопрос был чисто риторический. Крепко держа Славянина под руку, прокурор бесцеремонно повел его за собой.

Они шли по боковому пустому коридору, но и здесь на каждом шагу им попадались вооруженные полицейские. Гул толпы остался позади.

— Мы рассчитывали на вас,— прямо перешел к делу прокурор.— А вы не сочли необходимым доложить мне о результатах вашей встречи с Димитровым.

Переводчик ожидал этого вопроса и, не задумываясь, ответил:

— У меня уважительная причина, я был болен, могу предъявить медицинскую справку.

— Это не довод,— продолжал наступать прокурор.— Учитывая важность поручения, вы могли бы доложить письменно...

— Безусловно, если бы мне удалось...

Прокурор с сомнением взглянул на него, но пока проявлял сдержанность.

— Неужели вы, верноподданный рейха, не желаете помочь имперскому суду разоблачить этого распоясавшегося террориста? — уже безо всяких недомолвок спросил прокурор.

— Мне не повезло,— промямлил Славянин.

— Ни одного доказательства? Факта, записки, хотя бы неосторожного слова? Да он говорит не умолкая... Фюрер все видит и помнит. Ваши показания могли бы стать решающим козырем...

— Я не играю в карты с тех пор, как меня обобрали как липку, — в голосе Славянина звучала обида.

— Вы что, простачком прикидываетесь? Да я вас... — взорвался прокурор и вдруг умолк. Он увидел ярость в глазах Славянина и его крепко сжатые кулаки. А позвать на помощь было некого, они отошли слиш-

ком далеко.— Так. Все ясно! — хрипло выдавил он, и его голос отрезвил переводчика.

— Ясно, что эта работа не по мне, господин Паризиус,—впервые назвал его по имени Славянин и стиснул кулаки, чтобы окончательно прийти в себя. Это движение вдруг напомнило ему другие руки, руки Димитрова с шрамами от наручников. Он вдруг протянул свои руки прокурору.— А теперь, может быть, вы наградите меня наручниками вместо обещанного ордена, господин Паризиус?

— Вы получите по заслугам, можете не беспокоиться. И объясните, как вы могли не заметить документа, который позднее опубликовали все газеты. Кому вы служите, в конце концов? Вы дорого заплатите за все!— снова перешел к угрозам Паризиус.

«Так-то это так, но вы уже получили по заслугам»,— подумал про себя Славянин, и его лицо просветлело.

— Что это у вас горят щеки? — с притворным удивлением произнес Славянин.

И прокурор, недоумевая, непроизвольно потрогал свое лицо.

— А в ушах у вас не звенит? — все с той же невозмутимой серьезностью продолжал спрашивать переводчик.— В таком случае за ваше здоровье, господин прокурор! — Он достал из кармана бутылку, подмигнул Паризиусу и сделал несколько больших глотков. Ему вдруг пришло в голову притвориться пьяным.

— Вон отсюда, алкоголик! — взревел Паризиус, приходя в себя. Он схватил переводчика за шиворот и стремительно потащил к выходу, злясь не столько на этого мелкого чиновника, сколько на самого себя за то, что позволил ему столько времени водить себя за нос.

Если бы только господин Паризиус догадался, на что намекал ему Славянин! Но он лишь почувствовал подвох, не понимая, что к чему. А если бы и понял, то не признался бы в этом и самому себе. Поэтому он так легко попался на уловку переводчика.

— Вон, пьяница!

— Слушаюсь. Так точно. Хайль Гитлер! — подыгрывал ему Славянин, играя роль мелкого винтика в большой государственной машине.— Но все-таки... Я верен, я честен...— Он не сознавал, что на этот раз говорил правду.

— Гоните в шею этого негодяя! Чтобы ноги его здесь больше не было! — закричал прокурор, передавая переводчика в руки двух дюжих охранников, которые не замедлили выполнить приказ под удивленными взглядами немногих свидетелей этой сцены.

Славянин выбрался из лужи, куда его швырнули, охая и чертыхаясь. Но, заметив, что за ним никто не наблюдает, беспечно замурлыкал веселый мотив, довольный, что удалось так легко отделаться от могущественного господина Паризиуса.

И, засунув руки в карманы, пошел по улице. Теперь он был безработным. За углом он неожиданно споткнулся о какую-то проволоку. Удивленно оглядевшись по сторонам, он понял, что она шла от громкоговорителей. Еще недавно они гремели во всю мощь, транслируя то, что происходило в зале. Но теперь их сняли, поняв, что происходит не то, на что рассчитывали заправилы рейха. «Громкоговорители снимали! Но ведь и меня тоже сняли, как только я заговорил своим голосом. Такова жизнь! Стоит только возвысить голос, и власть иму-

щие вышвыривают тебя... Что было — то было. И все-таки жизнь прекрасна».

И он беззаботно пошел дальше, не замечая, что за ним по пятам следует незнакомец в охотничьей шляпе...

В зале суда царило необычайное оживление. Высокопоставленные зрители оживленно жестикулировали, иностранные корреспонденты обменивались комментариями и прогнозами, обдумывали свои корреспонденции.

У дверей стояла охрана, торопящихся занять свои места зрителей пропускали только после тщательного обыска. «Никаких исключений! Это приказ!» — отвечал начальник охраны на редкие протесты.

Атмосфера накалялась с каждой минутой, ожидали важного свидетеля. Выступление Геринга закончилось шумным провалом. Теперь ждали того, кого считали мозгом нацистской партии, — министра пропаганды Геббельса. Сменили воду в графине, который стоял на трибуне, молодой офицер СС проверил исправность микрофона.

Свидетель Геббельс вошел, внушительно прихрамывая.

Штурмовики, а за ними и все присутствующие встали, прозвучало нестройное «Хайль Гитлер». Димитров выждал, когда утихнут крики, и тоже встал. Усиленная охрана следила за каждым его движением.

«Так вот каков он, демон третьего рейха — невысок, подвижен, с острым лицом и глубоко запавшими глазами, с большим кадыком на шее, который двигается подобно ходовой части самозаряжающегося орудия. Олицетворение пропаганды...»

Димитров глубоко вздохнул, готовясь выстрелить репликой в Геббельса. Тот стоял перед ним спокойный, уверенный в себе.

Димитров. В качестве заведующего отделом пропаганды германской национал-социалистской партии и министра пропаганды свидетель, наверное, знает, что поджог рейхстага был тотчас же использован правительством, и в особенности министерством пропаганды, как сигнал для подавления предвыборной агитации Коммунистической партии, социал-демократической партии и других оппозиционных партий?

Геббельс. Нам не было нужды употреблять пропагандистские средства, поскольку пожар рейхстага явился поистине лишь подтверждением нашей борьбы против Коммунистической партии...

Димитров. Разве свидетель не выступал по радио с речью и не изображал Коммунистическую партию и социал-демократическую партию организаторами поджога рейхстага?

Председатель. Но скажите мне, наконец, в какой связи это находится с вопросом о том, кто поджег рейхстаг?

Геббельс. Господин председатель, я с величайшим удовольствием готов ответить на этот вопрос. Мое впечатление таково, что обвиняемый Димитров хочет вести на этом суде пропаганду и защищать не только Коммунистическую, но и социал-демократическую партию. На это я могу ответить ему: я знаю, что такое пропаганда, и ему незачем делать попытку вывести меня из терпения такими вопросами. Это ему не удастся... Если мы обвинили марксизм вообще и его энергичнейшую форму — коммунизм — в побуждении, а может быть, и в практическом участии в поджоге рейхстага, то отсюда для нас вытекала националь-

ная задача стереть с лица земли Коммунистическую партию и социал-демократическую партию.

Рейхсминистр испытывал истинное удовольствие, так недвусмысленно формулируя свою цель. Пришло время вынести на всеобщее обозрение то, что еще недавно он поверял лишь тесному кругу людей да своему дневнику... Да, да, примерно так он и написал в своем дневнике в августе прошлого года: «Если нам не удастся ликвидировать марксизм, то наш приход к власти будет совершенно бессмысленным!» Самым знаменательным, самым счастливым днем в его жизни стал день, когда Гинденбург поздравил нового канцлера Германии — Гитлера со вступлением в должность. Геббельс присутствовал на этой церемонии, он стоял за массивной фигурой раздетого Геринга и от сознания значимости момента даже привстал на цыпочки, черный цилиндр тоже прибавлял ему роста...

Конечно, угрозы Геббельса не смутили того, кому они были адресованы. Легкая улыбка на лице Димитрова говорила о том, что его противник торжествует преждевременно, — пропаганда третьего рейха, олицетворяемая своим идеологом, демонстрировала свою циничность всему миру. Димитрова давно перестала тревожить собственная участь, да и терять ему было нечего. Он взялся сам защищать себя на процессе, но защищал не лично себя, а ту правду, которой служил беззаветно... Кого напоминают блеклое лицо и запавшие глаза Геббельса? Конечно, дьявола первого ранга, одного из тех, которые виделись бабушке Парашкеве. И волновали Гёте... Вполне правдоподобно. Он, Димитров, разорвал уже этот дьявольский круг, внешний обруч свидетелей... А внутренний?.. Кто приводит в движение эти круги? Хромой Мефистофель... Его уродливый образ нашел свое воплощение в этом злом духе, в Геббельсе. Бюргеры создали себе идола, который в совершенстве овладел искусством раздувать массовые истерии. «Зиг хайль! Зиг хайль!» И никаких моральных ограничений, все средства хороши. Геббельс — всемогущий Мефистофель, но над ним властвует верховный повелитель — Люцифер...

Димитров понимал, насколько опасен его противник. Все знали об умении Геббельса овладевать массами, доводить их до иступления, и эта возбужденность толпы передавалась самому оратору, воодушевляла его, доставляла ему скрытую радость от сознания власти над людьми.

Но это была, по существу, и единственная связь идеолога с массами, по-настоящему он никогда не задумывался над тем, что происходит в умах и сердцах людей после того, как схлынет восторг и каждый останется наедине с самим собой. Он не утруждал себя подобными вопросами, вероятно полностью доверяя тому аппарату, который свое временно доставлял ему необходимую информацию. Но способен ли этот аппарат фиксировать глубокие душевные процессы? Вряд ли.

Для министра пропаганды, очевидно, было важно то, что он покорял своих слушателей, пицкая их лозунгами об исторической миссии немецкой расы властвовать «по крайней мере одно тысячелетие над Европой», об установлении «нового порядка» во всем мире.

Когда он поднимался на трибуну, люди видели над левым карманом его коричневого френча маленький значок с изображением свастики. Скромно и впечатляюще. Он поднимал левую руку — словно пастор, благословляющий свою паству. И народ толпился около него, особенно там,

перед Кельнским собором. Каждый пытался протиснуться поближе к своему кумиру.

Единственную опасность для рейха Геббельс усматривал в крамольных мыслях, которые неведомыми путями могли проникнуть в головы верноподданных. Чтобы этого не случилось, он старался забить эти головы готовыми формулами: наша дорога ясна, вопросов больше нет, философы уже сказали свое слово, нет надобности рассуждать. Только подчиняться! И они подчинялись, освобожденные от забот и сомнений во имя национальных интересов, стоящих над всем. Национальные идеалы должны прийти на смену гуманности, неопределенной, вызывающей противоречия и бессонницу, вытеснить угрызения совести. Твоя совесть — фюрер, откинь предрассудки, ты — свежечеловек и действуй, действуй, действуй! Если ты усомнишься в чем-либо, то это твое личное дело. Можешь напиться, подраться, любить кого-то, но пусть все презренные сомнения останутся в тебе. Загони их подальше, усыпи, не делись ими ни с кем, не заражай ими товарищей по партии, не нарушай ее дисциплину и монолитность. Страх поможет тебе выбросить или предать забвению крамольные мысли и чувства, ибо если ты проявишь слабость и доверишь их собеседнику, своему брату, жене, собственному сыну, то они найдут в себе силы помочь тебе и нации, разоблачив тебя. Так что будь благоразумен и преодолевай сам свои противоречия, будь сильным, сильным, сильным!..

Немцы, побеждайте самих себя!..

Вот что представляли собой дьявольские круги. Палачи смыкали их вокруг своих жертв. Но и сами палачи были замкнуты каждый в своей скорлупе, жили за плотной завесой молчания и одиночества. Да, он, Димитров, несравненно свободнее их, хоть и находится за решеткой. Наверно, не случайно он родился под открытым небом, в поле. Свободолюбие и стремление к правде стали его сутью. Сознание этого придавало ему силу.

А могли ли его судьи разорвать невидимые обручи нацистских законов? Эти обручи смыкались вокруг них все плотнее, лишали воли и желания сопротивляться. И что удивительнее всего — обручи срастались один с другим, образовывали цепи.

Геббельс, несомненно, был выдающимся оратором. Он в совершенстве владел своей речью, говорил убедительно, умел концентрировать энергию слова, строго выбрав направление удара. Министр пропаганды, поднимаясь на трибуну, не испытывал никакой скованности, он выработал в себе четкие рефлексы, которые исключали дешевые приемы. В его речах не было излишнего позерства и актерства, в них чувствовалась внутренняя собранность и целеустремленность. Но мрачный румянец проступал на его смуглом лице, когда он говорил о «восточных варварах». Его ожесточенность выражалась в динамичности фраз. Голос его оставался ровным и резким. Казалось, что это не оратор, а рыцарь Тевтонского ордена, который пробивает себе дорогу тяжелым мечом. Сейчас, на суде, непроницаемый и надменный, он сражался под знаменем свастики.

Разумеется, его рост и осанка не соответствовали представлению о крестоносцах, но его самоуверенность основывалась на том, что он являлся одним из вождей третьего рейха. Кроме того, эта грушеобразная голова, хищный нос и глубокие глазницы придавали ему



*Георгий Димитров, маршал Ф. И. Толбухин
и генерал-полковник С. С. Бирюков
на софийском вокзале 22 февраля 1946 года.*



Георгий Димитров среди трудящихся в день референдума по вопросу о ликвидации монархии и объявления Народной Республики. София, 8 сентября 1946 г.

Митинг трудящихся Варны, на котором Георгий Димитров выступил с речью в связи с выборами в Великое народное собрание 22 октября 1946 года.

некоторое сходство с рыцарем в шлеме. Воинственной была и его риторика. Димитров уже имел достаточное представление о ней. Вкратце она сводилась к несложному набору фраз: «Вы являетесь потомками Зигфрида и Брунхильды, ваш фюрер — Адольф Гитлер... Что вам нужно еще? Ведь весь мир будет у ваших ног, но для этого фюреру необходимы солдаты, солдаты, солдаты...»

Солдаты... Но зачем и против кого им сражаться? При чем здесь «восточные варвары», о какой опасности для нации трубят на каждом шагу? Изолировавшись, замкнувшись в своей скорлупе, нацисты восстали против человеческой природы, объявили войну всему человеческому в людях и тем самым предрешили исход сражения. Их гибель была неминуемой, но до печального конца третьего рейха было еще далеко... Несчастный Ван дер Люббе, как он попал в капкан? «Нет, я не ошибся,— думал Димитров,— на скамье подсудимых оказался политический безумец Ван дер Люббе, но политические провокаторы остались на свободе! Не только обвинение, но и сам враг должен быть высмеян на глазах у всех!»

Димитров потерял свои виски, и ему захотелось хотя бы мысленно подбодрить мать. Он искал ее глазами.

«Наконец-то»,— подумал он, увидев ее, и облегченно вздохнул.

А бабушка Парашкева, услышав слово «уничтожить», заломила руки.

— Кровь пролить не трудно, тяжело расплачиваться за нее,— прошептала она, обращаясь к этому важному оратору.

Магдалине показалось, будто эти слова услышали все, в том числе и судьбы.

«Господи боже, да люди ли вы?» — сказала когда-то полицейскому бабушка Парашкева. Так, вероятно, думала она и сейчас, глядя на врагов своего сына. Димитров словно слышал ее. Рыцарь от пропаганды был слишком увертлив и гибок для роли негибаемого честного воина...

И меч его был тупым, бил, да не разил. Все в этом крестоносце, отправившемся в «поход против коммунизма», было фальшивым, показным. Но так или иначе, Геббельс верил, что под знаменем фашизма могут сплотиться те, кто утратили человеческий лик.

Димитров вдруг вспомнил случай, когда он нашел у себя в камере майского жука. Обрадовавшись живому существу, он тронул его соломинкой — жук оставался неподвижным. Лишь прикоснувшись к нему рукой, Димитров понял, что от жука осталась только оболочка, все соки из него, видимо, давно высосали пауки. В нечто подобное должны были превратиться солдаты фюрера, лишённые рассудка, слепо выполняющие приказы... Ужасно!.. И печально!..

Два прокурора, склонив головы, переговаривались друг с другом. Имперский следователь Фогт, невысокий, желчный человек, нервно грыз ногти — ждал новых стычек с подсудимым. Офицер СС на цыпочках приблизился к трибуне и поправил микрофон. Затем шелкнул каблуками и удалился с чувством исполненного долга. В такой ответственный момент каждый должен находиться на своем месте — и генерал, и солдат.

Димитров. Осенью 1932 года при правительстве Папена и позднее — Шлейхера в Германии был совершен ряд покушений с бомбами.

В связи с этим имели место процессы, и несколькими национал-социалистами были вынесены смертные приговоры. Я спрашиваю: не были ли эти террористические акты в 1932 году делом национал-социалистов?

Геббельс. Возможно, что чуждые германской национал-социалистской партии круги направили в нее провокаторов для того, чтобы совершить такие покушения.

Но обвиняемый не давал ему увернуться...

Димитров. В моем вопросе речь шла не о провокаторских элементах, а о тех национал-социалистах, которые убили одного своего противника и за это были приговорены к смертной казни. В политических целях их торжественно и демонстративно поздравил нынешний рейхсканцлер Адольф Гитлер.

Имя фюрера вызвало смятение. Одни начали громко выкрикивать имя Гитлера, другие стали освистывать Димитрова, но этот свист мог быть отнесен и в адрес фюрера. Это вызвало улыбки корреспондентов, а француженка откровенно рассмеялась.

Геббельс (*горюясь выйти из затруднительного положения*). Фюрер полагал, что этих людей, которые субъективно были уверены, что они правильно действуют, нельзя покинуть перед лицом эшафота, и поэтому он послал им приветственную телеграмму.

Геббельс признавал абсурдность своего объяснения и комизм ситуации, и это вызвало в нем озлобление.

Первый стенограф, низко склонив над столом стриженую голову, то-ропливо царапал пером в тетради... И хотя Геббельс говорил громко, он слышал это царапанье, оно раздражало его, напоминало о том, что все сказанное здесь записывается многими людьми. И он уже представлял себе кричащие заголовки в завтрашней прессе.

Случилось то, чего он больше всего опасался,— завтра в восемь часов утра ему придется давать дополнительные объяснения фюреру, убеждать его, что он хотел своими словами оправдать его действия. Фюрер улыбнется ему в ответ, возможно, даже поблагодарит, но его взгляд станет острым, как нож гильотины. Ах, как подвел его этот темный болгарский субъект! Геббельс давно дал себе зарок никогда не высказывать собственные суждения, беспрекословно выполнять то, что записано в «Майн кампф». И что за привычка у этого болгарина нападать и жалить, уводить разговор в сторону, оспаривать неоспоримое? Действительно, в последней беседе с фюрером Геббельсу удалось добиться успеха, тот был настолько добр и великодушен, что во всеуслышание признал его правоту, но Геббельс вовсе не был уверен, что фюрер остался доволен им. Фюрер не терпел возражений, не позволял посягать на то, что принадлежит ему. Не случайно он оставил свою любимую овчарку в том доме, где поселил свою ненаглядную Еву, когда сам находился на нелегальном положении. У него была поэтическая душа, и он часто проявлял это, особенно слушая Вагнера, но и гнев его был страшен. Геббельс относился к тем немногим, кто хорошо знал его. Если не принимать во внимание его любовь к Еве и некоторые подробности его интимной жизни, то в остальном он был настоящим аскетом, посвятившим свою жизнь интересам нации. Фюрер принадлежал своей Германии... А его Германия принадлежала своему фюреру... И горе тому, кто оказывался в немилости... Геббельс видел, как быстро и просто, иногда и без участия фюрера, порой даже вопреки ему,

жестокий механизм третьего рейха расправлялся со своими жертвами.

Поэтому в случае опасности он прибегал к испытанному методу — излагал все на бумаге, не щадя никого, даже себя и своего фюрера, а после сжигал написанное. И ему становилось легче. Он не верил в то, что проповедовал. Это раздвоение гасило пафос его речей, в отличие от выступлений фюрера неуравновешенных, истеричных, но доводящих слушателей до иступления. Только опьянение властью возвращало ему красноречие — так кружка доброго пива снимает усталость... И мысль о фюрере, вездесущем и всеильном... Не напрасно трактирщики гордились тем, что с пивной небольшого австрийского городка начал свой путь и свою биографию духовный отец немецкого народа и сын алкоголика.

Теперь фюрер стал всеильным. И Геббельс верно служил ему. Он не мог допустить, чтобы девиз: «Меня не интересует, что говорят люди, но я должен знать, что они говорят» — гестапо применило к нему. После своих исповедей, успокоившийся и умиротворенный, он мог с полным основанием писать в своем дневнике: «Счастливые люди!.. Они не подозревают, какое бремя несем мы на своих плечах, думая о них...»

Димитров предполагал, что ему удалось пробить брешь в позиции своего противника. Он стоял, опершись на стол и немного подавшись вперед. Его голубовато-зеленые глаза, резко контрастирующие с черными волосами и бледным лицом, излучали спокойствие.

«Отстаивайте свою позицию, Геббельс! Геринг был по крайней мере ясен... А вы — акробат, фокусник, красноречив», — мысленно обращался он к своему противнику. А тот не знал, куда деть свои руки — то скрещивал на животе, то прятал за спину.

Длинный, противоречивый и запутанный ответ утомил не только Геббельса, но и его сторонников. Они ерзали на своих местах. Грозовая атмосфера чувствовалась во всем.

«Никогда я не попадал в более глупое положение. Меня, бывшего министра, подвел этот Паризиус с его дурацкими обвинениями...» — кусая губы и нервно потирая руки, думал председатель суда Бюнгер, сердито поглядывая на прокурора, который то исчезал куда-то, то снова появлялся.

Интуитивно чувствуя эту неприязнь, Паризиус, со своей стороны, тоже возмущался — начальником гестапо Дильсом, сидевшим в первом ряду рядом с дочерью американского посла.

«Говорил же я Герингу, что не стоит впутывать болгарина в эту историю. Так нет же, ему понадобился большой процесс, — думал, в свою очередь, Дильс. — Ему бы только покрасоваться. Вот и сегодня — нацепил на себя все ордена, ему и невдомек, что его прозвали «Звездным сиянием»...»

Димитров. Насколько мне известно, господин председатель, в Германии было совершенно четыре или пять политических убийств. Были убиты коммунистические вожди Карл Либкнехт и Роза Люксембург...

Председатель, чтобы не поставить свидетеля в затруднительное положение, не замедлил вмешаться.

Председатель. Довольно! Дело заходит очень далеко. Нам нужно выяснить, кто поджег рейхстаг. Здесь мы не можем возвращаться к далекому прошлому.

Геббельс. Может быть, было бы целесообразнее, если бы начали от Адама и Евы. Когда были совершены эти убийства, национал-социалистского движения еще не существовало.

Громкий одобрительный смех говорил о том, что шутка министра принята с восторгом. У Студента, который с напряженным вниманием следил за всем происходившем в зале, вдруг пробудилось его режиссерское призвание. Присутствующие показались ему актерами, играющими самодовольных пруссаков с рыцарскими крестами, глупых и примитивных. Они казались ему все более карикатурными, циничными, наглыми. У него было такое чувство, что нужен лишь небольшой толчок, чтобы эта комедия, роли в которой распределил Геббельс, прекратилась.

До Студента дошел смысл этого фарса, и острая тревога за судьбу Димитрова охватила его... Наблюдая его мужественную борьбу, он вспомнил их встречу в Берлине в прошлом году, когда Студент учился здесь...

Они сидели в прокуренном зале ресторана «Байеренгоф» и пили кофе...

«Значит, вы решили создать рабочий театр в Болгарии? Это благородная задача — быть последователем Брехта...»

«Современный театр, где народ...»

«Народами часто руководят опытные режиссеры, — заметил Димитров, явно имея в виду организаторов факельных шествий, когда толпы оглушительно ревущих фанатиков заполняют улицы. — И все-таки чело-веконенавистничество не способствует творчеству, — добавил он, помещивая кофе. — Потом вернулся к прежней теме разговора: — А вы дерзайте! Можете рассчитывать на нашу полную поддержку. Правда, наши материальные возможности невелики. Нам нужны новые герои, выходящие из рабочего класса...»

И вот этот человек на скамье подсудимых сам стал жертвой или героем инсценированного нацистами представления. Он настоящий герой, завоевавший симпатии миллионов людей...

Бабушка Парашкева взглянула на карандашные наброски Студента, сравнила эскиз, изображавший председателя суда, с оригиналом — лысая голова с лицом в жировых складках — и грустно улыбнулась.

В поле зрения верховного прокурора Вернера попал офицер СС, который пододвинул микрофон поближе к подсудимому, и эта деталь взбесила его.

— Благодарю вас! Я постараюсь, чтобы мой голос услышали, — тихо сказал Димитров, но чувствительные микрофоны донесли до присутствующих и эту реплику.

Вернер вдруг понял всю бессмысленность и даже опасность этих микрофонов и записывающей аппаратуры. Сейчас микрофоны, прожекторы, кинокамеры раздражали его. Он сам распорядился оснастить зал суда новейшими техническими средствами, чтобы угодить Геббельсу, но при сложившихся обстоятельствах... Неужели этот офицер сам не может сообразить?.. Он видел, как Геббельс недовольно щурится, и, посоветовавшись с Паризиусом, постарался знаками объяснить с офицером. Но тот, поглощенный заботой о своей аппаратуре, не следил за ходом процесса. Да это и не входило в круг его обязанностей. Один из сол-

дат, заметив знаки прокурора, обратил на них внимание офицера, и тот понял их в обратном смысле и засуетился около прожекторов...

Тогда прокурор, окончательно вышедший из себя, черкнул что-то на листке бумаги и передал его одному из своих помощников. Тот бросился к офицеру.

Прочитав записку, офицер побледнел. В ней было написано: «Немедленно прекратите киносъемку! Выключите прожекторы! Вы мешаете суду! Идиот! Вернер».

А сам Вернер уже взял слово, спеша на помощь министру пропаганды. Он решил принять огонь на себя.

Верховный прокурор. Очень хорошо, что господин министр ответил на все эти вопросы. Но я думаю, что все же было бы правильнее вообще не давать ответа на такие вопросы, ибо они ставятся для того, чтобы вести пропаганду с определенной целью.

Геббельс. Я отвечаю на вопросы Димитрова только для того, чтобы не дать ему, поддерживающим его людям и мировой прессе повода утверждать, будто я увернулся, увильнул от ответа на какой-нибудь вопрос. Я справлялся с большим количеством других людей и не боюсь вопросов этого мелкого коммунистического агитатора (*Геббельс поставил быть язвительным*)...

Милорд окинул взглядом низкорослую фигуру теоретика нацизма, который стоял, гордо выпятив свою хилую грудь, и невольно сравнил его с рослым, статным Димитровым. Болгарин в это время поднялся со своего места, чтобы задать очередной вопрос. Результат сравнения был явно не в пользу министра пропаганды. Его язвительность обернулась против него. Англичанин поделился своими наблюдениями с французской, и та, довольная его вниманием, с трудом сдержала смех.

Погас последний прожектор, и одновременно спал накал пропагандной истерии. Потемнели нацистские атрибуты, помрачнели лица судей. Офицер виновато сжался в углу зала.

А Димитров, медленно и сосредоточенно, как некогда набирал буквы в типографии, подбирая немецкие слова, самые точные и самые весомые.

Димитров. Известно ли свидетелю, что в Австрии и Чехословакии его единомышленникам, национал-социалистам, ныне тоже приходится работать нелегально, вести нелегальную пропаганду, иногда пользоваться фальшивыми паспортами, оперировать в своей политической борьбе фальшивыми адресами и шифрованной корреспонденцией?

Геббельс. Вы, как видно, хотите оскорбить национал-социалистское движение. Я отвечаю вам словами Шопенгауэра: «Каждый человек заслуживает того, чтобы на него смотреть, но не того, чтобы с ним разговаривать».

«Несомненно, его философия хромает, как и он сам. Вы достойны сожаления, господин министр, так вы далеко не уйдете...— не столько с сарказмом, сколько в предчувствии его неминуемого краха подумал Димитров.— Да, для некоторых лучшим ответом является уклонение от ответа по существу».

К этому приему прибегал не только Геббельс, но и остальные идеологи национал-социализма. Милорд задумчиво вертел в руках погасшую трубку, понимая опасения Геббельса.

А Димитров, отвернувшись от министра пропаганды, обратился к

судьям, но его слова нашли отклик и в зале, и за его пределами у всех честных людей.

Димитров. Господа судьи! Я требую предъявления доказательств. Вопрос о поджоге рейхстага должен быть пересмотрен в связи с показаниями Геринга и Геббельса.

Бабушку Парашкеву не покидало возбуждение, интуиция подсказывала ей, что произошло нечто важное. Поднявшийся в зале шум подтвердил ее предположение.

— Вы поняли, что произошло? — спросил Студент.

— Как не понять, воздал он им по заслугам! — ответила бабушка Парашкева.

Студент неожиданно для себя зримо и осязаемо увидел на скамье подсудимых всех этих министров. Они окажутся на ней по справедливости. Время словно совершило прыжок вперед, свидетели и подсудимый поменялись местами, обвиняемый превратился в обвинителя. Студент удивился бы, знай он, что и обвинительная речь уже существует, пока еще в виде набросков заключительного слова в тетради Димитрова. Но ее услышит весь мир:

Таким образом, из тайного союза между политическим безумием и политической провокацией возник поджог рейхстага... Что касается полного выяснения вопроса о поджоге рейхстага и выявления истинных поджигателей, то это, конечно, сделает всенародный суд грядущей пролетарской диктатуры.

...Меня не только всячески поносила печать — это для меня безразлично, — но в связи со мной и болгарский народ называли «дикаким» и «варварским»; меня называли «темным балканским субъектом», «диким болгаринном», и этого я не могу обойти молчанием. Дикари и варвары в Болгарии — это только фашисты, но я спрашиваю вас, господин председатель: в какой стране фашисты не варвары и не дикари?

...Задолго до того времени, когда германский император Карл V говорил, что по-немецки он беседует только со своими лошадьми, а германские дворяне и образованные люди писали только по-латыни и стеснялись немецкой речи, в «варварской» Болгарии Кирилл и Мефодий создали и распространили древнеболгарскую письменность.

...Мы, коммунисты, можем сейчас не менее решительно, чем старик Галилей, сказать:

«И все-таки она вертится!»

По обледеневшему бульвару шла бабушка Парашкева в окружении своих спутников. Лина и Студент поддерживали ее с обеих сторон, а Милорд шел сзади. В воздухе кружились снежинки.

Неожиданно какой-то встречный в низко надвинутой фуражке остановился перед бабушкой Парашкевой, взял ее старческую руку и поцеловал:

— Держитесь, матушка!..

И, повернувшись, стремительно исчез.

— Погоди, сынок, — с опозданием пришла в себя пожилая женщина. — Да кто же это был? Я вроде его где-то видела, — пыталась вспомнить бабушка Парашкева. Она подозревала, что это был Славянин, но кто мог поручиться, что она не ошиблась.

— Где вы могли его видеть? Это один из многих неизвестных друзей Димитрова,— задумчиво проговорил Студент и только сейчас заметил, что Лина стала отставать, держась за сердце... Он подхватил ее, взял под руку.

Страдание. Как роднит оно близких и далеких! Сколько раз у него самого появлялось неодолимое желание прижаться губами к этой материнской руке. И наверное, не только у него... Но каждый раз его останавливали ее слова: «Руки целуют лишь святым, сынок, так и знай!»

Милорд закутал бабушку Парашкеву в свою шубу, порывы ветра доносили ее слова, обращенные к Лине:

— Ты, дочка, видно, подумала, что меня собираются обидеть грубым словом? Нашла чего бояться, мне не впервой...

Они не успели пройти и десяти шагов, как услышали, что их кто-то нагоняет, потом раздался знакомый голос:

— Простите за навязчивость, но можно мне задать всего лишь один вопрос, мосье? Ведь вы обещали,— настойчиво обратилась к ним журналистка, потом объяснила бабушке Парашкеве:— Я работаю в одном независимом берлинском еженедельнике.

Все молча переглянулись. Студент неохотно перевел пожилой женщине просьбу корреспондентки. Бабушка Парашкева добродушно кивнула ей.

— Скажите, каково ваше самое сокровенное желание?— задала свой вопрос корреспондентка и принялась грызть карандаш в ожидании сенсационного ответа.

— Чтобы меня похоронил мой сын Георгий, которого сейчас гноят в тюрьме...

Корреспондентка задумалась, потом начала быстро писать карандашом в блокноте. И все-таки она осталась неудовлетворенной.

— Мне бы хотелось, чтобы вы пояснили свою мысль,— снова обратилась она к бабушке Парашкеве.

— Ей не очень понятен ваш вопрос,— недовольно перевел Студент.

— Каждая мать желает, чтобы ее похоронили ее сыновья, ни одна мать не хотела бы хоронить сыновей,— еле слышно проговорила бабушка Парашкева, и ее глаза затуманились слезами.

Студент переводил ее слова, а она, чтобы скрыть волнение, стала поправлять свою темную шаль.

— Наступает их рождество.— Студенту захотелось отвлечь бабушку Парашкеву от мрачных мыслей, а Милорд принялся напевать веселый мотив, предоставив ветру высекать искры из его трубки.

— И наше рождество не за горами, сынок,— откликнулась бабушка Парашкева, предчувствуя близкое торжество истины. Она верила в счастливую звезду, которая выведет их на спасительный берег, ведь так говорил ее Георгий...

А вокруг бушевала метель, бросала пригоршни снега в измученное лицо матери, согретое надеждой...

ПОСЛЕСЛОВИЕ ЯВТОРА



днажды у меня возник горячий спор с одним моим знакомым о литературе, о людях и о жизни. Я утверждал, что и литература является полем сражения за высоту человеческого духа, за истину.

«Безусловно,— признавал мой оппонент.— И поскольку это так, раз это сражение, то человек должен оставлять себе какую-то дверцу для возможного отступления. Имей это в виду! Такова логика жизни!» При этом он ссылаясь на свой многолетний опыт.

И когда я возмутился, он ушел со снисходительной улыбкой. Он действительно искусно лавировал в жизни, но кончил тем, что оказался в тупике, вернее, перед той самой заветной дверцей, которая с шумом хлопнулась у него перед носом.

Если кто-то надеется на такую дверцу, то это не делает ему чести. Всю жизнь она будет скрипеть у человека в душе на своих ржавых петлях, придавать фальшивый тон его поведению. И приведет его к краху.

Стоит взять лишь одну фальшивую ноту — и все пропало!

Георгий Димитров был исключительно бескомпромиссным в этом отношении. Читая в камере Моабита Шекспира, он подчеркнул следующие слова: «Всего превыше — верен будь себе!..»

А когда один из судебных чиновников, «обеспокоенный» его судьбой, сказал ему: «Ах, господин Димитров, все развивается благоприятно для вас, но меня смущает ваш тон...» — Димитров ответил ему: «Но ведь тон делает музыку...»

Источник обаяния этого болгарина — его целеустремленность и многогранность.

Только целеустремленный и мужественный человек мог выступить против третьего рейха. Димитров не был ни сверхчеловеком, ни фанатиком... Этот болгарин, сын рабочего класса, занял бескомпромиссную и наступательную позицию, проявил такие достоинства, как безграничный патриотизм, чувство интернационального долга, широта взглядов, проницательность. Это моральное богатство позволило ему выставить на показ серость и бесконечную пустоту душевного мира нацистов. Фашизм обезличил их — все они продали свои души нацистскому Мефистофелю. Его союзником была истина, их — лицемерие и фальшь. Он опирался на свои глубоко гуманные идеалы, на самоотверженность своей матери, многострадальной бабушки Парашкевы, они — на силу власти и свое «расовое превосходство»... Они радовались торжеству своих доктрин, а он предсказал их собственную агонию.

И в конечном счете одержал победу, первую победу над фашизмом. Он восстал против фашизма и разоблачил его вождей еще в начале их кровавого пути.

Георгий Димитров понимал правоту утверждения, что «несправедливость по отношению к одному является угрозой для всех». Он боролся не за себя, а за других. Эта истина стала достоянием всего мира. Вот что сказал известный общественный и политический деятель, Генеральный секретарь Центрального Комитета Бразильской коммунистической партии Луис Карлос Престес о том огромном влиянии, которое оказало мужественное поведение Димитрова на Лейпцигском процессе:

«Победа Димитрова на Лейпцигском процессе ознаменовала начало новой эры — эры единого действия всех прогрессивных сил, единого фронта, народного фронта борьбы против фашизма и войны».

Теперь несколько слов об этом произведении. Работа над книгой была невероятно трудной. Произведению нельзя дать точное жанровое определение. Это, скорее всего, драматическо-психологическая повесть, в основе которой лежит документальный материал. Во время работы над книгой мне пришлось подробно ознакомиться со всеми историческими фактами, отыскать достоверные документы, изучить Дневник Димитрова и стенограммы процесса, а также воспоминания участников тех событий. Разумеется, основную трудность представляла не эта предварительная работа, а творческое перевоплощение фактического материала в образах главных героев — бабушки Парашкевы и Георгия Димитрова. Я не стремился к строгой хронологичности в интересах художественной правды, я руководствовался словами Генриха Гейне: «Странный каприз народа. Он хочет, чтобы его история была написана поэтом, а не историком». Но справедливости ради надо заметить, что без историков подобная книга была бы невозможна. История — это память человечества. Поэтому мемуары, стенограммы, сухие документы соседствуют в книге с игрой воображения. Конечно, автор далек от мысли, что ему удалось исчерпать неисчерпаемое. Моя книга — всего лишь одна из попыток воссоздать образы этих необыкновенных по силе духа людей. Такие попытки предпринимались и ранее, они будут и в дальнейшем. Все они как кусочки мозаики, фрагмент за фрагментом, призваны воссоздавать их монументальные фигуры.

Большинство героев второго плана тоже имеют свои прототипы. Студент стал одним из видных режиссеров нашей страны. Милорд — крупным общественным деятелем Англии. Славянин тоже существовал, этот мелкий служащий помог вынести из тюрьмы важный документ.

Димитров принадлежит не только Болгарии, но и всему прогрессивному человечеству. И мы обязаны воссоздавать для грядущих поколений его гордый образ, чтобы никогда не пересох тот колодец, откуда бабушка Парашкева брала воду, чтобы купать своего первенца...

Камел Калтев

из книги

**СЫН
РАБОЧЕГО
КЛАССА**



Камел Калчев СИН НА РАБОТНИЧЕСКАТА КЛАСА
«Народна младеж», София, 1971

НЯЧЛО ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ

 емя Димитровых росла. Родились Никола и Любомир. Двор наполнился шумом и криком. Парашкева едва успевала вести хозяйство: чинить одежду, готовить пищу, ткать. И все же никто и никогда не слышал от нее жалобы. Всегда она была опрятной, с засученными рукавами, гладко зачесанными волосами.

Учебный год Георгий закончил с отличием. Димитр и Парашкева похвалили сына, сказали о том, что надо учиться дальше. Но семейные заботы были так велики, что у них не оставалось времени следить за старшим сыном и его учебой.

Как самый старший, Георгий помогал матери по хозяйству: мыл полы, подметал двор, носил в пекарню из дома противни с домашними пирогами. Исполнял он все беспрекословно. Находил время поработать и на грядках во дворе. Кроме цветов, теперь появились лук, картофель, петрушка...

Счастливая мать!

Дети слушались ее, помогали ей. Старшие нянчили младших, стремились заменить им мать в чем только могли. Георгий опекал сестру и младших братьев, защищал их на улице от драчунов. Одним словом, он скоро почувствовал себя взрослым. Но иногда случалась и беда... Метил камнем в куст, а попал в соседское окно; возвращаясь из пекарни, уронил наземь противень с пирогами — и только потому, что хотел нести его на голове; влепил как-то в прохожего мячом. Да что только не случается с мальчишками! Разве не за это взрослые треплют их за уши? Георгий не скрывал своей вины и принимал наказание как заслуженное, и это нравилось строгому отцу. А мать, нежно глядя на сына, восклицала:

— Очень уж ты непоседливый, сын! Неужели, и повзрослев, таким же останешься?

Георгий молчал. Как он мог сказать, каким станет, когда вырастет?

А семья все прибывала. Кроме Георгия, Магдалины, Николы и Любомира, появился еще и Костадин. На правах члена семьи поселился у старого Димитра и ученик его Теофил. Это был застенчивый, скромный юноша из села Пирдоп. Подружившись с Георгием, он много рассказывал о жизни в родном селе. Георгий любил с ним разговаривать. Часто, уходя в мастерскую отца и усевшись там на скамейке, заводил он с Теофилом долгие беседы. Порой Теофил говорил грустно:

— Хорошо тебе, Гого, ты выучишься, станешь учителем, а наше дело — умереть здесь над иглой...

— Почему, Теофил?

— Потому что мы бедняки... Что может сделать бедный человек? Хотел и я учиться, но отец погнал меня на заработки. Кто за него будет платить долги?

— А ты хочешь учиться?

— Хочу.

— Я дам тебе книги... Любишь ли ты историю?

— Что такое история?

— Она рассказывает о греках, римлянах, филистимлянах...

— Принеси.

Георгий на другой день принес книгу. Теофил раскрыл ее, поглядел картинки, пообещал прочесть от корки до корки, но дальше обещания дело не пошло, он едва прочел две страницы.

— Нет времени, Гого,— оправдывался Теофил,— целый день с иглой. Когда читать? Вечером глаза болят... Так и ослепнуть можно. Да и наша песенка спета, хотя бы ты ученым стал.

И Теофил умолкал, замыкаясь в себе и как бы смиряясь с тяжелой судьбой. Георгию это не нравилось.

— Ты очень пугливый, Теофил.

— Верно,— признавался тот,— я трусливый, потому что бедняк. Бедняка каждый может обидеть...

Это сердило Георгия. Как не стыдно признаваться, что ты труслив!

Как-то вечером читали историю прославленного Ивайлы — пастуха, ставшего народным вождем. Рассказ разволновал Теофила.

— Да, и среди простого народа в старину были большие люди, но теперь их нет... То было другое время...

— А Ботев, Левский, Бенковский! — взорвался Георгий. — Слышал ли ты о них?

— Нет,— опустил голову Теофил,— не слышал.

Дружба с Теофилом продолжалась недолго. Однажды прибыл его отец и увез сына в Пирдоп. Уехал Теофил — и как в воду канул, словно ростовщик продал его за недоимки вместе с отцом и всеми их пожитками...

Летели годы. Георгию надо было уже идти в шестой класс, это соответствовало третьему классу прогимназии. Врач посоветовал родителям пропустить один год: мальчик был слаб здоровьем. Так и сделали. Георгий тяжело перенес разлуку со школой, но продолжал заниматься дома с надеждой, что на следующий год он вернется. Однако и на следующий год учиться ему не пришлось, только по другой причине: у отца не было денег.

Детей было много. Надо было еще кому-то из семьи начать работать. Самым взрослым был Георгий. Это значило, что теперь пора и ему закатать рукава и впрячься в работу.

Димитр не хотел обучать сына своему ремеслу. Кому сейчас нужны старомодные меховые шапки? На этом деле с голоду можно умереть. Лучше подумать о чем-то другом. Советовался с разными людьми, но никто не мог придумать ничего надежного.

Георгий сам выбрал себе профессию.

— Отец,— сказал он,— я решил стать печатником. Наборщиком.

Отец не возражил, только спросил:

— Кто тебя этому обучит?

— Сам научусь... Я говорил уже с Йорданом Караивановым,

переплетчиком... Замечательная работа! Да и книги можно читать сколько угодно...

— Хорошо,— согласился отец,— хочешь стать печатником — становись. Это ремесло не для простых людей... Ум нужен для него.

В сентябре 1894 года Георгий Димитров поступил учеником наборщика в типографию Николы Пиперова. Первое время мыл он в типографии полы, носил воду, как и все ученики, а потом встал за кассу набирать тексты.

РЕДАКТОР- РЯЗОБЛЯЧИТЕЛЬ

Одним из близких друзей Георгия Димитрова в то время был переплетчик Йордан Каранванов, социалист, жизнерадостный юноша, который ничего не боялся. Переплетная мастерская, где работал Каранванов, находилась рядом с типографией. Каждый вечер после работы Йордан появлялся в дверях типографии и звал приятеля на прогулку. Любили они побродить по городу, побеседовать, пошутить.

Однажды в летний вечер два друга отправились в городской сад. Как все здесь, в центре столицы, не похоже на рабочий квартал Ючбунар!

Газовые фонари уже освещали главную улицу. Перед трактиром толпились люди. По тротуару прогуливалась молодежь. Мелькали мужчины в цилиндрах, женщины в длинных платьях, в шляпах с огромными полями, украшенных перьями и цветами. Время от времени по улице проезжал фаэтон, слышался конный топот...

А в городском саду — своя прелесть. Вечерний воздух, напоенный ароматом цветов, казалось, звенел от шума листвы. Слышался плеск фонтана — из поднятой руки высокой мраморной богини вырывалась высь струя воды. Вокруг фонтана гуляли влюбленные.

Неподалеку от фонтана на деревянной скамейке устроились Георгий с Йорданом. Они наслаждались летним вечером. Йордан сыпал поговорками, вспоминал о книгах, которые недавно прочел, о какой-то статье с длинным названием, декламировал стихи с очень сильными словами, направленными против буржуазии. Временами он увлекался и говорил так горячо, так вдохновенно, будто слушали его тысячи людей, а не один человек, всего-навсего ученик из типографии.

— Согласно учению Карла Маркса,— говорил Йордан,— будущее принадлежит рабочему классу, а не господину Пиперову, хозяину типографии. Четвертое сословие выметет в мусорную яму третье сословие, и после того начнется строительство новой жизни... Значит, предстоит борьба. А борьба требует знаний. Значит, надо читать.

Георгий слушал задумчиво.

— Конечно,— продолжал Йордан,— нам с тобой не удалось окончить школу, но есть школа получше самого высшего учебного заведения — это жизнь... Читал ли ты «Что такое социализм?»¹? Не читал.

¹ Книга Д. Благоева «Что такое социализм и имеет ли он почву у нас?»



Георгий Димитров выступает на митинге в связи с подписанием Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между НРБ и СССР. София, 24 марта 1948 г.

В. Коларов, Г. Димитров и Тр. Костов в Великом народном собрании в день принятия новой Конституции НРБ. 4 декабря 1947 года.



*Георгий Димитров выступает на II съезде
Общего рабочего профессионального союза.
София, 2 марта 1948 года.*

*Георгий Димитров и Тодор Живков
На Софийской городской конференции
Отечественного фронта
7 марта 1948 года.*

А «Наемный труд и капитал» Карла Маркса? Тоже нет. А надо читать, брат. Надо читать. Понятно?

Георгий смущенно молчал. Иордан пригласил его к себе домой, предложил дать ему книги.

— Пойдем, увидишь, в каких палатах я живу.— Иордан схватил Георгия за руку и увлек за собой.

«Палаты» Караиванова находились на чердаке. Было там темно, душно, пахло чесноком. Иордан зажег керосиновую лампу и открыл окно. Бледный свет осветил низкую деревянную кровать, на которой спал подмастерье, земляк Караиванова. У кровати стоял покосившийся стол, на котором виднелись остатки ужина: чесночная кожура, соль и кусочек пожелтевшего сыра. Иордан накрыл спящего сползшим одеялом и тихо сказал Георгию:

— И мы думаем, что живем. Да пропади она, такая жизнь!

Через открытое окно потянул свежий ветерок и зашелестел листом газеты, которой был накрыт стол. Где-то далеко прозвенел звонок запоздавшего фазтона, послышался конский топот, и опять все замерло. Только похрапывал спящий подмастерье.

— Иногда мне хочется,— заговорил снова Караиванов,— сесть и описать всю вот эту нашу жизнь... описать, как живет пролетариат... и как живут богачи...

Он подпер голову рукой, взлохматив свои пышные волосы. Ветерок играл упавшими на лицо прядями. Караиванов задумчиво глядел в окно, за которым виднелся кусок звездного неба.

— Знаешь, Георгий, какой чудный рассказ можно написать... «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Здорово.

— Да, Караиванов,— ответил Георгий,— ты и раньше рассказывал о своих планах, но ничего что-то из них не выходит...

— Ты прав, нужны дела! Я быстро загораюсь, брат, и быстро гасну.— Караиванов повернулся к полке, на которой стояло несколько книг, взял одну и сказал:— Видишь, что здесь написано?

Георгий поглядел через плечо Караиванова, и тот начал читать:

— «Пусть нам говорит изменчивая мода, что тема старая — страдания народа и что поэзия забыть ее должна. Не верьте, юноши! Не стареет она. О, если бы ее могли состарить годы! Прощай, божий мир...»

Георгий встал. Сунув руки в карманы и сжав губы, он слушал напряженно и внимательно. Караиванов, все больше воодушевляясь, продолжал читать:

— «Я лиру посвятил народу своему. Быть может, я умру, неведомый ему, но я ему служил — и сердцем я спокоен».

Караиванов читал еще долго, а потом, потрясая кулаками, сказал:

— Вот это называется писатель!

— Кто он?

— Некрасов, русский писатель. Но есть и другой, такой же, как он,— Чернышевский.

— А у тебя есть что-нибудь написанное?— спросил Георгий.

— Нет, я еще ничего не написал, но все у меня в голове. В любой момент могу сесть и написать.

— Интересно! Напиши...

— Бесполезно, Гьоре: кто напечатает?

— Найдем! — В глазах его загорелась какая-то дерзкая мысль. — Можем издать газету, я ее наберу. Я уже давно взял на прицел нашего попа.

— Я дам тебе поговорки, хочешь? «У попа просить хлеба — что у мертвеца слез». «Из попа святого, из редиски соления, из монаха соседа не сделаешь». Ну как, подходит?

— Чудесно! Остается придумать название для газеты.

— Сейчас же этим и займемся, — подхватил Караиванов. — Я тебя не отпущу, пока не придумаем.

— Уже придумал. Боюсь только, не смешно ли будет.

— Говори.

— Назовем, к примеру, «Кукареку».

— Чудесно!

Увлеченные своей выдумкой, друзья тут же начали составлять макет будущей газеты. Поскольку Георгий имел уже опыт, он указывал место для передовой статьи, фельетона. Караиванов, потирая руки, только восклицал:

— Чудесно! Чудесно!

Они разговаривали допоздна и расстались, только договорившись обо всех подробностях издания газеты. В эту ночь от волнения оба так и не заснули...

Через неделю газета «Кукареку» вышла в свет. Редактор хоть и пертерпел много мук и злключения, но слово сдержал — газету выпустил в срок. Понятно, что тираж был ограниченным — только для избранных: для рабочих типографии и переплетной мастерской, а также для соседей по кварталу Юмбунар.

Все читали с большим интересом. Караиванов сиял, радовался и Георгий. Но радость была непродолжительной. Неизвестно какими путями «Кукареку» попала в руки священника, высмеянного в ней. Неприятности посыпались на голову редактора. Священник пожаловался отцу. Сначала Димитр не обратил внимания, считая, что это просто мальчишеская забава, но, когда узнал, что священник хочет обратиться в суд, строго спросил сына:

— Нет у тебя другого дела, Георгий?

— Я ничего не выдумал, отец, я написал только правду.

— Какую правду?

— Он напивается, отец! Пьет вино...

— А он говорит, что это доктор ему прописал как лекарство...

— Пусть покажет рецепт.

— Хватит! Едва уговорил его не подавать в суд. Иди занимайся своим делом и в другой раз не задирай людей. Ты их не исправишь.

— Мы еще увидим, кто их исправит...

Георгий вышел из мастерской отца с твердым решением выпустить второй номер «Кукареку». Но этому не суждено было осуществиться. Караиванов ушел из переплетной мастерской, уехал в село и в город уже не вернулся. Еще долго после этого друзья писали друг другу пламенные письма, в которых клялись оставаться верными правде и справедливости.

Письма приходили все реже, а потом и вовсе перестали приходить. Но любовь к книге, страсть к литературе, тяга выйти из стоячего болота мешчанского быта и сделать что-то большое во имя жизни — все это, заве-

шанное беспокойным переплетчиком Йорданом Караивановым, осталось навсегда у Димитрова.

Димитров продолжал работать наборщиком, но уже не был тем неопытным парнишкой и учеником, каким еще недавно сюда поступил. Теперь старые рабочие смотрели на него с уважением и слушали его внимательно. Он часто вступал в их оживленные беседы.

В САМОКОВЕ



Димитров сидел рядом с возницей и восхищенно глядел по сторонам. Густой сосновый воздух глубоко проникал в грудь, разливался по всему телу, пьянил. Георгий не мог нарадоваться темному лесу и горам. Снежные вершины ослепительно блестели. Возница занимал пассажира рассказами о примечательных местах маленького городка:

— Вон там Американский колледж. Чуть подальше — болгарская школа.

Димитров не отвечал и не расспрашивал. Он был пленен красотой природы и горной свежестью...

Солнце уходило за лес, розовый свет озарял лицо пассажира. По деревянному мосту повозка въехала в город. Димитров разглядывал улицу с маленькими лавочками и радовался, что наконец прибыл на место.

Самоков был в то время опрятным, чистым городком, с новыми свежеевыкрашенными домами, большой церковью, которая виднелась издалека, и с чудесной каменной чешмой на главной улице — облицованным камнем источником. Серебристые струи горной воды бежали из двух ее кранов. За городом простирались поля конопли и картофеля, а выше начинался сосновый лес, темный и загадочный.

Остановились неподалеку от Американского колледжа, у небольшого дома, где была снята квартира. Все здесь, в этом горном городке, было для Димитрова ново, интересно. В первый же вечер он записал в дневнике, что обстановка, которая его окружает, действует на него как бальзам и поможет ему восстановить здоровье.

В ту первую ночь долго не спалось, одолевали беспокойные юношеские думы. Что ждет впереди? Пока что планы, надежды, волнения... Представлялось, будто целую ночь бродит он по лесу, читает и поет любимые им песни Ботева, просто радуется лесу и звездам, слушает, как шумят вершины деревьев... Он был еще молод, так молод!

Открыв окно, Георгий прислушался к темноте. Дул прохладный ветерок, падали крупные светлые звезды, лес окутала тишина. Городок спал, все огоньки погасли. Вдруг в безмолвии летней ночи зазвучала далекая песня, сначала медленно и неуверенно, а потом все отчетливее и смелее. Димитров прислушался. Песня была близкой, знакомой; хотелось вслед за низким женским голосом, лившимся в ночи, подхватить ее:

Солнце всходит и заходит,
А в тюрьме моей темно;
Днем и ночью часовые
Стерегут мое окно...

Вспомнились София, прогулки с друзьями, вечеринки. Всюду молодые люди пели эту песню. Им слышался в этой песне людей «дна» призыв к красивой жизни, воле и счастью, стремление выбраться из темноты, сделать что-то необыкновенное, большое.

Песнь утонула где-то в лесу, но в душе осталась ее грустная мелодия.

Утром Димитров направился в типографию Американского колледжа, заведывать которой был назначен. Вновь он окунулся в привычное типографское дело, но обстановка, в которой он теперь жил, в корне отличалась от софийской. Сосновый воздух, солнце, прогулки в горах — все это и впрямь благотворно влияло на его здоровье. Как и в Софии, он продолжал заниматься самообразованием. Каждый вечер после работы много читал, делал выписки из прочитанного, выписывал незнакомые слова, неясные, трудные для понимания мысли, часто заходил к тамошнему социалисту Борису Хаджисотирову, расспрашивал его, спорил... Не удовлетворяясь личным самообразованием, создал кружок по изучению марксизма из учеников ремесленного училища.

В тетрадах Димитрова тех дней появились такие слова и выражения, как «детермизм», «индуктивный метод», «прибавочная стоимость», «цена», «диалектика», «гегельянство», «класс в себе», «класс для себя»... В его дневнике встречались имена: Горький, Некрасов, Чернышевский, Чехов, Белинский, Надсон, Андреев, Золя, Толстой, Достоевский, Гёте...

Дни в Самокове становились бурными и беспокойными.

Наступила осень. Пансион Американского колледжа вновь заполнили ученики. Вместе с учебным годом начались беседы в воскресной школе. Каждое воскресенье в протестантской церкви пастор читал нравоучительные проповеди полемического характера — против «новых материалистических течений».

Беседы в воскресной школе посещались плохо; лекторы читали проповеди монотонно, однообразно, ученикам они опротивели.

Пришел раз и Димитров послушать. В тот день должен был выступать лучший лектор, славившийся в городе своими ораторскими способностями. Зал был как никогда переполнен. Проповедник, худой, с большой блестящей лысиной и тщательно выбритым лицом, говорил, стоя на кафедре. Голос его звучал громко, время от времени он угрожающе поднимал руки и оглушал изумленных слушателей цитатами. Всем своим видом он как бы хотел показать, что материалистические теории для него игрушки. Он расправлялся с ними одним махом, отпуская остроты, над которыми сам же и смеялся. Глядя на возбужденного и разгневанного проповедника, некоторые по наивности думали, что у него личная вражда с Карлом Марксом и Чарлзом Дарвином.

— Сейчас я процитирую вам Чарлза Дарвина, — говорил он. — Что, собственно, говорит Чарлз Дарвин, с которым мы уже имели удовольствие полемизировать? Чарлз Дарвин говорит...

Прикрыв глаза, проповедник наизусть цитировал целые абзацы. Публика глядела на него затаив дыхание.

Чарлз Дарвин был уничтожен. Наступила очередь Карла Маркса.

— А что, собственно, говорит создатель коммунистического евангелия, автор «Капитала» Карл Маркс? Он говорит, что бытие определяет сознание, а не наоборот. А что говорим мы? В главе второй Книги Бытия сказано: «И создал господь бог человека из горсти земли, и вдохнул в тело его дыхание жизни, и стал человек живой душой». И дальше

в той же главе сказано: «И сказал господь бог: «Нехорошо человеку быть одному, сотворим ему помощника, ему подобного...» И дал господь бог человеку глубокий сон, и, когда он заснул, взял у него ребро и вновь заполнил то место плотью. И создал господь бог из ребра, взятого у человека, женщину и привел ее к человеку. И сказал человек: «Это кость от кости моей и плоть от плоти моей, она названа женой, потому что принадлежит мужу своему».

Публика напряженно слушала каждое слово проповедника.

— Что, собственно, говорит Чарлз Дарвин и как обосновывает свою материалистическую теорию Карл Маркс? «Человек,— говорит Дарвин,— произошел от обезьяны». «Материя,— добавляет Карл Маркс,— начало и конец жизни». А что говорим мы?

Проповедник снова прикрыл глаза, скрестил руки на груди и продолжал:

— Бог создал человека по образу и подобию своему... Дух есть начало и конец Вселенной...

В зале стало душно. Открыли окна. Проповедник увлекся. Время от времени он вынимал из кармана платок и вытирал губы, но вот он сказал «аминь» и сошел с кафедры. Теперь в беседу могли вступить слушатели. Обычно они, смущаясь, задавали мало вопросов. Некоторые предпочитали уйти и погулять на чистом воздухе, но в этот день в воскресной школе произошло нечто необычное. Молодой заведующий типографией, сидевший в последних рядах, поднялся и спросил:

— Во-первых, слышал ли лектор о последних открытиях науки в области геологии и знает ли что-нибудь о неандертальском человеке? Во-вторых, какие социальные выводы можно сделать из библейской легенды, которая ставит женщину в зависимое от мужчины положение? И может ли это быть оправдано с точки зрения современного общества, которое борется за равноправие женщин во всех областях жизни? В-третьих, почему лектор ничего не упомянул об эмбриональной теории Эрнста Геккеля, которая также является неопровержимым доказательством теории Дарвина о происхождении видов, в особенности о происхождении человека? Почему лектор ничего не упомянул о борьбе видов за существование и как можно текстом Библии что-либо доказать, когда сами эти библейские тексты нуждаются в доказательстве?

Слушатели невольно повернулись к молодому печатнику.

— Откуда взялся такой? — спрашивали они.

Лектор нервно записывал вопросы, надменно усмехаясь.

— Закончили вы свои вопросы? — спросил он Димитрова.

— Закончил.

— Может быть, еще у кого есть вопросы?

— Нет,— ответил кто-то из зала,— хватит и этих.

— Вопросы господина Димитрова не новы для нас. Не впервые мы встречаемся с ними... Впрочем, начнем.

Проповедник взошел на кафедру, раскрыл Библию и начал:

— В «Деяниях апостолов» сказано...

— Ну как же можно доказывать свои тезисы тем, что само подлежит доказательству? — прервал его Димитров.— Перед вами целая наука с огромным, многовековым опытом, а вы хотите словами, написанными неизвестно кем, побороть эту науку...

— Господин Димитров,— повысил голос проповедник,— для нас бо-

жественное откровение — это догмы, которые нам доказывают всё. Тут вы абсолютно несостоятельны, и я считаю ваш аргумент провокационным. Я просто не понимаю, как наша дирекция допускает такие богохульные вопросы в присутствии учеников! Прошу вас, господин Димитров, задавать вопросы без издевки над священным писанием. Если вопрос в том, чтобы цитировать труды ученых и философов, то я мог бы процитировать такого философа, как Беркли. Но я считаю излишним отклоняться от нашей прямой задачи. Итак...

Проповедник снова прикрыл глаза, и из его уст вновь полились цитаты из Библии, время от времени он поглядывал на противника. Димитров скептически улыбался. Наконец, считая свое дело законченным, пастор захлопнул Библию и объявил собрание закрытым. Когда слушатели ушли, проповедник отправился к ректору колледжа и имел с ним продолжительный разговор об опасном оппоненте.

Весь городок заговорил о случившемся в воскресной школе. С того дня интерес к лекциям стал заметно повышаться. Зал едва вмещал желающих. Возникли оживленные диспуты. Из дирекции несколько раз предупреждали Димитрова, требуя воздержаться от выступлений, но, не добившись своего, наконец объявили, что он уволен.

Димитров, оставшись без работы, вернулся в Софию.

ПОДРУГА

Как-то в партийный клуб пришла молодая иностранка. Назвалась она Любией Ивошевич из сербского города Карагуеваца. Была она невысокого роста, худенькая, большие ее глаза излучали тихую грусть. Молодая работница прибыла в Софию в поисках работы. Она была беловшейкой. Люди ее профессии были редкостью в тогдашней болгарской столице. Поступила она на работу в модное ателье в центре города.

В партийном клубе Любика Ивошевич вскоре познакомилась с молодыми социалистами. Это были интересные люди: они много спорили, обсуждали все и вся. Некоторые из них были членами гимнастического общества, другие участвовали в рабочем хоре или оркестре, третьи оказались декламаторами и артистами, четвертые — поэтами. Любике Ивошевич были близки мечты и настроения этих молодых людей. Она сама увлекалась поэзией. Как-то вечером она прочитала свое стихотворение на сербском языке:

Я темная плебейка, знают все,
Я там, где задыхаются растения,
В болоте, в нескончаемой росе,
Где не проходят сумерки и тени¹.

Публика удивилась: кто она? Откуда? Поэтесса продолжала читать. Гулом одобрения встречены были ее строки:

¹ Здесь стихи Любицы Ивошевич даются в переводе А. Зайца.

Я темная плебейка, в горе вся,
Но пусть узнают все, но пусть узнают,
Что, флаг борьбы над миром тем неся,
Цветком свободы я произрастаю.

Кто-то восторженно воскликнул:

— Любича Ивошевич!

— Любича!

Молодая иностранка скоро стала известным и уважаемым человеком в рабочей среде. В клубе ее называли по-дружески Любой. Профессиональная организация портных избрала ее своим секретарем и редактором газеты «Шивашки работник».

Познакомился с ней и Георгий Димитров. Тогда он был совсем молодым. Частые экскурсии, которые профессиональная организация устраивала в окрестности Софии, сблизили их. Ивошевич выделялась среди работниц: она свободно говорила по-немецки, была начитанна, активно участвовала в рабочем движении, не жалея ни сил своих, ни молодости. Это в ее стихотворении говорилось:

Пока на земле существуют рабы,
Пока притесненные стонут от гнета,
Все выше взлетать будет знамя борьбы
За счастье, за лучшую жизнь для народа.
И в радостном ритме забудутся сердца,
И время настанет, и раб улыбнется.
В тот день рассветет, чтоб светить до конца,
Над краем свободы свободное солнце.

Оставшись сиротой еще девочкой, Любича жила у своей тетки в Карагуеваце. Тяжкой была эта жизнь. Овладев мастерством белошвейки в Вене, Любича решила не возвращаться к тетке, уехать из Сербии.

В Софии Любича втянулась в рабочее движение, которому отдавала все свои силы. Здесь она познакомилась с Георгием Димитровым и вскоре стала его женой. Многочисленная семья Димитровых увеличилась еще на одного человека.

Родители уступили молодоженам две комнаты. Одна из них служила Димитрову рабочим кабинетом, здесь он работал каждый вечер после возвращения из клуба, другая — спальней. Во дворе росла высокая шелковица. В летний день в ее густой тени в свободное от работы время собиралась вся семья Димитровых.

Кабинет Димитрова был скромно обставлен: стол у окна, на стене портреты Карла Маркса и Фридриха Энгельса. И книги, книги всюду: на столе, в книжных шкафах — и в комнатах и в коридоре. Книги были лучшими друзьями молодой семьи. Кроме болгарских, здесь были книги на русском и немецком языках.

Любича посвятила свою жизнь Димитрову. Она ходила с ним на собрания и митинги, помогала изучать немецкий язык, с ее появлением в доме Димитровых стали больше говорить о вопросах литературы и искусства, она, насколько могла, старалась облегчить его жизнь.

Через много лет, когда Любича уже не было в живых, Димитров писал о ней: «В течение четверти века она шла со мной по тернистому пути пролетарского революционера, шла с исключительной твердостью и выдержкой, с непоколебимой верой в правоту дела социализма и с несокрушимой уверенностью в победе этого великого дела».

СТЯЧКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ



Октябрьская революция 1917 года
пробудила народы.

О ней, о Ленине, о большевиках говорили все. Старый мир поднимался, чтобы задушить ее. Англия, Франция, Германия, Япония набросились на русскую землю, чтобы сломить молодую власть, власть рабочих и крестьян. Большевикам нужно было бороться и с интервентами, и с белогвардейцами, которыми руководили генералы, князья и помещики.

И наш народ не остался равнодушным к победам большевиков. В 1918 году Вторая партийная конференция приветствовала революцию:

«Болгарская социал-демократическая партия с восторгом приветствует победу русского пролетариата, в котором она видит передовую отряд европейского революционного пролетариата, а в русской революции — аванпост европейской социалистической революции».

Болгарская буржуазия, естественно, делала все, чтобы помочь интервентам и белогвардейцам. Развитые на Украине банды Деникина и Врангеля нашли убежище в Болгарии. Численность вояк в этих бандах превышала тридцать тысяч. Они представляли серьезную опасность для болгарского рабочего и сельского люда.

Русская революция учила тесных социалистов — членов революционного крыла болгарской социал-демократии — идти путем большевизации. Партия присоединилась к инициативе Ленина о создании нового революционного Интернационала и приняла участие в его основании.

В марте 1919 года Димитр Благоев писал в «Рабочнически вестник»: «Будущий Интернационал должен вернуться к организации I Интернационала... И именно поэтому призыв, который Маркс и Энгельс направили рабочим всех стран 68 лет назад, мы должны поднять во всем его великом актуальном значении: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Соединяйтесь под одним великим знаменем революции и марксистского социализма!»

28 мая 1919 года был созван первый съезд партии после войны. На этом съезде партия была переименована из социал-демократической в Коммунистическую партию. Решение съезда было принято с энтузиазмом болгарским пролетариатом.

24 декабря 1919 года народ вышел на улицу по призыву Коммунистической партии. В Софии и по всей стране улицы и площади заполнил народ, который хотел услышать слово ораторов-коммунистов. В этот день фабрики замолчали, учреждения опустели, вся жизнь замерла. Было выдвинуто всеобщее требование: «Хлеба, угля, жилья, одежды для народных масс, восстановления погранных политических свобод, прекращения поставки продовольствия русским контрреволюционерам».

— Это настоящая революция! — заявил видный социалист Крстю Пастухов. — Необходимо сейчас же вызвать солдат! Разогнать демонстрантов!..

Но демонстранты сами разошлись по домам. На следующий день появился приказ об увольнении всех служащих, принимавших участие в демонстрации.

Зима выдалась тяжелая, цены все росли. 25 декабря 1919 года софийские железнодорожники объявили стачку протеста. Делегация железнодорожников и представителей профсоюза, среди которых были Георгий Димитров, Васил Коларов и Никола Пенев, пришла к министру железных дорог и изложила ему свои требования: вернуть на работу всех уволенных, прекратить преследование демонстрантов, улучшить материальное положение трудящихся, отменить чрезвычайные военные меры.

Министр железных дорог заявил, что это мятеж, и выгнал делегацию. Правительство приняло решение: «Объявить войну Коммунистической партии! Никаких уступок! Война до конечной победы, даже если эта война грозит гибелью Болгарии!»

Парламент и пресса осыпали хулой и клеветой коммунистов. В селах были сформированы банды наемников, с их помощью правительство надеялось обеспечить себе победу. К этим кулацким громилам правительство обратилось со следующим воззванием:

«Страна переживает исторический момент. Она выживет или погибнет. От вас зависит, будет ли она жить или погибнет из-за городских бездельников и политических апашей... Они хотят поделить меж собой имущество крестьян и их жен... Они хотят, чтобы и у нас ели из общего котла, как в Советской России...»

Громилы нагрянули в Софию, вооруженные дубинами, допотопными пистолетами и ружьями новейших образцов; они окружили квартал, где жили железнодорожники, началась расправа. Женщины и дети не могли оказывать сопротивление пьяным шайкам, распеваям двусмысленные песенки.

Стояла суровая, морозная зима. Правительство жестоко преследовало рабочих, их жен и детей, но забастовщиков поставить на колени не удалось. Двадцать пять тысяч железнодорожников и почтово-телеграфных служащих были полны решимости отстаивать свои интересы. Двадцать пять тысяч человек мужественно выносили голод и холод, побои и унижения... Двадцать пять тысяч рабочих и служащих вместе со своими семьями вели героическую и хорошо организованную борьбу. Такого еще не видела маленькая Болгария.

27 декабря остановились поезда, трамваи, перестала работать почтовая, телеграфная и телефонная связь... Жизнь замерла.

Два дня шел мелкий рыхлый снег, он укрыл дома и улицы возле вокзала. На третий день снег кончился, подул северный ветер.

Стаечный комитет собрался в маленьком покосившемся домишке возле железнодорожного полотна. Уже несколько дней по нему не ходили поезда. Снег засыпал рельсы, если бы вдоль них не шли телефонные столбы, трудно было бы определить, что здесь проходит железная дорога.

Старый стрелочник Иван Стремов предоставил стачечному комитету свой приземистый домишко, чтобы здесь провели заседание, хотя в его домике была только одна комната и кухня, куда он перенес кровать своей больной дочери. Несколько дней девочка металась в жару, а в доме не было ни угля, чтобы протопить комнату, ни сахара, чтобы напоить больную чаем.

В маленькой комнатухе собралось шесть человек. Одни сидели на низкой деревянной кровати, другие устроились возле стены на полу, оживленно обсуждая содержание листовки, которую собирался отпечатать стачечный комитет. Предстояло обсудить несколько важных вопросов, касающихся дисциплины, опасности появления штрейкбрехеров и малодушных. Нужно было решить и вопрос о помощи голодающим семьям железнодорожников. Зашла речь и о мобилизации, которую пыталось провести правительство. Самым встревоженным и разгоряченным был Иван Стремов, хозяин дома, ему стало известно, что социалисты пытаются сорвать стачку паровозников. Иван убеждал, что нужно как можно скорее связаться с руководством локомотивного депо и нейтрализовать предателей, пока те не повлияли на остальных.

Пока железнодорожники совещались, жена Стремова следила за улицей. Вдруг она вошла в комнату и испуганно сообщила:

— На улице ждут трое...

— Кто они? — спросил Иван.

— Не знаю... Они хотят войти...

— Уж не головорезы ли это?

— Не похожи они на громил, ты бы, Иван, вышел!

Иван Стремов пошел следом за женой к двери.

Во дворе и в самом деле, утонув по колено в снегу, стояли трое мужчин. Одеты они были в длинные зимние пальто. Сначала Ивану стало не по себе, но тут он узнал кочегара Стефана Бойчинского, который вышел вперед. Стремов с улыбкой сказал ему:

— Что же вы так меня пугаете, Стефан! Почему не входите, а ждете здесь? Кто остальные товарищи?

— В доме поговорим, — с улыбкой ответил кочегар. И, повернувшись к своим спутникам, добавил: — Входите, товарищи, пока нас никто не заметил.

Стефан Бойчинский и два его товарища быстро вошли в домишко через тесную дверь, стряхнули снег с обуви, сняли в крохотной прихожей пальто.

— Это товарищи Георгий Димитров и Васил Коларов, — представил своих спутников Бойчинский.

Стремов одновременно и обрадовался, и смутился.

— Димитров и Коларов! — воскликнул он. — Что же ты, Стефан, сразу не сказал мне этого?

— Входите, товарищи! Рад вас видеть! У нас немного холодно, но терпимо. Входите!

Мужчины вошли в комнатку, где находились остальные. Хозяин поспешил представить вошедших.

Железнодорожники окружили Димитрова и Коларова. Показали им черновики листовки. Коларов и Димитров внимательно прочли текст, сделали несколько замечаний и сказали, что листовку необходимо срочно отпечатать и распространить среди забастовщиков.

— Тревожное положение сложилось в локомотивном депо, товарищ Димитров, — сказал бай Иван, — там положительно есть платные агенты правительства.

Димитров нахмурился. Он уже знал о капитулянтских настроениях паровозников, о том, что эти настроения поддерживаются социалистами, взявшими верх в этой организации.

— Вот что, товарищи,— неожиданно сказал Димитров.— Правительство решило объявить нам войну, оно не склонно откликаться на наши требования. Нам нужно проявить высшее напряжение воли и нервов. Надо быть дисциплинированными и не поддаваться на провокацию правительства. За нас весь болгарский народ. Мы победим. Уже пришли из сел первые посылки с продуктами для стачечников.

Глаза железнодорожников просветлели.

— Наши крестьяне проявляют полную солидарность с борьбой своих братьев-рабочих,— взял слово Коларов.— Это очень показательно! Это свидетельствует о единстве рабочих и крестьян, которое должно быть укреплено нашей партией. Стачка железнодорожников, товарищи, не просто экономическая стачка. Это прежде всего серьезная политическая стачка. Это должны знать и помнить все.

За окнами стемнело. Хозяин решил зажечь керосиновую лампу, но гости удержали его. В темноте было безопаснее совещаться.

В этот вечер стачечный комитет принял решение усилить дисциплину среди бастующих. Бойчинскому поручили переговорить с паровозниками.

Выходя из дома, Димитров неожиданно спросил у хозяина:

— А где твоя дочь, бай Иван? Она поправилась?

Стрелочник растерялся: кто сказал об этом?

— Врач был?

— Нет, товарищ Димитров.

— Как же так? Надо вызвать! Где она лежит?

— Здесь... в кухне! — ответил железнодорожник и толкнул маленькую дверь.

Димитров, а следом за ним Коларов вошли в кухню, освещенную тусклым светом свечи. Девочка лежала на низкой кровати возле ржавой жестяной печки. Возле кровати на трехногом табурете сидела жена хозяина, она опускала тряпку в миску со смесью воды и уксуса и, отжав, прикладывала ее ко лбу девочки. Больная прикрыла глаза, и невозможно было понять — спит она или просто устала.

Убогость жилища и обстановки произвели на Димитрова и Коларова гнетущее впечатление. Они осторожно закрыли дверь, чтобы не выстудить и без того холодную кухню. Они дали Стрелову денег, чтобы он вызвал врача и купил лекарства. А на следующий день в домик привезли мешок с углем и торбу с мукой.

Правительство делало все для того, чтобы сломить сопротивление стачечников. Они послали своих людей, чтобы те заменили бастующих на рабочих местах, но те лишь поломали машины... Где-то сошел с рельсов состав, где-то взорвался паровой котел... Поврежденные телефоны, перепутанные телеграммы... Хаос, беспорядок, паника и злоба царили в лагере правительства, хотя оно и стремилось выглядеть спокойным и часто издавало бюллетени, которые гласили:

«Порядок восстанавливается, завтра тридцать составов разойдутся по всей стране! Бастующие капитулировали!.. Паровозы в полной исправности... Поезда пойдут...»

Но поезда не пошли. Их засыпало снегом на глухих железнодорожных станциях. Длинные и пустые железнодорожные линии, длинные и немые телефонные провода, в которых гудели только зимние ветры... Молчали телефонные аппараты... Молчало все... Ночами злоумышленники крали гайки с путей, срезали провода, чтобы было в чем обвинить

непокорных стачечников... Какая темная подлость сгустилась над Болгарией! Кто ее разгонит? Кто освободит измученный народ?

Только Коммунистическая партия защищала забастовщиков. Только представители народа — коммунисты — направили правительству предложение удовлетворить требования бастующих. Но правительство отвергло его и заявило, что намерено вести борьбу до конца. И объявило вне закона всех коммунистических руководителей. За их поимку была обещана награда.

В знак солидарности с железнодорожниками объявили стачку и шахтеры Перника, и портовые рабочие. Увеличилось количество стачечников. Увеличились и бедствия. Но рабочая Болгария не оставила борцов. Стали поступать деньги и продукты из Плевны, Русы, Варны, Сливена, Пловдива. Народ собирал для бастующих муку, сало, жир, фасоль... Каждую неделю рабочие выделяли средства из своей зарплаты, давали деньги представители свободных профессий и чиновники — кто сколько мог. Собрали сотни тысяч левов, которые поступили в кассу стачечного комитета. Объявленная всеобщая политическая стачка еще больше окрылила бастующих железнодорожников. Она продолжалась одну неделю — с 29 декабря 1919 года по 3 января 1920 года. В ней приняла участие вся трудовая Болгария, бастовали даже учителя начальных классов гимназий.

Центральный синдикальный совет приветствовал проявленную солидарность участников стачки. Димитров писал:

«Центральный и синдикальный комитеты приветствуют в вашем лице болгарский рабочий класс, который отозвался на зов бастующих и ценой больших жертв и лишений проявил братскую солидарность с железнодорожниками, почтово-телеграфными и другими работниками государственных служб...»

Стачка железнодорожников продолжалась пятьдесят пять дней. Она была сорвана соглашателями, которые пробрались в ряды паровозников и в руководство союза почтово-телеграфных работников.

Но, несмотря на поражение, рабочий класс вышел из столкновения с буржуазией еще более закаленным, готовым к новым битвам. Стачка железнодорожников стала генеральной репетицией революционного пролетариата. О ней Георгий Димитров написал специальную брошюру «Поражение и победа», в которой говорится: «Велики в то же время ее уроки. Они сами по себе — истинное завоевание как непосредственных участников борьбы рабочих, так и всего пролетариата и представляя ценный капитал для будущей борьбы рабочих».

НЕУПОВИМЫЙ

Полиция настойчиво искала Георгия Димитрова. Все подозрительные — с ее точки зрения — квартиры в квартале Ючбунар и около вокзала подвергались обыску по нескольку раз в день.

Враги осыпали его клеветой. Все, кто еще недавно призывал власти подавить забастовку, «покончить с большевистской заразой», теперь

проливали крокодиловы слезы о «несчастных обманутых рабочих». В газетах тех дней часто можно было прочитать:

Где вы теперь, подстрекатели и преступники? Почему оставили рабочих одних расхлебывать последствия вашей безумной авантюры? Где ваша революционная доблесть? Почему не появляетесь перед уволенными железнодорожниками? Где вы, самозванные вожди рабочего класса?

Так писали хозяева и увольняли каждый день сотни участников стачки.

Расправа ожидала и служащих Софийской общины. Георгий Димитров еще с 1914 года был советником (депутатом) общины от рабочих столицы. В ту пору, когда совет общины обсуждал репрессивные меры по отношению к служащим, участвовавшим в забастовке, Димитров находился на нелегальном положении, а потому, естественно, не мог открыто выступить в их защиту. Этим и воспользовались, чтобы дискредитировать рабочего депутата, рабочего вожака, коммуниста. Газеты в те дни лицемерно писали:

Где ты, Димитров? Почему не являешься, чтобы защитить служащих общины? Как выдерживает твоя совесть страдания матерей и детей, которые по твоей вине стоят сегодня на улицах голодные? Неужели не слышишь их воплей?

24 июня 1920 года совет общины собрался на заседание. В залитом ярким летним солнцем зале за длинным столом, покрытым зеленым сукном, восседали господа советники. Заседание еще не открылось, а советникам не терпелось высказать свое мнение по главному вопросу повестки дня:

— Если сегодня не уволим тех служащих, которые участвовали в стачке, — завтра они сядут нам на голову!

— Пусть их увольнение будет на совести Димитрова. Почему он не выскажется в их защиту? Боится! Спрятался, как мышь под полом.

— Такие все они, наши революционеры. Им бы только собирать деньги, а в барабан за них пусть бьют другие.

На председательском месте появился кмет¹, строгий и важный.

— Господа советники! Вы призваны решить очень важный вопрос — вопрос об увольнении служащих, принимавших участие в стачке рабочих транспорта. Мы считаем, что этот вопрос должен быть решен немедленно, хотя некоторые советники и отсутствуют... Известно, что советник Димитров, несмотря на неоднократные приглашения, не явился на заседание. Очевидно, он боится выразить свое отношение к делу... Но мы не можем тянуть с решением столь жизненного вопроса, мы обязаны действовать быстро и строго. Итак, я приступаю к голосованию...

В этот момент дверь раскрылась и в зал вошел Димитров.

— Я здесь, господа! Напрасно вы меня обвиняете. Я тоже буду голосовать, только не за увольнение служащих, а за то, чтобы они остались на своих местах.

Кмет от неожиданности растерялся:

— Димитров, откуда вы взялись?

— Это неважно... Я пришел, чтобы защищать интересы служащих общины. Каждый, у кого есть совесть и чувство гражданского долга,

¹ Кмет — председатель совета общины.

также проголосует за мое предложение. Подумайте только, господа советники, сколько несчастных семей будет выброшено на улицу...

— Димитров, прекратите вашу пропаганду! Для нас вопрос ясен.

— Знаю, господин кмет, что для вас вопрос ясен, но я говорю не для вас и не только от своего имени...

— Никто вас не уполномочил говорить от имени других!

— Я говорю от имени моей партии! — ответил Димитров.

Кмет незаметно подал знак одному из советников вызвать полицию. Тот осторожно покинул зал заседаний. Полагая, что теперь все станет на свое место, кмет, успокоенный, обратился к присутствующим:

— Господа советники, так как вопрос исчерпан, я предлагаю перейти к голосованию. Итак, кто за увольнение служащих общины, участвовавших в стачке? Поднимите руки.

Кмет первым поднял руку. За ним последовали еще несколько человек из сидящих в первых креслах. Другие смущенно глядели на Димитрова.

— Прошу, господа! — поторапливал кмет.

Советники молчали.

— Кажется, за это голосовать никто больше не хочет, — заметил Димитров.

— Соблюдайте тишину! — Кмет раздраженно тряс колокольчиком. — Прекратите разговоры!

Подсчитали голоса.

— А теперь кто за возвращение на работу, против увольнения стачечников и мятежников, зараженных большевистской заразой, рушителей государственного строя? Поднимите руки.

Димитров поднял руку. К нему присоединились еще несколько человек. В зале стало так тихо, что было слышно, как кмет считает голоса.

— Большинство! — воскликнул Димитров.

— Не спешите! — оборвал кмет.

— Большинство! — повторил Димитров.

Кмет вздохнул, вытер со лба пот и спросил:

— Есть ли воздержавшиеся?

— Только один!

— Больше нет?

— Нет...

— Значит, нет! Так и запротоколируем: большинство — за служащих общины, — подвел итог Димитров.

— Ну, это еще как сказать, — огрызнулся кмет. — Большинство в один голос — чепуха!

— И все же большинство! — заключил Георгий Димитров.

...Двери в зал вновь раскрылись, и советник, который ходил вызывать полицию, ошалело закричал:

— Господин кмет, община блокирована! Попытался связаться с городом — все телефонные провода перерезаны! Мы изолированы!

Все повскакали с мест. Кмет кричал:

— Что значит изолированы? Вызовите полицию!

— Какая там полиция!.. Входы в общину охраняются неизвестными лицами. Нельзя ни войти, ни выйти.

— До свидания, господа! — Димитров вежливо улыбнулся и вышел.

Советники и кмет долго смотрели ему вслед...

«Правительство и буржуазия торжествуют сегодня,— писал Димитров в брошюре «Поражение и победа»,— что они подавили забастовку транспортных рабочих, воображают, что нанесли поражение всему болгарскому пролетариату и коммунизму. Поспешное торжество! Они забывают народную мудрость: «Хорошо смеется тот, кто смеется последним!» Не может быть никакого сомнения в том, что болгарский пролетариат в сегодняшнем временном поражении сумеет почерпнуть новые силы, острее отточить свое оружие борьбы и ускорить свою окончательную победу над капитализмом».

И словом и делом Димитров защищал интересы народа, интересы рабочих.

ЧЕРЕЗ ЧЕРНОЕ МОРЕ

8 июне 1920 года партия решила направить Димитрова вместе с секретарем Центрального комитета Василем Коларовым в составе делегации Болгарской коммунистической партии на Второй конгресс Третьего Коммунистического Интернационала в Москву.

Прекрасный оратор, образованный юрист и высококультурный человек, Васил Коларов был в Коммунистической партии представителем передовой части народной интеллигенции. Его деятельность в партии идеально сочеталась с деятельностью Димитрова. Политическая и личная дружба двух коммунистических деятелей становилась все теснее и глубже. Не случайно именно их послала партия своими делегатами на конгресс Коминтерна.

Поездка в Москву в то время была сопряжена с большими трудностями. Пробраться в Москву можно было только или через Германию, или по Черному морю. Путь через Германию был исключен, потому что в Польше еще бушевала война и западные границы России были закрыты. Оставался только черноморский путь Варна—Одесса, хотя этот путь полон опасностей и риска. Берега Крымского полуострова сторожили английские и французские крейсера. В Крыму хозяйничали белогвардейцы.

Болгарские делегаты Васил Коларов, Георгий Димитров, Христо Кабакчиев и Никола Максимов решили плыть через Черное море. Начались лихорадочные приготовления.

Рано утром Коларов и Димитров прибыли в Варну. Здесь, на вокзале, их встретил Никола Пенев, связной Центрального Комитета.

— Ну как, все готово?— спросил Коларов.

— Да, лодки ждут у берега.

— Тогда идем.

За железной дорогой вошли в заросли камыша и направились к Варненскому озеру. Летний день варненцы проводили на берегу моря, а потому здесь, у озера, было тихо и безлюдно, что давало нашим путешественникам возможность незаметно добраться до условленного места. Кабакчиев и Максимов должны были прибыть со стороны Бургаса позднее.

Приблизившись к берегу, Никола Пенев осторожно раздвинул тростник и огляделся. Перед ним блестела тихая гладь озера.

— Можно идти!

Димитров ускорил шаг. Следом за ним — Коларов. Когда кончились тростниковые заросли, открылся чистый песчаный берег. Метрах в десяти от берега на воде слегка покачивались две лодки со спящими в них лодочниками.

— В этих скорлупках плыть в Одессу? — спросил Коларов.

— У них есть и паруса, — как бы успокаивая, ответил Пенев.

— Ну совсем как великая армада! — усмехнулся Димитров.

— При хорошей погоде через два-три дня будете в Одессе. А пока, товарищи, назад в камыши, здесь нас могут увидеть.

— Что это за лодочки? — спросил Димитров.

— Люди как люди, кто им платит — тому и служат!

Коларову не сиделось. Он пошел еще раз поглядеть лодки; они не порадовали Коларова, да и лодочники не внушали доверия. Но что делать, уж очень велика цель, ради нее можно пойти на любой риск.

В два часа ночи 29 июня лодки вышли в море. Поначалу погода была хорошей, но вскоре подул северо-восточный ветер, небо покрылось черными тучами. В разрывах туч мелькала вечерняя звезда.

— Советская звезда будет нашим маяком!

Погода все ухудшалась. Море бороздили большие черные валы. Исчезла звездочка, которая так радовала мореплавателей. Лодки кидало с волны на волну. Все промокли. Начался дождь.

— Ничего, сейчас соорудим могилу, — успокоил лодочник.

Пассажиры удивленно переглянулись. Молодой и веселый хлопец, подручный лодочника, уложил с борта на борт шест, накиннул на него брезент — и «могила» готова. Димитров и Коларов забрались в укрытие и вскоре под мерный стук дождя по брезентовой крыше уснули.

Разбудил их крик:

— Помогите! Погибаем!

Димитров и Коларов вскочили и разглядели в темноте, как лодочник, отчаянно вцепившись в руль, старается выправить положение лодки, ставшей игрушкой волн...

Утром, когда солнце озарило морскую ширь, Димитров и Коларов увидели, что второй лодки нигде нет. Как позже выяснилось, лодка с Кабакчиевым и Максимовым ночью сбилась с курса, но после некоторого плутания наши товарищи добрались до Одессы, а потом и до Москвы.

При утреннем свете выяснилась и другая беда: из бочонка вытекла вся питьевая вода.

— Это же катастрофа! Как можно без воды достичь Одессы? — сказал Коларов.

Как старшина лодки, он принял решение плыть к устью Дуная и там набрать пресной воды.

День 3 июля был тихим и солнечным. Море блестело, как огромное зеркало. Казалось, ничто не предвещает беды. Димитров и Коларов выкупались и сейчас лежали, подставляя обнаженные тела горячему солнцу. Вот уже и песня зазвенела. Но что это? На горизонте показался дымок, затем труба, и вот уже ясно стало видно военное судно. Рассекая воду, оно быстро приближалось к лодке.

— Ну, теперь плена нам не миновать, — сказал Димитров.

— По всему видно...
— Надо что-то предпринять!
— Надо прежде всего осмотреть, нет ли чего лишнего в лодке,— предложил Коларов. После коротких пререканий с лодочниками все ненужное полетело за борт.

Почти в тот же момент с канонерки раздалась команда на русском языке:

— Убрать парус!

Матросы быстро перебросили на лодку трап. Румынский лейтенант приказал оставить лодку и подняться на канонерку.

Коларов и Димитров перебрались на канонерку. Их тут же обыскали, но ничего предосудительного не нашли. Раздраженный таким результатом, лейтенант сердито бросил:

— Выкинули в море... Ну ничего, в комендатуре расскажете правду. Большевистские агенты!

— Никакие мы не агенты. Мы болгарские депутаты.

— Болгарские депутаты! А что ищут болгарские депутаты в румынских водах?

— Это мы объясним в комендатуре.

— И я так думаю, господин депутат. Там вы все объясните,— съязвил лейтенант и стал пересчитывать деньги, найденные у арестованных.

— Видно, хорошо вам платят большевики, а?

— Занесите сумму найденных у нас денег в протокол, господин лейтенант, и не задавайте нам лишних вопросов,— прервал его Димитров.

Лейтенант еще раз пересчитал деньги. Ему, видно, очень не хотелось расставаться с ними...

Покончив со всеми формальностями, лейтенант повел канонерку к берегу. Печально глядели пленники на берег, где их ждала полная неизвестность.

Вот и Констанца. Ночью арестованных вывели на берег. Лодочников отделили, а Коларова и Димитрова повели под усиленной охраной. Город спал, слышался лишь стук солдатских сапог да позвякивание сабель конвоя.

Арестованных ввели в какое-то помещение, переполненное спящими солдатами. Было там темно и душно. Осмотревшись, Димитров и Коларов нашли свободное место на нарах и решили там устроиться. Но прошло немного времени, и дверь открылась, в комнате появился тот же лейтенант и приказал арестованным следовать за ним. Шли темным коридором, то поднимались, то спускались по узким лестницам, пока не остановились у низкой железной двери.

— Входите!

Румын открыл дверь, из темной дыры потянуло плесенью и холодом.

— Что это? — спросил Коларов по-французски.

Вместо ответа румын втолкнул обоих внутрь и быстро запер дверь. Арестованные поняли, что они в карцере. Похож он был на могилу: два метра в длину, метр в ширину. Со стен стекала вода, пол покрыт грязью, воздух сырой, но и его явно не хватало.

— Здесь можно задохнуться! — сказал Коларов.

Димитров во всю силу стал стучать в дверь. Гул понесся по коридору, разбудил все и вся. Появился часовой.

— Что случилось?

— Задыхаемся.

— Ничем не могу помочь...

Из соседней камеры кто-то спросил по-болгарски:

— Не из Добрича ли вы, товарищи?

— Болгары мы, из Софии! — крикнул в ответ Димитров.

— Вот как! Перебирайтесь к нам. Мы добруджанцы. Нас высылают на соляные промыслы...

После долгих переговоров со стражей за небольшую взятку Димитрова и Коларова пустили в соседнюю камеру, где содержались арестованные добруджанцы.

Димитров и Коларов подружились с заключенными, и они взялись переслать в Болгарию, в Центральный Комитет, лично Благоеву письмо. И хотя сделать это было очень трудно — их самих высылали на каторжные работы на соляные промыслы, — болгары сдержали свое слово.

Димитрова и Коларова переводили из камеры в камеру, пока наконец не очутились они в военной тюрьме, на железных воротах которой было начертано: «Покаяние и терпение».

Шли дни, но никто не посещал заключенных. Казалось, их забыли. Наконец Коларов подал прошение командиру корпуса с подробным описанием всего происшедшего с ними. После этого началось следствие.

Следователь был удивлен, когда понял, что перед ним не авантюристы, а депутаты болгарского парламента. Он несколько раз обращался к Коларову:

— Как это вы, человек с видным общественным положением, адвокат, депутат, человек, имеющий жену и детей, решили сесть в рыбацкую лодку и отправиться в плавание по морю аж до самой России? Думали ли вы, что может с вами случиться? Думали ли вы о вашей семье?

Коларов отвечал:

— Мы коммунисты, солдаты нашей партии, мы выполняли ее приказ. О том и мысли не могло быть, что мы откажемся выполнить приказ партии только потому, что путешествие связано с большим риском... А что касается моей семьи, то я твердо убежден, что в случае несчастия партия позаботится о ней.

Следователь задумчиво глядел в окно. Услышанное взволновало его. Может быть, ему припомнился прочитанный в юношеские годы роман о героях, о смелых людях, презиравших смерть... И вот сейчас на земле его Румынии, перед ним самим не фантастические герои, а самые настоящие живые люди, из крови и плоти...

Как ни старались румынские власти сфабриковать обвинение против двух коммунистических депутатов, как ни старались представить их большевистскими агентами, ничего из этого не вышло. В защиту депутатов поднялась болгарская и румынская прогрессивная общественность. Румынские депутаты-социалисты сделали запрос в парламенте и потребовали освобождения болгарских депутатов. 17 июля 1920 года народный комиссар иностранных дел Советской России Г. В. Чичерин обратился к правительству Румынии с нотой, которая содержала требование освободить Димитрова и Коларова и предупреждение, что если два

делегата, следовавшие на конгресс Коминтерна, не будут немедленно освобождены, советское правительство примет соответствующие меры в отношении румынских военнопленных.

После вмешательства Советской России Коларов и Димитров были освобождены. Их посадили в автомашину и отвезли на болгарскую границу, к городу Добрич. Здесь их радушно встретили болгарские пограничники. Солдаты говорили:

— Все газеты писали о вас. Мы очень боялись, как бы не убили вас. Наши власти палец о палец не ударили в вашу защиту. Только благодаря партии и русским вы теперь свободны.

И эти слова согревали, как щедрое солнце, освещавшее Добруджанскую равнину...

Ангел
Карапийтев


Из книги

**МОЛОТ
ИЛИ
НАКОВАЛНЯ**



Ангел Каралийчев **НАКОВАЛЪНЯ ИЛИ ЧУК**
Издателство на Българската комунистическа партия, София, 1963

С КРАСНЫМ ЗНАМЕНЕМ НА ЛЮДИН

 ясное майское утро потоки солнечного света заливали Княжевское шоссе, склоны Витоши, зеленые поля Бояны, сады Овча-Купели. Было воскресенье, и по безлюдной дороге лишь изредка проезжали, тархтя колесами, двуколки, груженные молочными бидонами. Вздвухшаяся после ночного ливня Владайская река стремительно сбегала с гор на равнину, грозя затопить огороды, малинники, вишневые рощицы. На деревянном мосту, перекинутом через реку, остановились двое юношей, раскрасневшиеся от быстрой ходьбы. Перегнувшись через перила моста, они поглядели вниз, на мутную, клокочущую воду.

— Ну и дождичек был ночью! — сказал один.

— Да, — согласился другой. — Я сквозь сон услышал раскаты грома и вскочил. Спать больше не хотелось, я зажег лампу, взял книгу и долго читал. А когда задул лампу, на дворе было светло, взошел месяц.

— Я тебя, наверно, рано разбудил?

— Нисколько. Признаться, вставать не хотелось. Зато утро какое чудесное! А ведь я, пожалуй, Людин почти не знаю. Мне только на Витоше приходилось бывать, у Золотых мостов.

— А я и туда не ходил. Не любил лазить по горам. У нас во Фракии совсем не так, как здесь. Она вся ровная из конца в конец. Идешь, идешь, а вокруг одни только поля и виноградники да кое-где курганы торчат. А если бы ты видел Марицу во время половодья! Ну чистое море! — И, помолчав, добавил: — Здесь будем ждать наших или пойдем прямо к монастырю?

— Лучше там подождем, Петко, — ответил его спутник. — По дороге поговорим, помечтаем.

Он снял шляпу и, запрокинув голову, устремил взор на покрытые снегом, ослепительно сверкающие вершины Витоши. Утренний ветерок шевелил его темные кудрявые волосы, приятно ласкал разгоряченное смуглое лицо. Расстегнув ворот рубашки, он с наслаждением вдохнул чистый, прохладный воздух.

Друзья зашагали по неровной дороге туда, где виднелись замшелые крыши деревенских домов. На траве, на цветущих ветвях яблонь еще блестяли капли дождя. Настречу им показалось стадо ягнят. Они жалобно блеяли, будто понимали, что их гонят на бойню. От этих звуков сжималось сердце. Друзья посторонились, давая дорогу стаду, потом зашагали дальше.

— Так что же ты читал ночью? — спросил один из них.
— «Что делать?».
— Ты обещал мне эту книгу, не забудь.
— Знаешь, читаю и не могу оторваться. Чернышевский — гений! Представляешь, как много мы потеряли бы, если бы роман исчез!

— Как это исчез?
— Ты разве не знаешь, что рукопись была потеряна?
— А кто ее потерял?
— Сейчас расскажу. Это произошло в тысяча восемьсот шестьдесят третьем году. Чернышевский, находясь в заключении в Петропавловской крепости, написал там роман. Окончив первые главы, он передал их Некрасову, редактору журнала «Современник». Некрасов сам повез рукопись в типографию, но по дороге потерял ее. На следующий день в газете «Санкт-Петербургские ведомости» появилось объявление: кто найдет и принесет рукопись, тот получит пятьдесят рублей. К счастью, рукопись нашел на Литейном один бедный чиновник и вернул ее Некрасову. Так уцелела эта бесценная книга. Если бы ее нашел какой-нибудь неграмотный человек и пустил на растопку, Рахметов сгорел бы...

— Какой Рахметов?
— Герой романа. Ах, какой это человек, какой человек! Он считал, что может быть счастливым только тогда, когда все люди станут счастливыми. Он презирал роскошь, восставал против эксплуатации человека человеком. Сильный и мужественный человек, твердо веривший в будущее. Представляешь, Петко, аристократ он, порвавший со своей средой и работавший плотником, перевозчиком, бурлаком. Тянул баржи по Волге. Знаешь картину Репина «Бурлаки»? Вот таким был и Рахметов. И делал он все, чтобы заслужить уважение и любовь простых людей. Все свои деньги он отдал на дело революции. Но Чернышевский говорит, что таких людей, как Рахметов, еще не много. Велика масса честных и добрых людей, а таких людей мало. Но они в ней — соль всего, это двигатели двигателей. Меня смущает только одно: Чернышевский считает, что мир можно изменить с помощью крестьянской социалистической революции, а Маркс и Энгельс в «Коммунистическом манифесте» говорят о решающей роли рабочих. А вообще-то Чернышевский здорово изобразил борьбу новых людей против допотопного крепостнического общества, темноты и невежества...

Они вошли в село и направились к источнику с горячей минеральной водой, стекавшей в замшелые колоды, над которыми поднимался пар. Вымыли руки, плеснули несколько пригоршней воды в лицо и, сняв пиджаки и перекинув их через плечо, зашагали по сельским улицам, тонущим в сонной утренней дреме праздничного дня.

— А знаешь, что случилось у нас недавно дома? — снова принялся рассказывать один из них. — Когда ко мне попала эта книга, я совсем голову потерял. Не могу оторваться, да и только. Таскаю ее с собой в типографию, читаю во время обеденного перерыва. Однажды отец спрашивает: «И что это ты, Георгий, все читаешь?» — «Книгу, говорю, читаю». — «Я и без тебя вижу, что это книга, а не кирпич». — «Роман», — говорю я с гордостью. «Роман?» Дома у нас и слова такого не слышали. Все посмотрели на меня с удивлением, а ребяташки — те просто онемели... Ну так вот. Я, как ты знаешь, сплю внизу. Очень люблю всю комнатку. У меня там деревянная кровать, столик и керосиновая

лампа. После ужина я пошел к себе, мама постелила мне, задернула занавеску и пожелала спокойной ночи. Я сразу же засел за книгу. Читаю. И чем дальше читаю, тем больше она мне нравится. Потом глаза у меня стали слипаться, и я, чтобы прогнать дремоту, принялся ходить по комнате и читать вслух:

«Я был с вами откровеннее, чем с другими; вы видите, что такие люди, как я, не имеют права связывать чью-нибудь судьбу со своею...»

И вдруг слышу за дверью шепот. Распахнул дверь и вижу: стоят отец с матерью, сонные, испуганные. Отец держит в руке старинный пистолет. «Что случилось?» — говорю. «Кто у тебя?» — строгим голосом спрашивает отец, оглядывая комнату. «Никого». — «А с кем ты разговаривал?» Они волнуются, а меня смех разбирает. «А ну-ка, — крикнул отец, — признавайся, куда ты спрятал того, с кем ты разговаривал!» — и заглянул под кровать. Еле их успокоил...

Пологие склоны Люлина уходили вверх. Вокруг шумел молодой листвою буковый лес, пахло свежей, умытой дождем зеленью. Дружья жадно любовались весенней красотой земли. Они шли, не чувствуя усталости.

— Я, Петко, буду, как Рахметов, защитником народа. Знаю, у меня хватит на это сил. Одного лишь мне не хватает — времени. Весь день топчусь у наборной кассы, складываю из литер мертвые истины, увековечивая мысли тупоголовых государственных деятелей и продажных писак. Как мне все это опротивело! И как хочется набрать такие слова, от которых в сердцах рабочих разгорится пламя! Дядя Гаврил мне частенько советует побольше читать. И я читаю. Ночами. Усилием воли прогоняю сон, но иногда чувствую слабость, кружится голова.

— Устал ты. Нужно спать побольше.

— Так лучшие годы проспять недолго. Когда же учиться?

Юноши углубились в лес. Ветви буков шатром сомкнулись у них над головой. Долго шли молча, поглощенные своими мыслями. Неожиданно перед ними вырос монастырь и кособокие хозяйственные постройки, выбеленные известью. Из открытой двери монастырской церкви шел запах ладана, слышалось протяжное пение, заглушаемое журчанием источника. Дружья, разгоряченные долгой ходьбой, напились воды, осмотрелись.

— Еще никого нет. Мы первые. Пойдем их встречать, — предложил Петко.

Они повернули обратно, вновь пересекли лес и, выйдя на поляну, стали ждать. Завидев наконец группу рабочих-печатников, поднимающихся по склону Люлина, они радостно закричали и принялись подкидывать вверх шапки. Товарищи ответили им тем же. Следом за ними ехали две телеги, нагруженные разной снедью и одеждой. На одной из телег сидел фотограф с допотопным фотоаппаратом.

Шумная компания устремилась в лес. Внезапно Георгий остановился, поднял руку и крикнул:

— Что это мы так бредем? А ну, стройся в колонну!

Все построились. Впереди шел знаменосец с красным знаменем, а за ним — председатель профсоюза печатников и другие руководители профсоюза, женщины, дети, рабочие. Так и прибыли в монастырь.

Монахи с удивлением смотрели на алый стяг и шумную возню

экскурсантов. Вновь прибывшие дружно разгрузили телеги, собрали сухие сучья, разожгли костер. Женщины занялись приготовлением обеда. Мужчины заглянули в монастырские кельи, побродили по двору, то и дело нетерпеливо поглядывая в сторону костра.

— Господи, прости и помилуй! — доносилось из церкви унылое пение монахов.

Обедали на зеленой лужайке. Женщины разостлали белые скатерти, разложили ломти хлеба, а Георгий и Петко начали разносить тарелки.

— А ну, Георгий, давай сюда!

— Помилуй мя, Петко-о-о! — протяжно затянул шутник и весельчак Стоян Кечеджиев, у которого на жилетке висела цепочка от часов. — Я, братцы, в церковь сейчас ходил и господу богу молился: «Ниспосли, о господи, рабу своему Стояну часы марки «Зенит». Увы, моя просьба осталась без ответа. Ты хоть, Петко, смилуйся надо мной, дай мне кусок мяса побольше!

В ответ раздался дружный смех. Обедали долго. Но вот стук ножей и вилок умолк. Некоторые принялись искать местечко под деревьями — траву помять и кружевную тень. А человек двадцать рабочих отправились дальше в горы. Шествие замыкал фотограф. Вскрабакались на вершину, с которой открывались поросшие лесом западные склоны Витоши, далекие холмы Перника. Тысячи рабочих добывали там уголь.

— Здесь и сфотографируемся, — сказал председатель.

Все стали готовиться. Стоян Кечеджиев занял место в первом ряду, Георгий и Петко скромно стали позади. Фотограф, накрывшись с головой черным покрывалом, долго возился со своим аппаратом. Наконец он крикнул:

— Внимание!

Все застыли с серьезными лицами, устремив взгляд вдаль. Тишину нарушил Стоян.

— Послушай, — обратился он к фотографу, — я не хочу, чтобы на фотографии было видно, что у меня нет часов!

Раздался дружный смех.

— Стоян, ты чуть не испортил историческую фотографию! — шутливо заметил ему Георгий Димитров.

Постепенно смех затих. Фотограф шелкнул затвором, грациозно раскланялся:

— Мерси!

Весь день звенели над Люлином песни. Рабочие бродили по полянам, собирали цветы или просто отдыхали в тени деревьев за дружеской беседой.

К вечеру колонна с красным знаменем впереди тронулась в обратный путь. Внизу лежала София, мерцающая огнями в фиолетовых сумерках.

КАФЕ "ВАРВАРЯ"

В

Драму он должен был приехать поздно вечером поездом из Ксанти. Встречать его пришли двое солдат-телеграфистов из штаба дивизии, расквартированной в городе. При входе на перрон часовой не остановил их: это был свой человек. Он лишь улыбнулся и сказал: «Проходите». Тесняки дивизии имели свой политический кружок. Они знали, что положение на фронте очень серьезное и что на севере разразились большие события. Там произошло нечто небывалое в истории: под напором революции пала корона царя. Но что точно произошло и как? Это интересовало всех. И вот теперь они все узнают не от кого-нибудь, а из уст народного трибуна — посланца Центрального Комитета партии.

Высокая труба паровоза извергала искры и клубы дыма. Локомотив дышал, как тяжелобольной, тревожа гудками притихшую Фракийскую равнину. Как только поезд остановился, из вагонов высыпали сотни солдат с винтовками, ранцами, торбами и корзинами в руках. Димитров был единственным штатским в этой толпе солдат. Он соскочил с подножки предпоследнего вагона и направился к зданию вокзала. Встречающие сразу же узнали его по бороде и поспешили к нему. Приблизившись к Димитрову, один из солдат, обращаясь к товарищу, сказал громко, чтоб прибывший мог слышать:

— Сегодня вечером поезд опоздал.

Димитров вздрогнул.

— Все поезда опаздывают, — сказал он вторую часть пароля и широким шагом направился к выходу.

Лица обоих встречающих просветлели: он! Не говоря ни слова, один из солдат обогнал гостя и зашагал метрах в десяти перед ним, а другой шел немного позади. Димитров молча следовал за первым, размахивая чемоданом. Все трое спокойно вошли в город и начали петлять по его темным улицам. Освещения не было. Война давно уже задула старые уличные фонари с разбитыми стеклами. Луна плыла по чернильному осеннему небу, золотистая и круглая, как хлеб. Каменные стены домов отбрасывали голубые и черные тени. С Эгейского моря веяло холодом.

Легкий ветер срывал листья с белокорых юных деревьев. Подкованные сапоги встречающих стучали по булыжной мостовой. Остановились у какого-то берега. Внизу — вода, в которой трепетало, рассыпаясь алмазными бликами, отражение луны.

Руководитель кружка, начальник полевой почты, жил в покосившемся домишке, окруженном высокой каменной оградой, над которой торчала одна лишь печная труба. Первый солдат остановился у входной двери, но не постучал и никого не позвал. Легко нажав на старинную щеколду, он толкнул дверь. Вошли. Димитров наклонился, чтобы не ушибиться о низкую дверную притолоку. Яркий свет электрического фонаря сразу ударил в глаза.

— Сюда, товарищ Димитров! — послышался из глубины дома го-

лос хозяина, и осветилась узкая крутая лестница, уходящая куда-то вниз, в темноту.

Солдат уступил дорогу гостю, который осторожно стал спускаться по скрипучим ступенькам.

«Подпольное убежище», — подумал Димитров, но когда вошел в тесную комнатку, то вновь увидел сквозь небольшое оконце воду и отражающуюся в ней луну.

Хозяин погасил фонарик и начал хлопотать: завесил окно солдатским одеялом, зажег стеклянную керосиновую лампу и радостно схватил обеими руками правую руку гостя:

— Ну, теперь здравствуйте, добро пожаловать!

— Спасибо, товарищ Попдимитров. Рад встрече. О вас мне рассказывали табачники в Ксанти. Не боитесь принимать таких гостей, как я?

— Да что уж тут! Одним словом, назвался груздем — полезай в кузов, — ответил хозяин и кивнул двум солдатам, нетерпеливо топтавшимся на пороге: — Входите и закройте дверь!

Димитров тоже обернулся к ним:

— Здравствуйтесь, ребята!

— Здравия желаем! — в один голос ответили солдаты и вошли в комнату.

— Входите, товарищи. Садитесь, где кому удобно. Вы, товарищ Димитров, на кровать садитесь, пожалуйста, — предложил хозяин.

— Мы можем и постоять, — смутился один из солдат.

— Зачем же стоять? Устраивайтесь на сундуке, только сначала надо оттуда вынуть хлеб.

Попдимитров открыл сундук и вынул оттуда твердый как камень солдатский хлеб. Положил его на стол. Из корзинки, стоявшей в углу, достал кусок брынзы, заботливо завернутой в бумагу, и четыре большие кисти винограда с мелкими, уже немного сморщенными виноградинами.

— Мы есть не будем, — покачал головой один из солдат и сглотнул.

— Как так не будете? — сердито возразил хозяин. — Все будем есть. Где еще вы найдете виноград и брынзу? Это я вчера от домашних своих, из села, получил корзиночку-то. А больше ничего нет, товарищ Димитров, вы же знаете солдатскую жизнь.

— Ужин просто чудо! — Димитров потянулся к хлебу: он с утра ничего не ел. — Ну, как вы тут?

— Как? Да трудно очень. Голод. Ничего нет. Дают нам заплесневелый хлеб. Видите? Солдаты ходят в лохмотьях. Вот наш Велин, — хозяин показал на солдата, который на вокзале шел позади Димитрова, — не имеет ни сапог, ни фуражки. Чтобы он мог встретить вас сегодня, я дал ему свои.

Услышав, что речь идет о нем, Велин хотел встать, но товарищ тронул его за руку и прошептал:

— Сиди.

— Все лето, — продолжал Попдимитров, — он ходил босым, а вместо фуражки закрывал голову куском рваной мешковины. Завшивели солдаты. Стали собираться в укромных уголках и шуськаться. А как там в тылу?

— В тылу иначе. У тех, кто служит немцам, ожирели шен. Спекулянты набили свои подвалы рисом, сахаром, брынзой, салом. А на городских улицах возникают стихийные демонстрации голодных женщин

и детей. В селах вспыхивают женские бунты. Самые отчаянные отбирают назад реквизированные у них продукты, поджигают сыроварни!

— А здесь? — покачал головой хозяин. — Позавчера...

Велин нетерпеливо вскочил и перебил его:

— Я скажу, господин начальник!

— Рассказывай, Велин!

— Позавчера из дивизионной больницы вытащили одного раненого солдата и расстреляли. Ротный оговорил этого солдата, утверждая, что он струсил перед лицом врага и сам же ранил себя. А он, несчастный, еще в начале сражения был ранен в колено. Осколком снаряда ему раздробило кость, он упал, потеряв сознание от боли, и не мог догнать товарищей во время атаки. Четыре месяца лежал в больнице, а рана не заживала, нога распухла, и врачи ее ампутировали. А в это время его командиры делали свое дело. Подвели его под трибунал. Разобрали его дело на скорую руку и потащили на расправу. Сердце мое обливалось кровью, когда я смотрел, как этого невинного человека вели четверо солдат, направив на него штыки, а он едва ковылял перед ними на своих костылях. Его расстреляли перед всей дивизией. При первом залпе ни одна пуля не задела его, при втором — тоже. Только третий залп...

Димитров прикусил губы и положил на стол гроздь винограда. Мрачный огонь загорелся в его глазах.

— Есть секретный приказ, — сказал он глухо, — выявлять повсюду самых энергичных и непокорных солдат и расстреливать — в назидание другим.

— Так и есть, — сказал хозяин. — Но вы нам расскажите, что произошло в России!

Лицо гостя просияло.

— В России, дорогие ребята, колесо истории закрутилось, и нет такой силы на земле, которая могла бы его остановить. В эти дни десятки и сотни тысяч рабочих, матросов и солдат собираются еще теснее вокруг знамени большевистской партии. Там наши товарищи...

И он начал рассказывать о первых красных полках, о подвигах рабочих Путиловского завода, работающих по шестнадцать часов, чтобы дать красногвардейцам бронемашину, орудия и снаряды, о штурме Зимнего дворца, о борьбе рабоче-крестьянских отрядов против контрреволюционных сил генерала Корнилова, который повернул пушки на столицу своей родины.

Когда Димитров рассказал о выстреле крейсера «Аврора» по царской цитадели, Велин снова вскочил и закричал:

— Ах, почему я не был там! — И стиснул кулаки.

— Тише, — схватил его за ремень другой солдат и усадил на место.

— А кто руководит революцией? — спросил хозяин.

— Ленин! Владимир Ильич Ленин. Недавно он был за границей, а сейчас в Петрограде. Исключительно преданный народу человек.

— Ленин! — повторил Велин, будто запоминая это имя.

— Ленин! — задумчиво сказал Попдимитров. — А что думают принимать большевики?

— Они хотят заключить мир, землю отдать крестьянам. И уже приступили к этому, а заводы один за другим уже переходят в руки самих рабочих. Знаете, что сказал товарищ Ленин в тот день,

когда был взят штурмом Зимний дворец? Запомните: он сказал, что это начало новой эры в истории России и что нынешняя революция приведет к победе социализма.

Двое солдат встали и по-братски обнялись.

— Эх, быть бы и нам сейчас вместе с ними! — повторил Велин.

Где-то недалеко пропел петух.

— Товарищ Димитров, вы принесли нам очень радостную, очень важную новость. Согласны ли вы завтра к вечеру выступить перед нашими самыми преданными товарищами, чтобы они услышали об этом из ваших уст?

— Конечно, — ответил Димитров. — Где и когда?

— Завтра вечером. Нас будет пять-шесть человек, мы займем столик в большом кафе «Варвара», что находится у самого истока Драмотицы... Спокойной ночи, товарищи, — попрощался Попдимитров с солдатами.

Велин разулся и босой отправился за товарищем.

На следующий день, когда солнце уже начало скрываться за ветвями миндаля, росшего напротив окна начальника полевой почты, в комнату к Попдимитрову без стука вбежал Велин.

— Разрешите доложить! — отдал честь босоногий солдат.

— Говори. Все ли в порядке?

— Никак нет, господин начальник! Наши, как и было условлено, заняли место позади старого платана, но за соседний столик неожиданно уселись два стукача. Ох, послал бы я их к черту! Ломаного гроша не имеют, а явились в кафе. Я звал их прогуляться за город, так не идут. Пронюхали что-то. Весь город, товарищ Димитров, я думаю, знает, что вы здесь...

Димитров нахмурился и, взявшись за шляпу, сказал:

— Я удалю их. Встреча должна состояться.

Когда Велин, начальник почты и гость вошли в небольшой садик при кафе, глаза всех обратились к представителю трудового народа — Димитрову. Он остановился у входа, глянул сначала на сидевших за столиком позади платана, а затем задержал взгляд на агентах, дремавших у пустого стола. Быстрыми шагами он направился к ним и громко сказал:

— Здравствуйте, молодцы! Раз вам поручили следить за депутатом, то должны были угостить вас и кофе. Эй, официант, принесите этим молодцам по чашечке кофе за мой счет!

Сад взорвался веселым смехом. Уши агентов покраснели. Они в смущении вскочили и с опущенными головами направились к выходу. Один из них промямлил:

— Мы, господин Димитров, пришли сюда не по своей воле. Вы же знаете — служба...

Димитров улыбнулся и пошел к столику у платана, где его ждали люди со смуглыми лицами и открытыми сердцами.

В ИСКЫРСКОМ УЩЕЛЬЕ



Шахтеры пришли последними. Зал был уже битком набит. Матейка с трудом протиснулся сквозь толпу у двери. Он задул шахтерскую лампу и, расталкивая толпящихся рабочих, перешагнул через порог. Но и внутри, в зале, люди стояли плотной стеной. Низкорослый кочегар видел одни лишь спины и головы людей да белокорые стволы и ветви деревьев, нарисованных на кулисах. От свисающей с потолка засиженной мухами лампочки струился лимонно-желтый свет. Холодный ветер силился разорвать бумагу, которой были заклеены разбитые окна, стремился ворваться в зал.

— Куда это ты прешь, как слепой! Разве не видишь, что яблоку негде упасть? — прикрикнул на Матейку какой-то небритый, черномазый мужчина.

— Хоть глазком на него взглянуть!

— Тогда полезай мне на голову! — прорычал небритый мужчина.

Измученные, озлобленные рабочие были доведены до предела. Большая всеобщая забастовка, продолжавшаяся целых пятьдесят дней, завершилась провалом. Предатели из профсоюза паровозников и соглашатели из профсоюза почтово-телеграфных служащих предали интересы рабочего класса. Вспыхнувшая было обманчивая надежда озарила на какое-то мгновение манящий путь в будущее и угасла. Снова загудели паровозы и сдвинулись с места составы; по канатной дороге снова побежали над скалами груженные рудой вагонетки; телеграфисты сели у своих аппаратов; учителя вошли в душные классы... Но камень, который тяжким бременем лежал на сердце у каждого рабочего человека, стал еще тяжелее. Зима свирепствовала. Ветер сдул снег с деревьев и угрожающе раскачивал их ветви. У людей не было ни дров, ни угля. Дети ходили в лохмотьях, дрожали от холода. Не хватало хлеба. В то же время у мироедов было все. Их карманы были туго набиты деньгами, награбленными во время войны, и в их кладовых хранились мешки с мукой, ящики с сахаром, бочки с брынзой, копченые окорока, жестянки с оливковым маслом. Они ввозили для себя из-за океана белую как снег муку, и Народный банк оплачивал ее золотом. А бумажный лев таял, словно снежинка на пылающей жаром ладони больного. Хоззевая жирела за счет народа. Газета «Работнически вестник» выходила вся изъеденная молю цenzуры. По ночам полицейские вламывались в дома, вылавливали коммунистов.

— Тебе на голову я лезть не собираюсь, но, ежели подсобишь взобраться вон на тот подоконник, буду очень благодарен. Ничего не поделаешь, ростом я не вышел, — добродушно сказал небритому Матейке.

Тот взглянул на него искоса. Ему понравилась застенчивая улыбка парня в солдатской фуражке без кокарды, такого же черномазого, как и он сам.



*Члены пионерской организации «Септемврийче» в гостях
у Георгия Димитрова, София, 16 мая 1947 г.
Митинг трудящихся Софии по случаю II съезда
Отечественного фронта 3 февраля 1948 года.*



Георгий Димитров.

— Что ж, подсоблю,— сказал он и, подставив руку под согнутую в колене ногу Матейки, подтолкнул его вверх.

— Кочегар ловко вскочил на потрескавшийся подоконник.

— Ну как? — спросил небритый.

— Все тот же. Таким я его видел и в Софии, когда мы хоронили трех убитых рабочих. Он шел впереди и не обращал ни малейшего внимания на винтовки полицейских. А мы шли за ним и несли три гроба.

— Кто же их убил? — подался вперед Лазарь Бочар, здоровенный детина, бессменный знаменосец на первомайских демонстрациях. Краем уха он давно уже прислушивался к их разговору и теперь сгорал от нетерпения принять в нем участие.

— Ну куда это ты опять лезешь? — схватила его за локоть жена, сухошавая, преждевременно состарившаяся женщина, всю жизнь не снимавшая черного траурного платка, ибо ей пришлось похоронить одного за другим всех своих детей.

Матейка приложил палец к губам:

— Тише! Начинает!

Матейка увидел, как секретарь Всеобщего объединения рабочих профсоюзов сделал несколько шагов по сцене и остановился у суфлерской будки. При первых же словах оратора с лица кочегара исчезло виноватое выражение, и ему на смену пришла хорошая, светлая улыбка. Он знал, что оратор скажет что-то необыкновенное, что он волеет новую веру в сердца всех, кто пришел сюда отчаявшимся и хмурым, не зная, какой путь избрать, куда податься. И по мере того как креп голос оратора, шахтеры забывали свои страдания, забывали ругань, побои и угрозы, с которыми они сталкивались каждый день, и начинали понимать, что борьба еще не окончена и что ее надо довести до конца.

— Нас, коммунистов, рабочий класс, называют дармоедами! Кто же нас так называет? Те, кто, словно клещи, впились в тело народа и сосут его кровь,— крупные капиталисты, кулаки, царские лакеи. Мы для них являемся городскими бездельниками. Взгляните на свои мозолистые руки, товарищи шахтеры, и скажите: бездельники ли коммунисты? Говорят, что мы хотим кормить людей из общего котла так же, как якобы большевики кормят русский народ; говорят, что мы хотим сделать общими землю крестьян и их жен. Вряд ли найдется здравомыслящий человек, который поверил бы в такую чушь. Товарищи, в России Коммунистическая партия отняла поместья не у крестьян, ведь у них никогда их не было. Наоборот, она дала крестьянам землю. Сделала их хозяевами огромных имений, которыми испокон веков владели помещики. А что касается женщин, то пусть не обманывают легковерных те, кто торгует своими дочерьми, кто готов продать свою жену, кто ночи напролет проводит в кабаре и не моргнув глазом посягает на чужую честь. Коммунистическая партия борется за чистоту и святость домашнего очага, за семью, в которой женщина будет не рабыней и домашней скотиной, а другом и соратником мужа...

— Слыхала? — толкнул локтем жену Лазарь Бочар, который знал, что в церкви старый поп Никола забивает голову богомольным бабам всякой чушью.

А Матейка, окинув победоносным взглядом весь зал, поставил лампу на подоконник и громко захлопал в ладоши. Потом снова взял в руки свой светильник.

Рабочие слушали как замороженные. Лица посветлели, в глазах появился огонь. Словно по мановению волшебной палочки был снят тяжелый камень, лежавший у них на сердце.

— Чего мы требуем? Во имя чего зовем рабочих и крестьян встать в эту суровую зиму под наше знамя? Мы требуем, — в голосе оратора появились стальные нотки, — хлеба, угля, одежды и крова для народа. Мы требуем, чтобы были сняты кандалы с рук товарищей, брошенных в тюрьмы военно-полевыми судами. Мы требуем привлечения к суду виновников военной катастрофы — тех, кто усеял могилами долину Вардара и каменные холмы Македонии. И те люди осмеливаются называть политическими разбойниками нас, болгарских коммунистов, забывая, что в пятнадцатом году единственно мы выступили с манифестом против войны!

Готовясь захлопать оратору, Матейка опять поставил лампу на подоконник, но в эту минуту в зал ворвалось человек пять-шесть полицейских с поднятыми над головами ружьями, как при переправе вброд через глубокую и бурную реку. Ими командовал пристав, с черными усиками и кошачьими глазами. Стуча по полу коваными сапогами, полицейские начали расталкивать притихших людей. Пристав остановился рядом с Бочаром, обшарил взглядом зал и, щуя глаза, пристально посмотрел на оратора. Потом он взмахнул руками и крикнул:

— Прекратить собрание! Приказываю всем разойтись по домам!

Георгий Димитров не пошевелился. Не обращая никакого внимания на полицейских, он продолжал говорить. Слова его, точно плетка, хлестали жандарма по лицу.

— Эй, Димитров, тебе говорю — прекращай болтовню! — впился в него своими кошачьими глазами пристав. — Ты арестован. Следуй за мной!

Ни один мускул не дрогнул на лице оратора. Димитров лишь сделал небрежное движение рукой, будто прогоняя надоедливую муху. Толпа зашевелилась. По последним рядам прокатился глухой ропот, подобный грохоту приближающегося состава. А над этим ропотом гремел голос Димитрова — неуправляемый, как бурный горный поток, влекущий за собой камни. Матейка прикусил нижнюю губу, его дыхание участилось.

Полицейский побледнел. Дрожа от ярости, он выхватил из кобуры револьвер и направил его на оратора.

— Замолчи, или я застрелю тебя! — заорал он не своим голосом. — Раз!

Но перед ним стоял бесстрашный человек. Не сводя глаз с руки, держащей револьвер, Георгий Димитров выкрикнул:

— Да здравствует Болгарская коммунистическая партия!

— Два! — прозвучал голос полицейского.

— Да здравствует Республика Советов! — прогремел над толпой голос Димитрова.

— Ой, мамочки, застрелит! — вскрикнула жена Лазаря. — Чего вы смотрите, ведь этот зверь и вправду застрелит хорошего человека! — И она закрыла глаза руками.

И тут произошло нечто необыкновенное. Через головы рабочих, точно пантера, Матейка бросился на полицейского. Рука у пристава дрогнула, раздался выстрел, и пуля вонзилась в потолок.

— Так, значит!..— взревел Бочар и протянул свои огромные лапы к приставу, но тот уже исчез под ногами навалившихся на него рабочих. Поднялся адский шум. Затрещали стулья. Под градом сыпавшихся на них ударов полицейские еле-еле унесли ноги.

— Держи его! — раздался во мраке голос Лазаря.— Стой, мерзавец, стой! Сейчас утоплю тебя в реке, как конопляный сноп!

Но пристав успел незаметно улизнуть и, дрожа как лист, забился в пустой угольный сарай...

Через полчаса на станции остановился ночной поезд. На лицах шахтеров, пришедших проводить оратора, играли отблески света, лившегося из окон вагонов. Георгий Димитров отыскал глазами маленького кочегара и, быстро подойдя к нему, схватил его за руку:

— Спасибо тебе! От всего сердца спасибо. Тот пес непременно бы застрелил меня, если бы ты не бросился на него.

— Что вы, товарищ Димитров, это пустяки,— ответил Матейка, и его лицо снова озарила улыбка.

— Закрывай двери!— донесся издали чей-то хриплый голос.

Поезд тронулся. Георгий Димитров вскочил на подножку первого вагона и махал рукой рабочим до тех пор, пока состав не скрылся во мраке Искырского ущелья.

В ДЫМНОМ ШАХТЕРСКОМ ГОРОДЕ



лло, кто у телефона?

— Комендант Перника. А кто спрашивает?

— Военный министр.

Комендант вскочил со стула:

— Слушаю, господин министр!

— Что у вас там происходит?

— Ничего особенного, господин министр!

— Как так ничего особенного? А что случилось с вашим гарнизоном?

— Его обезоружили.

— Кто?

— Шахтеры.

— А вас, случайно, не раздели?

Воцаряется молчание. Комендант не знает, что ответить, обливается потом.

Министр требует:

— Доложите, как все это произошло!

— Господин министр, вчера, узнав, что в Перник приезжает Димитров, я лично повел две роты, чтобы арестовать его, как только он сойдет с поезда. Но на вокзале его поджидали человет пятьсот — шестьсот шахтеров.

— Они были вооружены?

— Никак нет, не были.

— Продолжайте.

— Я спросил их вожака Темелко Ненкова: «Зачем пришли сюда ваши люди?», а он мне: «А ваши?»— «Мы,— говорю я ему,— выполняем приказ!»— «И мы выполняем приказ»,— отвечает мне бунтовщик. «Ах, так?»— «Точно так!» Тут меня взорвало, и я решил разогнать их силой. Скомандовал солдатам: «Роты, смирно! К бою готовься!» Но ни один из солдат не поднял винтовки. Еще хуже, господин министр,— они смотрели на меня так, будто с неба свалились, будто я говорил с ними на непонятном языке. Тут шахтеры запели «Интернационал». Пели так громко, что заглушили вой ветра.

— Ну а вы?

— Я снова попытался двинуть солдат, но шахтеры закричали: «Товарищи, братья солдаты! Не выполняйте безумный приказ вашего командира. Идите с нами!» А один из них растолкал собравшихся, вышел вперед и как закричит: «Кто посмеет посягнуть на шахтера! Бросай ружья!»

— И обе ваши роты передали оружие взбунтовавшейся толпе?

— Так точно, господин...

— А вы? Что сделали вы, их командир!

— Я... я... был вынужден отступить.

— Отступить?.. Да вы просто бежали на глазах у врага! Вы дезертир! Шахтеры обезоруживают ваших солдат, а вы удираете, точно заяц... Да знаете ли вы, что вас ждет?

— Так точно, знаю...

— Ну, а дальше? Что случилось дальше?

— Прибыл софийский поезд. Из первого вагона вышел тот, арестант. Увидев его, шахтеры от радости посходили с ума. Обнимают его, кричат «ура».

— А ваши обезоруженные «герои»?

— Они кричали больше всех. Потом понесли его на руках в город.

— Где сейчас находится Димитров?

— На площади, господин министр.

— Что он там делает?

— Говорит на митинге. Собралась огромная толпа шахтеров, жителей города и солдат.

— Каких солдат?

— Тех, кто работает в шахтах.

— Так это же настоящий бунт! Генерал Кретьен, как узнает об этом, намылит нам шею! Немедленно разогнать митинг и доставить мне оратора!

— Не могу, господин министр, у меня нет солдат!

— Не можете?.. Как вы смеете так отвечать? Негодяй!

Министр яростно швырнул трубку телефона и нажал белую кнопку звонка.

Через два часа от софийского вокзала отошли три эшелона — с пехотой, кавалерией и орудиями. Тяжело пыхтя, паровозы поволокли вагоны к Горна-Бане.

— Собирайся, пойдем вместе на митинг! — обратился пожилой шахтер к своему товарищу, который возился у обледенной колонки, тщательно пытаясь открыть кран, чтобы вымыть черные от угля руки.

— Ступай один. Просмотри, на кого я похож! Увидят — засмеют.

Шахтер оглядел товарища с головы до ног. Вид у того был жалкий: фуражка без козырька, кокарда болтается на одной нитке, не шинель, а лохмотья, вместо ремня — веревочка, сапоги ощерились — подметки отваливаются. Рубит уголь до потери сознания, а получает миску вареной пшеницы и спит на голой земле в дощатом бараке. А тут еще и воды нет, руки нельзя вымыть.

— Идем, брат, послушаем своего человека.

— Словами сыт не будешь. Мне бы хлеба буханку, отломить вот такую краюху, посыпать красным перцем и солью — да в рот...

— Пойдем, не пожалеешь! Наши принесли его с вокзала на руках.

— Что же это за человек?

— Коммунист. Три дня тому назад вышел из тюрьмы. Три года получил, да пришлось тюремщикам выпустить его: поняли, что несдобровать им.

— За что же его посадили?

— Намылил шею одному нашему полковнику. Тот — подумай только! — позволил себе на глазах у Георгия Димитрова вытолкнуть раненого солдата из пассажирского вагона! Мол, куда это лезешь? Пассажирские вагоны для офицеров, а вам и товарных хватит!

— Так это, значит, Георгий Димитров приехал? Что же ты мне сразу не сказал, что он будет говорить!

Солдат засуетился, затянул веревку, которой был подпоясан, и зашагал вместе со старым шахтером к площади. Площадь была битком набита народом. Притихшее людское море. Оратор, высокий, стройный человек с изнуренным от пребывания в тюрьме лицом и пышными всклокоченными волосами, что-то говорил, размахивая руками. Опоздавшие шахтеры ничего не слышали, так как зимний ветер уносил его слова куда-то вниз, к реке. Они попытались было пробиться сквозь толпу к столу, на котором стоял Димитров, но из этого ничего не получились.

— Ничего не слышу. У меня барабанная перепонка лопнула — мина разорвалась рядом со мной, чуть было не убила там, у излучины Черной реки. А ты, Сотир, залез бы на забор — оттуда слышнее и виднее. А потом расскажешь обо всем.

Солдат подбежал к кирпичному забору и ловко взобрался на его покрытый двумя рядами черепицы, запорошенный снегом гребень. Засунув палец под веревку, заменявшую ему ремень, он выставил вперед ногу, выпятил грудь, словно позируя перед фотоаппаратом, и наострил уши.

—...Я выхожу из мрачной тюремной камеры окрыленным, потому что у нас на глазах совершается величайший в истории перелом. Буря Великой Октябрьской революции смела прогнивший строй русских царей и помещиков, с рук миллионов обездоленных людей упали путы векового рабства. Заря, занимающаяся на Востоке, заливают потоками света всю Европу. Ее лучи озарили и нас. Товарищи, приближается день нашего освобождения! А что же происходит здесь в эти знаменательные дни? Шахтеры голодают, а преступники, усеявшие Македонию могилами, не знают, куда девать свои деньги, и открывают новые банки, чтобы продолжать грабить народ. Столица дрожит от холода, оккупанты вают заборы и жгут их, чтобы согреться, а опытные шахтеры бегут с шахт, потому что не вмогут им работать на голодный желу-

док. Почему пригнали сюда молодых солдат, мучают их, заставляют заниматься не своим делом — рубить уголь? Потому что без перникского «черного золота» перестанут дымить трубы фабрик и заводов, остановятся поезда, закроются правительственные учреждения! Мы говорим тем, кто стоит у власти: накормите народ, дайте ему кров и культуру, не мучьте детей, тогда и угля будет вдоволь.

— Правильно! Верно! — загремела площадь.

Сотир, забыв, где он находится, начал аплодировать, покачнулся и, раскинув руки, свалился с забора в сугроб.

На перникский вокзал прибыли эшелоны с орудиями и солдатами. Из вагонов повыскакивали солдаты, кавалеристы вывели лошадей, артиллеристы выкатили орудия и направили их грозные жерла на окутанный дымом шахтерский город. Хмурые шахтеры разошлись по баракам; заперев ворота на запор, попрятались в домах горожане. Зловещая тишина воцарилась над городом. Были слышны только топот кованых сапог и цокот копыт. Блеск штыков бросил в дрожь тех, кто пытался сквозь замерзшие стекла разглядеть, что творилось на улице.

Арестованного Димитрова отвели на вокзал под охраной целого эскадрона кавалеристов. Эскадронный ехал с обнаженной саблей и озирался по сторонам. Он знал, что перникские шахтеры готовы броситься в огонь ради этого опасного человека, который в пальто с поднятым воротником и в рабочей кепке спокойно шагал впереди конвоя. А дежурный телеграфист лихорадочно выстукивал точки и тире, сообщая в столицу, что Димитров снова арестован. Всколыхнулась рабочая София. Мгновенно опустели партийные клубы, занятия кружков были отменены. Ночная смена железнодорожного завода бросила работу, вышли на улицу и печатники, закрылись мастерские ремесленников, опустели похожие на собачьи конуры клетушки сапожников. Бульвар Марии-Луизы залили толпы народа. Жестокая зима ледяным ветром встретила неудержимый человеческий поток.

Жители рабочего пригорода Надежда, которые толпились на трамвайном мосту через железную дорогу, ожидали увидеть три пары огненных глаз, три эшелона, идущих из Перника. Но к их удивлению, под мостом промчался лишь один паровоз, весь облепленный солдатами. На этом паровозе привезли Георгия Димитрова. На перроне солдаты окружили его плотным кольцом и повели к выходу. Но на привокзальной площади их встретила разбушевавшаяся людская стихия. Гул сотен голосов разорвал вчерашние сумерки:

— Куда вы его ведете?

— Он только вчера вышел из тюрьмы!

— Пустите защитника народа!

— Освободите его!

— У-у-у-у! — прокатился над площадью угрожающий шум, похожий на гул разгулявшейся вьюги.

Димитров обвел взглядом огромную толпу людей, улыбнулся и снял кепку.

— Назад! — крикнули конвоиры и направили винтовки на толпу.

Но никто не двинулся с места. Французские солдаты, патрулировавшие у вокзала, с изумлением наблюдали за тем, что происходит.

— Кого встречаете?— спросил один из них на ломаном болгарском языке.

— Георгия Димитрова,— ответило несколько голосов.

— Кто он такой?

— Большевик!

Французские солдаты переглянулись между собой, обменялись несколькими словами и поднялись на цыпочки, чтобы лучше видеть. Один из них юркнул в толпу, добрался до конвоиров и начал кричать:

— Vive les Soviets!¹

— Что кричит этот француз? — спросил командир конвоя.

— Верно, требует, чтобы вы освободили арестованного!

— Кто здесь приказывает? — рявкнул командир.

— Народ! — ответили ему из задних рядов.

— Народ! — подхватила вся площадь.

В этот вечер героический народ вырвал своего любимого вождя из рук полиции. Допоздна гремели на улицах революционные песни.

Когда командующий оккупационными войсками генерал Кретьен узнал о большом митинге в Пернике и об участии его солдат в освобождении вождя коммунистов, он пришел в бешенство и немедленно распорядился прекратить освобождение болгарских военнопленных из Первой дивизии.

Димитров вернулся домой после полуночи, сел у огня и долго грел замерзшие руки. Сестры смотрели на него с восхищением: вот какой у них брат — весь город встал на его защиту! Бабушка Парашкева журила его:

— И когда ты, наконец, уgomонишься, сынок! Ведь из тюрьмы-то только вчера вышел. Вот и сидел бы дома, в тепле. Больше никуда я тебя не пушу. Слышишь? Обещай, что не будешь выходить из дому!

Георгий шутливо ответил:

— Ладно, мама, обещаю: до утра никуда не буду выходить.

¹ Да здравствуют Советы! (франц.)



РАССКАЗЫ



Георгио Бянтзовскии В СВОБОДНОЙ БОЛГАРИИ

В жизни и деятельности Георгия Димитрова я знал очень давно. Можно сказать, что мое формирование как личности еще с отроческих лет проходило под его влиянием. Мы читали таинственную для нас «Коричневую книгу» и передававшийся из рук в руки текст речи Димитрова на Лейпцигском процессе. Нас восхищал его легендарный героизм, и поэтому мы приравнивали его к мифическим героям античности. Затем стало известно о «новом курсе», «димитровском курсе» в партии и в РМС¹, о том, что товарищ Димитров — вожь нашей партии. Мы жадно читали его доклад на VII конгрессе Коммунистического Интернационала, нелегально доставленный в Болгарию. На конспиративных встречах обсуждали его указания о Народном фронте и Едином фронте против фашизма и войны. И по правде говоря, гордились тем, что наш болгарский товарищ стоит во главе всемирного союза коммунистов. В годы войны до нас, томившихся в тюрьмах, доходили его советы развертывать борьбу шире и более умело. Спустя немногим более месяца после того, как Димитров возвратился из эмиграции в Болгарию, я, находясь тогда в г. Исперихе, куда был направлен уполномоченным ЦК РМС для участия в организации предвыборной кампании, слушал его речь, передававшуюся по софийскому радио. Но кафе, в котором я слушал его речь, было так переполнено людьми, сидевшими в табачном дыму, а речь так оживленно комментировалась присутствовавшими, что я не мог полностью расслышать ее.

И вот сейчас я ехал к нему. Это мне казалось чем-то невероятным...

Я сошел с трамвая и без особого труда нашел железную ограду, около которой стоял милиционер.

Постовой был предупрежден и открыл железную калитку. Дальше двор с садом-парком, двухэтажная дача; у входа меня встретил молодой человек и проводил в здание. Я снял пальто и, миновав холл, оказался в кабинете. Там меня встретил приветливой улыбкой секретарь Г. Димитрова Асен Григоров, который поздоровался со мной, как старый знакомый и хороший друг...

Через несколько минут в противоположном конце холла открылась дверь, и к нам направился Георгий Димитров. Он шел по ковру, а я внимательно разглядывал его. Ему было 63 года. Это был представительный и внушающий уважение человек, подтянутый, с плотной

¹ РМС — Революционный молодежный союз.

фигурой, с уверенной и энергичной походкой. Увидев меня, он слегка улыбнулся и в знак приветствия махнул правой рукой. Я встал.

— Вы уже прибыли? — спросил он и подал мне руку.

Я не помню, что ответил, да и ответил ли вообще.

Он продолжал спрашивать, сохраняя сердечный, приветливый тон:

— Будем вместе работать, да?

— Да, товарищ Димитров, — произнес я, лишь бы что-то сказать.

Затем он сказал нам:

— Сразу распределите обязанности. Вы, — обратился он ко мне, — будете выполнять поручения по линии Народного собрания, а Григоров по линии ЦК. Вы объясните ему, — сказал он Григорову, — в чем заключается эта работа.

«Он обращается к нему на «вы», — удивился я про себя. — К тому же в тоне его голоса нет никакой повелительности».

Димитров сел за бюро, и я присел на табурет. Я начал что-то делать, но все мое внимание было приковано к нему. У Димитрова были поседевшие, редкие, артистически зачесанные назад волосы, огромный лоб, пышные черные усы, кожа лица была особенной — розовато-белой, большие глаза, которые излучали доброту, светились огнем. Уже с первого взгляда Георгий Димитров производил неотразимое впечатление красивого, мужественного человека...

Вчера вечером¹ я был свидетелем небольшого эпизода, который дал мне возможность увидеть близко Димитрова и узнать некоторые новые данные его биографии.

Недавно Димитрову прислали анкету из I районного комитета БРП(к) Софии. Каждый коммунист должен был заполнить ее для оформления своего членства в партии. И вот вчера вечером товарищ Димитров заполнил анкету — он диктовал ответы машинистке. Потом проверил написанное в анкете, поставил дату и подпись. Вот эта анкета и его ответы:

Фамилия. Имя. Имя по отцу — Михайлов Георгий Димитров.

Образование — Два класса прогимназии.

Профессия — Наборщик.

С какого года являетесь членом БРП(к)? — Член партии без прерыва с 1902 г. (!)

Какие занимал выборно-партийные посты, когда, где? — С 1909 г. по настоящее время — член ЦК. С 1913 по 1923 г. — депутат, общинный и окружной советник; сейчас — депутат Народного собрания 26-го созыва.

Являетесь ли членом профсоюза? — Да.

Социальное положение — рабочий, крестьянин, служащий, интеллигент — Рабочий.

Каким владеешь имуществом? — Никаким.

Социальное происхождение — Из рабочей семьи.

Участвовал ли в Сентябрьском восстании в 1923 г. и в качестве кого — бойца, командира? — Один из руководителей.

Участвовал ли в повстанческом движении в 1941—1944 гг. и в качестве

кого — бойца, командира, политического работника? — (Здесь было поставлено тире; он не нашел, как определить степень своего участия, ибо она действительно как-то не укладывалась в эту графу.)

Был ли осужден за революционную деятельность, когда, где и на сколько лет; сколько лет сидел в тюрьме? — В 1912 г. — один месяц; в 1917 г.¹ — на три года строгого тюремного заключения; в Германии с 9 марта 1933 г. по 27 февраля 1934 г. (Он не упомянул о 2 смертных приговорах в 1923—1925 гг. и некоторых других суровых приговорах, вынесенных ему заочно в этот период, а указал лишь время, когда сидел в тюрьмах.)

Как вы вели себя в полиции, на суде, в тюрьме, в концлагере? — (Снова прочерк. Прочитав вопрос, он задумался, затем махнул рукой — пусть так и останется. Думаю, что я понял его — на вопросы в этой графе отвечают стереотипно — «плохо», «хорошо» или добавляют какое-либо примечание. Ему же не хотелось давать характеристику своему поведению.)

Кем работал накануне 9. IX. 1944 г.? — Работник ЦК БРП и депутат Верховного Совета СССР. (И только!)

Трудовая деятельность — До 1905 г. — наборщик в разных типографиях. С 1905 по 1907 г. — делопроизводитель синдикального союза. С 1907 по 1927 г.² — секретарь синдикального союза; с октября 1923 г. по январь 1924 г. — редактор газеты «Рабочнически вестник», издававшейся в Вене; с 1924 г. по март 1933 г. — член Исполкома Коминтерна; с 1935 по 1943 г. — Генеральный секретарь Коминтерна.

Дата: 18.XII.1945 г.

Подпись: Г. Димитров.

[Аналогичную анкету Георгий Димитров, заполнял ровно через год. В ней уточнялись и дополнялись сведения, содержащиеся в прежней анкете. На этот раз личный листок по учету кадров был составлен отделом кадров ЦК партии. Георгий Димитров заполнил его сам и передал нам для отправки в отдел кадров. Вот некоторые вопросы и ответы:

1. *Фамилия, имя, имя по отцу* — Михайлов Георгий Димитров.

(Его фамилия — Михайлов, а имя по отцу — Димитров. Но с давних пор он известен как Димитров, а не Михайлов. Во время его пребывания в эмиграции в СССР советские товарищи, у которых принято обращаться по имени и отчеству, начали употреблять при обращениях к нему не совсем точное, но удобное «Георгий Михайлович». Так его фамилия превратилась в отчество, а затем многие из-за неосведомленности стали путать и путают, принимая его фамилию «Михайлов» за его имя по отцу.)

20. *Образование* — Незаконченное среднее. (Разница в сравнении с ответом в первой анкете условна, так как здесь употреблено русское выражение о среднем образовании.)

23. *Каким иностранным языком владеете и как?* — Хорошо... русским и немецким.

¹ Так в тексте. — Примеч. пер.

² Так в тексте. — Примеч. пер.

24. На вопрос об эмиграции ответил для краткости так: — С октября 1923 г. по ноябрь 1945 г. — в Советском Союзе. (Хотя немало времени жил в Австрии, Германии и других странах.)

26. Участвовал ли в Сентябрьском восстании 1923 г., где и в качестве кого? — Участвовал в качестве руководителя штаба восстания.

27. Участвовал ли в партизанском движении и в подпольной работе в 1941—1944 гг., в качестве кого и где? — Помогал из Москвы. (Он написал так, но фактически издавелека руководил борьбой народа...)]

В тот же день, в понедельник, к вечеру товарищ Димитров почувствовал недомогание, у него поднялась температура, видимо, он простудился. Врачи рекомендовали ему не выходить на улицу. Вчере и сегодня он нигуда не выходил. Сегодня долго работал в кабинете — вносил последние поправки в проект своей речи в Народном собрании. Часов в одиннадцать к нему в кабинет вошла Роза Юльевна — так, по русскому обычаю, называли его супругу. Это довольно полная, румяная, энергичная женщина лет сорока шести. Она пытается говорить по-болгарски.

— Георгий, нали (ведь) врачи запретили!

Он посмотрел на нее и улыбнулся.

— Запретили выходить на улицу, а я, — он развел руками, — я нахожусь дома.

Роза Юльевна — ее девичья фамилия Флайшман — вторая жена Димитрова. Она родилась и выросла в Чехословакии, где участвовала в коммунистическом движении...

Возвращение Георгия Димитрова на родину вылилось в демонстрацию любви к нему со стороны народных масс, вызвало ярость противников. Напуганные ростом его авторитета и популярности, оппозиционные газеты злобно набросились на него и пытались опорочить, скомпрометировать, ослабить его влияние на массы. Еще 11 ноября газета «Знаме» (черное)¹ хотела опубликовать клеветническую статью против Димитрова. Но печатники отказались ее набирать, заявив, что не потерпят клеветы в адрес Георгия Димитрова. Позавчера сообщалось, что редакция этой газеты сумела найти типографию и печатников и возобновила выпуск своей газеты. Очернить Димитрова намеревалась и газета «Зелено знаме», пытавшаяся в статье, подготовленной в связи с приездом Георгия Димитрова на родину, сохранить такую фразу: «С каким заданием он прибыл, народ не знает». Рабочие-печатники отказались набрать этот текст.

В защиту Димитрова выступили люди, олицетворявшие совесть страны. Поэт Младен Исаев написал эссе «Исторический вечер», в котором рассказал о впечатлениях от первой речи Димитрова на родине — в На-

¹ Ряд оппозиционных газет назывались народом по-своему, в зависимости от цвета краски, которым печатались их названия. Газету «Знаме» — печатный орган Демократической партии во главе с Мушановым и Гиргиновым, защищавшую интересы крупного капитала и царского двора, прозвали «Черно знаме». Это была также оценка ее политического облика. А газета «Народно земеделско знаме» — орган оппозиционного земледельческого союза во главе с Николой Петковым, — название которой печаталось зеленой краской, стала известна как «Зелено знамя».

родном театре. С яркой речью по радио выступил министр информации и искусств Димо Казасов¹, который сказал: «Болгарский народ не позволит запятнать имя, авторитет и славу своего Георгия Димитрова».

30 ноября Димитров через печать выразил благодарность всем, кто поздравил его с возвращением на родину. Он заверил народ, что, несмотря на неприязнь врагов, будет продолжать работать ради торжества дела Отечественного фронта и прогресса Болгарии. Своим противникам он ответил так: «Надеюсь, что у врагов нашего народа будет немало случаев еще больше разочароваться, чем это было в момент моего возвращения на родную болгарскую землю».

С возвращением Георгия Димитрова на родину политическая жизнь в стране значительно активизировалась. Нужно было четко определить свое отношение к главным вопросам, стоявшим перед страной, занять более ясные позиции. К этому времени укрепился Отечественный фронт, резко ослабли центробежные тенденции в партиях Отечественного фронта, упрочились позиции здоровых сил в отдельных партиях, входивших в Отечественный фронт, и — это главный результат возвращения Димитрова — возрос авторитет Рабочей партии (коммунистов), яснее определилась ее роль как ведущей силы Отечественного фронта и народной власти.

Центральный Комитет партии возлагал на возвращение Димитрова большие надежды. Это особенно ясно выражено в письмах Трайчо Костова, посланных Георгию Димитрову в Москву.

9.X.1945 г. Трайчо Костов пишет Димитрову: «Мы с нетерпением ждем твоего приезда, так как обстановка в стране действительно очень осложнилась и крайне нужна твоя непосредственная помощь. Какое впечатление произведет твой приезд? Никто не подозревает, что ты вернешься накануне выборов, и никто еще не принимает этого во внимание».

В письме от 22.X.1945 г. говорилось: «Вот почему я считаю, что твой скорейший приезд сейчас еще более необходим. Он полностью и окончательно прояснит положение, покончит со всяческими колебаниями и сомнениями и до небывалой высоты поднимет боевой дух и уверенность масс; в этот решающий момент нам будет нужна твоя непосредственная помощь».

В письме от 30.X.1945 г. сказано: «Мы с огромной радостью будем ждать твоего скорого приезда. Какой подъем он вызовет во всей нашей партии и у всего нашего народа, с какой уверенностью все возьмется за работу! И какое смятение и замешательство вызовет он в лагере врагов!...»

Вчера отмечали Первое мая².

Это был поистине всенародный праздник. Перед зданием Народного собрания, где были сооружены трибуны, с 9 часов утра до 5 часов вечера беспрерывно текла людская река. Восемь часов подряд продолжалось это триумфальное шествие народа-победителя, совершившего и осуществлявшего революцию. Вначале я стоял на трибуне, а затем участвовал в манифестации, получив впечатление и как зритель, и как участник торжества. Демонстрация продолжалась намного дольше, чем было

¹ Он не принадлежал ни к одной политической партии.— *Примеч. пер.*

² 1 мая 1946 года.

предусмотрено программой. Не умолкали песни. Как только переставала петь одна группа, слова песни подхватывала другая, чередовались хоро и рученицы; не прекращались игры и танцы. Перед трибунами люди замедляли ход, почти останавливались, и площадь оглашалась их восторженными приветствиями. В колонне, где шли представители сел Софийской области, я видел любопытную и остроумную сценку. Демонстранты несли плакат, на котором было написано: «Так было!» (а можно было бы написать: «Так есть!»), а за ними тощие коровенки тянули телеги и сохи, а на другом плакате были написаны слова: «Так будет!» — под ними изображались тракторы, молотилки, жнейки. Поистине любопытная картина.

В демонстрации участвовало 200 тысяч человек.

Среди демонстрантов не было только стариков, старух и грудных детей, а также, конечно, тех, кто, притаившись за окнами, скрежетал зубами от ярости и надеялся на то, что каким-то чудом можно вернуть по домам эти разбуженные революцией массы.

Товарищ Димитров все время находился на трибуне, живо, с большим энтузиазмом реагировал на овации. Чтобы стоять на одном месте в продолжение восьми часов, требовалась большая сила воли. Кто-то из его охраны или врачей незаметно поставил возле него стул, сказав:

— Товарищ Димитров, пожалуйста, сядьте. Вы очень устали.

Георгий Димитров обернулся, сердито посмотрел на него и произнес:

— Имейте в виду, что только цари позволяют себе сидеть, когда перед ними проходит народ!

И продолжал, как и до этого, стоять перед идущим мимо трибун народом.

Некоторые наши руководители участвовали в первомайских торжествах в провинции, выступали там с речами.

В адрес товарища Димитрова поступает множество сердечных и трогательных поздравительных телеграмм из Болгарии и из-за рубежа от людей разного возраста и представляющих разные общественные круги.

Да, подумал я, наблюдая за демонстрацией и читая эти поздравления, в Болгарии никогда не было большей свободы!

Народ чувствует себя уверенно, устремлен в будущее, видит возможность осуществления своих идеалов, верит в счастливое будущее, и все это служит серьезным основанием для создания атмосферы свободы. Когда личные стремления сольются с общественным движением и целями, когда личность находит в общественном прогрессе воплощение своих чаяний, — именно тогда чувство свободы является полным и тогда человек чувствует себя счастливым...

Вчера, в воскресенье, 8 сентября 1946 года, состоялся референдум...

Вечером в Княжево прибыли и некоторые видные деятели партии. У товарища Димитрова был ужин, показывали фильм, а мы с Банчевыми дежурили у телефонов и ожидали предварительных результатов. Поздно вечером они стали известны — свыше 90% участвовавших в выборах избирателей отдали свои голоса за народную республику, и лишь 175 тысяч человек, т. е. около 4% избирателей, проголосовали за монархию.

— Почти весь народ отверг монархию! — сказал товарищ Димитров. Все поздравили друг друга с победой, и гости разъехались...

10 сентября¹ вечером Общий рабочий профессиональный союз дал ужин в честь иностранных профсоюзных делегаций и журналистов, приглашенных в нашу страну в связи с годовщиной 9 сентября и референдумом. Сам по себе он не отличался бы ничем особенным и о нем не стоило бы писать, если бы там не произнес речь Г. Димитров, к которой все чаще возвращаются историки...

Прежде всего Г. Димитров говорил о результатах референдума, о характере народной республики, которая будет установлена у нас, и о защите национальных интересов Болгарии в Париже. «Нам постоянно внушают, — сказал он, — что если Болгария отступит под нажимом реакционных кругов, то она будто бы получит более сносный мирный договор. Хотят, чтобы мы за тарелку чечевичной похлебки продали свою свободу и независимость, свое будущее... Болгарский народ, — подчеркнул он, —...не станет на колени перед подобными угрозами и шантажом... Болгарский народ, такой, каков он есть, каким он проявил себя в особенности 9 сентября 1944 года, и до сих пор, будет жить и существовать только независимо»². Коснувшись вопроса о том, за какую республику голосовал наш народ, он сказал: «...Наш народ 8 сентября голосовал не просто за республику, а подчеркнуто... за народную республику... *За народно-республиканское управление, а не за плутократическую республику*»³...

Страна идет к выборам в Великое народное собрание. Они состоятся 27 октября.

Уже началась напряженная предвыборная борьба.

Последние пять-шесть дней все внимание Центрального Комитета и товарища Димитрова приковано к этому событию.

В ЦК партии и во время встреч Димитрова с руководителями партий Отечественного фронта продолжительно и углубленно обсуждался вопрос о том, как Отечественный фронт будет участвовать в выборах — единым блоком с общим списком и общей платформой или отдельными списками. Оба способа имели как свои привлекательные, так и вызывающие тревогу стороны: не появятся ли трещины и разногласия в Отечественном фронте, если каждая партия выступит с самостоятельными списками; с другой стороны, не будет ли целесообразнее, если каждая партия покажет, чего она стоит и какой имеет вес? Эти доводы «за» и «против» обсуждались, принимались или отвергались, пока наконец все не пришли к общей точке зрения. Она была изложена на заседании Национального комитета Отечественного фронта, состоявшемся 18 сентября с участием центральных руководящих органов партий.

После консультаций было достигнуто соглашение о том, что партии Отечественного фронта выступят с единой платформой и единым списком, однако каждая со своими бюллетенями отдельных цветов, что само по себе внесет оживление в предвыборную борьбу и вызовет, естественно, ее подъем. Каждая партия будет выступать и в блоке Отечественного фронта, и вместе с тем самостоятельно, а это многое значит...

¹ 1946 года.

² Димитров Г. Избранные произведения, т. 2 (1941—1949 годы), с. 251.

³ Там же, с. 252.

...Стали известны и окончательные результаты выборов... Полная, безусловная, грандиозная победа Отечественного фронта! Полное преимущество в голосах и в депутатских местах за нашей партией. Наша партия показала себя первой и самой крупной политической организацией в стране. И вместе с тем еще более четко обозначилась поляризация общественных сил! Блестящая победа! Поражение оппозиции, или, как выразился товарищ Димитров, ее «тяжелое моральное и политическое поражение»...

Сегодня¹ около 15 часов Председатель Совета Министров Георгий Димитров вошел в зал Народного собрания в сопровождении министров. Депутаты большинства встретили его стоя, бурными аплодисментами. Георгий Димитров сел на место Председателя Совета Министров. Председательствующий в собрании Васил Коларов встал и, объявив заседание открытым, пригласил «всех господ министров принести присягу»; он зачитывал текст присяги, министры повторяли вслед за ним. Затем Васил Коларов предоставил слово Председателю Совета Министров для оглашения декларации нового правительства.

Вспыхнули бурные овации. Депутаты большинства, президиум, министры правительства встали.

Георгий Димитров взошел на трибуну в качестве Председателя Совета Министров Болгарии. В этом было что-то особенно значимое — теперь уже коммунист возглавляет правительство Болгарии. Это знаменовало собой новый этап в жизни страны. До сих пор народная власть создавалась, отстаивалась, утверждалась как власть социалистическая в перспективе, сейчас она уже инструмент построения социализма.

(Из книги Неделчо Ганчовский «Георгий Димитров, каким я его видел и запомнил», Партиздат, София, 1975)

¹ 28 ноября 1946 года.

ПОХОРОНЫ ДИМИТРОВА

еоргий Димитров — кто в Болгарии не знает этого имени, имени революционера, вождя, человека в лучшем смысле этого слова...

Шел 1948 год. Со дня победы над фашизмом прошло всего несколько лет. Как и все члены Революционного союза молодежи — ремсисты, я был полон энтузиазма, будущее казалось таким прекрасным! И вот именно тогда ко мне подкралась тяжелая болезнь — сказались годы подпольной жизни, напряженная работа на послевоенных стройках. Врачи беспомощно пожимали плечами. Моим близким они сказали, что в лучшем случае мне сохранят жизнь, но слепота и полный паралич неизбежны. Возможно, большее могли бы сделать советские врачи...

Товарищи по работе, узнав об этом, решили обратиться за помощью прямо к Георгию Димитрову. Я ничего не знал об их намерениях, а сам, конечно, никогда не решился бы на такой шаг.

Несмотря на огромную занятость, Георгий Димитров принял их, внимательно выслушал и сказал:

— Все ясно, ребята. Но нельзя забывать, что советский народ все еще не оправился после войны. Больницы и санатории переполнены инвалидами войны, людьми, перенесшими много страданий и лишений... Все-таки я постараюсь помочь, позвоните мне через несколько дней.

Прошло немного времени, и я оказался в Москве, в Боткинской больнице. Исследования, уколы, процедуры, операции... И наконец: «Вы будете двигаться! И видеть!»

Через несколько месяцев в самом начале июля 1949 года я вернулся в Софию. День моего приезда оказался пасмурным. Тяжелые облака нависали над крышами домов. Непрерывно моросил дождь, напевая свою заунывную песню. У прохожих были огорченные, потемневшие лица. Только что передали сообщение по радио — умер Георгий Димитров. Невероятно! Трудно было представить себе, что его больше нет. А вокруг все казалось таким будничным и серым...

Двери здания Народного собрания распахнуты настежь, в них непрерывным потоком вливается широкая людская река, чтобы на выходе, с противоположной стороны, разбиться на маленькие ручейки. Бли-

¹ Болгарский поэт Стоян Юруков повторил жизненный подвиг Николая Островского. Активный участник движения Сопротивления, активный строитель новой жизни, он сумел найти свое призвание, даже когда тяжелый недуг приковал его к постели. До самой своей смерти в 1980 году он много писал, работал в отделе писем газеты «Народна младеж». Многие его стихи стали популярными комсомольскими песнями.

жайшие улицы запружены народом. Кажется, вся София собралась здесь, чтобы излить свою скорбь. И не только София... Но разве может центральная площадь города вместить столько народа? Солдаты и школьники, рабочие и крестьяне — тысячи людей устремились сюда. Все молчат, на лицах застыло выражение боли и недоумения. То тут, то там возникают пробки, тогда раздается: «Товарищи, не спешите...» И снова наступает тишина. Все хотят попасть туда, где стоит гроб с телом Георгия Димитрова, словно не верят в реальность случившегося.

В сопровождении жены и нескольких товарищей по партизанскому отряду я протискиваюсь сквозь толпу. Я иду сам, опираясь на костыль. Наконец мы у гроба. Вот он, наш дорогой товарищ Димитров. Кажется, он просто заснул после напряженного рабочего дня.

Мавзолей был воздвигнут за одну неделю. Неделю день и ночь кипела работа на этой печальной стройке, по ночам — при ярком свете прожекторов. В тот день, когда белораморное сооружение стало последним пристанищем Великого болгарина, площади и улицы столицы снова оказались тесными для тысяч людей. Каждый хотел проститься с Георгием Димитровым, поклясться ему в том, что дело, за которое он боролся всю жизнь, пребудет в веках.

Мне не удалось в тот день попасть в мавзолей. На улице Стамбульского я сломал свой костыль. Пришлось вернуться домой. В тот день я написал стихи о Димитрове...

Мне не довелось видеть вблизи нашего вождя, не довелось разговаривать с ним. Но я смог ощутить на своей собственной судьбе безграничную человечность этого Великого болгарина, имя которого знают во всем мире.

Методу Бенятински

РОДСТВЕННИК

Когда бабушка Рада сказала, что завтра утром отправится в Софию, никто из соседей ей не поверил.

— К кому же ты поедешь?— удивлялись они.— Сын твой во Враце, а дочка с зятем уж три года в Родопах живут.

— Еще один родственник есть у меня в Софии,— отвечала бабушка Рада,— к нему и еду.

Озадаченные крестьяне считали и пересчитывали ее родню и все никак не могли понять, что это за новый родственник объявился у бабушки Рады.

На другой день рано утром бабушка Рада, одетая в лучшее свое платье, с букетом влажных полевых цветов стояла на автобусной остановке. Подошел автобус, и она уехала, сопровождаемая недоуменными взглядами соседей. На станции она дождалась поезда на Софию и, с трудом преодолев высокие ступеньки вагона, вошла в купе и села у окна.

Пока поезд пробирался между зелеными холмами с молодыми рощами и колосющейся пшеницей, она в волнении сжимала цветы в руке. «Время жаркое, только бы не завяли»,— с тревогой думала бабушка Рада. Давно уже не ездила она на поезде, и все казалось ей, что он ползет слишком медленно. Был, правда, путь покороче и побыстрее — автобусом до самой Софии,— но этот автобус идет из горных сел переполненный и у них в деревне не останавливается.

Приближался полдень. Паровоз засвистел и осторожно, словно на цыпочках, вошел в софийский вокзал. Люди вскочили с мест и зашпешили. Какая-то женщина с двумя корзинами, полными черешни, застряла в дверях. Кругом толкались, кричали, а бабушка Рада, прижав свой букет к груди, расставила локти, чтобы его не помяли. Наконец женщина протаснула свои корзины в дверь, поставила их на перрон и вытерла лоб своим пестрым фартуком.

Бабушка Рада вышла на станционную площадь и в растерянности остановилась. Куда же теперь? Прежде, когда она приезжала, ее встречали зять или дочь. С ними она чувствовала себя уверенно и спокойно. А может, спросить кого-нибудь? Верно ведь, что язык до Царьграда доведет. Но София не Царьград, засмеют еще. А самой-то разве найти дорогу?

Снуют вокруг люди с вещами, а бабушка Рада стоит, смотрит по сторонам и не знает, что делать. И тут подходит к ней милиционер. Молодой, черноглазый, усики едва-едва пробиваются.

— Здравствуй, бабушка,— сказал и улыбнулся.

— И ты здравствуй, сынок.

— Ждешь кого-нибудь?

— Никого не жду, да не знаю, куда идти.

— А твои-то что же? Или встретить некому?

— Некому, сынок.

— Адрес-то у тебя есть?

— Адрес? Адреса нет. Но, может, кто и знает, куда мне идти.

— А к кому ты идешь? — Милиционер снова улыбнулся, и тогда бабушка Рада увидела ямочку на его щеке. Точно такую же, как у ее внука Николчо. От этого милиционер сразу стал ей ближе. Она решила ему довериться.

— К кому иду? К Георгию Димитрову иду.

— К Георгию Димитрову? — Тут уж растерялся милиционер. — Георгия Димитрова, бабушка, давно уже нет. Больше двадцати лет как нет.

— Знаю я, что его нет... — Бабушка Рада укоризненно поглядела на милиционера. — Но есть дом, где он лежит. Я была там.

— Ты про мавзолей говоришь?

— Ну да. Родной он мне, Георгий Димитров. К нему еду, только не знаю, как добраться до этого... мавзолея.

— Родной, говоришь? — Милиционер почтительно обнял бабушку за плечи. — Родственник, значит?

— Не родственник, а родной. Если не спешишь, я тебе расскажу, пока доведешь меня, а?

— Не спешу,— сказал, улыбаясь, милиционер. Он почувствовал, что старой женщине обязательно надо было с кем-нибудь поделиться тем, что было для нее очень важно и очень дорого.

— Ну вот, жила я одна с двумя детьми, вдовая была. Старший мой собрался учиться в город. И надо было одежду ему сшить не хуже, чем у людей. А где взять сукна? Ты молодой, не застал того времени, а спроси мать, она тебе расскажет, как тогда жили. Собирается, значит, мой старший, а одежды нет. Пошла к соседу Илии — он у нас помощь из города распределял. «Илия, говорю, отпусти мне три метра сукна, не голого же сына в город отпускать. Нам, беднякам, не до ученья было, а сын, раз хочет...» А Илия мне и говорит: «Не могу отпустить, есть и кто более тебя нуждается». — «Кто ж более вдовы нуждается?» — спрашиваю.

— И не дал? — сочувственно спросил милиционер.

— Нет, не дал. Соврал мне, что сейчас сукна нет, а потом золовке своей на шубу отрезал. Она и по сей день ту шубу носит. Что ж, думаю, вдовая я, каждый меня обмануть норовит. А нельзя теперь так, новая власть уже у нас, народная. И решила про себя, напишу письмо Георгию Димитрову в Софию. Свои не хотят помочь — ему напишу. Села и написала. Бросила то письмо в ящик — и в путь добрый. Через неделю кричит мне почтальон от ворот: «Эй, тетка Рада, подарок тебе, от товарища Димитрова подарок!» И подает мне большой пакет. У меня ноги так и подкосились. Села на приступку, развязала пакет, гляжу — материя. Да не простая, не домотканая, которую наш Илия на шубу своей золовке отмерил, а красивое, тонкое черное сукно. И где он достал такое — не знаю. Еще тогда хотела я в Софию поехать, спасибо

ему сказать, да денег на дорогу не было. А как собрала немного — его уже не стало...

Ну вот, подросли мои дети, в Софию переехали, и я как бывала у них в гостях — так они меня к Георгию Димитрову водили. А сейчас вот сама приехала. Сын мой во Враце живет, а дочка с зятем — в Родопках... Ты уж, будь добр, отведи меня.

— Отведу, как не отвести, — сказал милиционер, — ты подожди тут, бабушка, я сейчас... — И, не договорив, он исчез в толпе.

Дождаясь, бабушка Рада успокаивала себя: «Не должен обмануть, не похож он на обманщика. Наверно, вернется. Только почему так долго нет его?»

И тут перед старой крестьянкой остановилась легковая машина, задняя дверца отворилась, наружу выглянул знакомый милиционер и помахал рукой:

— Садись, бабушка! Садись, садись...

СОДЕРЖАНИЕ

Магдалина Барымова. Жизнь, отданная народу	5
* Дора Габе. Матушка Парашкева. Повесть. Перевод И. Мазнина	19
* Вана Филипова. Вечный огонь. Повесть. Перевод Л. Баша	133
* Пламен Цонев. Замкнутый круг. Повесть. Перевод Е. Андреевой	237
Камен Калчев. Из книги «Сын рабочего класса». Перевод А. Стекольников, Е. Андреевой	307
Ангел Каралийчев. Из книги «Молот или наковальня». Перевод Л. Христовой, Н. Кремневой, В. Сутулова, М. Звяжиной	333

РАССКАЗЫ

Неделчо Ганчевский. В свободной Болгарии. Перевод В. Гребенникова и Н. Гусева	355
* Стоян Юруков. Похороны Димитрова. Перевод Е. Андреевой	363
* Методи Бежански. Родственник. Перевод В. Викторова	365

Для среднего и старшего возраста

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ О ГЕОРГИИ ДИМИТРОВЕ

ИБ № 5233

Ответственный редактор С. К. Берман. Художественный редактор Г. Ф. Ордынский. Технический редактор Н. Г. Мохова. Корректоры Е. А. Суляски и Н. Г. Худякова. Связано в набор 29.03.62. Подписано к печати 26.05.63. Формат 70×100¹/₁₆. Бум. офс. № 1. Шрифт литературный. Печать офсетная. Усл. печ. л. 29,9. Усл. кр.-отт. 60,69. Уч.-изд. л. 28,30. Тираж 100 000 экз. Заказ 1602. Цена 1 р. 40 к. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Калининский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Росглавополиграфпрома Госкомиздата РСФСР. Калинин, проспект 50-летия Октября, 46.



大正九年九月

九月

九月

九月

